

Люциус Шепард

ЖИЗНЬ
ВО ВРЕМЯ
ВОЙНЫ



Люциус Шепард

Жизнь во время войны

DrMor

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=154396

Люциус Шепард. Жизнь во время войны: Азбука-классика; Санкт-Петербург; 2005

ISBN 5-352-01284-0

Оригинал: LuciusShepard, "Life During Wartime"

Перевод:

Фаина Гуревич

Александр И. Кириченко

Аннотация

Впервые на русском – один из главных романов американского магического реалиста Люциуса Шепарда, автора уже знакомых российскому читателю «Валентинки» и «Кольта полковника Резерфорда», «Мушки» и «Заката Луизианы».

Нью-йоркский художник Дэвид Минголла угодил под армейский призыв и отправился в Латинскую Америку нести на штыках демократию. Джунгли оборачиваются для него борхесовским садом расходящихся тропок, ареной ментального противостояния, где роковые красавицы имеют серьезные виды на твой мозг и другие органы, мысль может убивать, а накачанные наркотиками экстрасенсы с обеих сторон пытаются влиять на ход боевых действий.

Содержание

Отпуск	5
Глава первая	5
Глава вторая	44
Глава третья	72
Глава четвертая	100
Глава пятая	132
Настоящий солдат	138
Глава шестая	138
Глава седьмая	173
Глава восьмая	218
Огневой квадрат «Изумруд»	265
Глава девятая	265
Глава десятая	298
Глава одиннадцатая	333
Через дебри	384
Глава двенадцатая	384
Глава тринадцатая	428
Глава четырнадцатая	474
Нефритовый сектор	512
Глава пятнадцатая	512
Глава шестнадцатая	536
Глава семнадцатая	556
Глава восемнадцатая	617

Люциус Шепард

Жизнь во время войны

Посвящается Терри Карру.

За помощь и дружескую поддержку во время написания этой книги мне хотелось бы поблагодарить Гарднера Дозуа, Сьюзен Каспар, Лори Хоук, Крейга Спектора, Джека и Жанне Данн, Джима Келли, Джона Кесселя, Кима Стенли Робинсона, Грега и Джейн Смит, Бет Мичем, Танпана Кинга и «Коротышку».

Отпуск

Все как всегда:

За четверых римлян пять карфагенян.

Федерико Гарсия Лорка

Глава первая

Боевая единица Первой воздушной кавалерии, новая вертушка «Сикорский» с надписью «Шепот смерти» вдоль всего борта, перебросила Минголлу, Джилби и Бейлора с Муравьиной Фермы в Сан-Франциско-де-Ютиклан, небольшой городок в глубине зеленой зоны – этим цветом на новейших картах обозначали территорию Свободно-оккупированной Гватемалы. К востоку от зеленого пятна, через всю страну от мексиканской границы до Карибского моря, тянулась желтая ничейная полоса. Муравьиная Ферма была пунктом огневой поддержки и располагалась у восточного края этой желтизны; именно оттуда двадцатилетний артиллерист Минголла закидывал снарядами территорию, изображенную на картах черно-белой топографической штриховкой. Все вместе позволяло ему думать, что он сражается за безопасность основных цветов этого мира.

Минголла с приятелями могли провести отпуск в Рио или

Каракасе, однако давно было замечено, что именно после этих городов солдатская бдительность падает особенно сильно, из чего они сделали вывод: чем шикарнее человек проводит свой отпуск, тем вероятнее потом гибнет, а потому выбирали самый непритязательный из всех гватемальских городишек. Солдаты не дружили по-настоящему, их мало что связывало, и в иных обстоятельствах легко могли бы стать врагами. Однако совместный отпуск был для них ритуалом выживания, и, добравшись вместе до нужного городка, они разбрелись в разные стороны исполнять оставшуюся часть. Все трое до сих пор были живы, а потому убеждены, что если и впредь будут верны своим ритуалам, то, может, дотянут до конца службы. Они никогда не говорили друг с другом об этой вере – разве только намеками, что тоже было частью ритуала, – и по зрелому размышлению наверняка признали бы ее иррациональность, не преминув, однако, указать, что странный характер войны эту веру только укрепляет.

Вертолет приземлился на авиабазе, в миле к западу от городка: голую бетонную полосу с трех сторон окружали бараки и конторы, сразу за ними поднимались джунгли. В центре полосы еще один «Сикорский» отработывал взлет и посадку – пьяная камуфляжная стрекоза, две другие зависли над нею, словно заботливые родители. Минголла спрыгнул на бетон, и горячий бриз тут же вздул его рубашку парусом. Впервые за много недель он был в «гражданке», и по сравнению

с боевым снаряжением она казалась почти невесомой; Минголла нервно огляделся: сейчас его уязвимостью воспользуется невидимый враг. В тени еще одного вертолета бездельничали механики; кабина у вертушки была вся разворочена, зубья пластикового фонаря закручивались над обгоревшим металлом. Между бараками сновали пыльные джипы, строй плотно накрахмаленных лейтенантов бодро тянулся к неподвижному автопогрузчику и уложенному на его вилах высокому штабелю алюминиевых гробов. На ребрах и ручках вспыхивало послеполуденное солнце, а далекая линия барачных шевелилась в горячем мареве, словно волны беспокойного тускло-оливкового моря. Несовместимость деталей – что не так на этой фотографии? – смесь ужаса и обыденности действовали Минголле на нервы. Левая рука дрожала, солнечный свет разгорался все ярче, от него мутило и тошнило. Чтобы не упасть, Минголла привалился плечом к ракетному пилону «Сикорского». Высоко в ярко-синем небе расплзались инверсионные следы: XL-16-е шли дырять Никарагуа. С чувством слегка похожим на зависть Минголла смотрел им вслед, пытался поймать шум моторов, но слышал лишь ошалелый шепот «Сикорского».

Из люка в компьютерный отсек позади кабины выпрыгнул Джилби; он стряхнул с джинсов воображаемую пыль, вразвалку подошел к Минголле и встал рядом, уперев руки в бока: невысокий мускулистый парень с армейским ежиком светлых волос и упрямым ртом капризного ребенка. Из того

же люка высунул голову Бейлор и озабоченно оглядел горизонт. Затем тоже прыгнул на землю. Этот был долговяз и костляв, на два года старше Минголлы; гладкие черные волосы, оливкового цвета кожа, прыщи, резкие черты лица словно вырублены топором. Бейлор оперся о борт «Сикорского», но, заметив, что касается ладонью полыхающего «Ш» из «Шепота смерти», тут же отдернул руку, точно на самом деле обжегся. Три дня назад Муравьиную Ферму пытались взять приступом, и Бейлор до сих пор не пришел в себя. Как и Минголла. По Джилби трудно было определить, волнует его что-нибудь или нет.

Один из пилотов «Сикорского» скрипнул дверью кабины:

– Попутку до Фриско ловите у военторга. – Голос приглушался черным пузырьком щитка, на котором горел солнечный блик, и весь шлем пилота напоминал ночь с одинокой звездой.

– А где военторг? – спросил Джилби. Пилот пробормотал что-то непонятное.

– Что? – переспросил Джилби.

Ответ прозвучал так же неразборчиво, и Джилби разозлился:

– Сними эту проклятую штуку!

– Эту? – Пилот указал пальцем на щиток. – Зачем?

– Затем, что я ни хера не слышу.

– Сейчас-то слышишь?

– Ладно. – Голос Джилби напрягся. – Где этот чертов во-

енторг?

Ответ прозвучал так же нечленораздельно; безликая маска смотрела на Джилби с невнятным значением.

Тот сжал кулаки.

– Даними ты ее, сукин сын!

– Не положено, солдат, – вмешался второй пилот, пододвигаясь поближе; два черных шара болтались теперь почти рядом. – В эти пузыри, – он постучал пальцем по щитку, – понапихано микросхем – облучать глаза всякой дрянью. Прямо в зрительный нерв. Это чтоб мы видели бобиков, даже если они прячутся. Чем дольше носишь, тем лучше видишь.

Бейлор нервно рассмеялся, а Джилби буркнул:

– Херня!

Минголла рассудил, что либо пилоты подкальывают Джилби, либо из чистого суеверия не хотят расставаться со шлемами – может, они и вправду верили, что щитки обладают особой силой. С другой стороны, если на этой войне в ходу боевые препараты, а перемещения вражеских войск предсказывают медиумы, то возможно все, в том числе и микросхемы для остроты зрения.

– И вообще, на нас лучше не смотреть, – сказал первый пилот. – Мудакские лучи перекорезили всю морду. Вид как у последних отморозков.

– Можно, кстати, и не заметить, – подтвердил второй пилот. – Много кто не замечает. Зато если допетришь, крыша

съедет.

Минголла представил изуродованные лица пилотов, и в животе стал подниматься тошнотный озноб. Джилби, однако, не поверил.

– Вы меня за идиота держите? – рявкнул он так, что покраснела шея.

– Не-е, – ответил первый пилот. – Ну какой ты идиот, видно же. От этих лучей нам много чего видно, а остальным нет.

– Особенно всякая дрянь, – второй подлил масла в огонь. – Души, например.

– Привидения.

– А то и будущее.

– Во-во, это у нас коронный номер, – сказал первый пилот. – Так что, парни, хотите знать, что вас ждет?

Они в унисон кивнули, солнечный луч скользнул по обоим щиткам: два злобных робота выполняют одну и ту же программу.

Джилби рванулся к кабине. Первый пилот захлопнул дверь, и Джилби, рассыпая проклятия, замолотил по пластику. Второй пилот щелкнул переключателем на приборной доске, и через секунду загредел его усиленный электронной голос:

– Прямо, потом мимо погрузчика, пока не упрутесь в ба-раки. Там как раз военторг.

Минголла и Бейлор кое-как оторвали Джилби от «Сикорского», но орать тот перестал, лишь когда они дотащились до

автопогрузчика с гробами: серебряные слитки, сокровище великана. Там Джилби постепенно умолк и прикрыл глаза. У военторга они уговорили капрала военной полиции подбросить их до города; джип с рычанием выкатился на бетон, и Минголла оглянулся на «Сикорского». Пилоты расстелили рядом с машиной брезент, разделись до трусов и улеглись загорать на солнце. Шлемов они так и не сняли. Дикое сочетание загорелых тел и черных шапок действовало Минголле на нервы, напоминая о старом фильме, в котором мужик попал в передатчик материи вместе со случайной мухой и в результате получил себе на плечи мушиную голову. Может, подумал Минголла, пилоты и не врут насчет своих шлемов – может, их уже и вправду не снимешь. Может, такой странной стала эта война.

Заметив, что Минголла оглядывается на пилотов, капрал-патрульный резко рассмеялся.

– Да это же, – заявил он с безапелляционностью человека, который знает, о чем говорит, – натуральные психи!

Шесть лет назад Сан-Франциско-де-Ютиклан был горсткой туземных хижин и бетонных барачков, расставленных среди пальм и банановых листьев на восточном берегу Рио-Дульче, в том месте, где реку пересекало фунтовое ответвление Панамериканского шоссе; однако с тех пор городок расплылся на оба берега и пополнился десятками баров и борделей – оштукатуренными коробками всех цветов радуги с неоновыми чудовищами на крышах. Драконы, едино-

роги, жар-птицы, кентавры. Капрал-патрульный доверительно сообщил Минголле, что вывески эти – никакая не реклама, а закодированные символы величия их хозяев: например, красный тигр, пробирающийся сквозь зеленые лилии и синие кресты, сообщает о том, что владелец богат, принадлежит к тайному католическому обществу и неоднозначно относится к политике правительства. Заведения росли и процветали, старые вывески снимались, уступая место новым, крупнее и ярче, и эта борьба света и символов как нельзя лучше соответствовала духу места и времени, ибо Сан-Франциско-де-Юतिकлан был не столько городом, сколько симптомом войны. Грязным и убогим по своей сути, несмотря на сияние ночного неба. В мусоре рылись бездомные собаки, строптивые шлюхи плевались прямо из окон, и, если верить капралу, не так уж редко случалось наткнуться на труп – скорее всего, жертву беспризорников из окрестных джунглей. Между барами тянулись узкие улочки, покрытые ковром из пустых жестянок, фекалий и битого стекла; беженцы попрошайничали на каждом углу, выставляя напоказ ожоги и пулевые раны. Дома росли в такой спешке, что почти у всех получались скособоченные стены и обвислые крыши, они отбрасывали неправдоподобно зубчатые, словно на психоделических картинах, тени, выставляя наружу пропитавшее весь этот город напряжение. И все же Минголле было легко и почти радостно. Отчасти из-за предчувствия чертовски увлекательного отпуска (а он привык доверять предчув-

ствиям), но гораздо больше потому, что подобные городки стали для Минголлы чем-то вроде загробной жизни – наградой после долгого и жестокого существования.

Капрал высадил их у магазина, где Минголла купил коробку с канцелярской ерундой, потом они зашли в клуб Демонию, крохотную забегаловку с побеленными стенами и легкой подсветкой фиолетовых ламп, болтавшихся на потолке, точно радиоактивные плоды. Клуб был набит солдатами и шлюхами, эта публика сидела за столиками вокруг танцевальной площадки, немногим большей двуспальной кровати. Огороженный проволочной сеткой музыкальный ящик два на четыре фута наигрывал балладу, в центре площадки покачивались две парочки, над их головами плыл табачный дым, медленный, как подводные струи. Солдаты грубо лапали шлюх, а одна тянула кошелек у почти уже отключившегося вояки: одной рукой она орудовала у него между ног, побуждая выпятить вперед бедра, и, когда он это сделал, другой вцепилась в бумажник, зажатый карманом обтягивающих джинсов. Все, однако, происходило вяло, вполсилы, как если бы полутьма и нудная мелодия сгущали воздух и мешали двигаться. Минголла примостился у стойки. Бармен бросил на него вопросительный взгляд, в фиолетовом отражении зрачки его казались острыми, и Минголла сказал:

– Пиво.

– Глянь-ка. – Джилби забрался на соседний табурет и махнул большим пальцем в сторону шлюхи, сидевшей у дальне-

го конца стойки. Юбка у девицы задралась до середины ляжек, а грудь своим объемом и необвислостью, скорее всего, была обязана косметической хирургии.

– Ничего, – равнодушно сказал Минголла. Бармен поставил перед ним бутылку пива, Минголла глотнул: пиво было кислым и водянистым, словно перегонка спертого воздуха.

Бейлор взгромоздился на табурет рядом с Джилби и опустил голову на руки. Джилби что-то сказал, Минголла не слышал, и Бейлор поднял голову.

– Я туда больше не вернусь, – заявил он.

– О боже! – воскликнул Джилби. – Не заводи опять.

В полумраке прищуренные глаза Бейлора казались комками теней. Он пристально смотрел на Минголлу.

– В следующий раз они нас достанут, – сказал он. – Надо по реке. В Ливингстоне найдем лодку до Панамы.

– До Панамы! – фыркнул Джилби. – Там же одни бобики.

– Пересидим на Ферме, – сказал Минголла. – Нас вытасят, если станет невоготу.

– Невоготу? – На виске у Бейлора билась набухшая жилка. – Что, блядь, такое невоготу?

– На хер! – Джилби сполз с табурета. – Сам разберешься, старик, – сказал он Минголле и махнул рукой в сторону грудастой шлюхи. – Я полез на силикон.

– В девять, – сказал Минголла. – У военторга. Договорились?

Джилби сказал:

– Ага, – и ушел.

Бейлор пересел на его табурет и наклонился к Минголле.

– Сам же знаешь, что я прав, – возбужденно зашептал он. – В этот раз нас почти достали.

– Воздушная кавалерия с ними разберется, – сказал Минголла подчеркнуто беспечно. Он открыл канцелярскую коробку и достал из нагрудного кармана ручку.

– Знаешь же, что я прав, – повторил Бейлор. Минголла провел ручкой по губам, изображая растерянность.

– Кавалерия! – Бейлор горько рассмеялся. – Кавалерии на карачках не сидеть!

– Сменил бы ты лучше пластинку, – предложил Минголла. – Может, у них там Праулер есть.

– Черт подери! – Бейлор схватил его за руку. – Очнись, старик! Эта хуйня больше не работает!

Минголла стряхнул его руку.

– Мелочь дать? – холодно спросил он, выудил из кармана полную горсть монет и швырнул на стойку. – Вот. Держи.

– Говорю тебе...

– Я не хочу слушать! – отрезал Минголла.

– Не хочешь слушать? – недоверчиво повторил Бейлор. Он с трудом сдерживался, смуглое лицо блестело от пота, веко дергалось. Потом выразительно стукнул кулаком по стойке. – Нет, уж ты послушай! Потому что если мы так и будем сидеть тут на жопе, то скоро – очень скоро – все передохнем к ебене матери! Теперь слышишь?

Минголла схватил его за ворот рубашки:

– Заткнись!

– И не подумаю! – взвизгнул Бейлор. – Что ты, что Джилби – запихали в песок свои долбаные бошки и думаете, жопам ничего не сделается. Нет, вы будете меня слушать! – Он запрокинул голову к потолку и заорал во всю глотку: – Мы все подохнем!

То, как он вопил – злорадно, будто мальчишка, выкрикивающий наперекор родителям грязные слова, – вывело Минголлу из себя. Ему осточертела бейлоровская выходка. Не вполне соображая, что делает, он врезал ему и лишь в самый последний момент придержал удар. В челюсть – не отпуская ворота – так, что голова Бейлора откинулась назад. Бейлор моргнул, застыл, разинул рот. Из десен сочилась кровь. С противоположного конца стойки, прислонившись к стене рядом с батареей бутылок, за ними наблюдал бармен, солдаты тоже – с удовольствием, видимо надеясь, что драка их немного развлечет. Это внимание сбило Минголлу с толку, ему стало стыдно.

– Извини, старик, – сказал он. – Я...

– Насрать мне на твои извинения, – огрызнулся Бейлор, вытирая рот. – На все насрать, лишь бы свалить отсюда.

– Отвянь, а?

Но Бейлор не отставал. Он гнул свое – страдалец, который храбро смотрит в лицо мировой несправедливости. Стараясь не обращать на него внимания, Минголла принялся изучать

пивную бутылку – там был красно-черный портрет гватемальского солдата с победно задраным автоматным дулом. Вполне приличный рисунок напомнил Минголлу допризывные времена, когда он сам рисовал плакаты, – однако если учесть бестолковость гватемальских войск, то эту героическую позу можно было посчитать разве что глупой шуткой. Ногтем большого пальца он прочертил через середину этикетки борозду.

Бейлору надоело бубнить, и теперь он просто сидел, уставясь на покореженную фанеру. С минуты Минголлу его не трогал, затем, не отрывая взгляда от этикетки, сказал:

– Поставил бы музыку попримечнее.

Уткнув подбородок в грудь, Бейлор хранил упорное молчание.

– У тебя нет выбора, старик, – продолжал Минголлу. – Что ты можешь сделать?

– Ты псих, – сказал Бейлор. Затем, стрельнув глазами в Минголлу, прошипел еще раз, словно проклятие: – Псих!

– Ты поплывешь в Панаму один? Ага. Втроем у нас хоть что-то ладится. До сих пор мы выкручивались, и, если ты не раскиснешь, все вместе мы дотянем до дома.

– Не знаю, – сказал Бейлор. – Я уже ничего не знаю.

– Давай вот что, – предложил Минголлу. – Может, правы все. Может, Панама и вправду выход, только еще не время. Если это так, то рано или поздно мы с Джилби тоже допрем.

Тяжело вздохнув, Бейлор поднялся на ноги.

– Никогда вы не допрете, – обреченно проговорил он.

Минголла глотнул пива.

– Глянь там, нет ли у них в ящике Праулера. Я от него тащусь.

С минуту Бейлор стоял в нерешительности. Он двинулся к автомату, потом резко повернул к дверям. Минголла уже собрался за ним бежать. Но Бейлор остановился и вернулся к стойке. Лоб его прочертили глубокие напряженные полосы.

– Ладно, – заявил он срывающимся голосом. – Ладно. Во сколько завтра? В девять?

– Ага, – сказал Минголла и отвернулся. – У военторга.

Краем глаза он видел, как Бейлор прошел через весь зал, склонился над музыкальным ящиком и уставился в список пластинок. Стало легче. Так начинались их отпуска: Джилби клеил шлюху, Бейлор кормил музыкальный автомат, а Минголла сочинял письмо домой. В самое первое свое увольнение он откровенно написал родителям об этой войне во всех ее нелепых и мучительных проявлениях, но потом решил, что такое письмо только расстроит мать, порвал его и набросал новое, в котором просто сообщал, что все в порядке. Нынешнее письмо он тоже порвет, хотя было интересно, что сказал бы отец, доведись ему прочесть. Наверняка бы разозлился. Отец твердо верил в Бога, в страну, и Минголла, хоть и понимал, насколько бессмысленно держаться в этом безумии за какую бы то ни было мораль, все же чувствовал, как сильно в него въелись отцовские убеждения: дезертировать

он не сможет никогда, что бы там ни вещал Бейлор. Мингол-ла прекрасно понимал, что все непросто и не только мораль удерживает его на службе, но поскольку отец был бы счастлив взять на себя ответственность, то Мингол-ла и обвинял во всем его одного. Он представил, чем сейчас заняты родители – отец смотрит по телевизору бейсбол, мать возится в саду, – и, удерживая их образы в голове, принялся писать.

Дорогие мама и папа.

В своем последнем письме вы спрашивали, побеждаем ли мы в этой войне. Если бы вы задали этот вопрос здесь, то в ответ получили бы, скорее всего, непонимающий взгляд, ведь большинство думает, что результат этой войны не важен. К примеру, один мой знакомый носитя с идеей, что война – это магическая операция неимоверного масштаба: будто бы передвижения войск, самолетов и кораблей – мистический знак на поверхности нашей реальности, а значит, чтобы выжить, нужно определить свое место в чертеже и двигаться в соответствии с ним. Это кажется бредом, я понимаю, но здесь так бредят все (какой-то психоаналитик специально изучал распространение суеверий в оккупационных войсках). Все ищут магию, которая поможет им выжить. Вы, наверное, не поверите, что я тоже склонен к таким вещам, но это так. Я вырезаю на снарядах инициалы, прячу в шлем перья попугаев... и многое другое.

Возвращаясь к вашему вопросу. Я попробую дать на него более внятный ответ, чем непонимающий взгляд,

однако простого «да» или «нет» не получится. Суть дела не сводится к одному или нескольким словам. Лучше я проиллюстрирую, расскажу вам одну историю, а выводы делайте сами. Вообще таких историй сотни, но мне пришла на ум именно эта – история о пропавшем патруле...

Из музыкального ящика грянул Праулер, Минголла бросил писать и стал слушать: резкую, яростную музыку питала – так, по крайней мере, казалось – та же агрессивная паранойя, что и породила эту войну. Солдаты и шлюхи отодвинули стулья, перевернули столы и принялись танцевать на освободившихся пяточках; прижатые друг к другу, они могли разве что шаркать в едином ритме, но от их топота закачались на длинных шнурах лампы и по стенам потекли пурпурные отблески. Тощая прыщавая шлюха отплясывала у Минголлы перед носом, трясая грудями и протягивая руки. Лицо у нее было бледным, как у трупа, а улыбка – оскал мертвеца. Из глаза, точно изящная секреция смерти, поползла черная капля смешанного с тушью пота. Минголла подумал, что ему мерещится. Левая рука задрожала, и на несколько секунд сцена распалась. Все разбросано, неузнаваемо, скрыто в своем контексте: столпотворение бессмысленных предметов, скачущих вверх и вниз на волне безумной музыки. Затем кто-то открыл дверь, впустил клин света, и комната опять стала нормальной. Шлюха насупилась и отошла прочь. Минголла облегченно вздохнул. Дрожь в руке утихла. Око-

ло двери Бейлор говорил с замызганным гватемальским парнем... видимо, насчет кокса. Кокаин стал для Бейлора панацеей, лекарством от страха и отчаяния. После увольнений у него были вечно красные глаза, часто шла носом кровь, зато он хвастался, какую отличную выторговал дрянь. Довольный, что ритуал соблюдается, Минголла вернулся к письму.

Помните, я рассказывал, что нашим зеленым беретам, чтобы они лучше сражались, выдают специальные препараты? У нас их называют «самми», от слова «самурай». Они в ампулах, и если раздавить такую под носом, то полчаса ощущаешь себя помесью Супермена и гвардейца-орденоносца. Беда в том, что береты часто перебирают и слетают с катушек. На черном рынке эти штуки тоже есть, и некоторые парни устраивают из них настоящий спорт. Нюхают, а потом дерутся... как петушинные бои, только между людьми.

В общем, года два назад береты ушли патрулировать квадрат Изумруд, это недалеко от моей базы, а назад не вернулись. Всех записали в пропавшие без вести. А примерно через месяц из медпунктов стали исчезать ампулы. Сначала кражи приписывали герильеро, но потом какой-то врач засек грабителей и сказал, что это американцы. Они были в рваном камуфляже и с виду совсем не в себе. Со слов этого доктора художник нарисовал их главного, тогда и выяснилось, что это один к одному сержант того пропавшего патруля. С тех пор их стали видеть повсюду. Иногда явная чушь, но часто очень походило на правду. Говорили, что они сбили две

наших вертушки, а под Сакапой напали на колонну с провиантом.

Сказать по правде, я никогда не придавал особого значения этой истории, но месяца четыре назад к нам на артбазу прямо из джунглей явился пехотинец. Он заявил, что его похитил пропавший патруль, и, услышав его историю, я поверил. По его словам, береты больше не считают себя американцами, они теперь граждане джунглей. Живут как звери, спят под пальмами, и круглые сутки щелкают ампулы. Они сумасшедшие, зато гении выживания. Про джунгли они знают все. Когда поменяется погода, какие рядом звери. Придумали какую-то дикую религию, что-то про солнечные лучи, которые просвечивают сквозь купол. Сидят под этими лучами, как святые под Божьей благодатью, и несут бред насчет чистоты света, радости убийства и нового мира, который они собрались построить.

Вот что пришло мне в голову, когда я прочел ваш вопрос, папа и мама. Пропавший патруль. Я не пытаюсь намекнуть таким способом на ужасы войны. Вовсе нет. Когда я думаю о пропавшем патруле, я думаю не о том, какие эти психи несчастные. Я лишь пытаюсь понять, что именно они видят в этом свете и вдруг это чем-то мне поможет. И где-то там лежит ответ на ваш вопрос...

Солнце уже садилось, когда Минголла вышел из бара, чтобы приступить ко второй части своего ритуала – забрести, словно невинный турист, в квартал аборигенов и посмот-

реть, что упадет в руки: можно попасть на ужин к гватемальскому семейству или, разговорившись с отпускником из другого отделения, заглянуть в церковь, а то зависнуть с мальчишками, которые начнут расспрашивать про Америку. Все это он проделывал в предыдущие отпуска, и претензия на невинность изрядно его забавляла. Если бы он прислушался к своим подспудным желаниям, то утопил бы кошмар артбазы в наркотиках и шлюхах, но в тот самый первый отпуск обалдевшему после боя Минголле захотелось одиночества, и теперь приходилось не просто все это повторять, но и вспоминать то самое душевное оцепенение – все-таки ритуал, а не хрен собачий. Впрочем, после недавних событий на Муравьиной Ферме добиться одурения было нетрудно.

По широкой голубой реке Рио-Дульче гуляла легкая зыбь. Густые джунгли подступали к заросшим желтым тростником берегам. Там, где к реке выходило грунтовое шоссе, имелся бетонный причал, у которого стояла сейчас баржа-паром; она была загружена полностью – два грузовика и примерно тридцать пешеходов. Минголла поднялся на борт и встал на корме рядом с тремя американскими пехотинцами в форме и шлемах, гибкие кабели тянулись от их двуствольных винтовок к заплечным компьютерам, сквозь дымчатые щитки видны были зеленоватые отсветы значков на смотровых дисплеях. Минголле стало неудобно, солдаты напомнили ему тех двух пилотов, но вскоре, к его радости, они сняли шлемы, открыв нормальные человеческие лица. Треть ширины реки

перекрывала, опираясь на стройные колонны, широкая арка белого бетона, словно выпавшая из картины Дали¹, – мост, который начали строить, а потом забросили. Минголла заметил его еще в воздухе перед самой посадкой, но не придавал значения – сейчас же этот пейзаж поднял в душе целую бурю. Недостроенный мост казался ему не столько мостом, сколько памятником некоему высокому идеалу – гораздо красивее любой завершенности. Поглощенный собственным восторгом и окруженный маслянистым дымом пердящего пара, Минголла чувствовал родство с прекрасной аркой, словно сам он тоже был зависшей в воздухе дорогой. Он так уверенно соединил себя с этой чистотой и величием, что поверил на секунду, будто и его тоже – подобно мысленному продолжению моста – ждет завершающая точка гораздо дальше той, что рассчитана архитекторами его судьбы.

Между западным берегом и огибающей город грунтовой выстроились торговые ряды: рамы из бамбуковых шестов, покрытые пальмовыми листьями. Между прилавками сновали ребятишки, целясь и стреляя друг в друга из тростниковых стеблей. Настоящих военных почти не попадалось. Толпа, бродившая по дороге, состояла в основном из индейцев: парочки стеснялись взяться за руки, потерянные старики ковырялись в мусоре тростниковыми палками, пухлые матроны с возмущением взирали на ценники, босые крестьяне с прямыми спинами и серьезными лицами таскали в руках узелки

¹ *Сальвадор Дали* (1904-1989) – знаменитый испанский художник-сюрреалист.

с деньгами. Минголла купил в ларьке рыбный сэндвич и кока-колу. Усевшись на скамейку, он неторопливо поел, наслаждаясь вкусом горячего хлеба, острой рыбы, и любуясь столпотворением. Серые тяжелые тучи ползли с юга, с Карибского моря, время от времени проскакивали звенья XL-16-х, направляясь на север, к нефтяным месторождениям у озера Исабель, где шли сейчас тяжелые бои. Опустились сумерки. Городские огни в покрасневшем воздухе разгорелись ярче. Бренчали гитары, пели хриплые голоса, толпа редела. Минголла заказал второй сэндвич. Развалившись на скамейке, он пил, жевал и погружался в добрую магию этой земли, в сладость минуты. У лотка горел костер, вокруг сидели на корточках четыре старухи, варили куриное рагу и пекли кукурузные лепешки; вылетающие из огня черные жирные хлопья казались в сгущавшихся сумерках кусочками мозаики, которые там, в вышине, складывались в беззвездную ночь.

Потом стемнело окончательно, народу прибавилось, и Минголла зашагал вдоль ларьков; на шестах были развешаны ожерелья из лампочек, провода от них тянулись к генераторам, а их тархтенье заглушало кваканье лягушек и стрекот цикад. В одних ларьках продавались пластмассовые четки, китайские пружинные ножи и керосиновые лампы, в других – вышитые индейские рубахи, мешковатые штаны и деревянные маски, в третьих за горами помидоров, дынь и зеленых перцев сидели, скрестив ноги, старики в потертых пиджаках, и над каждым прилавком, точно над примитивным

алтарем, горела прилепленная воском свеча. Смех, взвизги, крики зазывал. Минголла вдыхал запах одеколона, дым от жаровен, вонь гнилых фруктов. Он застревал у прилавков, покупал для нью-йоркских друзей сувениры и чем дальше, тем больше ощущал себя частью суеты, шума, блеска и переливов черного воздуха – пока не подошел к палатке, у которой толпилось человек сорок-пятьдесят, загораживая все, кроме соломенной крыши. Усиленный мегафоном женский голос прокричал:

– *La mariposa!*

Восторженный рев толпы. Снова женский голос:

– *El cuchillo!*

Эти слова – бабочка и нож – заинтриговали Минголлу, и он всмотрелся поверх голов.

В рамке из соломы и шатких столбов молодая смуглая женщина вращала ручку проволочного барабана, в котором перекатывались белые пластмассовые кубики с прибитыми к ним деревянными фишками. На ней было красное летнее платье с открытыми плечами, черные волосы зачесаны назад и собраны на затылке. Она остановила барабан не глядя, достала кубик, посмотрела на него и закричала в микрофон:

– *La Luna!*

К прилавку протиснулся бородатый мужчина и протянул карточку. Женщина посмотрела на нее, сравнила с выложенными в ряд кубиками и выдала бородачу несколько гватемальских банкнот.

Минголлу заинтересовала композиция. Смутная женщина, красное платье и загадочные слова, руническая тень проволочного барабана – все это казалось магией, образами из оккультного сна. Часть толпы утекла вслед за победителем, и новые зеваки подтолкнули Минголлу к прилавку. Захватив угловое место и отбившись от завихрений толпы, он поднял глаза и увидел, что молодая женщина стоит в двух футах от него, улыбается, протягивает ему карточку и огрызок карандаша.

– Всего десять гватемальских центов, – сказала она на американском английском.

Собравшийся вокруг народ уговаривал Минголлу сыграть, усмехаясь и хлопая по спине. Но он не нуждался в уговорах. Он знал, что выиграет: это было самое ясное предчувствие за всю его жизнь, а все из-за женщины. Она ему очень нравилась. Как будто излучала тепло... но не только тепло, еще жизнь, страсть, и, пока Минголла стоял рядом, это тепло омывало его, он чувствовал связавшее их напряжение, а заодно и то, что в этой игре он будет победителем. Притяжение удивляло Минголлу, потому что в первый момент женщина показалась ему экзотичной, но отнюдь не красивой. Стройная, но бедра широковаты, а груди, поднятые высоко и разделенные чашками плотного корсажа, совсем небольшие. Черты лица – как и цвет кожи, несомненно, восточно-индейские – были слишком крупны и чувственны для такого изящного тела, но столь выразительны и завершённые,

что сама непропорциональность была ей к лицу. Если бы не эта неправильность и будь ее скулы поменьше, а лицо потоньше, оно с легкостью подошло бы одной из тех прислужниц, что на индийских религиозных плакатах стоят на коленях перед тронем Кришны. Очень чувственное и очень спокойное лицо. И это спокойствие, решил Минголла, вовсе не поверхностно. Оно уходит в глубину. Однако в данный момент его больше интересовали груди. Приподнятые и очень симпатичные, они поблескивали капельками пота. Две горки желейного пудинга.

Женщина помахала карточкой, и Минголла взял ее – картонку для игры в бинго со значками вместо букв и цифр.

– Удачи, – сказала женщина в красном платье и рассмеялась как будто своим мыслям. Затем раскрутила барабан.

Она выкрикивала разные слова, многих Минголла не знал, но какой-то старик взялся ему помогать и тыкал пальцем в нужный квадратик, когда совпадал символ. Вскоре несколько рядов оказались почти целиком закрыты.

– *La manzana!*² – крикнула женщина, и старик, дернув Минголлу за рукав, закричал в ответ:

– *Se gano!*³

Она проверяла карту, а Минголла думал, что не так с ней все просто. Спокойствие, английский без акцента и явные признаки высшего класса указывали на то, что ее место не

² Яблоко! (исп.)

³ У него есть! (исп.)

здесь. Может, студентка, а учебу прервала война... хотя для студентки старовата. Минголла решил, что ей года двадцать два – двадцать три. Наверное, аспирантка. Но слишком приземленный вид опровергал эту теорию. Глаза женщины прыгали от карточки к пластмассовым кубикам и обратно. Тяжелые веки. Белки так сильно выделялись на смуглой коже, что казались ненастоящими: млечные камни с черными сердцевинами.

– Видишь? – сказала женщина, вручая ему выигрыш – почти три доллара – и новую карточку.

– Что вижу? – озадаченно спросил Минголла. Но она уже опять крутила барабан.

Он победил в трех играх из семи. Его поздравляли, изумленно качая головами, а предупредительный старик изображал жестами, что своей удачей Минголла обязан только ему. Сам Минголла, однако, нервничал. Ритуал держался на принципе малых чудес, и хотя Минголла был почти уверен, что девушка жульничала в его пользу (в этом, решил он, был смысл ее смеха и ее «Видишь?»), а значит, удача не была по-настоящему удачей, избыточность ломала все принципы. Три раза подряд он проиграл, но после выиграл два из четырех раундов и занервничал еще больше. Он думал, не уйти ли. Но что, если это действительно удача? Тогда его уход нарушит более высокую закономерность, пересечется с неким космическим процессом и вытащит оттуда беду. Мысль казалась нелепой, но Минголла не мог рисковать, если оста-

вался хоть малейший шанс.

Он продолжал выигрывать. Люди, совсем недавно его поздравлявшие, раздраженно разбрелись кто куда, вскоре у лотка почти никого не осталось, и женщина прекратила игру. Из тени выскочил чумазый уличный мальчишка – складывать реквизит. Он развинтил проволочный барабан, отключил микрофон, сложил в коробку пластмассовые кубики и побросал все это в холщовый мешок. Женщина вышла из-за прилавка и прислонилась к бамбуковому шесту. Полуулыбаясь, она чуть склонила голову набок, оценивающе посмотрела на Минголлу, затем – когда молчание стало неловким – сказала:

– Меня зовут Дебора.

– Дэвид. – Минголла смутился, как четырнадцатилетний подросток; он с трудом удержался, чтобы не сунуть руки в карманы и не отвернуться.

– Зачем ты мне подыгрывала? – спросил он; пытаюсь скрыть нервозность, он произнес эти слова слишком громко, и они прозвучали упреком.

– Чтобы ты обратил на меня внимание, – ответила она. – Мне... интересно. Неужели не заметил?

– Ну, не знаю.

Она рассмеялась.

– Похвально! Осторожность никогда не помешает.

Ему нравился ее смех – очень легкий, и по этой легкости было видно, что она умеет радоваться самым простым ве-

щам.

Мимо, рука об руку и горланя пьяные песни, прошли трое мужчин. Один что-то крикнул Деборе, и та ответила злой испанской тирадой. Минголла мог только догадываться: ей досталось за то, что она связалась с американцем.

– Может, пойдём куда-нибудь? – предложил он. – Чтобы не торчать на улице.

– Сейчас, нужно подождать, пока он все соберёт. – Она кивнула в сторону мальчишки, который уже сматывал лампочную гирлянду. – Странно, – сказала она. – У меня дар, и обычно мне неловко рядом с теми, у кого он тоже. А с тобой нормально.

– Дар? – Кажется, Минголла понимал, о чем она, но из осторожности не признался.

– Как ты его называешь? ЭСВ? Экстрасенсорное восприятие?

Минголла решил, что отрешиваться бесполезно.

– Я его вообще никак не называю.

– У тебя очень сильный. Странно, что ты не в пси-войсках.

Хотелось произвести на нее впечатление, напустить таинственности.

– А откуда ты знаешь, что я не там?

– Знаю. – Она достала из-под прилавка черную сумочку. – После наркотерапии дар меняется, по крайней мере снаружи. Тепло, например, не чувствуется. – Она подняла взгляд от сумочки. – Или ты чувствуешь иначе? Не как тепло?

– Некоторые люди кажутся горячими, – ответил Мингол-ла, – но я не знал, что это такое.

– Это и значит... иногда. – Она затолкала в сумочку банкноты. – Так почему ты не в пси-войсках?

Мингол-ла вспомнил свой первый разговор с агентом Пси-корпуса – бледный лысеющий человечек смотрел невинно, как это бывает у слепых. Пока Мингол-ла говорил, вербовщик вертел в руках кольцо, которое Мингол-ла дал ему подержать, не вникал в слова и рассеянно смотрел по сторонам, словно прислушиваясь к эху.

– Меня долго уговаривали, – сказал Мингол-ла. – Но я не вижу особого смысла. Ребята возомнили себя ментальными чародеями, а умеют разве что предсказывать всякую ерунду, да и то через раз промахиваются. И потом, я боюсь препаратов. Говорят, у них побочные эффекты.

– Какие?

– Не знаю... Как-то действуют на голову, личность меня-ется.

– Тебе повезло, у вас это добровольно, – сказала Дебора. – У нас бы зацапали, и все.

Мальчишка что-то ей сказал, закинул мешок, на плечо и после короткого обмена скорострельными испанскими репликами убежал к реке. Толпа была все такой же плотной, но половина лотков закрылась, а оставшиеся своими пальмовыми крышами, гирляндами света и женскими шаями, напоминали плохо разыгранный на затемненной сцене спек-

такль из жизни туземцев. За торговыми рядами мигали неоновые огни – бестолковый зверинец, населенный серебряными орлами, малиновыми пауками и индиговыми драконами. От разгоравшихся и гасших чудовищ у Минголлы закружилась голова. Все казалось таким же бессвязным, как в клубе Демонио.

– Тебе плохо? – спросила Дебора.

– Просто устал.

Она повернула его к себе лицом и положила руки на плечи.

– Нет, – сказала она. – Тут что-то другое.

Тяжесть ее рук и запах духов привели его в чувство.

– Пару дней назад на артбазу была атака, – объяснил он. –

Она все еще со мной, понимаешь.

Дебора чуть сдавила его плечи и отступила.

– Может, я сумею что-нибудь сделать. – Это было сказано слишком серьезно, и Минголла подумал, что она имеет в виду что-то конкретное.

– Как? – спросил он.

– Расскажу за ужином... если пригласишь, конечно. – Она взяла его за руку и шутливо добавила: – Ты мне кое-что должен за такую удачу, тебе не кажется?

– А ты почему не в пси-войсках? – спросил он по дороге.

Она ответила не сразу – сперва, опустив голову, поддела носком туфли обрывок целлофана. Они шли по почти без-

людной улице, слева текла река, похожая на вялый поток черной политуры, а справа тянулись глухие задние стены баров. Наверху опирался на решетку неоновый лев, распространяя вокруг себя злое зеленое сияние.

– Когда здесь начались проверки, я училась в школе в Майами, – сказала наконец Дебора. – Приехала домой, и тут выяснилось, что моя семья на крючке у Шестого отдела. Знаешь, что такое Шестой отдел?

– Что-то слышал.

– Из садистов получают плохие бюрократы, – продолжила она. – Вместе с нами тогда забрали кучу народу. Проверить собирались всех, но охранники избивали людей, и все перепуталось. Никто не знал, кто прошел, а кто еще нет. В конце концов многих так и отпустили без проверки.

Пыль шуршала у них под ногами, охрипший музыкальный ящик пел на соседней улице о том, что хочет любви.

– Что с ними стало? – спросил Минголла.

– С моей семьей? – Она пожала плечами. – Все погибли. Подтвердить не удосужились, но кому это надо? Подтверждать, я имею в виду. – Несколько секунд она молчала. – А я... – Уголок ее рта дернулся. – Я делала то, что нужно.

Минголле хотелось расспросить подробнее, но потом он передумал.

– Грустно, – сказал он и тут же мысленно пнул самого себя за такую банальность.

Они миновали бар, увенчанный пурпурно-красной ухмы-

ляющейся гориллой. Минголла подумал, что эти переливчатые фигуры могли что-то значить для биноклей засевших в холмах герильеро: перегоревшие трубки сообщают, когда начнется атака или о перемещениях войск. Он покосился на Дебору. Вид у нее был не такой подавленный, как секунду назад, и это лишний раз подтверждал то Минголлино впечатление о том, что ее спокойствие не что иное, как самоконтроль: эмоции в ней сильны, но она дает им волю лишь тогда, когда сама этого хочет. На реке послышался одинокий всплеск: холодная крапинка жизни поднялась на секунду к поверхности и тут же вернулась в темноту к долгому, ничего не знающему скольжению... да и Минголлина жизнь если чем и отличается от рыбьей, то разве что меньшим изяществом. Странно было идти рядом с женщиной, что, как свечное пламя, излучает тепло; небо и земля при этом смешиваются в черный газ, а над головами стоят на страже неоновые тотемы.

– Черт, – буркнула про себя Дебора. Он удивился, что она ругается.

– В чем дело?

– Ни в чем, – устало ответила она, – просто так. – Затем указала рукой на что-то впереди и пошла быстрее. – Сюда.

Это был рабочий ресторан на первом этаже гостиницы – двухэтажной коробки из желтого бетона с мигающей рекламой «Фанты» над входной дверью. Перед вывеской, вспыхивая в темноте белыми точками, роились сотни мотыльков, а

у крыльца компания подростков метала ножи в игуану. Ее задние лапы они привязали к перилам. У игуаны были янтарные глаза, шкура цвета квашеной капусты, ящерица царапала когтями землю и выгибала шею, словно собравшийся взлететь миниатюрный дракон. Когда Мингол्ला с Деборой подошли к двери, мальчишка попал игуане в хвост, и она взвилась в воздух, стряхнув нож на землю. На радостях пацаны пустили по кругу бутылку рома.

Не считая официанта – тучного молодого человека, подпиравшего дверь в задымленную кухню, – в зале никого не было. Яркие потолочные лампы освещали клеенки с жирными пятнами, а неровности желтой краски на стенах казались подтеками. Цементный пол пестрел темными крапинами, в которых Мингол्ला признал останки насекомых. Еда, однако, оказалась неплохой, и Мингол्ला проглотил тарелку риса с курицей задолго до того, как Дебора управилась с половиной своей порции. Ела она изящно, долго пережевывала каждый кусочек, и разговор пришлось вести Минголлле. Он рассказал ей о Нью-Йорке, о своих картинах, как ими заинтересовалась пара галерей, хотя он был еще студентом. Сравнил свои работы с Раушенбергом и Сильвестром⁴. Не настолько хороши, конечно. Пока. Складывалось впечатление, что все эти слова – какими бы неуместными они сейчас ни казались – скрепляли их, устанавливали внутренние связи: Минголлла

⁴ Роберт Раушенберг (р. 1925) – американский художник-коллажист. Луи Сильвестр (1675-1760) – французский художник.

почти видел, как его и эту женщину опутывает сеть блестящих нитей и как по нитям течет симпатия. Он чувствовал тепло Деборы гораздо сильнее, чем раньше, и мечтал о том, как они займутся любовью и как это тепло поглотит его целиком. Едва он подумал об этом, как Дебора подняла голову и улыбнулась, будто угадав его мысли. Хотелось закрепить близость, рассказать ей что-то такое, о чем он еще никому не говорил, а поскольку других секретов у него не было, Минголла заговорил о ритуале.

Она отложила вилку и проницательно посмотрела на Минголлу.

– На самом деле ты в это не веришь, – сказала она.

– Я знаю, что это звучит...

– Нелепо, – перебила она. – Именно так.

– Но это правда, – вызывающе сказал Минголла.

Она снова взяла вилку и отогнала в сторону рисинки.

– Что для тебя предчувствие? – спросила она. – Ну, то есть как это выглядит – тебе что-то снится? Или ты слышишь голоса?

– Иногда просто знаю. – Столь резкая перемена темы сбивала его с толку. – А иногда вижу картинки. Как в плохом телевизоре. Сперва расплывчато, потом четче.

– А у меня сны. И галлюцинации. Не знаю, как их еще называть. – Она поджала губы и вздохнула, словно на что-то решаясь. – Когда я увидела тебя в первый раз, всего на секунду мне показалось, что ты в боевом снаряжении. На рукавицах

разъемы, к шлему идут провода. Щиток опущен, а лицо... бледное и все в крови. – Она накрыла его руку своей. – Я видела это очень ясно, Дэвид. Тебе нельзя возвращаться.

Минголла не рассказывал ей, как выглядит боевое снаряжение артиллериста, а сама она явно не могла его видеть. Потрясенный, он спросил:

– Куда же мне деваться?

– В Панаму, – сказала она. – Я тебе помогу.

И тут все встало на свои места. Таких женщин можно найти повсюду, десятки в любом городке, где гуляют отпуск солдаты. Пацифистка – из тех, что подбивают дезертировать. Хорошая душа и связная герильеро. Через партизан, видимо, и узнала, как выглядит обмундирование. Выучила группы войск, чтобы ее жуткие пророчества звучали правдоподобно. При этом Дебора не упала в Минголлиных глазах, наоборот, поднялась на целую отметку. Она ведь рисковала жизнью, заводя такой разговор. Но загадочность потускнела.

– Я так не могу.

– Почему? Ты мне не веришь?

– Даже если бы верил, это ничего не меняет.

– Я...

– Послушай, – сказал Минголла. – Мой приятель тоже подбивает меня дезертировать, и одно время я сам об этом думал. Но, похоже, это дело не для меня. Ноги не идут. Не знаю, поймешь ли ты, но это так.

– Ты со своими друзьями – вы просто придумали себе дет-

скую забаву, – сказала Дебора, помолчав. – Она вас и держит, да?

– Это не детская забава.

– А что еще? Когда ребенок идет в темноте домой, он думает, что если не смотреть на тени, то оттуда никто не выскочит.

– Ты не понимаешь, – сказал Минголла.

– Не понимаю. – Дебора сердито бросила салфетку на стол и напряженно уставилась в тарелку, словно вычитывая пророчество в куриных костях.

– Давай поговорим о чем-нибудь другом, – предложил Минголла.

– Мне надо идти, – холодно ответила она.

– Из-за того, что я не хочу дезертировать?

– Из-за того, что произойдет, если ты этого не сделаешь. –

Она наклонилась вперед, от волнения стала картавить. – Из-за того, что пока я знаю о твоём будущем то, что я о нём знаю, я не хочу ложиться с тобой в постель.

Ее страсть напугала Минголлу. Что, если она говорила правду? Но он отверг эту возможность.

– Не уходи, – попросил он. – Можно поговорить еще.

– Ты все равно не послушаешься. – Она взяла сумочку и встала.

К столику подскочил официант и положил рядом с тарелкой счет; потом достал из кармана фартука целлофановый пакетик с марихуаной и помахал им у Минголлы под носом.

– Смотри, что у меня есть, парень, поднимешь ей настроение, – сказал он.

Дебора обругала его по-испански. Официант пожал плечами и удалился, приволакивая ноги, что служило неплохой рекламой его товару.

– Давай встретимся завтра, – сказал Минголла. – Завтра ведь тоже можно поговорить.

– Нет.

– Ну дай же ты мне отдышаться! – воскликнул он. – Как-то это все слишком быстро, знаешь. Не успел прилететь, а тут ты, проходит час, и ты мне заявляешь: карты показывают смерть, и Панама – последняя надежда. Могу я хотя бы подумать? Вдруг завтра все изменится.

Лицо ее смягчилось, но она покачала головой – нет.

– Думаешь, я того не стою?

Она опустила взгляд, пару секунд потеревшая молнию на сумочке, потом тоскливо выдохнула:

– Где мы встретимся?

– У пристани на этом берегу – годится? Часов в двенадцать.

Она колебалась.

– Ладно.

Обойдя столик, она склонилась к Минголле и потерлась губами о его щеку. Он хотел притянуть ее к себе, поцеловать по-настоящему, но она выскользнула. От перегрева у Минголлы кружилась голова.

– Ты точно придешь? – спросил он. Дебора кивнула, вид у нее был беспокойный, и, ни разу не оглянувшись, она исчезла за дверью. Минголла еще посидел, вспоминая поцелуи, – он что-то обещал. Уходить не хотелось, но ввалились три пьяных солдата, принялись переворачивать стулья и задирать официанта. Минголле это надоело, он вышел за дверь и втянул в себя дозу влажного воздуха. Мотыльки лениво мельтешили у изогнутой пластмассовой «Фанты», силясь пробиться к яркому теплу, и Минголла почувствовал в них родственную душу – его так же тянет к невозможному. Он начал спускаться по лестнице и тут же метнулся назад. Пацаны разошлись, но их пленная игуана валялась на нижней ступеньке, неподвижная и залитая кровью. Из раны в горле тянулись сизые нити. Предзнаменование было недобрым и ясным настолько, что Минголла развернулся и пошел вверх снимать в гостинице номер.

В длинном коридоре пахло мочой и дезинфекцией. Пьяный индеец с расстегнутой ширинкой и разбитым в кровь ртом колотил в запертую дверь. Когда Минголла проходил мимо, он поклонился и развел руками в насмешливом приветствии. Потом снова заколотил в дверь. Номер оказался длиной с гроб и шириной пять футов, без окон, из мебели – только раковина, койка и стул. Паутина и пыль затянули дверное окошко, отчего из коридора пробивался не свет, а лишь холодное синеватое поблескивание. Стены покрывала

все та же паутина, а простыни были такими грязными, что казались узорчатыми. Минголла лег, закрыл глаза и стал думать о Деборе. О том, что сорвет с нее красное платье и как следует оттрахает. И как она будет кричать. От мыслей ему стало стыдно, но член напрягся. Он попробовал представить то же самое, только нежно. Но нежность, похоже, была не для него. Эрекция увяла. Дрочить было лень. Он стал расстегивать рубашку, но вспомнил о простынях и решил, что лучше поспит в одежде.

В черноте опущенных век замелькали вспышки, а внутри этих вспышек – атака на Муравьиную Ферму. Туман, тоннели. Он стирал их призраком Деборино лица, но они возвращались. В конце концов он открыл глаза. На дверном окошке вырисовывались две... нет, три черные мохнатые звезды. И только когда они поползли, Минголла сообразил, что это пауки. Крупные. Он не боялся пауков, но эти нагоняли ужас. Если прихлопнуть ботинком, разобьется стекло, и Минголлу выкинут из гостиницы. Руками давить не хотелось. Немного погодя он сел, включил свет и заглянул под кровать. Там пауков не было. Он опять лег, дрожа и тяжело дыша. Очень хотелось с кем-нибудь поговорить, услышать знакомый голос.

– Ну и ладно, – сказал он темноте. Но это не помогло. И еще долго, пока он наконец не успокоился и не заснул, Минголла смотрел, как три черные звезды ползут по дверному окошку, тянутся к центру, касаются друг друга и расходятся.

ся, никогда ничего не достигая, никогда не покидая границ своей яркой тюрьмы, своей вселенной из комковатого замороженного света.

Глава вторая

Утром Минголла переправился на западный берег и зашагал к авиабазе. Было жарко, но воздух еще хранил остатки свежести, и пот, выступивший на лбу, казался чистым и здоровым. Над грунтовкой висела белая пыль от недавно проехавших машин; он миновал городок и ветку к недостроенному мосту; к дороге вплотную подступали высокие стены леса, оттуда доносились голоса обезьян, насекомых и птиц – резкие звуки поднимали настроение, острее чувствовалась игра мускулов. На полпути к базе ему встретилось шестеро гватемальских солдат: они выволокли из джунглей два трупа и забросили их на капот джипа, где уже лежало два таких же. Подойдя поближе, Минголла рассмотрел голые детские тела с аккуратными дырками в спине. Он собирался пройти мимо, но один солдат – мелкий, как гном, в синем камуфляже и с бронзовым лицом – загородил ему дорогу и потребовал документы. Проверяли их все солдаты сразу, перешептываясь, разворачивая, почесывая затылки. Привычный к таким задержкам, Минголла смотрел не на них, а на мертвых детей.

Тощие, потемневшие от солнца трупы лежали лицами вниз, спутанные волосы бахромой свисали с капота, кожа утыкана комариными укусами, вокруг пулевых отверстий вздувшиеся синяки. Судя по росту, детям было лет по десять, но потом Минголла разглядел у одной девочки отро-

ческой формы ягодицы и прижатые к капоту груди. Стало жутко. Одичавшие дети промышляли на жизнь грабежами и убийствами, а гватемальские солдаты всего лишь выполняли свой долг – их можно сравнить с птицами, что охотятся в носорожьей шкуре за клещами, чтобы американскому исполину не досаждали паразиты. И все же это неправильно – так играючи расстреливать детей.

Солдат вернул Минголле документы. Теперь коротышка улыбался во все зубы, и – возможно, полагая, что укрепляет таким образом гватемало-американскую дружбу, возможно, потому, что гордился своей работой, – он подошел к джипу и приподнял за волосы голову девушки, демонстрируя Минголле ее лицо.

– *Bandida!* – объявил солдат, скорчив страшную рожу.

Лицо девушки не слишком отличалось от его собственного: такой же острый нос и выступающие скулы. На губах блестела свежая кровь, а в центре лба виднелась выцветшая татуировка со свернувшейся кольцом змеей. Глаза были открыты, и, несмотря на мутную пленку, Минголла почувствовал, что связан с этой девушкой, словно откуда-то из-под этих глаз она грустно на него смотрит и все еще умирает, уже пройдя последний рубеж. Но тут из ноздри выполз муравей, уселся на изогнутую красную губу, и глаза стали просто пустыми. Солдат отпустил девушку голову, намотал на руку волосы другого трупа, но поднять не успел – Минголла отвернулся и зашагал по дороге к авиабазе.

Вдоль посадочной полосы выстроились вертолеты, и, пробираясь между ними, Минголла разглядел тех самых пилотов, которые днем раньше привезли их с Муравьиной Фермы. Они разделись до трусов и шлемов, нацепили бейсбольные рукавицы и теперь перебрасывались мячом, стараясь закинуть его как можно выше. За ними стоял «Сикорский», на крыше сидел механик и возился с кожухом подвески главного винта. Сегодня вид пилотов не расстроил Минголлу, скорее наоборот, эта их нелепость почему-то успокаивала. Игрок промахнулся, и мяч упрыгал к Минголле. Тот подобрал его и швырнул ближайшему, который подскочил чуть не вплотную, остановился и раз-другой вбил мяч в карман рукавицы. Черный шлем и потный мускулистый торс делали его похожим на молодого энергичного мутанта.

– Ну, и как оно? – поинтересовался пилот. – Неважнецкий у тебя вид поутру.

– Да нет, все нормально, – начал было отпираться Минголла. – Хотя, – он улыбнулся, чтобы загладить оправдания, – тебе, конечно, виднее.

Пилот пожал плечами – бодро, видимо желая продемонстрировать хорошее настроение. Минголла кивнул на механика:

– Что-то сломалось, ребята?

– Обычная профилактика. Завтра утром назад. Подбросить?

– Не-а. У меня еще неделя.

Левую руку словно пробило страшноватым разрядом, и она задрожала. Это было очень не вовремя, и Минголла сунул ее в боковой карман. Грязно-оливковая линия барачков передернулась, точно ее вывихнуло, и отодвинулась подальше; вертушки, джипы и солдаты на полосе превратились в игрушки: кусочки милого детского набора «Авиабаза Дяди Сэма». Рука билась о штанину, как больное сердце.

– Ну, я пошел, – сказал Минголла.

– погоди, – сказал пилот. – Сейчас полегчает.

В словах звучал оттенок уверенного диагноза, и Минголла почти поверил, что пилот знает его судьбу, а заодно и в то, что такие штуки, как судьба, действительно можно знать.

– Ты вчера не врал, старик? – спросил он. – Про шлемы. Про то, что вы знаете будущее.

Пилот стукнул мячом о бетон, поймал его в самой высокой точке и принялся рассматривать. В щитке шлема Минголла видел отражение швов на мяче и названия бренда, но само лицо было спрятано – никакого намека на то, изуродовано оно или нормальное.

– Меня все спрашивают, – сказал пилот. – Больше прикалываются. Но ведь ты не прикалываешься, правда?

– Нет, – сказал Минголла, – я серьезно.

– Ну, – начал пилот, – значит так. Мы тут жужжим где придется на бреющем, а потому видим на земле всякое дерьмо, другим не видно. И взрываем его на хер. Год без малого – и пока что живы. Нехилый результат, чтоб мне провалиться.

Минголла был разочарован.

– Ага. Понятно, – сказал он.

– Ты слушаешь или нет? – рассердился пилот. – Мы ходячее доказательство – вот что я хочу сказать.

– Угу. – Минголла почесал затылок, сочиняя ответ поди-пломатичнее, но ничего не придумал. – Ладно, до встречи. – И зашагал к военторгу.

– Держись, старик, – прокричал ему вслед пилот. – Вспомнишь мои слова. Все у тебя наладится, и очень скоро.

Столовая при военторге располагалась в просторном, как амбар, здании из некрашенных досок; ее построили совсем недавно, и в воздухе еще стоял запах опилок и клея. Три-четыре десятка столиков, музыкальный ящик, голые стены. За стойкой в дальнем конце зала какой-то капрал с кислой миной и блокнотом в руке пересчитывал бутылки, а Джилби – единственный посетитель столовой – сидел у восточного окна и помешивал кофе. Он морщил лоб, солнечный луч освещал всю его фигуру, отчего можно было подумать, что Божьей благодатью Джилби вдохновлен на духовные искания.

– Где Бейлор? – спросил Минголла, усаживаясь напротив.

– Хрен знает, – ответил Джилби, не отрывая взгляда от чашки. – Придет.

Минголла так и держал левую руку в кармане. Дрожь постепенно стихала, но не так быстро, как хотелось бы, и Минголла боялся, что тряска расползется дальше, как тогда, по-

сле атаки. Он выдохнул, чувствуя, как в унисон выходящему воздуху дрожат его нервы. Солнечный луч гудел на шаткой золотой ноте, и это тоже его беспокоило. Галлюцинации. Но тут он заметил жужжавшую на стекле муху.

– Как ночка? – спросил он.

Джилби резко поднял взгляд:

– А-а, ты про Большие Сиськи. Проверил, нет ли там опухоли. – Уголки его рта шевельнулись невеселой улыбкой. Он снова стал размешивать кофе.

Минголлу задело, что Джилби ни о чем не спросил, – ему очень хотелось рассказать о Деборе. Но такая поглощенность собой была у Джилби в характере. Глаза с прищуром и упрямый рот указывали на не слишком глубокую душу, не позволявшую ее обладателю сосредоточиться на чем-либо слишком далеком от собственных дел. И все же Минголла был уверен, что, несмотря на черствость, дурацкую вспыльчивость и простоватую речь, Джилби гораздо сообразительнее, чем казался, и что презрение к умникам – всего лишь тактика, которой Джилби обучился в своем родном Детройте. Его выдавала хитрость: он буквально влезал в голову командирам противника, ловко увиливал от неприятных заданий, легко манипулировал солдатами. Глупость была для него маской, возможно он носил ее слишком долго, так что уже не снимешь. Как бы то ни было, Минголла завидовал этой проницательности – и особенно когда она помогла ему выкрутиться в той атаке.

– Он никогда не опаздывал, – сказал Минголла через пару секунд.

– А теперь опоздал, во пиздец-то! – огрызнулся Джилби. – Придет!

Капрал за стойкой включил радио и завертел ручку настройки – проскочил латино, топ-сорок, потом американский голос, объявлявший счет в бейсболе.

– Эй, старик! – крикнул Джилби. – Дай послушать! Надо знать, как там «Тигры».

Пожав плечами, капрал уступил.

– «Белые гетры» – «Эй»: шесть-три, – объявил диктор. – «Гетры» побеждают восьмой раз подряд.

– Неслабо им «Гетры» напихали, – заметил довольный капрал.

– «Белые гетры»! – Джилби фыркнул. – Что такое твои «Гетры» – толпа бобиков под две сотни весом да нюхачи-ниггеры. Херня! Эти долбанутые «Белые гетры» каждую весну летят до небес, старик. Потом лето, хуе-мое, на улице травка, и пиздец – сдохли.

– Так-то оно так, – сказал капрал. – Но в этот год...

– Посмотри на сучонка Колдуэлла, – продолжал Джилби, не обращая на капрала внимания. – Видал я его пару лет назад, только взяли на пробу к «Тиграм». Старик, тогда этот ниггер хоть стукнуть мог по-человечески! А теперь что – ползает по полю, как нанюханый.

– Они не принимают препаратов, старик, – раздраженно

сказал капрал. – Им нельзя, у них все время анализы, если что – сразу вычислят.

Джилби несло:

– «Белым гетрам» ничего не светит, старик! Знаешь, как их назвал этот мужик по ящику? «Бледные гольфы»! Охренеть, «Бледные гольфы»! Куда они прут с таким названием? «Тигры» – да, хоть имя нормальное. Или «Янки» там, или «Храборы», или...

– Херню-то не пори! – Капрал явно расстроился. Он отложил блокнот и подошел к краю стойки. – Посмотри на «Хитронов». Имя так себе, а команда вполне. Херня твое название!

– Или на «Красных»? – предложил Минголла. Ему нравилась болтовня Джилби, его иррациональное упрямство. Но в то же время он замечал в ней скрытое отчаяние – если приглядеться, то становилось ясно: Джилби был сегодня сам не свой.

– Чего?! – Джилби хлопнул ладонью по столу. – «Красные»! Да ты посмотри на этих «Красных», старик. Посмотри, как они поперли вверх, когда Куба влезла в войну. Думаешь, херня? Думаешь, не имя их тянет? Даже если эти долбанутые «Бледные гольфы» и пролезут в серию, против «Красных» им только молитвы и читать. – Он рассмеялся коротко и хрипло. – Я-то лично за «Тигров», но в этот год им точно ни хрена не светит. Восточную зону разнесут «Красные», потом добавятся «Янки», в октябре они сойдутся, вот тогда

мы все про всех и узнаем. Все про всех, блядь! – Голос его натянуто дрожал. – Так что не звени мне про свои сраные «Бледные гольфы», старик. Говном были, говно есть, говном и останутся, пока не поменяют свое говенное имя!

Почувяв опасность, капрал больше не спорил, и Джилби погрузился в угрюмое молчание. Некоторое время слышался только шум вертолетных винтов и бляение по радио какой-то джазовой смеси. Вошли два механика с бутылками утреннего пива, а вскоре за соседний столик уселись три солидных сержанта с крупными брюшками, редяущими волосами, интендантскими нашивками на плечах и начали играть в рамми. Капрал принес им кофейник и бутылку виски, они мешали виски с кофе и пили за игрой. Игра их напоминала ритуал, как будто они устраивали ее каждый день, и, глядя на этих сержантов, отмечая их толстые животы, изнеженность и фамильярность старых приятелей, Минголла вдруг почувствовал гордость за свою трясущуюся руку. Этот почетный недуг был знаком причастности к сердцеvine войны, сержанты ничем подобным похвастаться не могли. Но Минголла был на них не в обиде. Нисколько. Скорее, его успокаивала мысль, что эта солидная троица его кормит, поит и обувает в новые сапоги. Он грелся в глуповатом гудении их болтовни, в клубах сигарного дыма, который можно было принять за выхлопной газ их довольства. Минголла не сомневался: к ним можно подойти, рассказать о своих бедах и получить дружеский совет. Эти люди явились уверить его

в том, что их дело правое, напомнить о простых американских ценностях, поддержать иллюзию братства и всеобщности этой войны, прояснить, что она – лишь проверка дружбы и твердости духа, обряд инициации, через который давным-давно прошли эти трое, а заодно и пообещать, что, когда война кончится, все они нацепят медали, соберутся вместе, заведут разговор о крови и ужасе, будут качать головами, удивляться и тосковать так, словно кровь и ужас были их погибшими друзьями, которых они так мало ценили в свое время... Минголла вдруг заметил, что улыбка крепко ухватилась за его лицо, а сцепленные вагончики мыслей увозят к далеким и жутковатым землям. Руку трясло сильнее прежнего. Он посмотрел на часы. Почти десять. Десять! Минголла в ужасе вскочил и оттолкнул стул.

– Пошли искать, – выпалил он.

Джилби хотел было что-то сказать, но сдержался. Громко постучал ложечкой по краю стола. Затем тоже отодвинул стул и поднялся.

Бейлора не оказалось ни в клубе Демонио, ни в других барах западного берега. Джилби и Минголла описывали его каждому встречному, но никто такого не помнил. Чем дольше они искали, тем тревожнее становилось у Минголлы на душе. Бейлор был необходимым и незаменимым основанием платформы из обычаев и ритуалов, которая только и держала Минголлу, загораживала от оружия войны и законов случая, и если теперь это основание рухнет... Он представил,

как платформа кренится, как они с Джилби сперва ползут к краю, потом скатываются в бездну черного огня. И тут у Джилби вырвалось:

– Панама! Сукин сын сбежал в Панаму!

Но Минголла в это не верил. Он знал, что Бейлор где-то близко, стоит только протянуть руку. Ощущение было настолько четким, что Минголла встревожился еще сильнее: такая ясность слишком часто предвещала недоброе.

Солнце поднялось выше, жара давила всем своим огромным весом, а яркий свет вымывал оттенки из оштукатуренных стен; Минголла потел и чувствовал, что омерзительно воняет. На улицах им попадалось совсем мало солдат, они почти терялись в мельтешении детей и нищих, бары тоже были пусты, если не считать горстки пьянчуг, продолжавших вчерашний кутеж. Джилби ковылял к ним, хватал за грудки, приставал с расспросами. Минголла же, ужасно стесняясь трясущейся руки, от волнения едва не заикался, и ему приходилось буквально заставлять себя приблизиться к незнакомому человеку даже для самого короткого разговора. Он подходил незаметно, правым боком вперед и говорил:

– Я ищу своего друга. Не видели? Высокий такой. Смуглый, волосы черные, худой. Зовут Бейлор.

В конце концов он настропалился выпускать эту фразу легко, на одном дыхании. Джилби скоро надоело.

– Пойду-ка я на Большие Сиськи, – объявил он. – Встречаемся завтра в военторге. – Он немного отошел, потом оста-

новился и добавил: – Буду нужен – ищи в клубе Демонио. – Лицо его было странным. Как будто он пытался ободряюще улыбнуться, но – видно, давно не тренировался – улыбка получилась натянутой, глупой, но уж никак не ободряющей.

Часов около одиннадцати Минголла стоял, прислонившись к розовой штукатурке, и высматривал Бейлора в сгущавшейся толпе. Рядом росла банановая пальма, ветер трепал ее пожухлые от солнца листья, и она трещала всякий раз, когда порыв прижимал ее обратно к стене. У бара напротив ремонтировали крышу: полоски свежей жести перемежались узкими заплатами ржавчины, и все вместе напоминало распластанные на сковородке огромные куски бекона. Временами Минголла косился на недостроенный мост: великолепный, загнутый в синеву росчерк магической белизны возвышался над городком, джунглями и войной. Даже рябь горячего воздуха над железными крышами не могла покоробить его изящества. Мост словно соединял всю эту вонь, бормотание толпы и музыку автоматов в некое уравновешенное единство, он вбирал в себя энергию, очищал ее, обогащал и возвращал обратно. Минголла подумал, что, если смотреть на мост достаточно долго, тот заговорит с ним, произнесет белое магическое слово и все желания сразу исполнятся.

Два резких щелчка – пистолетные выстрелы – оторвали Минголлу от стены, сердце забилося. Они ударили в голову двумя слогами – Бейлор. Дети и нищие тут же пропали. Солдаты замерли и повернулись в сторону выстрелов: зомби

услышали голос хозяина.

Еще выстрел.

Из боковой улочки, возбужденно переговариваясь, выскочили еще солдаты.

– Совсем охуел! – воскликнул один, а второй ответил:

– Это самми, старик! Видал глаза?

Протолкавшись сквозь солдат, Минголла рванул в переулок. В конце квартала кордон военной полиции перекрывал поворот, и патрульный приказал Минголле валить куда подальше.

– Что случилось? – спросил Минголла. – Кто-то перебрал самми?

– Отвали, – беззлобно буркнул патрульный.

– Послушай, – сказал Минголла. – Это, наверное, мой друг. Высокий такой, тощий. Черные волосы. Может, я его уговорю.

Патрульный переглянулся с другими полицейскими, те пожали плечами, как бы давая понять, что им без разницы.

– Ладно, – сказал солдат. Подтянув Минголлу к себе, он показал ему на противоположном углу бар с бирюзовыми стенами. – Иди вон туда, спросишь капитана.

Еще два выстрела, потом третий.

– И пошевеливайся, – добавил патрульный. – Старый кэп Хэйнесворт не большой любитель переговоров.

В баре было темно и прохладно, к стене рядом с выходящим на поперечную улицу окном прижимались две неясные

фигуры. Минголла заметил, что в руках у них поблескивают автоматические пистолеты. И тут он увидел через окно, как из-за подпорной стены выглядывает Бейлор; стена была сложена из глиняных кирпичей в три фута высотой и тянулась между травяной аптекой и другим баром. Бейлор был без рубашки, голую грудь покрывали красно-коричневые разводы запекшейся крови, стоял он беспечно, сунув большие пальцы в карманы штанов. Человек у окна выстрелил. Выстрел откликнулся оглушительным эхом, Минголла вздрогнул и закрыл глаза. Когда он снова посмотрел в окно, Бейлора там не было.

– Мудак играет с огнем, – сказал стрелявший. – Быстрый сегодня самми.

– Ага. Но вроде бы уже не так. – Ленивый голос прозвучал из темноты на другом конце бара. – Вроде завод кончается.

– Эй! – окликнул их Минголла. – Не убивайте его! Я его знаю. Я с ним поговорю.

– Поговорю? – повторил ленивый голос. – Говори, пока жопа не позеленеет. Самми не слушают.

Минголла взгляделся в полумрак. Огромный неряшливый мужчина опирался на стойку, кокарда на его берете отливала золотом.

– Вы капитан? – спросил Минголла. – Мне сказали, чтобы я поговорил с капитаном.

– А кто ж еще, – ответил мужчина. – И я прям счастлив, сынок, что ты сюда заявился. О чем будем разговаривать?

Остальные рассмеялись.

– Зачем вам его убивать? – спросил Минголла и сам услышал в своем голосе отчаянные ноты. – Убивать же необязательно. Можно же транкоружьем.

– Сейчас принесут, – сказал капитан. – Однако за этой стенкой у твоего дружка два заложника, и если получится снять его до того, то ждать я не намерен.

– Но... – начал Минголла.

– Не перебивай, сынок. – Капитан поправил португепю, подошел у Минголле и обнял его за плечи, обдав ароматом тела и дыханием виски. – Как видишь, – продолжил он, – у нас все под контролем. Этот самми...

– Бейлор! – гневно поправил Минголла. – Его зовут Бейлор.

Капитан убрал руку с Минголлиного плеча и с изумлением взгляделся ему в лицо. Несмотря на полумрак, Минголла рассмотрел сетку лопнувших капилляров на капитанских щеках, обрюзгшее лицо алкоголика.

– Правильно, – сказал капитан. – Я ж тебе говорю, сынок, твой добрый друг – мистер Бейлор – никому ничего плохого не делал. Только болтал и бегал. Но тут на беду подвернулись два морячка. Вроде бы показывали бобикам новую модель боекомплекта; и вот идут они, понимаешь, с этого показа, видят такое дело и решают поиграть в героев. Короче говоря, мистер Бейлор их уделал. Растоптал честь мундира, можно сказать. А после оттащил за стену и теперь играет

с винтовкой. И...

Два выстрела.

– Бля! – сказал солдат у окна.

– Так там и сидит, – продолжил капитан. – И выебывается. То ли патронов нет, то ли стрелять не умеет... Если не умеет, а потом научится... – Капитан скорбно покачал головой, очевидно представив страшные последствия. – Вот и подумай, чего еще остается делать.

– Я попробую его уговорить, – сказал Минголла. – Хуже ведь не будет.

– Если тебя убьют, это твоя жизнь, сынок. Однако мою старую жопу потащат под трибунал. – Капитан подвел Минголлу к двери и подтолкнул к полицейскому кордону. – Спасибо на добром слове, сынок.

Потом уже Минголла сообразил, что в его выходке не было ни грана смысла, поскольку – живому или мертвому – Бейлору все равно уже не вернуться на Муравьиную Ферму. Но в тот момент Минголла с таким отчаянием боролся за ритуал, что эта мысль просто не пришла ему в голову. Он свернул за угол и направился к подпорной стенке. Во рту было сухо, сердце колотилось. Зато руку больше не трясло, и он сообразил, как нужно идти, чтобы перекрыть патрульным линию огня. Примерно в двадцати футах от стенки он крикнул:

– Эй, Бейлор! Старик, это Минголла!

Будто подброшенный пружиной, Бейлор подпрыгнул и

уоставился на приятеля. Взгляд был жутким. Глаза как стеклянные шары – белки вокруг всей радужки, из ноздрей струйки крови, желваки дергаются с постоянством часового механизма. Засохшая кровь на груди вытекла из двух глубоких царапин; они немного затянулись, но еще сочились сукровицей. Секунду Бейлор не шевелился. Затем наклонился, достал из-за стены двуствольную винтовку с тянувшимся от приклада кабелем и направил ее на Минголлу.

Нажал на курок.

Ни вспышки, ни взрыва. И ни щелчка. Но Минголла словно окунулся в ледяную воду.

– Господи! – воскликнул он. – Бейлор! Это же я! – Бейлор опять нажал на курок с тем же результатом. По лицу пронеслось тяжелое разочарование, но его тут же заслонила маска мертвеца. Пару секунд Бейлор смотрел прямо на солнце, затем улыбнулся: должно быть, получил свыше отличные вести.

Все Минголлины ощущения поразительно заострились. Радио где-то вдалеке наигрывало кантри-энд-вестерн, и заунывность этой музыки, перемежавшейся взрывами помех, казалась ему последними стонами чьих-то нервов. Он слышал, как переговариваются в баре патрульные, чувствовал едкий запах бейлоровского безумия, даже пульс его ярости; от струившихся вокруг переменчивых потоков жара становилось еще страшнее, Минголла застыл на месте. Бейлор положил винтовку – положил с той нежностью, с которой, на-

верное, обращался бы с больным ребенком, – и перешагнул через подпорную стену. От животной плавности его движений у Минголлы побежали по коже мурашки. Он с трудом отступил на шаг и, заслоняясь, поднял руки.

– Ну хватит, старик, – еле слышно проговорил он.

Бейлор раздраженно фыркнул – а может, прошипел или захныкал, – изо рта потекла струйка слюны. Солнце заливало улицу золотым потоком, высекая вспышки и блики с каждой яркой поверхности, точно решило вскипятить реальность.

Кто-то крикнул:

– Ложись!

Бейлор бросился вперед, они упали и покатались по утоптанной земле. Пальцы впились в кадык. Минголла вывернулся и увидел над собой ухмыляющееся лицо, вытаращенные глаза, желтые зубы. С подбородка свисали слюнявые нитки. Рожа как хэллоуиновская маска. Колени придавили плечи, руки вцепились в волосы, и Минголлина голова с размаху стукнулась о землю. Еще и еще. В ушах пронзительно запищало. Минголла высвободил руку и попытался вцепиться Бейлору в глаз, но тот укусил его за палец и вгрызся до самого сустава. У Минголлы потемнело в глазах, он больше ничего не слышал. Затылок казался мягким. Голова медленно приподнималась от земли, все выше и медленнее с каждым новым ударом. Окаймленное синим небом лицо Бейлора отдалялось, описывая спирали. И тут, когда Минголла уже на-

чал терять сознание, Бейлор исчез.

Пыль во рту и в ноздрях. Крики и хрипы. Еще плохо сообщая, Минголла приподнялся на локте. Совсем рядом в туче пыли трепыхались затянутые в хаки руки, ноги и задницы. Как в комиксе. Для полноты картины над головами не хватало звездочек и восклицательных знаков. Кто-то схватил Минголлу за руку и рывком поднял на ноги. Краснорожий капитан военной полиции. Отряхивая с Минголлы пыль, он неодобрительно хмурился.

– Очень храбро, сынок, – сказал он. – Ну ты и дурак. Кабы у него не кончился завод, ты б уже всю кормил мух. – Он повернулся к стоявшему рядом сержанту: – Скажи, дурак – а, Фил?

Сержант ответил, что дурнее некуда.

– Ну, – сказал капитан. – Был бы мальчик в форме, его дурусти хватило б на Бронзовую Звезду.

Сержант признал, что это не так уж мало.

– Только во Фриско, – капитан стряхнул с Минголлы последнюю порцию пыли, – хрен чего получишь.

Патрульные поднялись с Бейлора; тот лежал теперь на боку, изо рта и носа лилась кровь, густая, как соус, и растекалась по щекам.

– Панама, – тупо проговорил Минголла. Может, это выход. Он почти видел, как это будет... ночной пляж, черное кружево пальмовых теней на белом песке.

– Что ты сказал? – переспросил капитан.

– Он хотел в Панаму, – объяснил Минголла.

– А кто не хочет? – сказал капитан.

Патрульный перекатил Бейлора на живот и надел на него наручники, другой сковал ноги. Затем его снова перевернули на спину. Желтая пыль на щеках и лбу смешалась с кровью, стянув лицо в пятнистую маску. Вдруг посреди этой маски распахнулись глаза, Бейлор понял, что связан, и глаза стали еще шире. Он извивался всем телом, будто надеялся вырваться на свободу. Это продолжалось почти минуту, потом он застыл – взгляд на расплавленном солнечном диске – и заревел. Другого слова нет. Это был не крик и не стон, но рев торжествующего дьявола, такой громкий и яростный, что, казалось, все вокруг заполнилось пляской света и жара. Рев притягивал к себе, Минголлу подхватывало и несло, тело подчинялось реву, словно хорошей рок-н-рольной мелодии, он сочувствовал этому презирающему жизнь величию.

– Ого-го! – восхищенно произнес капитан. – Пускай строят для парня новый зоопарк.

Подписав показания и дождавшись, пока санитар осмотрит затылок, Минголла сел на паром, чтобы встретиться на восточном берегу с Деборой. Примостившись на корме, он таранился на недостроенный мост, который на этот раз не обещал ни волшебства, ни надежды. Панама не шла у него из головы. Бейлора нет, так, может, в этом выход? Нужно было разобраться, что к чему, составить какой-то план, но перед

глазами у него по-прежнему стояло окровавленное безумное лицо Бейлора. Он видел худшее – Господь свидетель, гораздо худшее: парней, разобранных на запчасти, да и запчастей оставалось так мало, что не было нужды в блестящих серебром гробах, хватало черных жестянок не больше кастрюли. Парней обожженных, одноглазых и окровавленных, они слепо скребли воздух, как в фильмах ужасов, но мысль о Бейлоре, запертом навечно в сырой красной клетке своего мозга, в самом сердце того влажного красного рева, что он испускал час назад, – эта мысль была страшнее всего того, что Минголла когда-либо видел. Он не хотел умирать, он отвергал этот исход с нетерпеливым упрямством ребенка, вставшего перед тяжелой правдой. И все же лучше умереть, чем сойти с ума. По сравнению с тем, что ожидало Бейлора, смерть и Панама обещали одну и ту же тихую радость.

Кто-то сел рядом – мальчишка не старше восемнадцати лет. Новобранец с новенькой стрижкой, в новых сапогах и новом камуфляже. Даже лицо его казалось новым, свежесвынутым из отливочной формы. Гладкие пухлые щеки, чистая кожа, ясные, мало повидавшие синие глаза. Парнишке не терпелось поговорить. Он расспросил Минголлу о доме, о семье, поохал:

– Ух ты, здорово, наверное, жить в Нью-Йорке. – Но завел этот разговор он явно не просто так, к чему-то все время клонил и в конце концов выпалил: – Слышал про самми, который превратился в зверя? – спросил он. – Я видал вчера

вечером, как он дрался. Маленькая площадка в джунглях на запад от базы. Хозяина зовут Чако. Слушай, это же просто одуреть можно!

Минголла знал о бойцовых ямах из третьих или четвертых рук, и все какие-то ужасы; кроме того, трудно было поверить, что этот пацан с невинной физиономией маменькиного сынка окажется поклонником такого дерьма. И еще труднее – несмотря на все недавние события – было поверить, что речь идет о Бейлоре.

Парнишка не нуждался в расспросах.

– Началось довольно рано, – говорил он. – Сперва пара боев, ничего особенного, – и тут появляется этот, весь какой-то дерганый. Видно, что самми, но как он смотрел в яму, знаешь, будто ему давно туда хочется. Со мной был один парень, приятель, толкает меня в бок и говорит: «Бля, да это ж Черный Рыцарь, я видал, как он дрался в Реюньоне. Ставь, не прогадаешь, – говорит. – Этот сукин сын – ас!»

Последний отпуск они провели как раз в Реюньоне. У Минголлы крутился в голове вопрос, но он не придумал, как его задать, чтобы ответ имел хоть маломальский смысл.

– Ну вот, – продолжал мальчишка. – Я здесь недавно, но даже я слышал о Рыцаре. Потому подошел и вроде как стал крутиться рядом; думаю, может, просеку, в какой он форме, знаешь, неохота же ставить наобум. Тут подходит Чако и спрашивает Рыцаря, не хочет ли тот поработать. А Рыцарь и говорит: «Ага, только я буду драться со зверем. Давай по-

круче, старик. Драться хочу – с кем покруче». Чако говорит, у него полно обезьян и все такое, а Рыцарь ему: я слышал, у тебя ягуар есть. Ну, Чако туда-сюда, может, есть, а может, и нету, да и вообще, ягуар для самми – это слишком. Тут Рыцарь и выдал Чако все, что про него думает. Ну, я тебе скажу: Чако будто подменили. Сообразил, какие пойдут ставки, если типа Черный Рыцарь против ягуара. Ну и понесло: «Да, сэр, мистер Черный Рыцарь, сэр! Все, что вам будет угодно!» И объявляет бой. Старик, там все с катушек съехали! Деньгами машут, орут свои ставки, хлещут прямо из горла, чтобы побыстрее надраться, а Рыцарь стоит себе спокойно так, с улыбочкой, как будто ему по фигу весь этот бардак. Тут Чако открывает тоннель и выпускает в яму ягуара. Не совсем взрослый ягуар, наполовину, может. Но и такого хватит, даже для Рыцаря.

Мальчишка перевел дух. Глаза его горели еще ярче.

– В общем, ягуар кружит и кружит около стенки, рычит и фыркает, а Рыцарь смотрит сверху, примечает, как тот шевелится, ну, ты понимаешь. Толпа орет: «Сам-ми! Сам-ми! Сам-ми!» – а когда они вопят уже во всю глотку, Рыцарь достает из кармана три ампулы. Чтоб мне сдохнуть, старик! Три! Никогда и не видел, чтобы самми щелкал больше двух. С трех можно улететь к ебням! Ну вот, поднимает Рыцарь свои ампулы, и толпа совсем с катушек съехала – ревут, как будто они все тоже самми. А Рыцарь, слушай, стоит себе спокойно. Какой мужик, а! Ампулы блестят, как будто набра-

лись всей этой энергии, соки из толпы высасывают. Чако руками замахал, чтоб все затихли, и выдает речь – ну, ты понимаешь, в сердце каждого мужчины дух воина, только ждет, чтобы его выпустили на свободу, то-се. Слушай, раньше меня от этих речей блевать тянуло, но посмотрел на Рыцаря и поверил на все сто. Он крут, черт побери! Снимает рубашку, ботинки, обвязывает руку черной шелковой ленточкой. А потом щелкает ампулы – быстро, одну за другой – и все вдыхает. Я вижу, как они лупят, у Рыцаря глаза загораются. Заводится. Щелкает последнюю и сразу – прыг в яму. Не через тоннель, слышишь. Прыжком! До песка двадцать пять футов, а он приземляется в боевую стойку!

Три других солдата придвинулись поближе, прислушались, пацан теперь обращался ко всем сразу, играя на публику. Он так разошелся, что временами не мог совладать с собственным языком, и Минголла с отвращением отметил, что его тоже впечатлил образ Бейлора, приземлившегося на песок в боевую стойку. Бейлора, который плакал после той атаки. Бейлора, который так боялся снайперов, что однажды нассал в штаны, лишь бы не идти от орудия к сортиру.

Бейлор – Черный Рыцарь.

– Ягуар ревет, плюется, бьет лапами по воздуху, – продолжал мальчишка. – Наверное, чтоб запугать Рыцаря. Вообще-то, он знает, что с Рыцарем шутки плохи. Это тебе не придуток Чако, это – самми! Рыцарь выходит на середину ямы, все так же в стойке. – Пацан театрально понизил го-

лос. – Минуты две ничего, все только напрягаются. Никто не дышит. Ягуар прыгает раз-другой, но Рыцарь вовремя отступает в сторону – и тот промахивается. Каждый раз, как ягуар бросается, толпа сперва охает, потом вопит – и не только потому, что думает: Рыцаря сейчас разорвут, просто видно же, какая реакция. Слушай, скользкий как шелк! Невероятно! Не хуже ягуара! Так и танцует и все время уворачивается, и, как ни вертится ягуар, как ни машет хвостом и лапами, как ни старается подобраться по песку, не достать ему Рыцаря своими когтями. И тут, слушай... как это было клево! Ягуар прыгает, но теперь, вместо того чтобы уйти в сторону, Рыцарь падает на спину, перекатывается на плечи и, когда ягуар пролетает сверху, – лупит обеими ногами. Сильно лупит! Пятками прямо в бок. Ягуар врезается в стену, визжит и ползет на песок, аж ребра трещат. Переломал, слушай. Выпирают из-под кожи, как спицы из зонтика.

Пацан вытер рот тыльной стороной ладони и обвел взглядом Минголлу и солдат, проверяя, насколько их захватила история.

– Все орут как ненормальные, – продолжал он. – Лупят кулаками по верхотуре ямы. Приятель что-то вопит мне в самое ухо, а я не слышу – такой стоит шум. Ну вот, то ли от этого шума, то ли из-за ребер, не знаю... только ягуар совсем одурел. Бросается на Рыцаря, но сперва подбирается поближе, – чтобы Рыцарь не повторил тот трюк. И ревет, что твоя бензопила! А Рыцарь все отпрыгивает и уворачивается. И

вдруг он спотыкается, слушай, хватается за воздух, но ягуар уже рядом, дерет ему грудь когтями. Секунду они как будто вальс танцуют. И тут Рыцарь отрывает от груди лапу, отводит ягуарью башку назад и со всего размаху лупит кулаком в глаз. Ягуар валится на песок, а Рыцарь прыгает к другой стене. Смотрит, что у него с грудью, кровящи – жуть. Ягуар тем временем поднимается, но ему уже херово, совсем не то, что раньше. Глаз в крови, задние лапы вывернуты черт-те как. Был бы это бокс, позвали б врача. Короче, ягуар решает, что с него хватит этого говна, и как начнет выпрыгивать из ямы. Один раз прямо рядом со мной. Так близко, что даже дыхнул на меня, и я рассмотрел свое отражение в том глазу, который еще цел. Цепляется за край, хочет вылезти – прямо в толпу. Все жуть как пересрались – а вдруг и вправду вылезет. Но не успевает – Рыцарь хватается за хвост и швыряет об стену. Как если бы ковер вытрясал. Так и он с ягуаром. Теперь точно пиздец. Ягуар весь трясется. Из пасти кровь, клыки красные. А Рыцарь знай дразнится, машет руками и рычит. Как будто игрушка. Народ не верит своим глазам, слушай. Самми раздолбал ягуара, а теперь играет. Если раньше там был дурдом, то теперь стал натуральный зоопарк. Дерутся, кто-то орет морской гимн. Одна косоглазая дура из бобиков раздевается у всех на глазах. Ягуар опять подбирается поближе к Рыцарю, но видно, что ему уже кранты. Даже лапы не собрать. А Рыцарь все рычит и дразнится. Какой-то мужик у меня за спиной начинает бухтеть, что это не спорт, что

нельзя дразнить животное. Но черт побери! Я-то вижу, что Рыцарь просто тянет время, рассчитывает нужный момент и нужный удар.

Пацан мечтательно посмотрел на реку: с такой физиономией он мог бы вспоминать подружку.

– Все уже понимают, что сейчас будет, – продолжал он. – Притихли – даже слышно стало, как Рыцарь шаркает ногами по песку. Прямо в воздухе висело, что ягуар собирает силы для последнего прыжка. И тут Рыцарь опять спотыкается, только теперь уже нарочно. Я-то вижу, что нарочно, а ягуар – нет. И вот Рыцарь валится в сторону, а ягуар прыгает. Я думал, Рыцарь повалится на спину, как в прошлый раз, но он тоже прыгает. Ногами вперед. Точно зверю под челюсть. Слышно, как трещат кости; ягуар падает, просто как тряпка. Потом думает подняться, но куда там! Только воет и весь песок в говне. А Рыцарь подходит сзади, хватает обеими руками за голову и выворачивает. Хрусть!

Будто сочувствуя судьбе ягуара, парнишка закрыл глаза и вздохнул.

– До этого хруста все сидели тихо, потом начался бедлам. Народ орет «Самми, самми», прутся к барьеру, чтобы не пропустить, когда Рыцарь будет вырывать сердце. А тот лезет ягуару в пасть, выламывает клык и швыряет его в толпу. Тут из тоннеля появляется Чако и дает ему нож. И вот он уже собрался резать ягуара, но тут кто-то сшиб меня с ног, а когда я поднялся, смотрю, Рыцарь уже вырезал сердце и даже

успел попробовать. Стоит, значит, рот в ягуарьей крови, по груди течет собственная. И какой-то он потерянный, знаешь. Вроде как бой закончился, и что делать дальше – непонятно. И тут он как заревет! В точности как ягуар – еще когда у него ребра были целы. Такая жуть – с ума сойти можно. Как будто собрался идти против всего этого проклятого мира. Слушай, меня проняло! Как будто я сам в этом реве. Может, я тоже ревел, а может, и все ревели. Такое было чувство, понимаешь. Как будто ревут все глотки в мире, а ты посередине. – Серьезный взгляд пацана задел Минголла за живое. – Народ кругом болтает, что эти бои – зло, может, так оно и есть. Я не знаю. Как отличишь, что на самом деле зло, а что нет? Говорят, можно тысячу раз ходить к яме, но ничего похожего на Черного Рыцаря с ягуаром в жизни не увидеть. Я не знаю. Но я все равно буду туда ходить – вдруг еще повезет. Потому что вчера я видел настоящее зло, слышишь, настоящее зло, еб вашу мать, и оно было прекрасно.

Глава третья

На пристани его ждала Дебора, на ней было длинное голубое платье с высоким, как у школьницы, воротом, в руках – корзинка для пикников. Совсем домашний вид. Ниспадавшие на плечи темные завитки волос напоминали твердый дым, а лицо казалось Минголле картой прекрасной страны с темными озерами и пасмурными равнинами – страны, в которой он мог бы укрыться. Они шагали вдоль реки в обход города, пока не вышли на поляну; к самой воде там подступали капоковые деревья с тяжелыми кронами воощеных зеленых листьев, беловой корой и похожими на хвосты аллигаторов корнями; там Минголла с Деборой разговаривали, ели, слушали, как плещется о глинистый берег река, щебечут птицы, а гул далекой авиабазы кажется вполне природным шумом. Вода блестела на солнце, и, когда ветер поднимал рябь, это сияние словно размазывалось по переливающейся алмазной корке. Минголле мерещилось, что, обнаружив тайную тропку, они с Деборой завернули за угол мира и попали в страну вечного покоя. Иллюзия была настолько глубокой, что Минголла даже начал на что-то надеяться. Вдруг, думал он, именно здесь ему что-то откроется. Какая-нибудь новая магия. Может, знак. Знаки есть везде, нужно только уметь их читать. Минголла посмотрел по сторонам. Толстые белые стволы вращались верхушками в зелень,

между ними темные листовенные проходы... это все ладно, но вот как насчет облепившей берег травы? Она отбрасывала на глину ирисовые тени, мало похожие на рваные очертания самих растений. Возможно, знак, хоть и неясный. Мингол-ла поднял глаза на росший в тени тростник. Желтые стебли, словно вывернутые суставы; с одних, словно нити мелкого жемчуга, свисают яйца насекомых, другие покрыты комками водорослей. Так они выглядели сейчас. Затем по картине пробежала рябь, точно сдвинулась сама реальность, и стебли тростника превратились в примитивные линии – из плоской синевы теперь торчали желтые палки. Джунгли на противоположном берегу стали простым мазком зеленого фломастера, а проплывавший по реке катер – красным замочком, растягивающим синюю молнию. Рябь беспорядочно перемешала детали пейзажа, показав со всей очевидностью, что каждый предмет заключает в себе не больше смысла, чем строительный блок. Мингол-ла потряс головой. Ничего не изменилось. Он потер лоб. Никакого эффекта. Перепугавшись, он зажмурил глаза. Теперь он был единственным значимым элементом в бессмысленной мозаике, уязвимым именно своей уникальностью. Он часто дышал, левая рука дергалась.

– Дэвид? Тебе неинтересно? – В голосе Деборы сквозило раздражение.

– Что неинтересно? – Он не мог открыть глаза.

– То, что мне снилось. Ты совсем не слушаешь?

Он скосил глаза. Все вернулось в норму. Дебора сидела,

подогнув под себя ноги, лицо – в четком фокусе.

– Прости, – сказал он. – Я задумался.

– Ты как будто чего-то боишься.

– Боюсь? – Он изобразил удивление. – Да нет, просто мысли всякие.

– Неприятные, наверное.

Он пожал плечами, ничего не ответил и сел попрямее, показывая, что готов внимательно слушать.

– Так что же тебе снилось?

– Ладно, – с сомнением сказала Дебора. Ветер бросил ей в лицо пряди волос, и она убрала их назад. – Ты в комнате, комната цвета крови, красные кресла и красный стол. Даже картины на стенах тоже в красных тонах, и... – Она умолкла и внимательно на него посмотрела. – Может, не стоит дальше? У тебя опять такой же вид.

– Ну что ты, – сказал Минголла. Но ему стало страшно.

Откуда она знает о красной комнате? Действительно видела во сне, и тогда... Потом он сообразил, что речь не обязательно должна идти о той самой красной комнате. Он ведь рассказывал ей об атаке, нет? А если она связана с герильеро, то она вполне могла знать, что на время атаки включается аварийный свет. Точно! Пугает, чтобы легче было уговорить дезертировать, давит на психику – христиане так пугают грешников, трындят про свои огненные реки и вечные муки. Минголла всерьез разозлился. Кто, черт подери, дал ей право учить его, что хорошо и что мудро? Как бы он ни

поступил, это будет его решение, а не чье-то еще.

– В комнате четыре двери, – продолжала Дебора. – Ты хочешь выйти, но не знаешь через которую. Толкаешь первую, но она фальшивая. У второй повернулась ручка, но саму дверь заклинило. Ты не стал в нее ломиться и сразу идешь к третьей. Она холодная, и ты испугался. У четвертой стеклянная ручка, и ты порезал ладонь. После этого ходишь взад-вперед по комнате, не зная, что делать. – Она подождала его реакции и, не дождавшись, спросила: – Ты понимаешь, что это значит?

Он молчал, сдерживая ярость.

– Перевести? – предложила она.

– Не стоит.

– Красная комната – это война, фальшивая дверь – твоя детская вера...

– Хватит! – Он схватил ее за руку и крепко сжал.

Дебора смотрела ему в глаза, пока он не выпустил руку.

– Твоя детская вера в магию, – продолжала она. – Третья дверь, которой ты боишься, – это Пси-корпус.

– Может, уже и не боюсь.

– Побочные эффекты – забыл?

– А тебе какое дело? – не выдержал он. – У вас что, квота?

Медаль вешают за пять дезертиров в месяц?

Она разгладила юбку, натянула ее на колени, покрутила болтавшуюся нитку. Глядя на все эти манипуляции, можно было подумать, что ей задан слишком личный вопрос и те-

перь она придумывает, как бы поделикатнее выкрутиться. Наконец сказала:

– Значит, вот кто я, по-твоему.

– А за каким иначе чертом ты вешаешь на меня все это говно?

– Что с тобой происходит, Дэвид? – Подавшись вперед, она приложила ладони к его щекам. – Зачем...

Он оттолкнул ее руки.

– Что со мной происходит? Вот все вот это! – Он обвел рукой небо, реку, деревья. – Все это и происходит. Ты как мои родители. Тоже обожают общие вопросы. – Неожиданно ему захотелось сделать ей больно, придумать ответ едкий, как кислота, выплеснуть ей в лицо и посмотреть, что останется от ее невозмутимости. – Знаешь, что я отвечаю родителям на мудацкие вопросы вроде такого вот: «Что с тобой происходит»? Я рассказываю истории. Про войну. Хочешь историю про войну? Пару дней назад как раз приключилась такая, что лучше ответа не придумаешь.

– Если не хочешь, можешь не рассказывать, – обескураженно сказала Дебора.

– Не вопрос, – ответил он. – С превеликим удовольствием.

Муравьиная Ферма занимала высокий и круглый, как сахарная голова, холм, господствующий над плотными джунглями у восточной границы квадрата Изумруд; на вершине холма торчали ракетные и артиллерийские установки, изда-

лека напоминая терновый венец, насаженный на чей-то зеленый череп. В сотнях ярдов вокруг вся растительность была уничтожена. Орудиям главного калибра придали максимальный отрицательный угол возвышения, и в какой-то безумный миг они выкосили огромную полосу джунглей, срубив в нескольких футах от земли полчище тяжеленных стволов и оставив на их месте ров из почерневших пней и красной, прорубленной трещинами выжженной земли. Кусты и деревья заменили клубками колючей проволоки, похожей на сюрреалистическую живую изгородь, а землю под ней напшиговали минами и детекторными устройствами. От последних, впрочем, было мало толку, поскольку техника кубинцев обнаруживала большую их часть. Ясными ночами можно было спать спокойно, зато в туман – жди беды. Под его прикрытием кубинцы и герильеро то и дело перебирались через проволоку и лезли в прорезающие холм тоннели. Иногда какая-нибудь мина все же взрывалась, и тогда посреди крутящейся белизны расцветал призрачный огненный шар, а из его центра разлетались во все стороны черные фигурки. В последнее время на головах этих несчастных находили красные береты с медными скорпионами, откуда стало известно, что кубинцы засылали на Ферму не кого-нибудь, а людей из дивизии Алакран, которая собственно и разгромила американцев под Мискицией.

Всего в холме было девять уровней тоннелей, вдоль которых располагались маленькие круглые комнатки для пер-

сонала (исключение составлял самый нижний уровень, отданный под компьютерный центр и служебные помещения); стены комнат и тоннелей покрывал слой белого пузырчатого пластика, похожего на застывшую пену и способного выдержать взрыв ручной гранаты. В комнате Минголлы, где кроме него спали еще Бейлор и Джилби, на потолочную лампочку был надет ярко-красный бумажный абажур, отчего казалось, что они живут в кровяной клетке; абажур понадобился Бейлору, утверждавшему, что от слишком яркого света у него болят глаза. Вдоль стен выстроились койки, разнесенные как можно дальше друг от друга. Пол перед койкой Бейлора был вечно завален сигаретными бычками и грязными клинексами, а под подушкой он держал жестяную коробку с заначенными колесами и марихуаной. Забивая косяк, Бейлор неизменно предлагал затянуться Минголле, который так же неизменно отказывался, считая, что жизнь на арт-базе невозможно загладить никакой дурью. Стену над койкой Джилби украшал коллаж из фотографий женских пипок; каждый день после дежурства Джилби укладывался под ними и дрочил, не обращая внимания на Минголлу и Бейлора. Это равнодушное бесстыдство заставляло Минголлу краснеть за собственный подростковый набор: вымпел «Янки», фотография старой подружки, еще одна – баскетбольной команды выпускного класса, рисунки окрестных джунглей. Джилби вечно издевался над его выставкой, называя Минголлу пай-мальчиком, и это казалось странным, поскольку

дома его, наоборот, считали оторвой.

К этой комнате и направлялся Минголла, когда началась атака. Под восточным и западным склонами холма ходили грузовые лифты, рассчитанные на шестьдесят человек каждый, но для быстрой переброски между соседними уровнями, а также на случай сбоя электричества через весь холм, словно громадная белая кишка, спиралью вился вспомогательный тоннель. По ширине в нем могли разъехаться две электротележки, в которых катались офицеры и заезжее начальство. Минголла приспособил этот тоннель для физкультуры. Каждый вечер, надев спортивный костюм, он пробегал вверх и вниз по всем девяти уровням, свято веря, что физическая усталость отведит дурные сны. В тот вечер он трусил по четвертому уровню на последнем, как он решил, восходящем отрезке, когда вдруг услышал грохот: взрыв, и где-то поблизости. Завыли сирены, на вершине холма загрохотали орудия главного калибра. Прямо над головой крики и автоматные очереди. Свет в туннеле вспыхнул и погас, замигала аварийка.

Минголла прижался к стене. В тусклом красном свете пузырчатая пластмасса казалась гладкой, как полость гигантского моллюска, и это лишь усиливало Минголлина беспомощность, он чувствовал себя ребенком, запертым в страшном подводном дворце. Он не мог спокойно думать и лишь представлял, какой хаос творится вокруг. Вспышки из винтовочных дул, армии человекомуравьев заполняют тоннели,

крики брызжут кровью, грохот орудий и разрывы снарядов озаряют небо на мили вокруг. Лучше всего пробираться наверх и как-нибудь выкарабкаться наружу, где оставался шанс спрятаться в джунглях. Но затея была безнадежной – надежда оставалась внизу. Минголла оттолкнулся от стены и побежал, пригнувшись, размахивая руками, тормозя на поворотах, чуть не упал, четвертый уровень, пятый. Между пятым и шестым он едва не налетел на труп: скрюченный американец прикрывал дыру в животе, из-под тела растекалась скользкая кровь, в руке мачете. Остановившись, чтобы подобрать это мачете, Минголла думал не о солдате, а о том, как это дико – американец защищается от кубинцев таким вот оружием. Потом он решил, что дальше бежать бесполезно. Тот, кто убил солдата, находится где-то внизу, и безопаснее всего спрятаться в одной из комнат пятого уровня. Выставив перед собой мачете, Минголла осторожно зашагал назад по тоннелю.

Пятый, шестой и седьмой уровни были офицерской вотчиной, и, хотя тоннели здесь ничем не отличались от верхних – извилистые трубы восемь футов в высоту и десять в ширину, – жилые комнаты были попросторней и всего на две койки. Те, куда заглядывал Минголла, оказывались пустыми, и в них, несмотря на звуки боя, думалось, будет безопасно. Но едва он успел свернуть в очередное кольцо, как позади громко закричали по-испански. Минголла осторожно выглянул из-за поворота. Тощий темнокожий солдат в крас-

ном берете и сером камуфляже подобрался к двери первой комнаты, взял автомат наизготовку и нырнул внутрь. Еще два кубинца – худые бородатые парни с землистыми в кровавом свете ламп лицами – стояли перед изогнутым входом во вспомогательный тоннель; дождавшись, когда чернокожий солдат вернется, они двинули в другую сторону, видимо собираясь проверить остальные комнаты в дальнем конце уровня.

С этой минуты Минголла действовал в каком-то паническом озарении. Он понимал, что сейчас уберет черного солдата. Уберет без суеты и спешки, после чего получит автомат и надежду захватить врасплох двух других, когда они вернутся назад. Скользя в ближайшую дверь, он прижался к стене справа от входа. Он заметил, что кубинец, заглянув в комнату, всегда поворачивал налево и тем самым становился уязвимым для той позиции, в которой сейчас застыл Минголла. Уязвимым на долю секунды. Меньше чем досчитаешь до одного. Кровь стучала у Минголлы в висках, левой рукой он сжимал мачете. Он прорепетировал в уме, что сейчас сделает. Выпад; рукой зажать кубинцу рот; колено вверх, выбить автомат. Все это одновременно и без ошибок.

Без ошибок.

Он едва не рассмеялся вслух, вспомнив слова пузатого тренера их баскетбольной команды: «Без ошибок, ребята. Техника пробивает все. Забудьте свои новомодные штуки. Четкий дриблинг, точный пас – и без промаха в очко».

Баскетбольные кольца – это та же жизнь, только в спортивных трусах, правда, тренер?

Минголла глубоко вдохнул и выпустил воздух через ноздри. Он не верил, что умрет. О смерти он думал все последние девять месяцев, однако сейчас, когда она стала более чем вероятной, у него не получалось смотреть на эту вероятность серьезно. Не может быть, чтобы Минголлиной немезидой стал тощий черный парень. Его гибель должна сопровождаться грандиозной вспышкой света, специальными антиминогольными лучами, звездными знаменами. А тут костлявый хер с ружьем. Минголла еще раз глубоко вздохнул и только теперь рассмотрел обстановку комнаты. Две койки, одежда разбросана, на стенах полярные снимки и порнография. Хоть и офицерская вотчина, но своя, все та же картинка Муравьиной Фермы; в красном свете комната выглядела заброшенной, как будто в ней давным-давно никто не жил. Минголлу поразило собственное спокойствие. Нет, со страхом было все в порядке! Просто он прятался в темных складках сознания, как нож убийцы в старом, брошенном на полке плаще. Тайно поблескивает, ждет, когда сможет сверкнуть. Рано или поздно страх его пронзит, но пока он – союзник, лишь обостряет ощущения. Минголла видел каждую вздутую морщинку на белой стене, слышал скрип кубинских сапог в соседней комнате, чувствовал, как солдат ведет автоматом слева направо, поворачивается...

Он чувствовал!

Он чувствовал кубинца, чувствовал его тепло, его нагревшую форму, точное положение его тела. Как будто в голове включился инфракрасный визор, проникавший даже сквозь стены.

Кубинец направился к Минголлиной двери; вещественное приближение, словно кто-то двигал горящую спичку за листом бумаги. Спокойствие разлетелось вдребезги. Его разрушило тепло этого человека, жар его плоти. Если раньше убийство представлялось Минголле чем-то химически чистым и упорядоченным, то сейчас на ум приходили свиньи на скотобойне и сваезабойщики, которые плющат коровьи черепа. И можно ли доверять этому капризному восприятию? Что, если нельзя? Что, если он ударит слишком поздно? Слишком рано? Горячее и живое было уже в дверях и не оставляло выбора: точно рассчитав миг, Минголла ударил, как только кубинец вошел в комнату.

Без ошибок.

Лезвие легко скользнуло под ребро, и Минголла зажал кубинцу рот, не давая кричать. Колено выбило приклад автомата, и тот со стуком упал на пол. Кубинец неистово дергался. От него несло гнилыми джунглями и сигаретами. Он закатывал глаза, силясь рассмотреть Минголлу. Сумасшедшие звериные глаза с желтушными белками и широкими зрачками. Капли пота на лбу отливали красным. Минголла провернул мачете, и кубинские веки захлопнулись. Однако секундой позже открылись снова, и кубинец навалился на Мин-

голлу. Шагнув в комнату, они закачались рядом с койкой. Минголла развернул кубинца боком, насадил на мачете, прижал к стене. Тот скорчился и чуть не вырвался. У него словно прибавилось сил, из-под Минголлиной руки просачивались взвизги. Кубинец выгнулся назад, вцепился Минголле в лицо, схватился за волосы, дернул. Минголла отчаянно крутил мачете. Взвизги стали громче и выше тоном. Кубинец извивался и царапал стену. Сжатая рука Минголлы сделалась скользкой от слюны кубинца, ноздри забивала тухлая вонь. Он чувствовал слабость, дурноту и не знал, сколько еще продержится. Сукин сын и не думал подыхать, он набирался энергии от своих толстых железных кишок и превращался в бессмертную силу. Но в этот миг кубинец застыл. Затем обмяк, и на Минголлу пахнуло фекалиями.

Он осторожно опустил тело на пол, но когда начал выдерживать мачете, по трупу пробежала судорожная дрожь, задрала рукоятку и встряхнула левую руку Минголлы. Дрожь так и осталась в руке, грубая и похотливая, как послеоргазменная судорога. Нечто – животная квинтэссенция, маслянистый огрызок отвратительной жизни – ползало вокруг и вливалось Минголле в запястье. Он с ужасом уставился на собственную руку. В кубинской крови, как в перчатке, она неистово тряслась. Минголла стукнул ею по бедру, как бы оглушив то, что внутри. Но через пару секунд оно ожило и теперь трепало его пальцы с бешеной стремительностью головастика.

– *Teo!* – позвал кто-то. – *Vamos!*⁵

Словно электрический разряд, окрик бросил Минголлу к двери. По пути он пнул ногой автомат кубинца. Подобрал, и дрожь в руке ослабла – видимо, знакомая тяжесть ее успокоила.

– *Teo! Donde estas?*⁶

Выбора не было, Минголла понимал, что медлить опасно, надо что-то отвечать. Он прохрипел:

– *Aquí!*⁷, – и вышел в тоннель, громко стуча каблуками.

– *Dase prisa, hombre!*⁸

Минголла открыл огонь, едва завернул за угол. Кубинцы стояли у входа в запасной тоннель. Они успели выпустить две короткие бесполезные очереди, полили свинцом стены, повернулись, взмахнули руками и повалились на пол. Обалдевший от того, как просто все получилось, Минголла не чувствовал облегчения. Он смотрел на кубинцев и ждал, когда они сделают что-то еще. Застонут или пошевелятся.

Эхо очередей затихло; несмотря на грохот орудий и треск автоматов, тоннель заполнила тяжелая тишина, как если бы Минголлины выстрелы проткнули сдерживавшую это молчание завесу. Тишина заставила осознать, что он один. Минголла понятия не имел, где проходит локальная линия фрон-

⁵ Тео! <...> Пошли! (исп.)

⁶ Тео! Ты где? (исп.)

⁷ Тут. (исп.)

⁸ Давай быстрее, приятель! (исп.)

та... если она вообще была. Не исключено, что небольшие отряды проникли на все уровни и сражение за Муравьиную Ферму теперь повторяет в миниатюре битву за Гватемалу: конфликт без контуров, без линии фронта и без упорядоченного противостояния; он мог, подобно чуме, вспыхнуть где угодно, когда угодно и кого угодно убить. Если это так, то лучше всего пробираться к компьютерному центру, где наверняка собрались свои.

Минголла подошел к арке и уставился на мертвых кубинцев. Упав, они загородили дорогу, и он боялся переступить через них, почти веря, что солдаты лишь притворяются мертвыми и вот-вот на него набросятся. Нелепо раскинутые руки и ноги заставляли его думать, что кубинцы специально застыли в таких неудобных позах и ждут, когда он подойдет поближе. В красном свете аварийки их кровь казалась пурпурной, гуще и ярче обычной. Минголла видел родинки, шрамы и царапины, грубые швы камуфляжа, золотые пломбы в раскрытых ртах. Даже смешно – встретить он этих ребят живыми, он запомнил бы лишь слабые образы, но одного взгляда на мертвых хватило на целый каталог особых примет. Наверное, подумал Минголла, смерть выявляет человеческую сущность так, как не умеет жизнь. Он изучал этих мертвецов, словно желая прочесть. Два худых жилистых парня. Нормальные ребята – ром, девушки и спорт. Наверняка бейсбол, внутреннее поле, двойная игра. Может, надо было им крикнуть: «Эй, я за „Янки“». Все путем! После

войны покидаем мяч – поверху и понизу. На хер стрельбу. Мячом лучше».

Он рассмеялся, и от собственного тонкого надтреснутого смеха ему стало страшно. Господи! Какого черта он здесь стоит – под что подставляется? И словно в подтверждение, нечто в его руке очнулось, пошевелилось и запрыгало. Проглотив страх, Мингол्ला перешагнул через трупы, и на этот раз, когда никто так и не схватил его за штаны, ему стало намного легче.

Ниже шестого уровня по вспомогательному тоннелю ползли клочья тумана, из чего Мингол्ला вывел, что кубинцы проникли сквозь склон холма, подорвав его, по-видимому, кумулятивным зарядом. Отверстие, скорее всего, находилось недалеко, и Мингол्ला решил, что если найдет его, то свалит к чертовой матери с Фермы и спрячется в джунглях. На седьмом уровне туман был совсем густым, а бледно-розовые круги аварийного света делали его похожим на воткнутый в огромную артерию хирургический тампон. Пятна копоти от разрывов гранат чернели на стенах, как пещерная живопись, у дверных проемов валялись трупы. По большей части американцы, сильно изуродованные. Мингол्ला с трудом пробирался между ними, но тут у него за спиной кто-то проговорил:

– Ни с места.

Мингол्ला хрипло вскрикнул, выронил автомат и повер-

нулся; сердце колотилось.

В проеме стоял гигант – шесть футов и семь-восемь дюймов, руки и торс штангиста, – он целился Минголле в грудь из сорок пятого калибра. На гиганте была гимнастерка с лейтенантскими нашивками, а почти детское лицо, хоть и перечеркнутое хмурыми морщинами, казалось мягким и флегматичным; в воображении Минголлы тут же возник Бычок Фердинанд⁹, размышляющий над заковыристой задачкой.

– Я сказал: ни с места, – буркнул лейтенант.

– Все в порядке, – сказал Минголла. – Я свой.

Лейтенант взъерошил густую каштановую шевелюру, моргал он как-то уж очень часто.

– Проверим, – ответил лейтенант. – Пошли в кладовую.

– А что проверять-то? – Паранойя нарастала.

– Не спорь! – сказал тот, в голосе искренняя мольба. –

Хватит с меня трупов.

Кладовая оказалась длинной узкой Г-образной комнатой в дальнем конце уровня, в ней стояли ряды упаковочных ящиков, аварийные лампы сквозь тонкую дымку казались цепочкой умирающих красных солнц. Лейтенант подвел Минголлу к изгибу «Г», и, свернув за него, тот увидел, что у комнаты нет задней стены. Взорванный на склоне тоннель выходил в черноту. С крыши свисали раздвоенные корни с насаженными на них комками почвы, и можно было по-

⁹ Персонаж одноименного мультфильма Уолта Диснея, снятого в 1938 г. по книжке детского писателя Манро Лифа (1905-1976).

думать, что тоннель ведет в мир черной магии; у самого входа высилась груда земли и булыжников. Пахло джунглями, и Минголла вдруг сообразил, что орудия не стреляют. Отсюда следовало, что кто бы ни победил в битве за верхушку холма, скоро явятся отряды зачистки.

– Здесь нельзя оставаться, – сказал Минголла лейтенанту. – Кубинцы еще вернутся.

– Никто нас не тронет, – ответил лейтенант. – Можешь мне поверить. – Он качнул дулом пистолета, приказывая Минголле сесть на пол.

Тот выполнил приказ и вдруг оцепенел: напротив между двумя ящиками лежал труп – кубинский, – голова упиралась в стену.

– Господи! – воскликнул Минголла и встал на колени.

– Он не кусается.

С безразличием пассажира метро, который втискивается на свободное место, лейтенант расположился рядом с трупом; два тела заняли почти все пространство между ящиками, локоть одного касался плеча другого.

– Ну, знаешь, – проговорил Минголла, ему было тошно и страшно. – Не хочу я сидеть с этим блядским трупом!

Лейтенант помахал пистолетом.

– Скоро привыкнешь.

Минголла снова сел, не в силах отвести от трупа взгляд. Вообще-то, по сравнению с теми, через которые он недавно перешагивал, этот выглядел пристойно. Единственный

знак насилия – кровь на губах в черной кудрявой бороде да еще посередине груди кровавое болото и лохмотья одежды. Медный скорпион на берете потускнел и ободрался. Осколки аварийного света, отражаясь в широко открытых глазах, придавали трупу зловещее подобие жизни. Впрочем, из-за этих отражений труп казался не совсем настоящим, и терпеть его присутствие было легче.

– Слушай меня, – скомандовал лейтенант. Минголла стирал кровь с трясущейся руки, надеясь, что это чему-то поможет.

– Ты слушаешь? – повторил лейтенант.

Станным образом Минголла начал воспринимать лейтенанта и этот труп как куклу и чревовещателя. Несмотря на горящие глаза, труп казался слишком реальным, и это не получалось списать на фокусы со светом. На ногтях проступали ровные полумесяцы, щека и висок с той стороны, куда склонилась голова и где, соответственно, скопилась кровь, потемнели, остальные же части лица, наоборот, стали бледными. А вот сидевший рядом лейтенант в своей аккуратной гимнастерке, вычищенных сапогах и с ровной стрижкой выглядел абсолютно нереально.

– Слушай! – страстно воскликнул он. – Ты понимаешь, что я должен думать в первую очередь о себе? – Бицепс вооруженной пистолетом руки раздулся до размеров пушечного ядра.

– Понимаю. – Минголле уже было все равно.

– Да? Правда понимаешь? – Ответ только больше разозлил лейтенанта. – Не верю. Не верю, что ты вообще способен хоть что-то понять.

– Может, и так, – согласился Минголла. – Как тебе нравится. Я хотел как лучше.

Лейтенант молчал и моргал. Затем улыбнулся.

– Меня зовут Джей, – сказал он. – А тебя?..

– Дэвид. – Минголла пытался сосредоточиться на пистолете, прикинуть, нельзя ли его выбить, но мешал обломок жизни в собственной руке.

– Где твоя комната, Дэвид?

– На третьем уровне.

– А моя здесь, – сказал Джей. – Но я переезжаю. Не могу я больше выносить, когда... – Он не закончил, наклонился вперед и продолжил заговорщицким тоном: – А ты знал, что люди умирают очень долго, даже если сердце уже остановилось?

– Нет, не знал. – Нечто в руке у Минголлы поползло к запястью, и он сдавил его, перекрывая доступ.

– Так и есть, – сказал Джей с огромной убежденностью. – Эти, – он легонько толкнул локтем труп, и его жест поразил Минголлу своей жутковатой фамильярностью, – еще не кончили умирать. Жизнь не выключается. Она гаснет. Эти люди живы хотя б наполовину. – Он ухмыльнулся. – Полураспад жизни, можно сказать.

Все еще сжимая запястье, Минголла улыбнулся, как бы

оценив шутку. Между ними клубились завитки тумана.

– Конечно, раз ты ни на кого не настроен, – сказал Джей, – все равно не поймешь. А я бы без Элигио пропал.

– Что за Элигио?

Джей кивнул на труп.

– Мы настроились друг на друга. Мы с Элигио. Через него я знаю, что здесь нас никто не тронет. Он больше не привязан к здесь и сейчас. Он теперь со своими людьми и говорит мне, что они все или уже умерли, или умирают.

– Угу. – Минголла напрягся. Он сумел-таки выдавить нечто из ладони в пальцы и теперь думал, как бы дотянуться до пистолета. Джей, однако, переложил его в другую руку и тем разрушил Минголлины планы. Глаза лейтенанта ярко горели, словно их покрывала рубиновая пленка, – так получилось потому, что он слишком сильно таращил их на аварийные лампы.

– Есть о чем подумать, – сказал Джей. – Еще как.

– О чем? – спросил Минголла, двигаясь в сторону, чтобы сесть поближе, если придется бить.

– О полураспаде жизни, – ответил Джей. – Если у мозга есть полужизнь, то, наверное, и у каждого чувства тоже? Полураспад любви, ненависти. Может, они где-то еще существуют. – Подтянув колени к груди, он загородил пистолет. – Как бы то ни было, я здесь больше не могу. Поеду в Окленд. – Теперь он шептал. – Ты сам-то откуда, Дэвид?

– Из Нью-Йорка.

– Нет, это не по мне, – сказал Джей. – Я залив люблю. У меня там антикварная лавка. По утрам знаешь как красиво. Тихо. Солнце заглянет в окно, поползет по полу, как прилив, знаешь, потом заберется на мебель. Как будто старый лак опять живой, и вся лавка сияет антикварными огнями.

– Здорово, наверное, – проговорил Минголла. Он не ждал от Джея такой лирики.

– Ты вроде неплохой парень. – Джей сел попрямее. – Но ничего не поделаешь. Элигио говорит, у тебя туман в голове, не читается ни хрена. Говорит, нельзя рисковать. Так что придется мне тебя застрелить.

Минголла собрался бить, но потом ему стало все равно. Какая к черту разница? Даже если он и выбьет пистолет, Джей так и так разорвет его на части.

– Зачем? – спросил Минголла. – Зачем застреливать?

– А вдруг ты на меня донесешь? – Мягкое лицо Джея огорченно вытянулось. – Скажешь, что я прятался.

– Всем насрать, прятался ты или нет, – ответил Минголла. – Я сам, что ли, не прятался? И зуб даю, тут еще полсотни таких же.

– Ну, не знаю. – Джей наморщил лоб. – Давай еще спрошу. Может, у тебя в мозгах туману поубавилось. – Он перевел взгляд на мертвеца.

Минголла заметил, что радужки кубинца направлены влево-вверх – под тем же углом, что и взгляд лейтенанта, когда он смотрел на лампу, – и покрыты точно такой же рубиновой

пленкой.

– Извини, – сказал Джей, поднимая пистолет. – Ничего не поделаешь. – Он облизал губы. – Если тебе не трудно, поверни, пожалуйста, голову. Я не хочу, чтобы ты на меня смотрел. Мы с Элигио так друг на друга и настроились.

Взгляд в пистолетное дуло подобен взгляду с обрыва – Минголла чувствовал холодное обаяние пропасти. И не столько из желания жить, сколько из простого упрямства он вперил глаза в Джея:

– Стреляй.

Джей моргал, но пистолет держал крепко.

– У тебя дрожит рука, – сказал он, помолчав.

– Хуйня, – ответил Минголла.

– Почему дрожит?

– Потому что этой рукой я только что убил человека, – ответил Минголла. – Потому что я такой же ебанный псих, как и ты.

Джей задумался.

– Сперва меня приписали к голубым, – сказал он наконец. – Но там все было забито, тогда меня отправили сюда и дали лекарство. Теперь я... я... – Он часто заморгал, раскрыл рот, и Минголла обнаружил, что тянется к нему, чтобы обнять, утешить, как-то помочь взобраться на эту мучительную гору. – Я не могу... больше спать с мужчинами, – закончил Джей и опять часто заморгал; слова пошли легче – Тебе тоже давали лекарство? То есть я не к тому, что ты го-

лубой. Просто у них теперь есть лекарства от чего хочешь, и я подумал, может, оттого все и беды.

Минголле вдруг стало невыразимо грустно. Как будто раньше все его чувства кто-то скрутил в тонкую черную проволоку, а теперь эта проволока порвалась и сыплет во все стороны тоскливые искры. Только они и поддерживали в Минголле жизнь. Маленькие черные искры.

– Я честно дрался, – сказал Джей. – И сегодня тоже. Но когда застрелил Элигио... я больше не могу.

– Мне, правда, все равно, – сказал Минголла. – Не вру.

– Может, и не врешь. – Джей вздохнул. – Жалко, что ты не настроен. Элигио – добрая душа. Тебе бы он понравился.

Джей все говорил и говорил, перечисляя достоинства Элигио, и Минголла отвернулся – он не желал слушать, как этот кубинец любит свою семью и как волнуется за них даже после смерти. Глядя на свою окровавленную руку, Минголла, точно по волшебству, увидел себя со стороны. Сидит в чреве кошмарной горы, купается в зловещем красном свете, в теле заперт огрызок чужой жизни, слушает свихнувшегося великана, который подчиняется приказам трупа, и ждет, когда из тоннеля, ведущего в измерение тьмы и тумана, ползут солдаты-скорпионы. Это было сумасшествие. Но оно было. Видение не подчинялось разумным доводам и не пропадало; его жестокое очарование превосходило разум, делало разум ненужным.

– ...А когда настроились, – говорил Джей, – то уже не раз-

делишься. Даже в смерти. Так что Элигио теперь всегда будет во мне. И уж точно нельзя, чтобы узнали. – Он рассмеялся, как будто игральные кости в стакане стукнулись друг о дружку. – А то скажут, врага приютил.

Минголла опустил голову и закрыл глаза. Может, Джей и выстрелит. Но вряд ли. Лейтенанту нужен был друг по безумию.

– Поклянись, что никому не расскажешь, – попросил Джей.

– Ага, – пообещал Минголла. – Клянусь.

– Ладно, – сказал Джей. – Только помни: мое будущее в твоих руках. Ты теперь за меня отвечаешь.

– Не волнуйся.

Вдалеке шелкнули выстрелы.

– Хорошо поговорили, – сказал Джей. – Мне теперь намного лучше.

Минголла сказал, что ему тоже лучше.

Они сидели молча. Не самый безопасный способ провести эту ночь, но Минголлу мало интересовала безопасность. Он слишком устал, чтобы бояться. Джей впал в транс, уставившись куда-то над головой у Минголлы, но тот даже не пошевелился, чтобы отобрать пистолет. Он просто сидел и ждал, предоставив судьбе плыть своим курсом. Мысли раскручивались в голове с медлительностью растения.

Так они просидели, наверное, часа два, пока Минголла не услышал шелест вертолетных винтов и не заметил, что туман

сильно поредел, а темнота в конце тоннеля отступила и стала серой.

– Эй, – окликнул он Джея. – Кажется, пронесло.

Тот ничего не ответил, и Минголла обратил внимание, что глаза лейтенанта смотрят вверх и влево, как у мертвого кубинца, и горят тем же отраженным рубиновым светом. Он нерешительно потянулся и тронул пистолет. Рука Джея упала на пол, но пальцы крепко держали рукоятку. Минголла отпрянул. Не может быть! Снова протянул руку, нащупал пульс. Запястье было холодным, твердым, а губы слегка посинели. Минголла готов был провалиться в истерику: с этими настройками Джей все перепутал – не Элигио стал частью его жизни, а сам он – частью чужой смерти. У Минголлы сдавило грудь, он чуть не плакал. Он бы обрадовался слезам, но слез не было; он разозлился на себя самого и одновременно принялся оправдываться. С какой стати он должен плакать? Кто ему этот Джей... хотя слез было достойно одно то, что у Минголлы не нашлось к лейтенанту сострадания. И тем не менее если рыдать над такой обыденностью, как смерть одного лейтенанта, то что дальше? Минголла глядел на Джея. На кубинца. У лейтенанта была гладкая кожа, у Элигио – борода, однако Минголла мог поклясться, что они похожи друг на друга, как бывают похожи старые супруги. И – да! – две пары глаз смотрели в одну и ту же точку вечности. Или это было дьявольским совпадением, или безумие Джея разрослось до того, что он заставил себя умереть, лишний раз до-

казав собственную теорию полураспада жизни. А может, он еще был жив. Полужив. Может, они с Минголлой настроились друг на друга, и тогда... Испугавшись, что Джей и кубинец втянут его в свое смертельное бдение, Минголла неуклюже поднялся на ноги и выскочил из тоннеля. Он мог бежать и дальше, но, оказавшись под предрассветным небом, застыл, пораженный.

За его спиной возвышался зеленый купол холма, склоны украшала парча из кустов и лиан, и бесконечность этого узора приковывала глаз подобно затейливому резному фасаду индуистского храма; в одну из артиллерийских установок на вершине угодил снаряд, и остатки обугленного металла закручивались, словно кожура черного плода. Перед Минголлой лежал ров красной земли с живой изгородью из колючей проволоки, а чуть ниже начинался черно-зеленый клубок джунглей. В проволоке запутались сотни мешковатых фигур в окровавленных камуфляжах, остатки дыма крутились в свежих воронках. В небе, полускрытые ползущим вверх серым маревом, висели три «Сикорских». Пилоты оставались невидимыми за многослойным туманом и бликами, и сами вертолеты казались огромными трупными мухами с выпученными глазами и вертящимися крыльями. Дьяволы. Или боги. Они перешептывались в предвкушении скорого банкета.

Ужасная сама по себе сцена звала к жизни чистоту балладной строфы – из тех, что складывают на границе ада во

славу высокой трагедии. Написать такую картину невозможно, а если бы кто-то решился, ему понадобился бы холст равный всему этому пространству, и в него пришлось бы затолкать медленное кипение тумана, мелькание вертолетных лопастей и стелющийся дым. Не упустив ни единой детали. Получилась бы превосходная иллюстрация к войне со всей ее тайной магией и великолепием; Минголла и сам попал бы в композицию – фигура художника, нарисованная то ли в шутку, то ли для того, чтобы задать масштаб и перспективу всему этому величию и важности. Пора было идти отмечаться на боевом посту, но Минголла не мог заставить себя отвернуться от этого случайного сердца войны. Он сел на склон, устроил на коленях большую руку и стал смотреть: с тяжеловесным апломбом идолов, касаясь земли, сражаясь с боковым ветром и поднимая вихри красной пыли, «Сикорские» искусно приземлялись среди мертвецов.

Глава четвертая

Примерно в середине своего рассказа Минголла понял, что на самом деле ему нужно не столько задеть или шокировать Дебору, сколько выговориться самому, а еще чуть позже до него дошло, что, пересказывая все это, он если не разрывает свою связь с прошлым, то хотя бы ослабляет ее. Впервые он был способен всерьез думать о дезертирстве. Он не собирался бежать прямо сейчас, но отдавал себе отчет в том, что это было бы логично, и ясно понимал всю алогичность возвращения к новым атакам и новым смертям теперь, когда никакая магия его больше не защищает.

Минголла заключил сам с собой договор: он сделает вид, что вправду хочет дезертировать, и посмотрит, появятся ли какие-нибудь знаки.

Минголла закончил рассказ, и Дебора спросила, перестал ли он злиться. Ему понравилось, что она не стала его утешать.

– Извини, – сказал он. – Я злился не на тебя... по крайней мере, не только на тебя.

– Все нормально.

Она отвела копну темных волос назад так, что они теперь падали с одной стороны, и принялась разглядывать траву у своих коленей. Склоненной головой, полуприкрытыми веками, изящной шеей и подбородком она напоминала героиню

какой-то экзотической пьесы и сама по себе казалась добрым знаком.

– Не знаю я, о чем с тобой говорить, – сказала она. – То, что нужно сказать, тебя опять разозлит, а пустая болтовня не идет в голову.

– Я не люблю, когда на меня давят, – ответил Минголла. – Но можешь мне поверить, я думаю о том, что ты сказала.

– Я не буду давить. Но все равно не знаю, о чем нам разговаривать.

Она сорвала былинку и принялась жевать ее кончик. Минголла разглядывал морщинки у нее на губах и думал о том, какая она на вкус. Рот сладкий, как банка, в которой когда-то держали пряности. Внизу тоже сладкая: мед, чуть-чуть перестоявший в сотах. Дебора уронила травинку на землю.

– Я придумала, – бодро сказала она. – Хочешь посмотреть, где я живу?

– Неохота так рано во Фриско.

«Где ты живешь, – подумал он. – Хочу пощупать, где ты живешь».

– Это не в городе, – возразила она. – Это в деревне ниже по реке.

– Интересно.

Он встал, протянул ей руку, помог подняться. На секунду они оказались совсем рядом, ее груди задела Минголлину рубашку. Тепло окружало его со всех сторон, и Минголла подумал, что если бы кто-то сейчас на них смотрел, то видел

бы расплывчатые, как мираж, силуэты. Захотелось сказать, что он ее любит. Больше всего Минголлу занимало сейчас спасение, которое предлагала Дебора, в остальном чувства казались ему настоящими, и это обескураживало, ведь между ними было всего-то навсего несколько часов без войны, ужин в дешевом ресторане и прогулка у реки. Маловато для внятных чувств. Но прежде чем он успел что-то сказать или сделать, Дебора повернулась и взяла корзинку.

– Тут недалеко, – сказала она и зашагала вдоль берега. Голубая юбка раскачивалась, словно колокол.

Они шли по темной глинистой тропинке, заросшей папоротником, затененной бледной полупрозрачной листвой молодых побегов, и вскоре вышли к устью впадавшего в реку ручья и к крытым соломой хижинам на его берегах. В ручье брызгались и смеялись голые ребятишки. Кожа у них была янтарного цвета, а глаза влажные и темно-багряные, как сливы. Над хижинами нависали пальмы и акации, а сами они были построены из тех же побегов, связанных вместе нейлоновыми веревками; ровно уложенная солома напоминала стрижку под горшок. С веревки, натянутой между двумя домиками, свисали полоски мяса, по мясу ползали мухи. На охряной земле валялись рыбы головы и куриный помет. По Минголлу почти не замечал этой нищеты, вместо нее он видел знак мирной жизни, которая, вполне возможно, ждала его в Панаме. Вскоре объявился еще один. Дебора купила в маленьком магазинчике бутылку рома, затем повела Мин-

голлу к хижине у самого устья и познакомила с тощим седым стариком, сидевшим у стены на лавочке. Тио Мойсес. После трех стаканов Тио Мойсес начал рассказывать истории.

Первая была о личном пилоте экс-президента Панамы. Бывший президент контрабандой переправлял в Штаты кокаин и сделал на этом миллиарды – не без помощи ЦРУ, которому он неоднократно оказывал услуги, – сам, однако, был наркоманом в последней стадии. У него осталась одна радость в жизни – летать по всей стране из одного города в другой, садиться на взлетные полосы, глазеть в окно и нюхать кокаин. В любое время дня и ночи он мог вызвать своего пилота и приказать ему готовить рейс в Колон, или в Бокас-дель-Торо, или в Пенономе. Скоро президент стал совсем плох, и пилот понял, что рано или поздно ЦРУ решит, что толку от него нет никакого, и просто уберет. А тут самое простое – организовать авиакатастрофу. Умирать пилоту не хотелось. Он подал в отставку, но президент не отпустил. Пилот подумывал, как бы ему слегка покалечиться, но был хорошим католиком и боялся искушать Господа. Он мог бы сбежать, но тогда пострадает семья. Жизнь его стала кошмаром. Перед каждым полетом он часами обшаривал самолет, выискивая самые мелкие следы, а после посадки подолгу сидел в кабине, трясясь от нервного истощения. Президент уже совсем никуда не годился. Теперь его заносили в самолет на руках, после чего один помощник занимался кокаином, а второй стоял рядом с ватными тампонами на слу-

чай, если у главы государства пойдет носом кровь. Понимая, что счет его жизни пошел на недели, пилот отправился за советом к священнику. Молись, порекомендовал тот. Пилот и без того все время молился, так что толку от совета было мало. Следующим оказался его бывший наставник, комендант военного училища, который велел пилоту честно исполнять свой долг. Но он и без того все время только тем и занимался. Наконец пилот отправился к вождю индейцев санблас, в племя своей матери. Вождь сказал, что надо смириться с судьбой, и это – хотя судьбой пилот за все время еще не успел заняться – как-то тоже не очень вдохновляло. Тем не менее, раз уж другого способа все равно не видно, пришлось послушаться наставлений вождя. Вместо того чтобы тратить долгие часы на предполетную профилактику, он теперь приезжал на аэродром за несколько минут до вылета и выруливал на полосу, даже не взглянув на датчик горючего. О его безрассудстве судачила вся столица. Повинуясь капризам президента, пилот летал в грозу, в туман, пьяный и обкурившийся и, проболтавшись столько времени между законами тяготения и судьбы, совершенно по-новому полюбил жизнь. Стоило пилоту вернуться на землю, как он с неистовой жадностью на эту жизнь набрасывался: страстно любил жену, пировал с друзьями и шлялся неизвестно где до самого рассвета. Но в один прекрасный день, когда он уже собрался ехать в аэропорт, к нему домой явился американец и сказал, что пилот уволен.

– Мы не можем позволить президенту летать с таким безответственным пилотом: если что-то вдруг случится, обвинят нас, – сказал американец.

Пилоту не нужно было объяснять, кто такие «мы». Через полтора месяца президентский самолет разбился над Дарьенскими горами. Пилот был вне себя от счастья. Страна избавилась от негодея, и жизни летчика для этого не потребовалось. Но через неделю после катастрофы и, соответственно, после вступления в должность нового президента – тоже контрабандиста и тоже со связями в ЦРУ – пилота вызвал к себе командующий воздушных сил, заявил, что, если бы пилот выполнял свою работу, катастрофы не случилось бы, и отправил его летать на самолете нового президента.

Минголла слушал и пил почти до вечера, хмель прилаживал к его глазам линзы, и он все яснее видел, какое отношение эти истории имеют к нему самому. Притчи о человеческой нерешительности призывали его действовать, и они же вытаскивали на свет главную беду центральноамериканцев, застрявших, как и Минголла, между полюсами магии и разума: их жизнями управляла политика сверхъестественного, а душами – мифы и легенды; сверху – прямоугольная компьютеризированная глыба Северной Америки, снизу – Америка Южная, загадочный континент-воронка. Минголла был почти уверен, что Тию Мойсес излагал свои истории по указке Деборы, сила знаков от этого нисколько не уменьшалась – в рассказах звучала правда и ни намек на что-то специаль-

но скроенное для Минголлиных нужд. А потому не имели значения ни трясущаяся рука, ни сюрпризы зрения. Все это пройдет, стоит лишь добраться до Панамы.

Тени расплывались, комары гудели, как тамбурины, сумерки размывали небо, воздух становился зернистым, а рябь на реке медленной и тяжелой. Внучка Тио Мойсеса принесла тарелки с жареной кукурузой и рыбой, Минголла проглотил свою порцию. После ужина старик заметно устал, и Дебора с Минголлой ушли гулять к ручью. На пустыре между двумя хижинами возвышался столб с разохшимся дощатым щитом и кольцом без сетки. Молодые ребята бросали мяч. Минголла присоединился. Вести по неровным кочкам было тяжело, но он все равно играл лучше, чем когда бы то ни было. Остатки хмеля подпитывали азарт, и, описав идеальную дугу, мяч то и дело падал сквозь кольцо. Даже под невозможными углами Минголла бросал поразительно точно. Забыв обо всем, он закручивал обманные финты, цепко работал на отборе, подпрыгивал за отскочившим мячом к щиту, постепенно превращаясь в самую проворную из теней, что в уже плотных сумерках скакали и размахивали руками.

Игра закончилась, показались звезды – как будто над пальмами натянули черный шелковый полог и прожгли в нем дырки. Землю перед хижинами освещали тусклые желоба фонарей, и пока Минголла с Деборой шли мимо хижин, армейская станция вела по радио репортаж с бейсбольного матча. Треск биты, рев толпы и следом крик комментатора:

«Вот это удар!» Минголла воображал, как мяч уносится во тьму, поднимается над стадионом, перелетает в Америку автомобильных парковок, застревает под колесом, где потом его найдет какой-нибудь ребенок и решит, что это чудо, а может, наоборот, катится через дорогу, останавливается под старой машиной, мерцает оттуда тайной белизной и выпускает из себя собранную в игре энергию. Счет был три-один, второй период. Минголла понятия не имел, кто с кем играет, да и какое это имело значение. Он сам сейчас бежал к бейсбольному дому, а волшебные подпрыгивающие броски закручивались вдоль особых, predetermined тропок. В центре неисчислимых сил находился Минголла.

У одной хижины свет не горел, зато стояли два деревянных кресла; Минголла с Деборой подошли поближе, и что-то в этой картине испортило Минголле настроение. Привкус ожидания, как в развернутых декорациях. Паранойя, подумал он. До сих пор все знаки были хороши, разве нет? Минголла с Деборой подошли к хижине, Дебора села в кресло у двери, а Минголле указала на другое. Отблески звезд сияли в ее глазах. В дверном проеме виднелся мешок, из него торчал краешек проволочного барабана.

– А как же твоя игра? – спросил он.

– Я решила провести этот вечер с тобой, – сказала она.

Минголла забеспокоился. Вообще все вокруг чем дальше, тем сильнее его беспокоило, только он не понимал почему. Нечто в левой руке шевельнулось. Минголла сжал кулак и

сел.

– Что... – начал он и тут же запутался, забыл, о чем хотел спросить. Вытер со лба пот. По желтому квадрату соседнего окна пробежала тень. Пульсирующая и волнистая. Минголла закрыл глаза.

– Что, э-э... – Он снова потерял мысль и, чтобы загладить неловкость, спросил первое, что пришло в голову: – Что происходит здесь... между нами? Я все думаю... – Он умолк. «Господи, что за чушь я несу! Это же просто наглость!» Похоже, он только что перечеркнул все свои шансы.

Но Дебора не возражала.

– Ты про наши отношения? – спросила она.

«Красиво излагает, – подумал он. – Очень деликатно. Гораздо тоньше, чем „Ты про еблю?“». Последнее подошло бы ему сейчас лучше всего.

– Ага, – сказал он.

– Я не знаю точно, – проговорила она. – Уедешь ты в Панаму или вернешься на свою базу, у нас все равно нет будущего. Но, – голос смягчился, – может, это не так уж важно.

Готового ответа у нее не нашлось, и это внушало доверие. Минголла открыл глаза. Мотнул головой, стряхивая новую рябь.

– А что важно? – спросил он и порадовался на себя самого. «Весьма дипломатично, Минголла. Пусть сама все скажет. Весьма, весьма дипломатично». Если бы еще не трясло так зверски.

– Ну, например, сильное влечение.

«Влечение? Угу, оно и есть, – подумал Минголла. – Сорвать бы с тебя это чертово платье!»

– А может, – продолжила Дебора, – что-то еще. Жаль, у нас так мало времени, мы бы, наверное, поняли.

Ловко! Мяч опять на его половине. Он попытался сосредоточиться, закрыл глаза и тут увидел Панаму. Белый песок, лазурное море – у горизонта темнее, с оттенком кобальта.

– На что похожа Панама? – спросил он и мысленно обру-гал себя за то, что сменил тему.

– Я там ни разу не была. Не думаю, что так уж отличается от того, что здесь.

Надо бы встать, пройтись немного. Вдруг будет легче. А может, наоборот, сидеть и говорить. Разговор успокаивает.

– Спорим, там красиво, – сказал он. – Зеленые горы, водопады в джунглях. Птиц до фи́га. Попугаи, какаду. Миллионы.

– Наверное.

– А колибри. Один мой друг ездил с экспедицией, ловил колибри. Говорит, миллионы пород. Я еще подумал, каким надо быть психом, чтобы собирать колибри. Тогда я считал, что есть дела поважнее, знаешь.

– Дэвид? – Настороженность в голосе.

– Надо плыть на корабле, правильно? – Ее духи теперь пахли гораздо сильнее, чем раньше. – И небось на большом. Никогда не плавал на настоящем корабле. Только на дяди-

ном ялике. Мы с ним рыбачили на Кони-Айленде. Привязывали лодку к бую и ловили всякую гадость. Ты бы посмотрела. Мутанты. Радужные глаза, отростки какие-то по всему телу. После было страшно подумать, что рыбу вообще кто-то ест.

– Я...

– А представь, в глубине, оттуда хрен достанешь. Огромные такие скалозубые рыбины, гениальные акулы, киты рукастые. Я все сидел и думал: вот проглотят они лодку, вот будет...

– Успокойся, Дэвид. – Она потеряла ему затылок, и вдоль позвоночника пробежала дрожь.

– Я спокоен. – Минголла дернул плечом, сбрасывая ее руку. Хватит с него дрожи. – Расскажи про Панаму.

– Я же говорила... Я там ни разу не была.

– А, ну да. Тогда про Коста-Рику? В Коста-Рике была? – Он весь покрылся потом. Пойти, что ль, поплавать, остудиться? Говорят, в Рио-Дульче ламантины водятся. – Ты ламантина видала?

– Дэвид!

Кажется, она наклонилась поближе – по Минголле растеклось ее тепло, и он подумал, что, может, это и неплохо – задохнуться в тепле, в тяжелом колыпании. Перестать дрожать. Утащить в хижину и посмотреть, как там у нее тепло и сыро. *Тепло и сыро, сыро и тепло.* Слова в голове выстраивались в ритмическую цепочку. Не решаясь открыть глаза, он слепо

подался вперед, притянул Дебору к себе. Стукнулся лбом, нашел ее рот. Она ответила на поцелуй, рука скользнула к груди. Боже, как хорошо! На ощупь как спасение, как Панама, как провалиться в сон.

Но все менялось. Так медленно, что Минголла заметил перемены, только когда все стало другим: Деборин язык уже не порхал стремительно у него во рту, а корчился медленно и тупо, как улитка, в дряблой груди колотился тот же червивый сок, что у него самого в левой руке. Он оттолкнул Дебору, открыл глаза. Веки у нее были пришиты к щекам грубыми стежками. Губы открыты, во рту полно костей. Пустая рожа из мяса. Он вскочил, хватаясь за воздух и не думая ни о чем, только бы содрать с тела уродливую пленку.

– Дэвид? – Имя перекорежило, рот втягивал в себя слоги, точно пытаясь говорить и глотать одновременно.

Жабий голос, дьявольский голос.

Минголла резко повернулся, захватил взглядом черное небо, остроконечные деревья, рябую костяшку луны в паутине из ветвей и листьев. Темные бородавчатые хижины, двери, распахнутые навстречу желтому пламени, внутри скрюченные людские тени. Он моргнул, тряхнул головой. Видение не пропало, оно было настоящим. Что это? Не деревня, нет-нет! Из рта вырвался сдавленный хрип, и Минголла отшатнулся, отшатнулся от всего сразу. Она шагнула за ним, прокаркала его имя. Парик из черной соломы, вместо глаз лоснящиеся нашлепки слизи. Из дверей, судорожно дерга-

ьясь, выскакивали люди-тени, собирались у нее за спиной. Каркали. Длинноногие лакричнокожие демоны с барабанным боем вместо сердец, безликое нечто из тошнотного измерения. Сейчас навалятся – глазом моргнуть не успеешь.

– Я тебя вижу, – сказал он, отступая на несколько шагов. – Я тебя знаю.

– Тебе никто не желает зла. Все в порядке, Дэвид, – улыбнулась она.

Думала, он купится на эту улыбку – не на того напали. Улыбка прорвала ее лицо, как гнилое месиво прорывает бумажный пакет, неделю простоявший на помойке. Злорадная ухмылка дьявольской королевы сук. Она все и подстроила! Спелась с этой кошмарной жизнью у него в руке и теперь разыгрывает в голове ведьмины трюки.

– Я тебя вижу, – повторил он и споткнулся. Качнулся, схватился за воздух и побежал к городу, точно этот воздух его подгонял.

Папоротники хлестали по ногам, а ветки по лицу. Тропинку опутала паутина теней, комариный гул напоминал визг точильного круга. Минголла бежал, не соображая куда, натываясь на деревья, почти падая, хрипло дыша. Но в какой-то миг луна высветила на речном пригорке капоковое дерево. Дедушкино дерево. Волшебное белое дерево. Оно манило. Минголла остановился, хватая ртом воздух. Лунный свет остужал, поливал серебром, и Минголла понял, для чего здесь это дерево. Белый фонтан посреди темного леса си-

ял для него одного. Он сжал левую руку в кулак, и нечто закрутилось угрем, словно зная, что сейчас произойдет. Минголла всмотрелся в мистический зернистый узор коры, нашел точку пересечения. Собрался с духом. И вlepил кулаком по стволу. Руку пронзила боль, ослепила, Минголла закричал. Но тут же ударил снова, ударил в третий раз. Крепко прижал руку к груди, убаюкивая боль. Кисть распухла на глазах, превращаясь в бессуставную лапу, какие рисуют в мультфильмах, но в ней больше ничего не шевелилось. Берега со всеми их тенями и шорохами больше не пугали, они стали простыми линиями света и темноты. Даже белизна дерева заметно увяла.

– Дэвид! – Голос Деборы довольно близко. Часть его сознания уговаривала подождать и посмотреть, не стала ли Дебора прежней, невинной и обыкновенной. Но Минголла не доверял ей, не доверял себе и, слегка поколебавшись, снова пустился бежать.

Поймав уходивший на западный берег паром, Минголла решил найти Джилби: хорошая доза Джилбиной злости вернет его на землю. Он сидел на носу в компании пятерых солдат, один блевал через борт, и Минголла, чтобы не лезть в разговоры, отвернулся и стал смотреть, как скользит мимо корпуса черная вода. Лунный свет серебрил верхушки невысоких волн, в их изогнутых проблесках словно отражалась изломанная кривая его жизни: сперва ребенок – живет от

Рождества до Рождества, рисует картинки, собирает восторги, дорастает, не очень соображая, что к чему, до школы, секса, наркотиков, после перерастает их тоже, снова рисует, но в точке, где кривая должна уже наконец принять осмысленную форму, она вдруг резко обрывается, повисает в воздухе, и все становится внятным и объяснимым. Минголла понимал теперь, какой глупой была их игра в ритуалы. Подобно умирающему, что вцепляется в пузырек со святой водой, он хватался за магию, когда отказывала логика жизни. Теперь хрупкие звенья магии распались, и ничего больше Минголлу не держало: он летел сквозь темную зону войны – легкая добыча для любого ее монстра. Подняв голову, Минголла стал смотреть на западный берег. Он плыл к земле, что была черна, как крыло летучей мыши, и вся исписана таинствами фиолетового света. Сквозь радужный неоновый туман проступали силуэты крыш и пальм, между ними виднелись кроваво-красные, лимонные и индиговые дуги – огрызки светящихся чудовищ. Ветер нес крики и дикую музыку. Солдаты хохотали и ругались, парень блевал. Минголла прижался лбом к деревянным перилам – просто чтобы почувствовать что-то твердое.

У стойки в клубе Демонию сидела грудастая Джилбина шлюха и смотрела в свой стакан. Минголла пробрался к ней сквозь танцоров, духоту, шум и лавандовую завесу дыма. Когда он подошел поближе, шлюха нацепила профессиональ-

ную улыбку и ухватила его за промежность. Отведя ее руку, Минголла спросил, не видала ли она Джилби. Некоторое время девица смотрела на него дурным взглядом, потом лицо прояснилось.

– Ми-и-иннола? – проговорила она, а когда он кивнул в ответ, полезла в сумочку и вытащила сложенную бумажку.

– От Жи-и-илби. С тте-ббя пять дол-ларров.

Он протянул ей деньги и забрал бумажку. Это оказался христианский листок с чернильным изображением тощего, как жердь, и на кого-то обиженного Христа, надпись под ним начиналась словами: «Наступают последние дни». Перевернув листок, Минголла обнаружил записку. Джилби в своем репертуаре. Ни объяснений, ни сантиментов. Коротко:

Уплыл в Панаму. Хочешь, ищи в Ливингстоне Рэя Барроса. Он все устроит. Может, встретимся.

Дж.

До этой минуты Минголла полагал, что потихоньку приходит в себя, но дезертирство Джилби не умещалось в голове, а когда он попытался его как-то туда впихнуть, все папки и стопки его мыслей разлетелись в разные стороны. Не то чтобы он не понимал, что произошло. Понимал прекрасно – этого можно было ожидать. Подобно хитрой крысе, что засекла у выхода из норы крысоловку, Джилби прогрыз новую дыру и был таков. Беспокоили Минголла пропавшие ориентиры. У них с Джилби и Бейлором была одна на всех триангулированная реальность, и в этой реальности они находили

друг друга по внятной карте, на которой отображались служба, места и события. Теперь обоих не стало, и Минголла попал в тупик. Он вышел из клуба и побрел вслед за толпой. Таращился на крыши баров и на неоновых зверей. Гигантский синий петух, золотая черепаха, зеленый бык с огненными глазами. Величественные твари равнодушно наблюдали за его бесцельным шатанием. Стекая с вывесок, кровавые потоки света оставляли в воздухе пятна крикливой бледности, а на лицах – мучнистый оттенок. Минголла не понимал, как можно дышать бесцветной зернистой дрянью и не задыхаться. Это казалось столь же удивительным, сколь и бессмысленным. Все вокруг было поразительно, уникально и необъяснимо, даже самые простые вещи. Он поймал себя на том, что таращится на людей – шлюх, уличных мальчишек, патрульного, который с такой нежностью гладил радиатор своего джипа, словно тот был большой грязно-оливковой псиной, – и силится понять, что эти люди тут делают, какой смысл они имеют лично для него, и нет ли там подсказки, что поможет распутать клубок его существования. В конце концов он решил, что нуждается в тишине и спокойствии, а потому направился к авиабазе, рассчитывая на пустую койку в какой-нибудь казарме. Но, дойдя до развилки, от которой уходила дорога к недостроенному мосту, он вдруг подумал, что не хочет встречаться с караульными и дежурными офицерами, и свернул на эту дорогу. Густые, зудящие сверчками заросли превратили дорогу в узкую тропинку, в конце ее

стояли деревянные козлы. Минголла перелез через них и начал восхождение по круто изогнутому склону, к точке чуть ниже серебристой площадки луны.

Несмотря на мусор, камни и обрывки картона, бетон в лунном свете был чист и ослепительно ярок, как будто в нем еще не застыли обрывки снежного света, и, поднявшись чуть выше, Минголла заметил – или ему показалось, – что мост дрожит под ногами, словно чувствительный белый нерв. Минголла шагал в звездную тьму, и одиночество разрасталось, огромное, как само творение. Тут было здорово и чертовски пусто, наверное, слишком пусто – хлопающие на ветру куски картона и писк комаров остались позади. Несколько минут спустя Минголла разглядел впереди неровный край. Дойдя до него, он осторожно сел и свесил ноги. Ветер выл в торчащей арматуре, хватал за лодыжки. Левая рука пульсировала и горела. Далеко внизу за черное поле восточного берега цеплялось многоцветное сияние, словно колония биолюминесцентных водорослей. Интересно, высоко ли здесь. Не особенно, решил Минголла. На ветру трепетала слабая музыка – неутомимый экстаз Сан-Франциско-де-Ютиклан, – и Минголле пришло в голову, что звезды мигают только потому, что сквозь них плывет тонкий дымок этого ритма.

Он думал, что делать. Ничего не придумывалось. Он рисовал себе Панаму и Джилби. Шлюхи, пьянство, драки. То же, что и в Гватемале. Потому Минголла и не хотел дезерти-

ровать. В Панаме тоже будет страшно; в Панаме – даже если перестанет трястись рука – появятся новые зловердные судороги; в Панаме он будет искать спасения в магии, ибо реальность слишком опасна, чтобы черпать из нее силу. И рано или поздно в Панаму доберется война. Дезертирство ничего не даст. Минголла смотрел на лунно-серебристые джунгли, и ему казалось, будто важная часть его существа вытекает через глаза, входит в поток ветра и мчится прочь от дымящихся кратеров Муравьиной Фермы, мимо территорий герильеро, мимо бесшовного стыка неба и горизонта, чтобы втянуться неодолимо в точку пространства, где опустошается жизненная энергия этого мира. Он и сам чувствовал себя опустошенным – холодным, медленным и безжизненным. Мозг разучился думать и лишь фиксировал ощущения. Ветер нес аромат зелени, и от него расширялись ноздри. Вокруг оборачивалась темнота неба, а звезды стали золотыми булавками чувств. Минголла не спал, но что-то в нем уснуло.

С края вселенной его вернул шепот. Сначала Минголла решил, что ему померещилось, и все смотрел на небо, в темноте которого уже проглядывала предрассветная синева. Но шепот повторился, и Минголла оглянулся через плечо. В двадцати футах позади него выстроилась поперек моста дюжина детей. Кто-то стоял, кто-то сидел на корточках. Большинство в рванье, двое или трое прикрывались лианами и листьями, остальные голые. Внимательно, молча. Все очень

худы, у всех длинные свалявшиеся волосы. В руках блестели ножи. Минголла вспомнил тех утренних убитых детей и на секунду испугался. Но только на секунду. Страх вспыхнул, точно раздутый порывом ветра уголек, и тут же угас, побежденный не усилием разума, но ощущением, что эти оборванные фигурки несут ему капитуляцию. Он не желал больше тратить силы и бороться за выживание. Ибо выживание, как убедился Минголла, вовсе не главная потребность души. Он всмотрелся в детей. Их позы напоминали группу неандертальцев в музее естествознания. Луна – все такой же графит. В конце концов он снова повернулся к горизонту, уже вполне различимой темно-зеленой линии.

Он ждал ножа в спину или резкого толчка, был готов перевернуться головой вниз и разбиться о Рио-Дульче – под светлеющим небом вода впитала в себя стальной оттенок. Но вместо этого услышал над ухом голос:

– Эй, *tacho*¹⁰!

Рядом присел на корточки парнишка лет четырнадцати-пятнадцати. Смуглое обезьянье лицо обрамляли черные, до плеч космы. На ногах рваные шорты. На лбу татуировка – свернутая кольцом змея. Пацан, разглядывая Минголлу, наклонял голову к одному плечу, потом к другому, явно чего-то не понимая, потом побурчал себе под нос, приподнял нож. Повертел им так и эдак, демонстрируя Минголле остроту лезвия и то, как оно ловит в бороздку лунный свет.

¹⁰ Мужик. (исп.)

Армейский десантный клинок с тяжелой медной рукояткой. Минголла изумленно фыркнул.

Мальчишка опустил нож и кивнул, будто ждал точно такой реакции.

– Ты чего тут забыл? – спросил он.

Ответы, приходившие Минголле в голову, требовали слишком много сил и разговоров. Он выбрал самый простой:

– Мост нравится.

Мальчик снова кивнул.

– Он волшебный, – сказал он. – Ты это знаешь?

– Раньше бы поверил, – ответил Минголла.

– Говори медленно, – приказал мальчишка. – Быстро я не понимаю.

Минголла повторил ответ, и мальчишка рассмеялся.

– Ты и сейчас веришь. А то зачем сюда пришел? – Ровным взмахом руки он описал воображаемое продолжение дуги. – Вон куда идет мост. Не надо переходить реку, не надо делать то, что другие мосты. Понял, про что я?

– Ага, – ответил Минголла; странно было слышать собственные мысли из уст существа, слишком похожего на гоминида.

– Я прихожу сюда, – продолжал мальчишка, – и слушаю ветер. Слушаю, как он поет в железе. И узнаю от него разные вещи. Вижу будущее. – Он ухмыльнулся, обнажив почерневшие зубы, и махнул рукой в сторону Карибского моря. – Будущее течет туда.

Минголле понравилась шутка. Он чувствовал в мальчишке родственную душу – не каждый умудрился бы шутить в такой ситуации, – однако не знал, как лучше это выразить.

– Ты хорошо говоришь по-английски, – сказал он наконец.

– Бля! А ты чего думал? Раз мы живем в джунглях, то говорим как звери? Бля! – Он сплюнул за край моста. – Я всю жизнь говорю по-английски. Гринго тупые, им испанский не выучить.

Сзади раздался девичий голос, резкий и категоричный. Дети подошли поближе и выстроились футах в десяти от них, свирепо глядя на Минголлу; девочка стояла чуть впереди. Запавшие щеки, глубоко посаженные глаза. Крысиные хвосты волос прикрывают грудь. На костлявых бедрах драная юбка, ветер задувал ее между ног. Мальчишка подождал, пока она договорит, и выдал в ответ длинную тираду, подчеркивая фразы стуком медной рукоятки, так что каждый удар высекал из бетона искры.

– Это Грацелла, – объяснил он Минголле. – Говорит, тебя надо убить. Но я сказал, что некоторые люди стоят одной ногой в смерти, и если такого убьешь, то смерть заберет и тебя тоже. И знаешь что?

Минголла ждал.

– Это правда, – сказал мальчишка. Он сжал руки, переплел пальцы и покрутил ими, показывая, какой прочный получился замок. – Ты и смерть – вот так.

– Может быть, – согласился Минголла.

– Это правда, – настаивал мальчишка. – Мне мост сказал. Сказал, что я не пожалею, если дам тебе жить. Скажи ему спасибо – эта магия, в которую ты не веришь, спасла твою жопу. – Он опустился на бетон и свесил ноги с моста. – Грацелле плевать, будешь ты жить или умрешь. Она против меня – без меня она будет вождь, ну и, ты понимаешь, не терпится.

Девочка холодно встретила Минголлин взгляд. Ведьма-ребенок: прорези глаз, ежевичного цвета волосы и торчащие ребра.

– Куда вы собрались? – спросил Минголла у парнишки.

– Всегда мечтал жить на юге, – ответил тот. – У меня будет большой сарай с золотом и кокаином.

Девочка опять завела свою речь, и он крикнул ей что-то в ответ.

– Что происходит? – спросил Минголла.

– Все то же говно. Я сказал, что, если она не заткнется, я ее выебу и выброшу в реку. – Он подмигнул Минголле. – Грацелла у нас целка, вот и волнуется.

Небо серело, на востоке разгорались розовые полосы. Из джунглей вылетали птицы, собирались над рекой в стаи. Мальчишка мотнул головой, чтобы волосы не лезли в глаза, вздохнул и уселся поудобнее. Минголла заметил у него на груди сетку вздутых рубцов: ножевые раны, которые никто не обрабатывал. В длинных волосах застряли травинки, некоторые были специально привязаны бечевками – прими-

тивные украшения.

– Скажи мне, гринго, – доверительно проговорил мальчишка, – говорят, в Америке есть машина с душой человека. Правда?

– Ну, можно сказать и так, – согласился Минголла. – Ага, есть.

Парнишка мрачно кивнул: его подозрения подтвердились.

– А еще говорят, американцы построили в небе железную планету.

– Еще не достроили.

– А в доме вашего президента стоит камень, в котором сидит душа мертвого колдуна.

– Сомневаюсь, – сказал Минголла после некоторого раздумья. – Хотя кто знает... может быть.

Розовые полосы на востоке краснели, раскрывались широким веером. Лучи света устремлялись ввысь и мазали розовато-лиловой краской животы низких облаков. Дети что-то бормотали в унисон – получался речитатив. Они говорили по-испански, но голоса перемешивались, слова звучали горланно и зло – язык троллей. Слушая этот речитатив, Минголла представил, как дети сидят вокруг костра в бамбуковой чаше. Окровавленные ножи вздеты над свежей добычей и повернуты к солнцу. Зелеными ночами среди густой, как на картинах Руссо¹¹, растительности дети жмутся друг к

¹¹ Анри Руссо (1844-1910) – французский художник-примитивист по кличке

другу; на ветках чуть выше голов свернулись кольцами янтарноглазые питоны.

– Гринго, бля, – воскликнул мальчишка. – В какое херовое время мы живем. – Он мрачно уставился в реку, ветер шевелил тяжелые клубки его волос.

Глядя на этого пацана, Минголла понял, что завидует. При всей убогости, обезьяний король был вполне доволен своим местом в мире, уверен в его природе. Возможно, он заблуждался, но Минголла завидовал его заблуждениям, а особенно – мечтам о золоте и кокаине. Его собственные мечты развеяла война. Сидеть перед мольбертом и мазать красками холст ему уже давно расхотелось. Как и возвращаться в Нью-Йорк. Все эти месяцы главным в его жизни было выжить, и все равно он постоянно спрашивал себя, что пророчит это выживание, а теперь уже не знал, сможет ли вернуться. Он вжился в эту войну, привык дышать ее токсинами, и в Нью-Йорке он просто-напросто задохнется мирным воздухом. Война стала его новым домом, местом, где он мог жить.

Истина потрясла его со всей силой озарения: теперь Минголла знал, что ему делать.

Бейлор и Джилби подчинились своей природе, а значит, и ему нужно подчиниться своей, при том что она предлагает ему не такой уж большой выбор. Минголла вспомнил историю Тио Мойсеса о президентском пилоте и рассмеялся про себя. В каком-то смысле его друг – парень, которого он

упоминал в неотправленном письме, – был прав, когда говорил об этой войне, да и вообще обо всем мире. Мир полон схем, узоров, совпадений и циклов, якобы указывающих на работу магической силы. Но эти же узоры и циклы – лишь отражение скрытых природных процессов. Чем дольше человек живет, тем богаче его опыт и тем сложнее становится его жизнь, пока в конце концов его не опутывают столько взаимодействий, такая паутина обстоятельств, чувств и событий, что никакая ерунда уже не кажется ему ерундой, все требует толкований. Толкования, однако, – пустая трата времени. Даже логические построения – и те в большинстве лишь попытки загнать таинство в клетку и запереть за ним дверь. Логика не убирала из жизни тайну. Столь же бесполезно было хвататься за узоры, следовать им, подчиняться мистическим законам, якобы в них выраженным. Оставался последний, но реальный путь – фортификация. Смириться с таинством, с непостижимостью и защищать себя от нее. Укрепить паутину, вычистить темные углы, провести сигнализацию. Изобретать планы нападения. В собственном лабиринте стать чудовищем – злобным и одиноким, как судьба, которой так хочется избежать. Агрессивное непротивление не было доступно пилоту из рассказа Тио Мойсеса, сам же Минголла – хотя подобную возможность и представлял ему Пси-корпус – просто ее упустил. Теперь он это видел. Вместо того чтобы бросать вызов опасности и готовиться к ней заранее, он лишь вяло на нее отвечал. Но теперь, думал Мин-

голла, все будет иначе.

Он повернулся к пацану в надежде, что тот сумеет оценить новый взгляд на «магическое», и тут заметил краем глаза какое-то движение. Грацелла. За спиной у мальчишки, в руке готовый к удару нож. Минголла автоматически выбросил вперед больную руку. Нож скользнул вдоль края ладони, ушел вверх и полоснул мальчишку по плечу.

Боль в руке была невыносимой, на секунду Минголла ослеп, но все же схватил Грацеллу за предплечье, чтобы она не ударила еще раз, и тут другое, новое ощущение почти затмило боль. Раньше ему казалось, будто нечто у него в руке умерло, но сейчас оно дрожало в ране и текло по запястью вместе с густой струей крови. В какой-то миг оно попыталось вползти обратно, извиваясь против течения, но сердечный насос работал как надо, и вскоре оно ушло совсем, вылилось на белый камень моста.

Прежде чем Минголла вздохнул с облегчением, или удивился, или как-то осознал, что произошло, Грацелла резко дернулась. Минголла привстал на колени, повалил ее на бетон, нож в руке стукнулся о мост. Потом выпал. Грацелла бешено вырывалась, царапалась, дети подошли поближе. Минголла подтянул левую руку к Грацеллиному подбородку и слегка придушил; правой подобрал нож и приставил к ее груди. Дети замерли, Грацелла обмякла. Минголла чувствовал, как она дрожит. Слезы прочертили дорожки на чумазых щеках. Сейчас она была похожа не на ведьму, а на перепуган-

ную девчонку.

– *Putu!*¹² – выругался мальчишка. Держась за плечо, он поднялся и злобно уставился на Грацеллу.

– Что с плечом? – спросил Минголла. Мальчик посмотрел на перемазанные кровью пальцы.

– Больно, – ответил он.

Затем шагнул к Грацелле, заглянул сверху вниз ей в лицо, улыбнулся, расстегнул верхнюю пуговицу штанов.

Грацелла дернулась.

– Ты что делаешь? – Минголла вдруг решил, что отвечает за эту девчонку.

– То, что говорил. – Пацан расстегнул остальные пуговицы и спустил шорты. Член почти стоял, словно мальчишку возбудила драка.

– Не надо, – сказал Минголла и тут же понял, что делает глупость.

– Бери свою жизнь, – сурово приказал мальчишка. – Вали отсюда.

На мост налетел мощный и долгий порыв ветра, и Минголле показалось, что вибрацией бетона, стуком его сердца и дрожью Грацеллы управляет единый мерцающий ритм. Минголла нутром ощущал собственную причастность к этому моменту, которая, однако, не имела никакого отношения к девчонке. Может быть, подумал он, так претворяются в жизнь его новые убеждения.

¹² Шлюха! (*исп.*)

Мальчишка потерял терпение. Он заорал на других детей и замахал руками, отгоняя их подальше. Те угрюмо отступили и распределились вдоль перил, освободив центр пролета. За ними под лавандовым небом и до самого горизонта тянулись джунгли, ровную линию портил разве что прямоугольный провал авиабазы. Мальчишка присел на корточки у ног Грацеллы.

– Сегодня ночью, – сказал он Минголле, – нас соединил мост. Сегодня ночью мы сидели, говорили. Теперь все кончилась. Мое сердце советует, чтобы я тебя убил. Но ты помешал Грацелле, и я даю тебе шанс. Пусть решает она. Если скажет, что пойдет с тобой, мы, – он махнул рукой на детей, – тебя убьем. Если захочет остаться, ты должен уйти. Без слов и всякого говна. Просто уходишь. Понял?

Минголла не боялся – но не потому, что ему была безразлична жизнь, а оттого, что все вдруг стало ясно. Хватит уклоняться от ставок судьбы, пора их принимать. Он придумал план. Можно не сомневаться, Грацелла выберет его, то есть шанс на жизнь, каким бы слабым он ни был. Но еще до того, как она что-то решит, Минголла убьет мальчишку. Потом бросится на остальных: без вожака они растеряются. План был так себе, и на самом деле Минголле не хотелось даже ранить мальчишку, но как-нибудь он с этим справится.

– Понял, – сказал он.

Пацан поговорил с Грацеллой и приказал Минголле ее отпустить. Девочка села, потирая место, куда Минголла коль-

нул ножом. Робко посмотрела на Минголлу, затем на мальчишку, убрала волосы за спину и выпятила грудь, будто прихорашиваясь перед двумя поклонниками. Минголла все больше изумлялся. Может быть, думал он, девочка тянет время. Он встал и, сделав вид, что разминает затекшие ноги, подошел поближе к мальчишке – тот по-прежнему сидел на корточках рядом с Грацеллой. Красный огненный шар расчистил на востоке горизонт, румяная сангина вдохновляла Минголлу, подпитывала решимость. Он зевнул, подобрался еще ближе к мальчишке, сжал рукоять ножа. Схватить за волосы, отогнуть голову назад и перерезать горло. Грудь нервно дергалась. Напряжение копилось, требовало действий, и Минголла подвинулся еще. Он сдерживал себя. Еще один шаг, и хватит, еще один шаг для пущей уверенности. Но когда он уже почти сделал этот шаг, Грацелла подняла руку и ткнула мальчишку в плечо.

Изумление, должно быть, отразилось у Минголлы на лице, потому что мальчишка посмотрел на него и довольно рассмеялся.

– Думал, выберет тебя? – спросил он. – Не знаешь ты, что такое Грацелла, чувак. Гринго сожгли ее деревню. Для нее лучше черту жопу вылизать, чем подать тебе руку. – Он ухмыльнулся и погладил девочку по голове. – И потом, она думает, что если мы как следует потрахаемся, то вдруг я скажу: «Ой, Грацелла, хочу еще!» И кто знает. Может, так оно и будет.

Грацелла легла на спину и вылезла из юбки. Между ног у нее почти не было волос. Улыбнулась уголками рта. Минголла смотрел ошарашенно.

– Я не буду тебя убивать, гринго, – сказал мальчишка, не поднимая головы; он гладил Грацеллу по животу. – Говорю же, нельзя убивать человека, который так близко к смерти. – Он опять рассмеялся. – Очень смешно ты ко мне подбирался. Мне понравилось.

Минголла обалдел окончательно. Значит, накачивая себя, отбрасывая страх и отвращение, он на самом деле лишь развлекал мальчишку? Нож в руке словно уплотнял и оформлял его ярость, Минголле очень хотелось наброситься, зарезать маленького зверя, что так нагло над ним насмеялся, но унижение и гнев перечеркивали друг друга. Минголлу трясло от ядовитой злости, он чувствовал каждую свою болевую точку, тело заполняла усталость. Левая рука билась, распушшая и бесцветная, как рука трупа. Слабость захлестнула его целиком. И облегчение.

– Иди, – сказал мальчишка. Он лег рядом с Грацеллой, оперся на локоть и принялся теревить ее торчащий сосок.

Минголла сделал несколько неуверенных шагов. За спиной у него захныкала Грацелла, мальчишка что-то прошептал. Минголла опять разозлился – они забыли о нем! – но останавливаться не стал. Пока он шел мимо детей, один плюнул, другой швырнул камень. Минголла пристально смотрел, как ползет у него под ногами белый бетон.

Пройдя половину дуги, он оглянулся. Дети столпились у края моста, обступив Грацеллу и мальчишку, скрыв их из виду. Небо стало голубовато-серым, а ветер доносил до Минголлы голоса. Дети пели: нестройный щебет напоминал о празднике. Ярость утихла, унижение отступило. Чего тут стыдиться – даже оказавшись в дураках, он вел себя, как подобает сильному, и этого не отменить никаким насмешкам. Все получится. Да, еще как! Он постарается.

Какое-то время он наблюдал за детьми. Издалека их пение отдавало трогательной дикостью, и Минголле стало тоскливо, уходить не хотелось. Хотелось узнать, что произойдет, когда мальчишка закончит свои дела с Грацеллой. Вообще-то, Минголле было все равно, однако любопытно. Как будто он уходил из кино до конца сеанса. Выживет ли героиня? Восторжествует ли справедливость? Принесет ли спасение героини и восстановленная справедливость хоть кому-нибудь счастье? Вскоре на край моста полились золотые лучи восхода, и в небесном огне дети как будто чернели и растворялись. Исход устраивал Минголлу. Швырнув в реку Грацеллин нож, он зашагал по мосту, в чью магию больше не верил, навстречу войне, чью тайну он принимал теперь как свою собственную.

Глава пятая

На авиабазе Минголла отыскал тот самый вертолет, на котором прилетел в Сан-Франциско-де-Ютиклан, узнав его по «Шепоту смерти» на борту. Он прислонил голову к букве «т» в первом слове и тут же вспомнил, как Бейлор отпрянул, испугавшись, что надпись передаст ему свою смертельную сущность. Минголла против такого контакта не возражал. Нарисованное пламя подогревало голову, взбалтывая мысли, неторопливые и бесформенные, как дым. Приятные мысли, не облаченные ни в идеи, ни в образы. Просто мягкое бурчание мозга, точно мотор на холостом ходу. База пробуждалась к жизни. От барачков отъезжали джипы, два офицера осматривали брюхо транспортного самолета, какой-то парень ремонтировал автопогрузчик. Мирно, по-домашнему. Минголла закрыл глаза и поплыл в полусон, предоставив солнцу и нарисованному пламени охватывать его теплом, реальным или воображаемым.

Некоторое время спустя – сколько точно, он не знал – рядом раздался голос:

– Не хило же ты ее раздолбал, а?

У двери в кабину стояли оба пилота. В черных летных комбинезонах и шлемах они не казались теперь странными или необычными, их вид был просто ответом на вполне функциональную угрозу. Хозяева машины.

– Ага, – согласился Минголла. – Пиздец.

– Интересно как? – спросил пилот, стоявший слева.

– Об дерево.

– Это ж как надо назюзюкаться, чтобы махаться с деревом, – сказал правый пилот. – Ему-то что – бей не бей.

Минголла неопределенно хмыкнул, потом спросил:

– Вы на Ферму?

– Куда ж еще! Что так, старик? Надоели дикие телки? –

Пилот справа.

– Вроде того. Подбросите?

– Не вопрос, – сказал левый пилот. – Лезь прям в кабину.

Будешь сзади сидеть.

– А где кореша? – спросил правый пилот.

– Нету, – ответил Минголла, забираясь в кабину.

– Мы так и думали, – сказал один из пилотов, – хрен они вернуться.

Минголла уселся за вторым пилотом в кресло наблюдателя, пристегнулся. Он ожидал долгой предполетной проверки, но едва успели прогреться двигатели, как «Сикорский» подпрыгнул и развернулся к северу. Кроме оружейных систем, пилоты не включили ни одной защиты. Темными оставались экраны радара, термального визора, РЛС слежения за рельефом. У Минголлы по животу пробежала нервная дрожь, когда представилось, чем они рискуют из-за того, что пилоты так верят своим чудодейственным шлемам; впрочем, беспокойство растворилось в шелестящем ритме винтов и

в мощном гуле «Сикорского». Минголла вспомнил, как похожее ощущение силы и защищенности возникало в нем за контрольной панелью пушки. Он никогда не давал этому чувству разрастись, ибо не верил, что оно поможет. Дурак был.

Они летели на северо-восток – вдоль реки, похожей на голубоватую стальную проволоку, что петляла между поросшими джунглями холмами. Пилоты шутили, смеялись, и полет стал постепенно напоминать прогулку трех хороших приятелей, которые, загрузившись халявным пивом, прутся неизвестно куда чем быстрее тем лучше. В какой-то момент второй пилот подключился к динамикам и затянул унылое кантри:

Когда ты целуешь меня, наши губы встречаются, милая,
Когда тебя нет, мы страдаем, страдаем в разлуке.
Когда ты пилила собаку мою, я грустил, так грустил.
Но когда ты пальнула мне в грудь, мое сердце пронзила
тоска.

Пока второй пилот пел, первый раскачивал «Сикорского» вперед-назад, словно пьяный аккомпаниатор, затем песня кончилась, и он окликнул Минголлу:

– Ты представляешь, сукин сын сам сочинил. Точно говорю! Он и на гитаре блямкает. Гениальный мужик!

– Отличная песня, – сказал Минголла и не соврал. Она сделала его счастливым, а это совсем немало.

Они неслись по небу, снова и снова затягивая первый куплет. Но чуть позже, когда, все так же держа на северо-восток, они оставили позади реку, второй пилот крикнул, указывая на лежавший впереди кусок джунглей:

– Бобики! Четвертый квадрант! Засек?

– Засек! – подтвердил командир.

«Сикорский» повернул к джунглям и вздрогнул: из-под днища вырвалось пламя. Секунду спустя огромный кусок джунглей извергся потоком огня и мраморного дыма.

– Уй-йя! – торжествующе пропел второй пилот. – «Шепот смерти» снова в бою!

Под вспышки орудий они устремились вниз прямо во вздымающуюся вуаль черного дыма. Горели целые акры, но вертолет не прекращал атаку. Минголла стиснул от грохота зубы, а когда стрельба наконец прекратилась, потрясенный этим безумием, сжался в комок и опустил голову. Теперь он сомневался, что совладеет с кошмаром Муравьиной Фермы, – он не забыл своих страхов.

Второй пилот оглянулся.

– Чего поскучнел, мужик? – спросил он. – Ты ведь у нас, сукин сын, самый везучий, знаешь это?

Накренив машину, пилот стал разворачиваться к востоку, к Муравьиной Ферме.

– С чего ты взял?

– Зрение хорошее, – сказал второй пилот. – Точно тебе говорю: на Муравьиной Ферме не удержишься. Хрен знает

почему, но как пить дать. Может, ранят. Но не сильно. Как раз чтоб домой.

Когда вертолет выходил из крена, в кабину заглянул косой солнечный луч, осветил шлем второго пилота, и на долю секунды за ним мелькнула смутная тень лица. Оно показалось Минголле бугристым и бесформенным. Детали дорисовало воображение. Нелепые наросты, растрескавшиеся щеки и перепончатый глаз. Как в кино о ядерных мутантах. Минголле очень хотелось верить, что так оно и есть на самом деле: уродство второго пилота придавало вес его пророчествам. Однако он отверг искушение. Минголла боялся умирать, боялся тех ужасов, что несла с собой жизнь на Муравьиной Ферме, но все же не хотел больше иметь дела ни с какой магией... если только магия не сделает из него настоящего солдата. Подчиняться дисциплине, тренировать жестокость.

– Может, из-за этой руки его и отправят домой, – предположил первый пилот. – По мне, так не хило долбанул. Миллион долларов за рану, а не рука.

– Не, это не рука, я вижу, – сказал второй пилот. – Что-то еще. А, все равно, какой-нибудь финт да получится.

Минголлино отражение плавало по черному пластиковому шлему – собственное лицо казалось покореженным, бледным и чужим настолько, что на секунду он решил, будто превратился в дурной сон, который снится второму пилоту.

– Черт побери, что за дела, мужик? – спросил тот. – Ты

мне не веришь?

Минголла хотел объяснить, что дело не в вере или неверии, что безопасное будущее нужно обеспечивать надежным настоящим, но он не представлял, как все это выразить понятными второму пилоту словами. Тот, скорее всего, опять заговорит про свой шлем как свидетельство магической реальности, а может, укажет туда, где в дымной – из-за помутневшего от прямых лучей пластика кабины – темноте парило сейчас солнце: отчетливая огненная сфера с лучистой короной напоминала каббалистический символ какой-то древней печати. Солнце было злым и опасным, и, хотя на Минголлу оно никак не действовало, пилоты наверняка видели в нем могущественный знак.

– Думаешь, вру? – сердито спросил второй пилот. – Думаешь, я стал бы в таком деле вешать тебе лапшу? Очнись, мужик, не вру я! Как сказал, так все и будет!

Винты шептали о смерти, а вертолет летел на восток, к солнцу и миру, что таил в себе странное и кровавое очарование; внизу расстилались темно-зеленые дебри – там пустила корни война, там люди носят на беретах скорпионов, потерянные безумцы ищут мистический свет в квадрате Изумруд, а провидцы рассуждают о вещах, никем еще не виданных. Второй пилот долго сидел, повернув к Минголле черный пузырь шлема, – он ждал ответа. Но Минголла лишь смотрел на него, и в конце концов второй пилот отвернулся.

Настоящий солдат

*...Когда бы из таких парней, как сам, имел я войско,
Я расклепать велел бы цепи, что сковали Зверя,
И у Свободы крылья оборвал бы,
Вошел бы в Град Святой и посмотрел, как скоро
Смерть к ангелам слетит.
Затем ворвался бы в Великий Тронный Зал,
Чтоб обнаружить, к удивленью своему,
Что Бог – лишь дряхлый старый хрыч,
Забывший, что к чему.*

Джек Леско. «Мари»

Глава шестая

Дороги, что ведут к значимым целям, к озарению или перерождению, не имеют ничего общего с реальными путешествиями, зато напрямую связаны с географией сознания. Так, прогулка по острову Роатан от дверей отеля до клочка поросшей травой земли, где Минголла уселся по-турецки, втиснувшись между бетонной стеной и кустами, стала для него всего лишь последним отрезком долгого пути и превращения, на которое ушла неделя тестов и пять месяцев наркотерапии, – расстояние при этом он преодолел совсем ни-

чтожное. Неподалеку торчала наполовину вырванная из земли пальма, нити корней вылезли наружу, а ствол выгибался к пучкам зеленых кокосов, покрытых блестящей рябой скорлупой и глядевших сверху вниз лицами злобных кукол. Часть ветвей высохла до ржаво-оранжевого цвета, а лопнувшие почки молодых побегов развернулись в длинные спиральные ленты, мятые и серые, точно старые бинты. Минголла смотрел, как они мотаются на ветру, – ему нравились их неторопливые круговые взмахи, они словно отражали его собственную заторможенность, невнятные скачки мыслей, прятавшие его от тренера.

– Дэви! – раздался басовитый окрик. – Кончай свои дурацкие шуточки!

Из зарослей торчали два анакарда, в темной листве застряли желтые морщинистые плоды, в отдалении над верхушками кустов виднелась красная черепичная крыша отеля, а возвышавшееся над ней хлопчатое дерево разливало под собой лужу индиговой тени; воздух золотисто поблескивал в тех местах, где сквозь крону пробивались лучи, а парившие под деревом мотыльки переливались, точно драгоценности в ювелирной лавке.

– Не зли меня, Дэви!

«Иди на хуй, Тулли!»

Из-за бетонной стены доносился шум прорывавшегося сквозь рифы прибоя, Минголла вслушивался в него, жалел, что не видит волн, и думал о том, как же он не свихнулся,

просидев взаперти все эти месяцы. В памяти остался набор бессвязных обрывков, и сколько бы он ни пытался сложить их в подобие гармонии, материала набиралось разве что на пару недель... недели эти заполняли воткнутые в руки иглы, расплывающиеся от препаратов лица, редкие сны, неотличимые от горячечной реальности, хождения по холлу отеля, остановки перед рябым зеркалом и разглядывание собственных глаз в поисках не внутренней истины, а просто самого себя, той части самого себя, что пока еще осталась прежней.

– Черт побери, Дэви!

Но один день Минголла помнил ясно. Свой двадцать первый день рождения...

– Ну ладно! Сам напросился!

...Сразу после пластической операции. Доктор Исагирре отменил наркотики, чтобы Минголла мог поговорить с родителями по установленному в подвале отеля видеотерминалу; экран занимал почти всю дальнюю стену, Минголла глядел на него, лежа на пружинном диване, и ждал звонка. Остальные три стены были обиты пластиковыми панелями «под клен», но кое-где пластмасса отслоилась, обнажив чем-то похожие на речное дно заплесневелые доски; сами же неестественно зернистые панели переливались в темноватом свете комнаты черно-желтым цветом и наводили на мысль о печатных платах из тигриной шкуры. Положив голову на подлокотник дивана и вертя в руках пульт, Минголла старательно выдумывал, как разговаривать с родителями, но даль-

ше чем «Привет, как дела?» дело не шло. Ему было трудно даже вообразить, как выглядят отец и мать, что там говорить о каких-то теплых чувствах, но тут загорелся экран, и на нем показалась гостиная, а в ней родители, напряженные, как перед фотокамерой. Минголла остался лежать, лишь отметил, что на отце солидный синий костюм страхового агента, галстук, длинные седые волосы уложены в модную прическу, у матери усталое лицо и льняное платье, а еще на этом плоском экране родители выглядели частью обстановки, антропоморфными дополнениями к кожаным креслам и вычурным абажурам. Он абсолютно ничего не чувствовал, как если бы рассматривал портреты незнакомых людей, по чистой случайности оказавшихся его родственниками.

– Дэвид? – Мать потянулась к нему и только потом вспомнила, что прикоснуться невозможно. Она посмотрела на отца: тот похлопал ее по руке, изобразил недоуменную улыбку и сказал:

– Надо же, как они тебя, ты похож на...

– На бобика? – подсказал Минголла, его раздражала отцовская невозмутимость.

– Если ты предпочитаешь это слово, – холодно ответил отец.

– Не беспокойтесь. Складочки, подтяжечки, там подмазать, здесь подкрасить. Но я все тот же американский мальчик.

– Извини, – сказала мать. – Я вижу, что это ты, но...

– Все в порядке.

– ...сначала опешила.

– Все в порядке, правда.

Минголла не ждал от звонка чего-то особенного, хотя ждать хотелось – хотелось их любить, хотелось быть честным и открытым, но теперь он смотрел на родителей и понимал, что им нужна беседа в тон обоям, не более того; все его чувства куда-то делись, и страшно не хотелось выкапывать из прошлого всякое старье и заново завязывать с папой и мамой хоть какие-то отношения. Они рассказали о поездке в Монреаль.

Красиво там, наверное, ответил Минголла. Они взялись расписывать вечеринки в саду и морские прогулки вокруг Кейпа. Хорошо бы мне туда, сказал он. Они пожаловались на астму и аллергию, потом спросили, осознал ли их сын, что ему уже двадцать один год.

– По правде говоря, – Минголла устал от стандартных ответов, – я осознал, что мне тысяча.

Отец фыркнул.

– Избавь нас от мелодрам, Дэвид.

– От мелодрам? – Всплеск адреналина заставил Минголлу вздрогнуть. – Ты серьезно, папа?

– Я предполагал, – сказал отец, – что в твоих интересах сделать этот разговор приятным и ты постарайся держаться в рамках.

– В рамках. – Смысла это слово не имело, только горький

и пресный вкус. – Ага, хорошо. Я думал, мы поговорим по-человечески, но в рамках – это здорово. Отлично! Давайте! Теперь ты спросишь, как я поживаю, а я отвечу: прекрасно. Я спрошу, как бизнес, и ты скажешь: неплохо. Мама вспомнит, как там мои друзья и кто чем занимается. А потом, если я удержусь в рамках, ты произнесешь короткую речь о том, как вы мной гордитесь. – Минголла зашипел от омерзения. – Значит так, папа. Мы это пропустим. Давайте уж просто сидеть, блин, пялиться друг на друга и делать вид, что разговор приятный.

Отец прищурился.

– Я не вижу смысла это продолжать.

– Дэвид! – Мать умоляюще смотрела на него.

Минголла не собирался извиняться, ему нравилась собственная злость, но, помолчав некоторое время, он смягчился:

– Что-то я нервничаю, папа. Извини.

– Я одного не понимаю, – произнес отец, – зачем тебе понадобилось нас убеждать, как тебе тяжело? Мы с мамой прекрасно это знаем и все время о тебе беспокоимся. Мне просто казалось неуместным обсуждать это беспокойство в день твоего рождения.

– Да, конечно, – выдавил Минголла.

– Извинения принимаются, – все так же четко ответил отец.

Остаток беседы Минголла с безупречной фальшью отби-

вал вопросы, потом экран погас, посерел, и такой же серой стала Минголлина злость. Он лежал на диване, нажимал кнопки пульта, перескакивал с автогонок на ток-шоу, потом на пуантилистские точки, которые вскоре развернулись в панораму блеклых развалин. Минголла узнал Тель-Авив и вспомнил черное пророчество о том, что в день его рождения на какой-то город обрушится атомная бомба. Изображение расплылось, и Минголла надавил на следующую кнопку. Опять руины, камера ползет вдоль одинокой стены, мимо перекрученных брусьев, груд кирпича. Над городом бурлили тучи, их потрепанные края отсвечивали серебром; на бледной полосе горизонта, словно клыки, вгрызались в небо остовы домов. Звуча не было, но Минголла подкрутил громкость, и тут раздались блюзовые гитарные аккорды, синтезатор, вой саксофона, женский голос... видимо, из другого канала.

– ...последний хит Праулера – «Блюз Небесам», – говорила ведущая. – Будем надеяться, он не покажется нашим любителям музыки слишком тоскливым. Хотя стоп! Ведь тоска нынче повсюду, разве нет? Считайте ее просто новым настроением... как наркотик, понимаете. Тоска сделает ваш обычный оптимизм чуть более рельефным, добавит сладости.

В Тель-Авиве пошел дождь, плотный и морозящий, и музыка звучала акустическим повтором этого дождя, темных туч, что зловеще наплывали на город.

– Итак, Праулер! – объявила ведущая. – У микрофона легендарный Джек Леско. Расскажи им про настоящий мир, Джек!

По кухне Лени бродит в одной ночной рубашке,
Смолит бычки из пепельниц, и на часы глядит, и роется
в бумажках.

А я, по струнам бряцая, в окно смотрю на серую погоду
И на пустой проспект внизу, где злые тени бродят.
Сбежал мудака, – вдруг шепчет Лени, – как можно верить
психам.

Сбежал и деньги все унес, – клубится дым, как серый мох.
Я говорю: спокойно, детка, вдохни снежка, пока все тихо.
Она смеется: без отравы никто прожить не мог.

Унылая композиция, история двух торчков, что маются в этой тяжелой ночи, звучала словно голос болтавшегося по городу призрака, втягивала Минголлу в себя, тащила за собой, заставляла думать, что и сам он со своей расстроенной вздрюг памятью и эмоциями – тоже призрак и что место ему в Тель-Авиве среди духов, там он утешит или развлечет их своим обществом из плоти и крови. Мысль была ясной, как пророчество, но Минголлу настолько поглотили музыка и город, что он не стал додумывать ее до конца. Эти развалины до жути ему подходили: он и сам был сейчас развалиной человека, в котором зарождалась сила, готовая превратить в развалины все вокруг.

– Дэвид, – раздался у него за спиной голос доктора Исагирре. – Пора на укол.

– Секунду... Только песню дослушаю.

Исагирре неохотно согласился и, что-то пробурчав, подошел к экрану. Доктор был бледен, длинноног и длиннорук, козлиная бородка цвета соли с перцем, редкие седые волосы и постоянная страсть на лице – таким бы стал орлиноносый Христос Эль-Греко, когда бы дожил лет до шестидесяти, слегка располнел, облачился в накрахмаленную гваяберу и слаксы. Доктор всмотрелся в руины, словно искал, не выжил ли кто, затем извлек из кармана очки и картинно водрузил на нос. Он всегда подчеркивал жесты и, как подозревал Минголла, делал это сознательно. Исагирре был настолько уверен, что контролирует свою жизнь, что забавы ради собственноручно выкроил себе детали характера; существование он превратил в игру, ежечасно проверяя, выдержит или нет столь элегантная оболочка тупую неэлегантность мира.

– Тель-Авив, – сказал Исагирре. – Ужасно, ужасно.

Он подошел к дивану и сочувственно сжал Минголлино плечо как раз в тот момент, когда через город с востока на запад пронеслось звено вертолетов. Возможно, кадры что-то в нем задели, а может, всему виной прикосновение Исагирре, но как бы то ни было, глаза Минголлы наполнились слезами, и его захлестнул поток мыслей и чувств, в которых смешались стыд перед родителями, злость на Исагирре за то, что доктор все это видит, и отвращение к самому себе из-

за того, что он не может перед лицом трагедии Тель-Авива забыть о тривиальном и личном.

А дождь все льет, все льет по крапчатой стене.

Темно, темно, лишь одеяло торчит в раздолбанном окне.

И старый хрен, в пакетах руки, стоит, стоит на мостовой.

Темны глаза, как две медяхи, и тапок на ноге чужой.

Какой-то хмырь орет: ну тряпки, псих, где б мне такие взять.

А старый хрен глядит, глядит куда-то... туда, где нечего терять.

Минголлу потрясала пустота этих руин и этой песни. В пыли валялись белые цветы, похожие на мятые бумажки; на один наехала камера, показала, как от радиации чернеют лепестки, и в этот миг отождествление стало настолько полным, что Минголлу почувствовал, как точно так же чернеют в пыли его сознания когда-то прежде белые мысли. Зброшенность Тель-Авива пронзала его ледяным дождем, засеивала пустотой, влекомый ею он поднялся на ноги и тут же схватился за диван, чтобы не улететь к потолку.

– Не хочешь больше слушать? – Судя по голосу, Исагирре забавлялся.

– Не-а.

– А то смотри. Время еще есть.

Минголлу качнул головой: нет, потом еще и еще, как будто надеялся вытрясти все эти «нет», все отрицания, он махал

головой все неистовее, и, когда Исагирре обнял его за плечи, Минголла был ему отчаянно благодарен и мечтал только об одном – чтобы его увели наконец от Тель-Авива и Праулера; он был вполне готов к уколу.

Треск в кустах. Минголла посмотрел в одну сторону, в другую, решив, что это наверняка Тулли, но футах в двадцати стоял тощий чернокожий – из обитавших поблизости островитян. Эти ребята взяли в привычку ходить за ним по округе, пятясь всякий раз, когда он поворачивался к ним лицом, как будто чувствовали в нем жутковатую магию. Островитянин нырнул в кусты, Минголла успокоился и вытянул вперед ноги. Край солнца перечеркнула верхушка кучевого облака, превратив сияние в широкий веер водянистого света, оконечности кустов прибило порывом ветра. Минголла закрыл глаза, млея от тепла и хмельного покоя.

– Ну ты и дурак, – раздался сверху рокочущий голос.

Минголла резко выпрямился, моргнул. Уперев руки в бока, над ним до самого неба возвышался черный гигант Тулли.

– Набитый дурак и есть, – подтвердил он. – Сколько я вожусь с тобой и с этим блоком, а ты сидишь тут и моргаешь – маяк хренов. Чем занят, друг? Ворон считаешь?

– Я...

– Заткни свою мудацкую пасть! Вот это, – он стукнул себя в грудь, – это – хороший блок. А это – нет! – Будто открыли дверь топки, и Туллино тепло накатило на Минголлу. – А

у тебя вот что. – Тепло отступило и исчезло совсем, потом накатило снова. – Пинков тебе за такое надавать!

Солнце висело точно за головой Тулли – золотая корона, обрамлявшая черный овал. На Минголлу накатывала слабость, чем дальше, тем больше, как будто в нем разматывались нити и всасывались во тьму. Перепугавшись, он рефлекторно оттолкнул Тулли, но не руками, а сознанием, и запаниковал еще сильнее: он вдруг словно погрузился в стаю электрических рыб; тысячи рыб касались его боками и плыли дальше. Прямо на него несся огромный кулак Тулли, но это рыбное электричество, а вместе с ним возбуждение и сила поглотили Минголлу настолько, что он застыл, не в силах уклониться, – кулак угодил в темя и свалил его на землю.

– Нет у тебя еще силы со мной тягаться, Дэви. – Тулли присел на корточки. – Но знаешь, друг, я ждал, когда тебя прорвет. Теперь можно начинать всерьез.

В голове стучало, нижнюю губу щекотала трава. Минголла таращился на носки Туллиных теннисных тапок и отвороты синих брюк. Он с трудом поднялся и привалился к стене; его мутило.

– Поймал ты меня, друг, а то с чего бы я стал тебя дубасить.

Тулли усмехнулся, сверкнув золотыми коронками, – добродушие в нем прикрывала злобная маска с вытравленными глубокими линиями вокруг глаз и рта. Он был огромен, и все в нем было огромным: руки, в которых тонули кокосы,

грудь в броне из мускулов и постоянная аура примитивного мужества, сбивавшая Минголлу с толку. В волосах прожилки седины, на шее борозды, глаза желтоватые; однако натягивавшие белую футболку бицепсы могли бы принадлежать человеку лет на двадцать моложе. Над левым глазом у Тулли розовел крючковатый шрам, выделяясь на угольно-черной коже, словно жилка редкого минерала.

– Черт! – выругался Тулли. – Из тебя будет толк! Ты ж меня чуть не свалил тем пинком.

Минголла перевел взгляд на крышу отеля. Проводил глазами летевшую над ней цепочку пеликанов, словно расшифровав линию из закодированных слогов.

– Страшно, друг, я знаю, – говорил Тулли. – Ты сейчас как малолетка, сил сперва наберись, потом ко мне полезешь... нормально. Наркота эта, она ж впихивает тебя в новый мир, не шутка, особенно когда прошел через такое. Но я за тебя, Дэви. Не сомневайся. А коли я с тобой суров, так в новом мире ты сам всяко будешь суровым.

Должно быть, Минголла смотрел на него слишком недоверчиво, потому что Тулли расхохотался, однако смех прозвучал утробно и невыразительно, точно львиный кашель.

– Ну, мы с тобой еще помахаемся, друг, – сказал он. – Это как с моим папашей. Вот, я тебе скажу, крепкий был мужик. Как припрется к ужину пьяный, так и орет на меня: «Пацан, от такого уroda, как ты, кусок в горло не полезет. Марш под стол! Пока не пожру, чтоб я тебя не видал». А когда я не

слушался, он сам меня пихал! – Тулли дружески ткнул Минголлу кулаком в ногу. – Вот представь, что я приказал тебе лезть под стол. Что будешь делать?

– Пошлю на хуй, – ответил Минголла.

– Ишь ты. – Тулли поскреб шею. – Что ж, поглядим. Эту ночь ты сидишь на улице, Дэви. В отель не ходи. Сиди и думай про то, что дальше.

– Откуда я знаю, что дальше?

– Хороший вопрос. Лады, заглянем в будущее. После учебы экзамен. Отвезут тебя в Ла-Сейбу, оттуда сам пролезешь в Железное Баррио и прибудешь кой-кого силой сознания.

От мысли, что убийство станет для него экзаменом, Минголла застыл, а слова о Железном Баррио свели на нет всю его воинственность.

– И не вздумай соваться сегодня ночью в отель, Дэви. – Тулли встал и принялся разминать спину, поворачивая торс из стороны в сторону. – Думай, как справишься без меня в Баррио. А если поймаю до утра в отеле, пеняй на себя. Про это можешь даже и не думать.

В изгиб бетонной стены был втиснут сарай с жестяной крышей, в котором когда-то выдавали напрокат акваланги; ближе к вечеру Минголла туда забрался, решив, что дождетсЯ, пока все уснут, а затем проберется в отель. Когда он переступил порог сарая, из-под стоявшего посреди комнаты деревянного стола выскочил краб-привидение и, процарапав в

пыли цепочку следов, исчез в щели между досками. Проливаясь сквозь дырявую крышу, косые золотые лучи рисовали на полу яркие кляксы; пыль, поднятая шагами Минголлы, кружилась в потоках света, как будто в каждом луче вот-вот появится что-то новое. На столешнице валялись четыре ржавых баллона из-под сжатого воздуха, соединенные между собой прядями паутины и напоминавшие в полумраке огромные капсулы с засохшей кровью.

Минголла сел у дальней стены рядом со стопкой пожелтевших аквалангистских журналов. От нечего делать пролистал один из них и фыркнул, обнаружив на первой странице рекламу островных курортов. «Пиратская бухта», «Веселый Роджер» и так далее. Отели и пансионаты стояли теперь пустые, пляжи охранялись патрульными катерами, туристы боялись ракет, а потому держались подальше... хотя на остров ни разу никто не напал. Что странно. По логике вещей Роатан был хорошей целью: изолированный остров, компьютерная база ЦРУ, вполне досягаем для ракет, бомб и даже десанта. Остров не трогали, и это совершенно очевидно противоречило здравому смыслу, – однако, думал Минголла, если эта война что-то и производила в достаточных количествах, то уж точно не здравый смысл – наверняка есть абсурдная причина, путаница из марксистских и капиталистических нелепиц, например обмен иммунитетами, когда стороны договорились оставить в покое компьютеры друг друга, чтобы отмерять смерть и разрушения предсказуемыми

дозами. Сам факт, что такая мысль пришла ему в голову, – а она казалась Минголле весьма зрелой, остроумной и беспристрастной, одной из тех, по которым люди судят об объективности взрослого человека, – свидетельствовал, решил Минголла, о том, что он, во-первых, поправляется, во-вторых, все больше привыкает к разъедающим страстям войны и, в-третьих, делает очевидные успехи.

Он перевернул страницу: на весь разворот бирюзовая глубина, сквозь которую, почти теряясь среди ярких разноцветных рыбок, плыли ныряльщики в красных и желтых костюмах. Чем-то эта картинка показалась Минголле знакомой, и немного погодя он вспомнил, что произошло сегодня утром между ним и Тулли. Так и есть: он плыл в сознании Тулли, нырял в его электрические глубины, а вокруг мельтешили рыбки Туллиных мыслей. И теперь он знал точно, что там на самом деле намного глубже. Ему представлялся лабиринт коралловых рифов, в которых обитают замысловатые, как горгонарии, образы.

В сумерках читать стало невозможно. С севера напоззли грозовые тучи, и на крышу брызнуло дождем; под прикрытием облаков подкралась темнота, сквозь дырявую крышу теперь сочился лунный свет, окрашивая пол сарая в цвет серой лаванды. Над столом висела лампочка; Минголла встал, подошел к двери и щелкнул выключателем – к его удивлению, лампочка зажглась, затопив углы сарая белым сиянием. Вокруг тут же закружились мотыльки, отбрасывая на стены

шрапнельные тени. Минголла вернулся в угол и снова взялся за журналы, вполуха прислушиваясь к ветру и шуму прибоя в рифах. Затем что-то скрипнуло, Минголла поднял глаза и увидел в дверях худую темнокожую женщину в ветхом платье, выцветшем до бледно-коричневого цвета. От неожиданности он сделал то же, что раньше с Тулли: толкнул ее сознанием. И опять погружение, возбуждение и сила. Только на этот раз сопротивления не было, и Минголла понял, что плывет – другого слова не подберешь, – плывет в узоре, в спиральном клубке, но не проваливается в неизведанную глубину, как можно было бы предположить, а словно прокладывает тоннель так, что мысли этой женщины выстраивались вдоль его собственного узора, застывали в нужной ему форме. Он двигался так быстро, что не успевал следить за сложностью самого узора, пока наконец интуитивно не решил, что все в порядке, здесь безопасно, и вынырнул из ее сознания. На штанах вздыбилась ширинка.

Женщина качнулась, выпрямилась, глотнула воздух – видимо, от неожиданности. Она была молода – лет восемнадцать-девятнадцать, – кожа цвета какао, на носу и щеках россыпь веснушек; симпатичная, смышленное личико чем-то напоминает Дебору, рамка из жестких косичек... Он потерял интерес к женщине, поразившись, что сравнивает ее с Деборой, хотя прошло уже почти полгода. Потом сообразил, что все это время, не выходя на передний план его мыслей, Дебора была там, как подпрограмма, картинка, которую он на-

вещал в снах или просто во время затишья. А еще он понял, что знает ее теперь гораздо глубже, точно вел с ней постоянный диалог, составлял портрет из случайных намеков, запаха и жестов.

– Я знала, ты прийти, – еле слышно сказала женщина.

Он снова ее толкнул, направив припрятанное для Деборы желание и понимая уже по ходу дела, что форму этого желания можно чувствовать... да, чувствовать, как подачу в бейсболе, когда стоишь наклонившись, ждешь сигнала и сжимаешь за спиной мяч, перебираешь пальцами швы, пока не найдешь верное положение, – неосознанная, но очень искусная процедура. Лицо женщины ослабло, она часто задышала.

– Знала, ты прийти, вся неделя, – сказала она, подступая поближе. – У тебя столько силы! – Она погладила красно-зеленую разрисованную ракушку, что свисала на бечевке с ее шеи.

– Ты кто? – тревожно спросил Минголла, хотя на самом деле его мало интересовало, кто она такая, – он больше надеялся, что ее слова как-то прояснят, кем становится он сам.

– Я Хетти. – Она упала на колени в двух шагах от него. – В тебе полная сила. В тебе больше силы, чем я знала, и, слава богу, больше удачи.

Минголла встревожился еще больше.

– Ты о чем?

– Сила нести удачу. Это всегда. Новые люди идти к силе,

они трогают нас далеко, и можно не бояться.

Минголла вспомнил чувство защищенности, возникшее после того, как он закончил узор.

– Мы тоже тебя защита.

– Расскажи мне об удаче, – попросил он. Она облизнула губы.

– Об удаче не говорить.

– Почему?

– Говорить не объяснит.

Слова ее затронули в Минголле какую-то струну, он вспомнил, как избегал говорить о ритуале... со всеми, кроме Деборы, в которой увидел очертания новой удачи.

– Скажи мне, – снова попросил он. – А я дам тебе удачу еще сильнее.

Смесь недоверия и радости смягчила лицо Хетти, словно он пообещал ей что-то невозможное и чудесное, вроде загробной жизни.

– Ты делать это для меня?

– Да.

Она говорила придыхающим шепотом – теребя ракушку и склонив голову, долго и подробно описывала, как магический узор связывает жизни, как повторения гарантируют безопасность, и Минголла все больше удивлялся, насколько удача Хетти напоминает его собственный ритуал выживания, сверхчувствительность пилотов и другие гватемальские штучки. Все эти модели были одинаково иллюзорны, и

если вспомнить, что Хетти – всего-навсего контрольный экземпляр, на котором новоиспеченные медиумы отрабатывали происходившие с ними перемены, то вполне могло получиться так, что за каждый подобный случай должны отвечать сами медиумы, что именно они и породили все эти иллюзии. Минголле очень хотелось списать эти мысли на паранойю, но ничего не выходило.

Хетти сидела на ляжках, молчала и ждала в награду удачи; подол платья задрался, выставив напоказ тенистую ложбинку между ног. Минголла не мог дать ей удачу, только желание, единственную эмоцию, которой он умел придавать форму. И это желание было в нем сейчас очень сильным. Он жил им, жил скрытой в нем мощью. И куда бы он ни посмотрел, мир словно расцветал под напором его взгляда. Изношенные доски, серебристый бисер света в паутине, рыжее дерево стола – все становилось ярче. А что, если, думал он, сильное желание принесет удачу. Уже направляя его на Хетти, он вдруг увидел, что удача, покровительство фортуны, тоже имеет форму, и включил ее в поток своего желания.

Хватая ртом воздух, Хетти выгнула спину и растопыренными ладонями принялась водить по животу, груди, расплющивая и уминая округлости. Глядя на нее, Минголла понимал, что подарок – желание и удачу – легко вернуть, что он может взять эту девушку прямо сейчас, здесь, посреди мотыльков и паутины, получится употребление в чистом виде, почти насилие, удовольствие бесплатное и безнаказанное. А

хотелось сильно. Напряжение сковало тело, он разрывался от смеси уверенности и робости – словно получив точно в руки пас, тарасился в живот защитника и не знал, куда лучше прорываться – вправо или влево, – а потому стоял, подавшись вперед, как замешкавшийся ныряльщик, медленно подчинялся силе тяжести и ждал, когда противник увидит – или решит, что видит, – намек на выбранное направление, упреждающе сместит вес, встанет неудобно – и вот тогда Минголла прорвет оборону. Голова Хетти мотнулась из стороны в сторону, бедра приподнялись. На верхней губе и в ложбинке шеи выступил пот. В страсти она была похожа на грациозное животное, и Минголла потянулся к ней, думая о Деборе и о ее грации. Но тут Хетти вскрикнула, встала на четвереньки, воткнулась бедрами в пустоту, закричала опять, на этот раз мягко и хрипло; в ответ на сигнал тревоги в ее сознании замельтешили миллионы рыб, они расплывались в разные стороны, а их место занимал ленивый поток, вялый и лишь слегка подрагивающий.

Сарай кренился на ветру, крыша дребезжала. Хетти стояла на четвереньках и тупо тарасилась на Минголлу сквозь толстые кольца косичек. Теперь он не жалел, что не взял ее, она была слишком легкой добычей, ему не нужна женщина, сквозь сознание которой ходили все кому не лень. Он поднялся на ноги, Хетти следила за ним взглядом; он обогнул ее, подошел к столу, она повернула голову: эмоций не больше, чем у коровы.

– Вставай! – раздраженно приказал Минголла. Но когда она встала, свесила по бокам руки, раздражение сменилось жалостью, и он спросил, как она себя чувствует.

– Я... – Хетти машинально разгладила складки на платье. – Все как-то все получает ясно.

– Что все?

– Все из удачи.

По стене забарабанили ветви, на рифе прогрохотала волна.

– Лучше мы искать других. – Хетти шагнула к Минголле, глаза распахнуты, руки мучают ракушку. – От твоя удача все сгорит.

Поперек луны неслись серебристо-серые облака, и пространство вокруг отеля заполняла плотная бесшовная темнота. Затем вынырнула луна, и земля стала плавучей мозаикой света и тени: острые стебли, поросль округлых листьев морского винограда, бамбуковые побеги – все это сверкает заплатами лунного света, окружено изнуренной чернотой, шуршит и бурлит, разбрасывая тревожные звуки, хорошо слышные среди длинных гласных ветра и моря.

Хетти поманила Минголлу:

– Иди за мной!

Он махнул ей рукой и осторожно двинулся сквозь заросли к отелю, где между изогнутых пальмовых стволов сияла белая штукатурка, а открытые окна чернели, будто пещеры. Смоляные листья хлестали Минголлу по щекам, словно

заряжая энергией: с каждым шагом он становился сильнее, вбирая в себя дикость этой ночи.

Обойдя отель, они свернули в еще более густые заросли, полузадушенная тропинка долго продиралась сквозь папоротник, еще какие-то растения с мясистыми листьями, пока наконец не вышла на большую площадку утоптанной земли, в середине которой стояло бунгало с дощатыми стенами и конической соломенной крышей. В дверном проеме мигали свечи, каждую светящуюся точку окружал оранжевый нимб.

– Я привести их к тебе, – сказала Хетти и ушла в бунгало, оставив Минголлу под пальмой.

Ему было неловко, и он не понимал почему. Наверное, все дело в луне, она выхватывала его, словно прожектором, и, чтобы скрыться от этого серебряного глаза, Минголла шагнул поближе к пальме, прямо в щекочущие объятия листьев.

Один за другим из бунгало выходили островитяне, примерно дюжина темнокожих мужчин и женщин – старых и молодых, одинаково тощих и оборванных, каждый держал в руке раскрашенную ракушку или еще какой фетиш. В складках одежды, в морщинах, в глазных впадинах собирались тени, делая людей похожими на мертвецов. Их молчание словно приглушало лунное электричество и голос ветра. Хетти подгоняла, но Минголла, не дожидаясь, пока они подойдут ближе, выбросил свое сознание вперед, остановил их шаркающий ход и завязал в голове у каждого такой же замысловатый узел, которым раньше опутал Хетти; он обстреливал

их удачей и другими эмоциями, узнавая по ходу дела форму. После каждого удара островитяне коротко стонали, глаза закатывались и вспыхивали чистым лунным зарядом; люди бормотали молитвы, пятились и выстраивались по периметру поляны, не сводя с Минголлы благоговейных глаз. Каждый новый опыт заводил его еще сильнее, и, когда все кончилось, он сел на землю, спокойно принимая их взгляды, однако чувствуя себя эпицентром странного погодного возмущения – шторма с неосязаемым ветром, который вырывался из соседнего мира и не оставлял после себя ни следов, ни разрушений, – но тем не менее менял все. Очень хотелось чего-нибудь нормального, и, заметив в дверях бунгало Хетти, Минголла позвал ее, попросил сесть. Она опустилась рядом с ним на колени, скромно сцепив на подоле руки.

– Где ты живешь, Хетти? – спросил он.

– Я здесь.

– До того, как попала сюда... Где ты жила раньше?

Судя по всему, слово «раньше» основательно сбilo ее с толку, но в конце концов она ответила:

– Отец имеет немного земли в Цветочный бухта. – Затем, после некоторого раздумья, добавила: – Он растит пони.

– Ну да? – Пони и Цветочная бухта – идиллия какая-то. – Почему ты уехала?

– Это пони. Они маленький дети – дикий! Все время голова туда-сюда, глаз духа. С ними страшно.

Сидевший в тени морского винограда островитянин про-

тяжно завопил и поднял руки к луне.

– Что плохого могут сделать пони? – спросил Минголла.

– Могут, да! Всегда плохо, если злой дух. – Как бы в подтверждение, Хетти провела кончиками пальцев по его колену. – Но ты слишком сильный для духов.

Он почти не видел ее лица, наполовину освещенного лунной, наполовину спрятанного в тени, но все же уловил подспудную жалость, следы печали, о которой она сама уже почти забыла. Хотелось поговорить, просто поболтать, как с обыкновенной девчонкой, но от обыкновенной девчонки в ней оставалась только оболочка, да и во всех этих людях давно уже не было ничего обыкновенного.

Мысли снова унеслись к Деборе, и его снова это смутило. Минголла не верил, что влюбился, – просто не понимал, как такое может быть. Но ведь то же самое долгое и почти бессознательное изучение другого человека однажды привело его к любви, и Минголла надеялся, что сейчас происходит что-то другое. Он не особенно ценил любовь, знал, как она умеет разрушать и ранить, хотя и понимал, что разрушения и раны – хорошие учителя. Женщина, которую он когда-то любил, была пятью годами его старше – праздная смазливая домохозяйка, каких немало в богатых кварталах Лонг-Айленда; любительницы керамической бижутерии и джинсовых юбок, они отдаются благотворительности, потому что с мужьями им скучно, хватаются за малейшую возможность развлечься, но на самом деле не ждут ничего, ибо давно сми-

рились с той ролью, которую согласились играть, поверив, что жизнь их будет строиться по самым посредственным канонам и что скука – их удел. Минголла давал в университете уроки рисунка, она записалась к нему в группу, и через две недели у них начался роман. Сперва все шло прекрасно, но чем глубже становились отношения, тем больше она боялась, отмеряла любовь порциями, следила, чтобы она не перевесила надежность и стабильность брака, и в конце концов бросила Минголлу, оставив его старше и мудрее, чем он был до того. Однако учебу он к этому времени запустил настолько, что попал под военный призыв.

– Как будто беда класть на тебя руку, – сказала Хетти.

– Да нет, ничего, – ответил он.

Ветер теребил соломенную крышу бунгало, по луне поползли дымчато-серые облака, воздух заполнялся мутной пленкой, и темнота – из-за сгущавшихся облаков – стала абсолютной.

– Беда не найти тебя здесь, – сказала Хетти. – Ты здесь с нами.

Он почти не видел ее – эбеновое дерево в антраците.

– Война не найти и злой дух. Не страшно.

Не страшно, подумал он. Не страшная, но жуткая темная поляна, не страшно среди оцепенелых останков людей, в хаосе прибоя, что звучит прощальным артиллерийским залпом, не страшно на ветру, в чьем вое слышится тайное имя.

О да! Не страшнее некуда!

– Не страшно ничего, – сказала Хетти.

В награду за прорыв доктор Исагирре подарил Минголле книжку с автографом – «Придуманный пансион» Хуана Пасторина, любимого Минголлиного писателя.

– Я заметил, как ты на нее облизывался, – сказал доктор, и Минголла, не желая, чтобы Исагирре думал, будто хоть как-то умеет чувствовать его настроение, ответил, что ему было просто любопытно, и он никогда даже не слышал об этой книжке.

– Лимитированное издание, – сказал Исагирре, когда они входили в вестибюль отеля – длинное узкое помещение, скорее, широкий коридор; на восточной стороне ряд высоких окон, на западной лестница и двери в столовую. На оконных рамах завивались лианы и листья, пропуская сквозь себя серый свет; повсюду бархатистая пыль. На полу лежала ковровая дорожка с парчовыми отливами плесени, а над входом в столовую накарябаны названия дежурных блюд для завтрака: выцветшие буквы и слова с ошибками, вроде «бленов» и «жаренного картофиля». Похоже, энтропия здесь уже победила.

У главного входа висело зеркало, под ним стояло продавленное соломенное кресло. Обмахнув его носовым платком, Исагирре сел и дернул себя за бородку, словно растягивая восковое лицо.

– О чем ты хотел меня спросить? – поинтересовался док-

тор.

Сейчас, при свете дня, Минголла был уже не так уверен в своей теории насчет того, что манипуляции медиумов влияют на гватемальские войска, но все же изложил ее Исагирре.

– Да, как это ни печально, – согласился доктор. – Сопутствующая электрическая активность вызывает в мозгу незначительные изменения... особенно в мозгу тех объектов, над которыми работают медиумы. Кроме того, существует эффект трансляции, под его воздействие попадают все, кто находится в непосредственной близости. Усиливаются или возрождаются галлюциногенные схемы. Суеверия и так далее.

– Незначительные изменения? Вы, наверное, шутите! – Минголла махнул рукой в сторону парка. – Тамошний народ в полном раздрае, мои гватемальские знакомые ненамного лучше.

– Чем чаще воздействие, тем сильнее эффект. – Исагирре невозмутимо закинул ногу на ногу. – Я с сочувствием отношусь к твоей реакции, но необходимо видеть перспективу.

Минголла подошел к стойке администратора, положил на нее книгу и устался на затянутые паутиной почтовые ящики – он не мог разобраться в своих чувствах.

– Выходит, по мне еще не так много лупили.

– Вполне достаточно. Начать с того, что, судя по твоим докладам, незадолго до отъезда из Гватемалы ты провел некоторое время в обществе агента Сомбры.

– Что еще за Сомбра?

– Коммунистическая версия Пси-корпуса. Женщину звали... – Исагирре постучал пальцем по лбу, подгоняя память, – Дебора Чифуэнтес. – Он хмыкнул. – Вот тебе ирония судьбы: после того, как она не смогла заставить дезертировать тебя, она сделала это сама, убежала в Петэн. В штабе думают, что, если твое обучение пройдет так хорошо, как можно ожидать, неплохо бы послать тебя на ее розыски. Эта дама достаточно сильна, однако вполне возможно, ты сможешь с ней сравниться.

От ярости Минголла потерял дар речи.

– Как ты на это смотришь? – спросил Исагирре.

– Ага, – сказал Минголла. – Ага, замечательно. – Он принялся ходить взад-вперед перед столом. – Знаете, я одного не могу понять.

– Чего же?

– К чему эта суeta вокруг меня, да и вокруг нее тоже? Посмотрите, чем занимается Пси-корпус – сидит и гадает, когда начнется очередное наступление. Чушь какая-то.

– Ты и женщина по имени Чифуэнтес – аномалии. Агентов вашего калибра во всем мире не больше трех десятков. Ты не будешь заниматься гаданием. – Исагирре следил за его шагами. – Ты чем-то расстроен?

– Со мной все в порядке. Почему же она... ну, не знаю, не застрелила меня, например.

– Она легко могла взять тебя под контроль, но это разру-

шило бы твой дар, и я уверен, ей нужно было завербовать тебя, но не уничтожить. Когда один медиум оказывает влияние на другого, возникают сложности. Взаимодействие такого сорта укрепляет дар обоих. Возникает обратная связь, эффективность которой зависит от общего фокуса. А поскольку твой природный дар выше и пространство для роста у тебя в тот момент было больше, то пока она работала над тобой, ты набирал силу быстрее, чем она рассчитывала. В этом сложность. – Он встал и подошел к Минголле. – И все же ты чем-то расстроен.

– Не имеет значения.

– Однако мне хотелось бы знать.

– Перехочется.

Минголла раскрыл книгу и стал разглядывать подпись Пасторина, сложный вензель из множества петель и завитушек.

– Дэвид?

Минголла захлопнул книгу.

– Я, похоже, в нее влюбился, – затем саркастически: – но это, надо полагать, как-то связано с интенсивностью нашего общего фокуса.

– Как знать, – сказал Исагирре отрешенно и рассеянно.

Минголла шагнул к окну. Заросший джунглями парк вяло шевелился под бегущими по небу тучами.

– А что за дерьмо у меня вышло ночью с этими людьми?

– То, что ты называешь узором?

– Ага.

– Параноидальный механизм. – Исагирре деликатно кашлянул. – Ту женщину ты просто ударил, оглушил. Первая реакция достаточно тривиальная. Но потом ты неплохо разобрался, как работает твой дар. Формовка эмоций, превращение их в оружие. Теперь тебе нужна только практика.

– Господи! – воскликнул Минголла. – Это говно с узорами слишком похоже на...

– На что?

– Не знаю... на ос, наверное... Повадки насекомых.

– Ты боишься за свою человекообразность?

– А вы бы не боялись?

– Я был бы счастлив узнать, что мои возможности превосходят человеческие.

– Тогда какого черта вы сами не колете себе эти поганые препараты?

– Я пробовал... не внутривенно, правда. Принимал в естественном виде. Но я лишен дара. Как ни печально.

– Я думал, эта дрянь синтетическая.

– Нет, это растительный продукт.

– Гм... – Минголла провел пальцем по пыльному стеклу, увидел, что нарисовалась буква «Д», и стер ее. – Я хочу это задание.

– Ты о Чифуэнтес?

– Именно.

– Ничего не могу обещать. Ты пробудешь здесь еще шесть

или восемь недель. Но если она еще... возможно. – Исагирре взял Минголла под локоть. – Иди спать, Дэвид. Тебе нужно выспаться. Завтра я начну курс инъекций РНК, чтобы довести до автоматизма твой испанский, да и Тулли ждет не дождется, чтобы погонять тебя как следует.

Несмотря на тревогу и отчужденность, Минголла успокоился. Очень было странно и даже поразительно, что успокоили его врачебные фокусы Исагирре, ведь в докторе Минголла раздражало абсолютно все.

– Да, книгу не забудь. – Взяв со стойки Пасторина, Исагирре протянул его Минголле. – Прекрасная вещь, просто прекрасная.

В первом рассказе из «Придуманного пансиона» описывалась война двух кланов за волшебный цветок. Минголла заскучал, не дочитав до середины, рассказ показался ему слишком манерным, а члены семейств – полными муذاками. Зато его увлекла история, давшая название всей книге. В ней рассказывалось о странном договоре, который автор заключил с обитателями пансиона одной латиноамериканской трущобы. Писатель предложил заплатить за образование их детей, гарантировал им самим достаточный комфорт, но за это обитатели пансиона должны были до конца своих дней жить в придуманной автором истории, он будет дописывать ее год за годом, добавляя неподвластные ему события. Измученные нищетой жильцы согласились – потом они, правда,

упирались и пытались разорвать контракт, но со временем их желания и надежды подавлялись все сильнее, подстраиваясь под лейтмотив истории. В результате жизнь приобрела почти мистическую значимость, а смерть стала сакральной эпифанией. И только писатель, подорвавший, описывая их судьбы, силы и здоровье, только сам автор, для которого договор, что был поначалу странным капризом, стал актом высшего милосердия, – только он один прожил вполне заурядную жизнь, и только ему досталось под конец долгое и унижительное умирание.

Глаза слипались, Минголла закрыл книгу, выключил лампу и улегся поудобнее. Лунный свет струился в окно и омывал комнату голубовато-белым сиянием, подчеркивая резкие тени под письменным столом и стулом. На стенах висели этюды, которые Минголла успел набросать за долгие месяцы наркотерапии. Они отличались от всего, что он рисовал раньше: громадные каменные комнаты, из глухих стен выгибаются мосты, резные лестницы ведут в никуда, за сводчатыми потолками открывается странный вид на еще более несуразную архитектуру, и на каждой горизонтальной поверхности множество человечков размером с муравья – невнятные точки, почти незаметные среди карандашных теней и линий. Сейчас Минголле было неприятно смотреть на эти наброски – не то чтобы они казались чужеродными, просто он видел спрятанный в их глубине свой собственный характер и не знал точно, откуда тот взялся: изменился он сам, или ви-

новаты лекарства.

Веки закрылись, теперь он думал о Деборе – с тоской и гневом. Несмотря на разоблачения Исагирре, одержимость никуда не делась, и, сколько бы Минголла ни призывал на помощь логику и обиду, фантазия отметала предательство, и он упорно верил, что чувства Деборы были настоящими. Неудивительно, что она приснилось ему этой ночью, и сон получился поразительно отчетливым. Дебора парила в белой пустоте, одетая во что-то настолько белое, что он не различал ни складок, ни даже самой материи: как будто ее голова и руки существовали сами по себе на белом заднике. Она медленно поворачивалась, приближалась и удалялась, чтобы он мог рассмотреть ее под всеми углами, и каждый ракурс по-новому раскрывал ее характер, словно иллюстрируя сперва гибкость, затем твердость, а после самоотверженность. Музыка не было в этом сне, но двигалась Дебора настолько грациозно, что казалось, ею управляет неслышимая, пропитавшая пустоту мелодия, дистиллят музыки, воплощенный в белом течении. Дебора подплыла ближе и оказалась совсем рядом – если бы сон был реальностью, Минголла мог бы ее коснуться. Она подплыла еще ближе, ее руки и ноги расположились так же, как Минголлины, а в ее зрачках он видел плывущего в белизне себя самого. В голове раздался резкий писк, и следом возникло желание; захотелось стряхнуть сон, прижать Дебору к себе. Ее губы приоткрыты, веки тяжелые – как если бы она тоже его хотела. Она подплыла до невоз-

возможности близко, слилась с ним. Минголла застыл от жуткого чувства, как будто она вбирала его в себя. Дебора была в нем, сжималась, становилась маленькой, как мысль, грустная мысль, что бредет в белом платье по коридорам...

Минголла подскочил – весь в поту, тяжело дыша, он перепутал на долю секунды бело-лунную стену со своим белым сном. Но, даже узнав комнату, не мог избавиться от мысли, что Дебора сейчас здесь. Геометрия серебристого света и тени словно выдавала невидимую фигуру. Он ловил каждый скрип, каждое трепетание тени, каждый вздох ветра.

– Дебора? – прошептал он.

Ответа не получил и снова лег, напряженно дрожа.

– Будь ты проклята! – сказал он.

Глава седьмая

Роатан не был тропическим раем. Прибрежный барьерный риф, правда, выглядел живописно и в свое время кормил больше дюжины курортов, однако внутреннюю часть острова покрывали низкие травянистые холмы, а почти все побережье – заросли мангрового дерева. Вдоль моря тянулась грунтовая дорога, соединяя между собой застроенные лачугами Кокксен-Хоул, Френч-Харбор и Вест-Энд; еще одна дорога пересекала Роатан напрямую, от Кокксен-Хоул к северной оконечности острова, отелю и Песчаной бухте – ее вытянутый изогнутый берег временами казался очень красивым, но в следующую секунду невыразимо уродливым. В этом, решил Минголла, и заключалось его очарование: можно долго брести по грязным желто-коричневым дюнам, шагая осторожно, чтобы не ступить в свиное или коровье дерьмо, и вдруг – словно на солнце надевали светофильтр – заметить колибри, порхающих над кустами морского винограда, гамаки кокосовых пальм и рифленую воду, что переливается на разной глубине нефритовыми, бирюзовыми и ультрамариновыми полосами. Среди пальм разбросаны несколько дюжин свайных хижин с изъеденными ржавчиной крышами; в море от них отходили дощатые помосты прямо к сооруженным над мелководьем хлипким сортирам, которые, если смотреть издалека, обладали даже некой художественной

грубостью, как угольные наброски Пикассо.

Здесь, на этом берегу, Тулли каждый день учил Минголлу держать свою силу под контролем. Уроки эти были – как предложил Исагирре – всего-навсего повторением того, что Минголла понял в первую ночь в сарае; он наращивал силу, уже почти умел придавать эмоциям форму и все же думал, что учиться не только этому, но еще и профессионализму: как удерживать силу в себе, пользоваться ее преимуществами и обходить почти все ее ловушки. Манеры Тулли по-прежнему угнетали, но теперь Минголла видел, что самоуверенность и напор тренера – это именно те качества, которые необходимы, когда имеешь дело с силой. Ему снилась Дебора, он все так же думал о ней и желал ее, однако на свои мечты и мысли смотрел теперь жестко – Дебора стала целью.

Однажды утром Минголла и Тулли заплыли на плоскодонке за риф. Был отлив, и из воды, словно парапеты затонувшего замка, торчали верхушки черных кораллов с поселившимися в трещинах ежами и моллюсками. Вода за рифом колыхалась серо-синими и лавандовыми лентами, солнце рассыпало брызги, а множество мелких волн катились как бы во все стороны одновременно.

– Проклятое море, ненавижу, – сказал Тулли и плюнул за борт. Потом улегся на корме и натянул на уши засаленную бейсбольную кепку; кожа его отливала на солнце синеватыми бликами.

– Ты ж был рыбаком когда-то, – сказал Минголла.

– И лучшим на всем острове, друг. А море ненавижу. Долбанутое кладбище, вот что я тебе скажу! Вернусь домой – больше в море ни ногой. Смотри! – Он показал на другую плоскодонку, что плыла вдоль берега ярдах в пятидесяти от них. – Позови его, Дэви.

Минголла попробовал залезть в сознание рыбака, но ничего не вышло.

– Не достать.

– Давай еще, пока не зацепишь. – Тулли уперся ногами в уключину, и лодку качнуло. – Нет уж! Теперь я понимаю, что к чему, море на хрен!

– А что так?

Человек в плоскодонке закричал и замахал руками прятаясь под пальмами лачугам:

– Шелковая рыба, сатиновая! Луцан, луфарь!

– Что так? – фыркнул Тулли. – А ты поболтайся шестнадцать дней по этому кладбищу. На «Либерти белл», вполне нормальное корыто. Крепкий корпус, восемь цилиндров. И рыбка тоже нормальная: одиннадцать мешков королевской и два с окунем. – Он печально покачал головой. – Шестнадцать дней! И каждый самый длинный за всю мою поганую жизнь. Пить рыбью кровь и смотреть, как люди сходят с ума.

До плоскодонки было теперь двадцать ярдов, и Минголла соединился с гребцом, послав ему импульс любопытства и дружелюбия.

– Готово, – сказал он, когда рыбак бросил весла, засло-

нился от солнца и посмотрел в их сторону.

– Неплохо, – похвалил Тулли. – У меня бы вышло не намного лучше.

Минголла послал человеку сигнал срочности, чтобы тот греб быстрее.

– Шестнадцать дней, – повторил Тулли. – Когда крабовлов подцепил нас на буксир, только четверо и осталось. Кого солнце доконало, кто сам за борт сиганул.

Человек в плоскодонке всюду налегал на весла.

– Оттащил он нас напрямиком на Брагман-Ки, – продолжал Тулли. – Классное место, скажу я тебе. Поселили в отеле, подлечили маленько. Фрукты свежие, ром. Одна девчонка уж так обо мне пеклась. Должно быть, жалко ей было на меня смотреть. Потом, как отошел, мы с ней лихо погуляли. Когда уезжал, сказал, вернусь, но не вышло как-то... да, не вышло. – Тулли снова плюнул. – И собирался вроде, да вот как домой приехал, все говорят: герой, а я знай болтаю да пью. Не до девчонки было. Теперь жалею иногда, но, может, оно и к лучшему.

Плоскодонка подплыла совсем близко, рыбак убрал весла и схватился за корму их лодки.

– Как дела, Тулли? – спросил он. Жилистый темнокожий человек лет тридцати, черные блестящие глаза, кожа вокруг них вся покрыта рубцами и морщинами. Гениталии распирала штанину, а курчавые волосы на груди были матовыми от пота.

– Живу пока, – сказал Тулли. – Дэви, это мой сводный брат Дональд Эбанкс.

Минголла и рыбак обменялись кивками.

– Чего наловил, друг? – спросил Тулли. Отогнув угол брезента, Дональд показал на дне плоскодонки пару дюжин рыб: бирюзовых, красных, желтых в черную полоску, блестящих, словно мешанина причудливых камней, рассыпанных вокруг самой большой драгоценности, длинной рыбины с черными боками, белым брюхом и игольчатыми зубами – барракуды.

– Почему барра?

Минголла попробовал мысленно надавить на Дональда и получить рыбу даром, но Тулли пнул его в лодыжку:

– Прекрати! Так нельзя.

– Почему? – удивился Минголла.

– Бери что надо, а что можешь, отдавай. В этом мире только так.

Взгляд Тулли смутил Минголлу, и он принялся рассматривать Дональдову рыбу, ее пульсирующие от последних вздохов драгоценные бока.

– За барру я думал взять лемпира четыре, – сказал Дональд.

– Я б тоже так думал. – Тулли рассмеялся. – А еще б я думал, что можно и побольше, надо только найти подходящего дурня. – Он достал из кармана зацепившиеся друг за друга банкноты. – Два лемпира, друг. И не спорь со мной. Цена

хорошая, сам знаешь.

– Сука ты, Тулли. – Дональд ухватил барракуду под жабры и перебросил к ним в плоскодонку. – Тебе дай волю – тень со спины сдерешь.

– На хера мне твоя тень, сам подумай. А была б нужна, черта лысого я бы тебе дал за нее два лемпира. – Тулли протянул деньги.

Дональд уныло посмотрел на кредитки, сунул их в карман и без единого слова погреб к берегу.

– Извини, – сказал Минголла. – Не надо было мне лезть, раз он твой брат...

– Сводный! – рявкнул Тулли. – Херня. Этот сукин сын мне не друг – лет десять уже только и думает, как бы надуть. Но то, что я сказал тебе про этот мир, – все правда.

Минголла заглянул в мутные глаза барракуды.

– Не знал, что барракуду едят.

– Вообще-то не всегда. Надо бросить кусочек в муравейник. Если муравьи возьмут, то хоть зажрись. С бананами ее хорошо жарить.

Подул северный бриз, поднял зыбь, пальмы на берегу закачались, плоскодонка запрыгала вверх-вниз.

– Не бери близко к сердцу, Дэви, – сказал Тулли. – Еще научишься, с мудростью это дольше, чем с силой.

Туманная ночь, луна чуть проглядывала сквозь пальмовые листья дымчатой зеленой полосой, а бормотание прибора

походило на хруст костей в пасти чудовища. Свет падал из окон щитовой церквушки, что стояла в отдалении от берега, оттуда же лились мелодичные африканские созвучия, разрешавшиеся финальным «Аминь». По ступенькам спускались мальчишки в синих брючках и белых рубашках, девушки в белых с оборками платьях; они проходили футах в тридцати от бревна, на котором сидели Минголла и Тулли, голоса были чистыми и звонкими, в темноте ребята включали фонарики, играли с лучами, лакировали черную воду.

– Вон ту. – Тулли указал на двух девочек-подростков, прижимавших к груди псалтыри. – Которая слева. А к другой не лезь... Это моя кузина Лизабет.

– Она тоже мечтает тебя надуть? – спросил Минголла.

Тулли ухмыльнулся:

– Поговори мне. Не, пока я с ней вожусь, Лизабет у меня как шелковая. А эту зовут Нэнси Риверс, ее и так уже пол-острова перетрахало. С ней, если охота, – хоть до бесчувствия.

Минголла оглядел Нэнси: плоская, светлокожая, худое лошадиное лицо. До бесчувствия тут явно не дойдет, но он все же тронул ее мозг желанием. Девушка бросила взгляд в его сторону, шепнула что-то Элизабет, и через секунду обе подошли к бревну.

– Как тебе вечер, Тулли? – спросила Элизабет.

– Нормально. А тебе?

– Ничего особенного.

Элизабет была высокой, чувственной и такой же, как Тулли, угольнокожей; глаза под тяжелыми веками, выпяченные губы и широкий нос напомнили Минголле статуэтки с выставок африканского искусства. Нэнси подтолкнула Элизабет локтем, и та познакомила их по всем правилам. Минголла хмыкнул, носком ботинка прочертил в песке канавку.

– Ладно, – сказала Элизабет после неловкой паузы. – Мы, пожалуй, пойдем. Заглядывай, Тулли.

– Ага.

Перешептываясь, девушки зашагали прочь, Минголла смотрел, как качаются у Элизабет бедра. От резкого толчка Тулли он слетел с бревна.

– Что такое, друг? Окосел или как?

– С этой не надо... страшна уж больно.

– Хрена ли! У тебя что, глаза между ног выросли? Не дури! – Тулли рывком поднял Минголла на ноги. – Поехали в Хоул. Тамошние сучки завяжут тебе эту штуку узлом.

Они вернулись в отель, где Тулли переоделся в слаксы и нейлоновую рубашку с полуголой блондинкой на спине. Он распечатал бутылку рома, и они то и дело прикладывались к ней, пока тряслись по разбитой горной дороге в приписанном к отелю «лендровере» – срезая острые углы, ныряя в пятна тумана, мимо крытых соломой ферм и банановых рощ; один раз они чуть не врезались в корову, лишь чудом различив рогатый силуэт на фоне чуть менее темного неба и тусклых звезд. Они словно тащили за собой ночь, безумство ас-

социировалось у Минголлы с гонками по автотрассе, когда несешься неизвестно куда, на заднем сиденье ангел, в венах удача, а ты знай прешь вдоль белой линии прямо за горизонт, к той самой нулевой точке, где до самого неба громоздятся разбитые машины, а улыбочивые трупы истекают золотой кровью. Тулли сипловато тянул рэгги, а не знавший слов Минголла барабанил по приборной доске. Затем он запел Праулера:

– Полупрозрачны стекла тачки, гипервентилирую газом; а мисс Недотрога, крошка, в коме со мною рядом...

– Что еще за вопли? – поинтересовался Тулли. – Херня какая-то, а не песня.

Минголла рассмеялся, их ждало хорошее приключение.

Желтые земляные улочки Кокксен-Хоула заливал свет из облупленных домиков, что сидели на сваях, словно доисторические куры в пустых гнездах; на уцелевших петлях болтались дощатые ставни, пузырились пластиковые занавески, на крышах загибалась ржавая жесьть. На главной улице стояла розовая двухэтажная коробка отеля «Коралл», рядом прикрученный к балкону второго этажа фонарный столб и шлакоблочная конторка, которую охраняли одетые в камуфляж индейские солдаты. Между отелем и конторкой начинался бетонный пирс, уходивший в черноту моря, у его дальнего конца стояли со свернутыми парусами два кургузых суденышка для ловли черепах. Над гондурасским берегом, милях в тридцати от Роатана, мелькнула оранжевая вспыш-

ка. Из матросских баров неслась музыка, толстухи в набивных ситцевых платьях и таких же тюрбанах прогуливались неприступными парочками и осаживали взглядами темнокожих и по большей части тощих, как щепки, мужчин, когда те пытались к ним приставать. Между свай прятались собаки, обнюхивали крабовые панцири и битые бутылки.

Было так шумно, что Минголла, привыкший к тишине отеля, как-то сразу возбудился и, чтобы убежать от суеты, подцепил первую попавшуюся проститутку. Она отвела его в заднюю комнату большого барака – вообще-то бара, но догадаться об этом можно было только по написанной от руки и прибитой над входом бумажке: «КЛУБ ДРУЖБА – НЕ ДРАТСЯ». Девушка стащила с себя все, кроме бюстгальтера, легла на соломенный матрас, который затрещал под ней, словно пламя, и вытянула вперед руки. Она была неряшливо покрашена и толстовата в бедрах; когда-то, наверное, симпатичная, но сейчас ее лицо оступело и постарело от – как решил Минголла – безысходности. Он хотел снять с нее бюстгальтер, но она оттолкнула его руки. Он сильно сжал ее груди, и она послушно закрыла глаза. Минголла подумал об опухоли или шрамах, скрытых под бюстгальтером, и решил не настаивать. Он оттрахал ее быстро и грубо, воображая, что пьяные крики из бара только сильнее его заводят. Она двигалась механически, без вдохновения, а когда Минголла откатился в сторону, не мешкая натянула платье, села и принялась завязывать шнурки теннисных туфель. С тех пор

как Минголла спросил о цене, они не обменялись ни словом. Безразличие злило, и он, хотя до того ни разу не прикоснулся к ее сознанию, послал ей сонный импульс. Женщина зевнула, провела рукой по глазам.

– Устала? – спросил он. – Может, отдохнешь?

Она ущипнула себя за переносицу.

– Нельзя, – ответила она. – За комнату не плочено.

– Я заплачу, – сказал Минголла. – Поспи.

– Тебе-то зачем?

– Я еще приду на тебя посмотреть.

Он сказал это с угрозой, но она так хотела спать, что даже не заметила. Зевнула снова и повалилась на матрас.

– Отсыпайся, – сказал Минголла и захлопнул за собой дверь.

Он уплатил бармену за комнату, купил у него же бутылку рома и уселся за угловой столик дожидаться Тулли и щуриться от резкого света голой потолочной лампочки. На стенах болтались красно-черные рекламные плакаты местных рок-групп, проигрыватель на стойке бара – несколько неструганных досок на деревянных ящиках – извергал покореженный рэгги, слова тонули в шуме. По соседству, повалившись мордой на столешницу, сидел темнокожий мужик, за другими столиками теснилось еще человек тридцать – все почти в таком же состоянии; они размахивали ободранными тузами и королевами, трясли кулаками, орали. Глаза закатывались, питье лилось на рубахи, из ноздрей валил дым. Начинались

драки, потом затихали, и начинались новые, теперь уже между миротворцами. Минголла опрокидывал рюмку за рюмкой, намереваясь напиться, чтобы соответствовать обстановке. Выносить шум становилось все труднее. Но не только гвалт действовал ему на нервы, и дело было не в хмеле и не в злости на проститутку. Минголлин гнев держался на чем-то менее определенном, но более едком, хотелось тишины, чтобы точно выяснить на чем. Потому он и взялся устанавливать в баре спокойствие, утихомиривать ярость, успокаивать взъерошенные чувства и выманивать улыбки на хмурые рожи. Вскоре сарай являл собой декорации для приглушенных разговоров и вежливых дебатов по поводу неверной игры.

– Я уверен, Байрам, что тrefовая тройка уже вышла, – говорил сидевший рядом с Минголлой мужчина. – Я хорошо помню, это было сразу перед тем, как Спарджен выложил пиковую даму.

На что Байрам, седой старикан в капитанской фуражке, с которой облезла почти вся позолота, отвечал, что, видимо, да, так оно и есть и он понятия не имеет, как эта тройка попала к нему в руки.

Минголла был в восторге от легкости, с которой ему все это удалось, но с эстетической точки зрения результат оставлял желать лучшего. Нужно не так, думал он, не степенная атмосфера бридж-клуба, а слегка облагороженная версия недавнего разгула, формальное развитие его дикого потенциала. Минголла заставил один стол смеяться, а другой

плакать; затем глотнул рома, понаблюдал за результатом и задумался, чего бы еще такого сотворить. Он, как спичкой, разжег перепалку между Байрамом и другим стариком с перемазанной табаком бородой пророка, вынудил их тыкать друг в друга пальцами и бессильно размахивать кулаками из-за плеч растаскивавших их игроков. У проигрывателя заело иглу, но Минголла убедил бармена, что все в порядке, и тот лишь улыбался, кивая в такт одной и той же скрипучей фразе. Минголлин гнев утих, стоило ему закончить эту сцену. Он сидел, довольный собой, и лишь добавлял декоративные штрихи, подчеркивая веселье и отчаяние, пока бар не превратился в театр, где разыгрывается пьеса из жизни сумасшедшего дома, а психи разведены по разным углам сцены в зависимости от степени помешательства и от диагноза.

– Дьявол тебя забери!

Между столиками неся перекошенный Тулли; шархнув кулаками по спинке стула, он объявил:

– Ты что, охренел! Сейчас же делай все, как было!

Ширинка у него была наполовину расстегнута, рубаха болталась, и он с трудом удерживал Минголлу в фокусе.

– Мне так больше нравится, – сказал Минголла.

Секундой позже ему нестерпимо захотелось уступить, ведь это же Тулли, его добрый друг и учитель, человек, который ставит его интересы превыше всего. Минголле было стыдно, что Тулли так из-за него расстраивается. Но, осознав, насколько неожиданно захватили его эти чувства, а

также их невнятность, – а значит, Тулли явно приложил к ним руку, – Минголла слепил из страха и неопределенности губительный шар и швырнул им в тренера. Тот качнулся, ухватившись за край стола. Однако отбился, и несколько секунд Минголла чувствовал между ними барьер, поле битвы двух потоков тепла и электричества. Затем барьер рассыпался, Тулли отшатнулся и плюхнулся на стул. Минголла тоже откинулся назад. Хлебнул рома и улыбнулся, глядя, как Тулли трет лоб тыльной стороной ладони.

– Сделай как было, – приказал он.

– С какой стати?

– У тебя весь остров в корешах ходит, да, друг? Шпионов нет, никто никого не пасет, да?

Минголла передразнил его:

– Вот сам и делай как было, друг, а я чего-то подустал.

Тулли вспыхнул, но потом опустил глаза и поскреб ногтем большого пальца бутылочную наклейку. Все вокруг постепенно заполнялось прежним шумом и раздором. С тем же размахом полетели карты, проигрыватель починили, раздались недовольные голоса. Поток нормальности перекрыл Минголлины причуды. Но радость от победы пропала. Раньше Туллино превосходство было для Минголлы буфером, защитой, теперь он становился первым номером, и рисковать отныне придется осторожно.

– Что за петух тебя в жопу клюнул, друг? – спросил Тулли, наклоняясь поближе. – Только без базара. Это тебе не уроки

в школе прогуливать – тут дело серьезное. Ну?

– Не знаю, – хмуро ответил Минголла.

– Черт, Дэви, пора уже знать. Тебя сожрут и не подавятся, а ты так и будешь хлопать ушами... понял?

– Ага, кажется.

– Аж живот от всего этого говна скрутило! – Тулли мрачно развернул стул, затем покосился на Минголлу. – Был бы я трезвый, хрен бы ты меня взял.

– Может быть. – Минголла подвинул ему бутылку с ромом. – Пей.

Тулли опрокинул бутылку, потом вытер рот.

– Может быть! В нашем деле чтоб никаких «может быть»! – Он еще раз опрокинул бутылку и вздохнул. – Дой мой пора.

– Я бы остался, – сказал Минголла. – Можно?

Тулли пережевывал собственные мысли.

– Я в эту хрень больше не полезу.

– Тебе можно верить?

– Вроде да.

– Вроде... Хм! – Тулли содрал этикетку и скатал ее в шарик. – М-да, меня там на улице ждет одна малютка, так что я не против. Чего делать-то будешь?

– Да так, есть кое-что.

– Кое-что в задней комнате?

– Ага.

– Что я тебе говорил про островных девок! Душу вытря-

сут, ага?

– Нормально, – сказал Минголла.

– Черт с тобой! – Тулли оперся на стол и поднялся. – Расслабляйся. Только не забудь... устроишь опять бардак, твои будут глотать кости, не мои.

Сначала Минголла собирался отомстить проститутке: заставить ее сходить с ума от секса и узнать попутно страшную тайну ее груди, однако жажда мести прошла. Женщина еще спала. Свернулась на матрасе, платье сбилось на бедрах, круглолицая, некрасивая тетка, загнанная в угол нищетою и глупостью; прожилки серебристо-серых досок на полу словно рассказывали ее историю. Кроме кровати, в комнате ничего не было, и, чтобы не беспокоить женщину, Минголла сел на пол и стал слушать, как затихают в баре крики, превращаясь постепенно в невнятный гомон. Пошел дождь – тяжелый ливень барабанил по железной крыше так громко, что Минголла удивлялся, почему не просыпается проститутка. Но она все дрыхла по Минголлиной команде, и скоро ритм дождя нагнал дрему на него самого. Мысли приходили и уходили безо всяких логических связей или цепочек причин и следствий, словно ястребы в пустом небе. Мысли о Деборе, о силе, о Тулли и об Исагирре, о доме, о войне. Эта разрозненность мыслей, разобщенность сознания говорила о том, что оно никуда не растет и не развивается, – просто мозаика, сорочье гнездо, набитое побрякушками и стекляшками, между

которыми время от времени проскакивают молнии, соединяя эти цапки вместе; на секунду они удерживают целостность, и тогда возникает иллюзия человека, человеческого разума, эмоций и убеждений. Несколько лет или даже месяцев назад Минголла наверняка отверг бы эту теорию, предпочтя ей что-то более романтическое. Но с тех пор его сознание – его сорочье гнездо – изменилось: война и проститутки заняли в нем место домашних пирогов и подружек, а потому если юный Минголла держался бы подальше от черноты этого нового самопонимания, то нынешний черпал в ней силу, оправдывал бесчестье и презирал сантименты. Впрочем, даже эта холодная созерцательность уживалась в нем с сентиментальностью. Минголле хотелось лечь рядом с проституткой, прижать ее к себе. Она была бы для него хорошей парой. От нее пахнет глиной и дождем. Его руки проникнут сквозь ее податливую плоть, утонут в ней, сольются с ее сутью, а после их обоих растворит дождь, коричневые потоки протекут сквозь доски, соберутся под бараком в лужу, впитаются в землю, чтобы в ней быстрее созревали яйца жуков, ящериц и выслали им на смену целые орды безмозглых тварей.

Его разбудил пробившийся через щели в ставнях бледный утренний свет, Минголла вышел в бар. Болела голова, во рту пересохло. Прихватив со стойки полупустую бутылку пива, он спустился по ступенькам на улицу. Небо было молочно-белым, но вода в лужах отсвечивала серым, словно в ней плавал какой-то прокисший осадок, неровные ска-

ты крыш казались заколдованными. Вспугнув бродячего пса, Минголла направился к центру городка; мимо пронеслись крабы и прятались под перевернутые лодки; какой-то чернокожий тоже промчался под крышу хибары, на груди у него краснели полосы засохшей крови. На каменной скамейке у розового отеля спал старик с ружьем на коленях. Как будто наступил отлив, выставив на всеобщее обозрение обитателей дна.

Минголла подошел к бетонному пирсу. Баркасы-черепаховы уже уплыли, а небо над материком очистилось до бледно-аквамаринового цвета. На горизонте виднелась череда низких, покрытых дымом холмов. Минголла глотнул теплого пива, подавился и выплюнул; закинул бутылку в воду и стал смотреть, как она плавает среди масляных пятен и полосок бурых водорослей, потом прибывает к пирсу и звякает о заросший ракушками бетон. На верхушках волн собиралась мыльная пена, а нечто тонкое, как палка, и непрозрачное, вдруг появившись под водой у самой поверхности, выпустило из трубчатого рта что-то вроде облачка эктоплазмы. Прибрежный ветер пах йодом и сладковатой гнилью. Минголла решил, что чувствует себя вполне нормально – учитывая обстоятельства.

– Ну что, Дэви, жив еще? – Рядом стоял Тулли.

Минголла повернул голову. Глаза у Тулли были налиты кровью, а лицо словно натерли мелом.

– Тяжелая ночка? – спросил Минголла.

– Поживи с мое, все будут тяжелые. Но не перевелись еще сучки, чтоб к старикам подобрее. – Он махнул рукой в сторону берега. – Смотришь, как там в Железном Баррио, ага?

– О чем ты?

Тулли указал на низкие холмы.

– Это дым с Баррио. Завтрак себе жарят, а может, трупы жгут. Любят они подвесить кого под крышу, а после спалить.

– М-да, – сказал Минголла.

– Ага, с утра знаешь какая вонь.

Минголла присел на корточки, стараясь получше разглядеть дым. Теперь, когда он знал, что это такое, ему стало казаться, будто холмы дрожат, озаряясь красными вспышками – ароматом демонического действия.

– Этот человек, которого я должен убить...

– Ну?

– Кто он?

– Никарагуанец, зовут де Седегуи. Ополонио де Седегуи. Большая шишка, агент Сомбры, до терапии вроде был профессором. – Тулли прокашлялся и сплюнул. – Этот ненормальный надумал спрятаться в тюрьме.

– Зачем он вообще прячется?

– Дезертир, наверное. Только надо быть совсем уж психом, чтобы думать, будто Баррио его спасет.

Минголла смотрел на дым, пытаясь угадать, что же там горит.

– Переживаешь, Дэви?

– Немного... думал, будет хуже.

– Это хорошо. Пока держишь мозги под контролем, все путем. Особо не паникуй. Когда дойдет до Баррио, ты уже будешь крутой мужик. – Тулли хмыкнул. – Ну да ты и сейчас уже вполне.

Когда не было занятий, Минголла или читал по несколько часов подряд, или гулял вдоль берега; иногда за ним увязывалась Хетти и другие изгои, но Минголле уже надоела эта популярность, и он старался от них избавиться. Два раза он натолкнулся на Элизабет, кухню Тулли, и в один из этих разов она поделилась с ним бутербродами и показала, как нужно есть плоды кешью, выковыривая семечки и посыпая солью кислую мякоть. Судя по всему, Минголла ей нравился, он задумывался, не закрутить ли с ней чего-нибудь, но из-за Тулли не решался. Шли дни, Минголла все больше скучал и не находил себе места, как будто вокруг отеля выросла бетонная стена и заперла его на этом острове. По ночам его мучили сны о Деборе, он часто просыпался, потом загонял себя обратно в сон воображаемыми сценами секса и мести, иначе не получалось.

Однажды вечером за две недели до Ла-Сейбы Исагирре ввел ему последнюю ударную дозу препарата. После укола Минголла нервничал и чувствовал слабость, в голове словно что-то щекотало; ночью он не мог заснуть, его мучили вспышки галлюцинаций, незнакомые города и лица появля-

лись и исчезали так быстро, что он не успевал их рассмотреть; Минголла бродил по отелю, пока не остановился перед незапертым, как обычно, кабинетом Исагирре. В маленькой комнате рядом с вестибюлем стояли стол, два кресла, книжный шкаф и ящик для бумаг. Минголла сел на докторское место и принялся перебирать папки, он был сейчас слишком рассеян, чтобы понимать, что читает, а потому печатный текст игнорировал вообще – буквы разбегались, как муравьи, – а вместо этого сосредоточился на полях, исчерканных замысловатым докторским почерком. Галлюцинации продолжались, а когда Минголла наткнулся на свежую запись, в которой Исагирре опасался, что ввел Минголле слишком большую дозу препарата, видения стали поразительно живыми. Он разглядел часть фрески на каменной стене: темная женская рука свешивалась с матраса и была окутана такой обреченной чувственностью, что сразу напомнила Минголле картины Дега¹³; и аккомпанементом – гнетущая жара, запах пыли и разложения. Галлюцинация обладала непреодолимой ясностью, такими бывают только пророческие видения, картина представлялась настолько подробнее всех его обычных озарений, что Минголле стало страшно. Его затошнило, он встал, потряс головой. Стены потемнели, закружились, посветлели снова, и он закрыл глаза, силясь побороть слабость. Опустил руки на стол, пощупал теплую кожу. Открыл глаза и увидел, как с тротуара на него та-

¹³ Эдгар Дега (1834-1917) – французский художник-импрессионист.

ращится нищенка: на толстых щеках паутина лопнувших сосудов, нос картошкой, платок завязан у подбородка так туго, что багровое лицо перекорежилось, словно бугорчатый овощ.

– Это разве Америка, – уныло проговорила нищенка. – В Америке так к людям не относятся.

Минголла зашатался: небо стало оранжевым, ночное небо над городом, болезненные пальмы с коричневыми листьями и чешуйчатыми стволами, в скользком от дождя асфальте отражаются неоновые туманности и сияющие вывески баров. Разудалая музыка, ритм повторяет колебания нервов. Кто-то налетел на Минголлу, закричал:

– Ой-ой! – Жирный круглорожий мужик высунул розовый мясистый язык с вытатуированной коброй, оскалился и засеменил в мир, где он прекрасен.

– Что я тебе говорила? – пискнула нищенка.

Толпы крикливо одетых людей шаркают ногами, входя и выходя из зданий со стеклянными витринами, история американских извращений... шлюхи в ярких обтягивающих штанах, кожаные мальчики, бляди в юбках с разрезами, девчонки с голыми сиськами и наколкой «АНГЕЛ» на левой, все бледные в этой обжигающей жаре, буквы непонятного языка, округлые костяшки домино, вместо точек темные глаза и рты, висюльки на шеях белковых машин, одна мысль на мозг, билетик в пластмассовом яйце, медленный поток течет мимо дьявольского ряда баров, секс-лавок и игровых ав-

томатов, под мистическим туманным светом, под пятнами красных и желтых воздушных слов, голоса невнятные, смех раздражающий, ночь исчеркана протухшим желтком их чувств; Минголла теперь знал, что нищенка ошиблась, это самая настоящая Америка, опустошенная туристскими аттракционами долина Южной Калифорнии, и где-то, а может везде, притаился за рекламным щитом огромный, красный, дряблый кабан Сатана с отвислым до ляжек брюхом, рогатый и хихикающий, смотрит сквозь глазок на великое раздевание своей любимой суки – Идеи Порядка...

Нищенка безнадежно покачала головой:

– Нам нужен новый Колумб, вот что.

– Помогите ветерану, – раздался позади голос.

Минголла резко обернулся и чуть не столкнулся с пронырливым коротко стриженным человеком – одноногий, на костылях, в камуфляже с нашивкой Первого Никарагуанского пехотного полка, он стоял, протягивая руку. В темноте его глаз Минголла видел секреты битв и тайную правду потрясений.

– Эй! – воскликнул ветеран. – Эй, я тебя знаю, мужик! Помнишь меня? Долина, мужик, – долина у Сантадар-Хименес, помнишь? – Он ковыльнул на шаг вперед и взгляделся Минголле в лицо. – Ага, это ты, мужик. Изменился малость – прическа другая или еще чего. Но точно...

– Нет-нет. – Минголла попятился. Он казался себе невероятно высоким, боялся задеть головой оранжевое небо, пе-

репачкаться в его грязной краске. – Ты меня с кем-то спутал.

– Да ни хуя! Ты ж был там, когда меня зацепило, мужик. Не помнишь? Как с бобиком играли, ну... неужели забыл!

Минголла шагнул в толпу, и его понесло в медленную давку. Он не помнил этого человека, но он много чего не помнил и боялся, что кто-то его узнает – кто-то, у кого за пазухой камень.

– Эй, браток! – Женщина, красивая, бледная, черноволосая женщина с карминным ртом, высокими скулами, огромными глазами и роскошным телом, которому самое место на порнографических пивных кружках, под длинным платьем змейки из черного кружева и твердые петли, женщина с шелковыми бедрами и, наверное, забавной наколкой... она взяла его за руку и притянула к себе. – Я Сексула, – проворковала она. – Браткам-ветеранам бесплатно.

Минголла рассмеялся, вспомнив о федеральной программе и еще каких-то льготах.

– Ну и вали отсюда, Джим! – Она оттолкнула его. – С ним как с человеком, а он... Пидор, наверное, тащи свою жопу в «Мальчишник».

– Пидор? – В нем поднималось веселье, и вот оно уже на Гималаях беззвучного хохота. – Показать тебе мою штуку? Чехол снять...

– Не желаю я слушать всякую гадость. Может, каким другим каталам это и нравится, браток, а мне – нет. Я...

– Что еще за каталы?

Незнакомое слово вернуло Мингоглу на землю, напомнило ему, что он потерял... Потерял?.. Кого он, черт побери, потерял? Толпа прибила их к окну.

– Каталы, браток! – ответила Сексула. – Ну, вроде как, видишь... – она обвела рукой улицу, – ...это все карнавал, а я на нем катала. – Она поймала его за руку. – Что с тобой, браток? Какой-то ты, как будто спалили.

В нем опять поднимался хохот. Минголла примерился к ее телу: невероятные груди, темные вишни сосков торчат из переплетения черных кружев. Хорошая девочка, подумал он. Наверняка иностранная студентка. Зарабатывает на учебу.

– Что стряслось, браток? Снежка перебрал?

Он вдруг вспомнил.

– Я ищу одного человека... меня тоже ищут.

– Уже нашли, – сказала она. – Пошли посмотрим комнату.

Можно отдохнуть, собраться с мыслями. Подальше от оранжевого неба. Но он не доверял этой женщине. Он настроил ее на честность и открытость.

– Почему я?

– Я же сказала, браток: ты – ветеран... город мне за ветеранов платит.

Она повела его за угол, через стеклянную дверь, по ковру с пятнами, похожими на темные материки в бордовом море, затем в узкий зеркальный вестибюль, в дальнем конце которого сидел, сгорбившись за конторкой, старый гном с крюч-

коватым носом, пучками седых волос по бокам головы и гоблинскими ушами; гравировка «все кончено» у него на лбу была бы в самый раз.

– Двадцать за комнату выпивка отдельно, – проговорил он без знаков препинания и не поднимая головы, но Сексула возмутилась:

– Он ветеран, Луди.

Луди покосился на Минголлу, и тот почувствовал, как трескается кожа под взглядом этих налитых кровью голубых глаз.

– Карточка есть? – спросил старик.

– Э-э... У меня ее украли, – сказал Минголла.

– Раз нет карточки плати двадцатку. – Луди перевернул журнальную страницу, и, заглянув через стол, Минголла увидел там фотографии голых мальчиков, которые соблазнительно, но все же понарошку трахались.

– Ты что, оглох? – Сексула хлопнула рукой по стойке, оторвав Луди от забав трех приятелей, которых звали Джимми, Батч и Сонни. – Говорят тебе: украли!

Луди нахмурился, глаза почти исчезли в складках воспаленной розовой кожи.

– Хотите платить двадцатку платите двадцатку. – Он поставил точку. – Не хотите платить двадцатку катитесь в жопу.

Кто-то дотронулся до плеча Минголлы, и тут же раздался девичий голос:

– Извините, пожалуйста.

За спиной у него стояла тоненькая девочка-мышка лет девятнадцати-двадцати; то был пик ее привлекательности – на одном склоне невзрачность, а на другом обыкновенное уродство. Одета в джинсы и футболку с картинкой Тайной Вечери и надписью: «ПРИМИТЕ: СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ». Хозяйственная сумка в руках. Тусклые каштановые волосы, груди как перевернутые блюдца.

– Дар любви может стать трансцендентным опытом, но за него не заплатишь деньгами. – Слова прозвучали заученно. – Я принесу тебе дар, брат мой.

– Мотай отсюда, – сказала Сексула. Девушка не обратила на нее внимания.

– Я способна дать тебе все то же, что и она, а кроме этого, у меня есть...

– Сифон ты ему дашь или чего похуже, в тебя ж каждый мудака тыкался. – Сексула прошлась вокруг девочки, с преувеличенным отвращением качая головой.

– Я дам тебе гораздо больше, – продолжила та, проглотив смущение. – Через акт любви ты причастишься к Господу нашему Иисусу Христу, во имя...

– Эти пёзды думают, что если во имя Господа, то чисто, – сказала Сексула. – На самом-то деле на них иначе никто не позарится. Кости с дыркой!

Луди рассмеялся – словно что-то большое и сочное плюнулось в пустой бумажный пакет. Девушка поморщилась.

– Иисус Христос, которому я служу...

Сексула фыркнула:

– При чем тут Иисус!

Это переполнило чашу девочкиного терпения.

– Можешь говорить обо мне все, что угодно, но ты...

ты... – Она замахнулась на Сексулу сумкой. – Что ты знаешь об Иисусе? Он никогда не касался тебя руками!

– Мужчина меня касался. – Сексула подмигнула Луди. – А я ему даю самую старую религию с самыми новыми фокусами.

– Пожалуйста, не ходи с ней! – Руки девочки трепетали у груди Минголлы. – Я видела, что делает Господь, он делал... чудо! Чудо из праха!

Речь ее становилась все более бессвязной, сама она жалкой, и Минголла, вдруг за нее испугавшись, коснулся ее разума и вслушался в статический шум ее мыслей, в треск полуоформленных образов и воспоминаний...

...самое гнусное, это то, что я сделаю, сделаю, неважно что, и тогда не будет, как в подвале, свет через паутину, не будет через паутину на треснутом стекле, серый, как его сердце, сморщенный, как его сердце, и боль прямо через меня, яркая, она цветная и яркая, и я это сделаю, пусть он опять, боль такая яркая, что Бог заметит, Бог простит, но не в подвале, не...

...какой подвал, какая боль...

...это ты...

...какой подвал, какая боль...

...это ты, это истинно ты, о Боже, благодарю тебя,
да...

...какой подвал, какая боль...

...подвал, да, в приюте для бездомных, я спала в подвале,
тепло, там было тепло от печки, и я проснулась, и он был
на мне, почти во мне, и там нельзя, надо, чтобы никто не
видел, и это очень больно...

...кто...

...старик, там много стариков, но я не видела лица,
только руки у меня на плечах, желтые руки, ноготь раздавлен,
багровый и черный, как коготь, впился мне в плечи, да-
вит к полу, и мое лицо в пыли, на языке, когда я закричала,
пыль, прах, и печь ревет, никто не слышит, только я сама,
сама слышала свой голос в пламени печи, голос поет в пла-
мени, даже через боль он пел радостно, потому что столько
новых чувств, и я хотела... это ты, истинно ты, истинно...

...что ты хотела...

...пыли, снова вкуса пыли, но не смогла, он потащил меня
за волосы, потащил мою голову назад, согнул меня, сломал
меня, сказал, что убьет, если расскажу, но я не хотела рас-
сказывать, не хотела, чтобы кто-то узнал, хотела пыли
во рту...

...зачем...

...чтобы проглотить боль, как кошки, когда их тошнит,
глотают свою рвоту, и им лучше, не оставляют на полу,

а забирают себе, делают собой, и, когда он ушел, я так и сделала, я лакала пыль, как кошка свою рвоту, пока язык не посерел, и...

...боль ушла...

...да, нет, да, ненадолго, но она всегда там, всегда приходит опять, всегда густая и серая навсегда, и я должна лакать еще и еще, и это ты, истинно, прошу тебя, прошу, скажи мне, это ты...

...

...прошу тебя, о, прошу...

...

...это ты, мне нужен твой голос, я не знала, что голос может быть таким горячим, это ты, скажи...

...да...

...о боже, заведи ее, пожалуйста, дай мне цвет и яркость без боли, пожалуйста...

...да...

...о, о, я...

...слушай...

...я слушаю, слушаю...

...представь человека, который на тебя набросился...

...я не могу, я...

...он старый, желтушный, волосы седые, всклокоченные, на лице карта из дыр и бед, из морщин и пороков, он в лохмотьях, и сердце его в лохмотьях, зубов нет, десны цвета крови, а глаза голубые, водянистые, слезливые, ты видишь

его...

...да, но...

...смотри...

...он... распадается, трескается, трещины по всему телу, а кожа, кожа отслаивается...

...и что...

...свет...

...смотри...

...он светится изнутри, свет сквозь трещины, и свет...

...что со светом...

...свет... входит в меня, сияет лучами, сияет в меня...

...чистый, очищает...

...да, а старика больше нет, только свет наполняет меня...

...что ты чувствуешь...

...не знаю, иначе, я другая...

...сильнее...

...да...

...сильная, чтобы уйти, начать все сначала, начать новый путь, новую жизнь...

...но где...

...ты должна уйти...

...как...

...уйди отсюда, уходи сейчас, скорее, найди другое место, маленький город, деревню, белые дома и фермы, и там ты будешь прекрасна, открыта, как цветок, от всего сердца,

*тело чистое и милое, ты будешь дышать новым воздухом,
новые мысли, и любовь...*

...любовь...

*...любовь подхватит тебя, вознесет, излечит, и ты за-
будешь подвал, боль, забудешь прямо сейчас и никогда не
вспомнишь, а если когда-нибудь опять начнется старая
боль, даже не мысль, а только начало, плохое чувство,
страх, ты услышишь мой голос и узнаешь, что только ра-
дость истинна, ты чувствуешь радость...*

...да, да...

*...и никогда не слушай других голосов, лишь этот голос
настоящий, только радость...*

...я не стану, обещаю...

*...и красота твоя будет подобна аромату, мысли, зна-
нию, огню, истине, и ты отдашь ее только тому, кто уви-
дит эту красоту, чьи касания станут для тебя кладом, чье
сердце познает твое сердце, и, когда он придет к тебе, мой
голос скажет, что это он, подаст тебе знак и назовет его
имя...*

...любовь...

*...да, любовь навсегда, любовь отныне, и он уведет те-
бя, единственную и любимую в царство духа, где цвет и яр-
кость, но нет боли...*

...любовь...

...сейчас уходи, уходи, ищи новый дом...

...но...

...я буду с тобой...

...всегда...

...да, всегда, иди...

...я боюсь...

...к свету, иди к свету, он обещает радость, иди...

Девушка попятилась. Ошеломленное лицо сияет.

– Я... Мне нужно идти. – Она улыбнулась. – Извините.

Мне пора.

Сексула злорадно рассмеялась.

– Подожди. – Девушка полезла в сумку, достала оттуда что-то и сунула Минголлу в руку. На пластиковой карточке, сложив молитвенно руки, описывал круги голографический бородач в белой тоге. Минголла сказал спасибо, но девочка уже понеслась к дверям и быстро, срываясь на бег, выскочила на улицу. Луди сказал:

– Нет двадцатки, тогда выматывайся.

Сексула потерялась о Минголлу.

– Ну, ты ж правда ветеран, докажи как-нибудь.

И он все вспомнил, сила подтолкнула его память. Он потерял, потерялся в Америке, в тоске и бестолковщине, и даже когда найдет ту, кого ищет, и даже победив вместе, они не обретут того, что потеряли, а будут жить без цели и плана, не понимая, кого победили. Луди требовал двадцатку, Сексула заявила, что или он возьмет себя в руки, или она уходит, потому что, будь ты хоть сто раз ветеран, нельзя же занимать-

ся этим на улице, а Минголла таращился через стеклянную дверь на страну, где он родился, на ожившую фреску мишур и распада, одновременно чужую и знакомую, вглядывался в нарисованные лица и невидящие глаза, думал, что же ему делать, а маленький Иисус все ходил и ходил кругами у него в руке.

...Стены кабинета Исагирре обрели четкость, и Минголла выпрыгнул из кресла, чувствуя все ту же тошноту и еще большую потерянность в душной тишине отеля. Мысли кружились, он силился постичь, что же произошло. Это было так реально! Будущее... то, что произойдет потом. И вместе с тем отчетливый привкус галлюцинации. Сознание расплывается, искажения. И девушка. Он слышал ее мысли, отвечал им. Но невероятнее всего – он ее вылечил. Паранойя и путаница в голове были ему хорошо знакомы. Но спокойствие, душа, полная сострадания, – этого человека он не знал никогда. Нет, все-таки галлюцинация. Надо будет рассказать Исагирре, и... секунду подумав, Минголла решил молчать. На случай, если это одновременно галлюцинация и реальность.

Море переливалось аквамариновыми и бледно-фиолетовыми полосами, коричневатыми над песком, бурыми водорослями и мутным мелководьем. Волны яркие, как зубная паста, разбивались о коралловые рифы, оставляя за собой темную зыбь. Крабы, растопырявая белые костяные клешни,

торопливо выкарабкивались из-под пристани на прибрежную бахромку водорослей; журавль с видом заправского египтянина шагал по едва прикрывавшей песок блестящей водяной пленке. Петухи кукарекали и ждали ответа. В прибрежных лианах суетились сцинки. Рыбак в шортах и красном шлеме, отталкиваясь шестом, гнал к каналу плоскодонку. Неподалеку от шлакоблочной стены с деревянными воротами рылась в грязном песке привязанная к кокосовой пальме пятнистая свинья. И Минголла, сидя у моря на пальмовом пне футах в пятидесяти от борова, держал в ладони колибри. Бутылочного цвета, с рубиновой грудкой, птенец был размером с ногтевую фалангу большого пальца.

С пляжа доносились злые голоса, это спорили о чем-то своем Исагирре и Тулли.

– ...Незачем... – Вот и все, что слышал Минголла.

У него в ладони бился за существование живой самоцвет колибри – бился судорожно, раздувая горлышко. Минголла уже искал гнездо, но безуспешно. Хотелось что-то сделать для этой птички, не оставлять же ее просто так на песке.

– К черту! – отмахнулся Тулли. Исагирре стоял, сложив на груди руки. Минголла попробовал успокоить колибри.

Осторожно тронул его мозг и почувствовал электрический контакт, похожий на крошечный прерывчатый огонек на самом конце своих мыслей. Птичье горлышко больше не билось.

– Ладно, как хочешь! Больше я тебе ничего не скажу!

Сильно топая, Тулли подошел поближе, упал на песок, и Минголла спрятал колибри в кулак. Теплый птенец ткнулся клювом ему в ладонь. По телу пробежала дрожь – призрак чувства.

– Хоть бы кто хоть раз подумал, кому нужна эта чертова война, – проворчал Тулли.

Минголла отвел руки за спину, вырыл в песке ямку и устроил птенцу тайные похороны.

– Нет, ты глянь: здесь война. – Тулли стукнул кулаком по земле. – А тут ни хрена. – Он стукнул еще раз совсем рядом. – Одни мудаки шлют других мудаков делать то, до чего никому нет дела.

– Что стряслось-то? – спросил Минголла.

– Да все косоглазая Чифуэнтес, которая обосрала тебе мозги...

– И что?

– Надумали послать тебя в Петэн, чтобы ты приволок ее сюда на допрос. – Тулли сердито вздохнул. – Я Исагирре так и сказал: мужик, это ж ему только размениваться почем зря. Он может кое-что получше. А доктор говорит: так и надо.

– Ну и что, – ответил Минголла. – Я не против.

Тулли искоса глянул на него:

– Видать, совсем тебе ее не жалко.

– Жалко, – бесстрастно ответил Минголла, внимательно глядя, как из-под самого солнца вылетают скворцы, словно отрываясь от его сердцевины кусками крылатой материи. На

пальму с треском опустил гриф.

– Странный ты стал, Дэви, – сказал Тулли. – Смотри не обожгись.

– У тебя было, чтоб ты слышал слова, когда трогал чье-то сознание? – спросил Минголла.

– Слова? Не, такого не припомню... но слышал об одном парне, у него вроде какие-то слова когда-то мелькали. А чего ты спрашиваешь?

– Привиделось мне.

– Что привиделось? – Тулли, похоже, заинтересовался всерьез.

Минголла пожал плечами и прокрутил в голове свою недавнюю галлюцинацию, раздумывая над тем, была ли связь с той христианской девочкой чем-то большим, нежели простая фантазия.

– Ты собираешься меня инструктировать насчет Железного Баррио?

Тулли еще раз вздохнул и вытащил из бокового кармана листы бумаги.

– Ладно. Вот тебе план, но читать будешь потом, сейчас я скажу, как туда добраться. Ничего хитрого, вообще-то. Тамошние шлюхи...

– Шлюхи?

– Ага. У кучи народу в Баррио родня – как бы заложники, и, чтоб слегка заработать, охранники возят их баб на улицу. Знают, что далеко не убегут, а не то папашкам платить при-

дется.

Позади раздались голоса.

Из ворот вышел коренастый чернокожий и маленький мальчик, мужчина держал в руках револьвер и мачете.

– Спарджен, видать, решил-таки забить свою свинью, – заметил Тулли. – Короче, есть там одна шлюха... Альвина Гусман. Зеки ее уважают, потому как папаша у нее не кто-нибудь, а Эрмето Гусман – тот самый, что командовал в Гватемале Армией Гопоты. Оба они в Баррио – ну вроде как герои. Вот и все – свяжешься с ней, а дальше как по маслу.

Свинья наблюдала за людьми и легонько похрюкивала, словно чего-то ждала. Остановившись футах в шести от нее, человек отщелкнул барабан.

– Найти ее легко. По ночам на Авенида де ла Република, в каком-нибудь баре.

Минголла тронул мозг этой свиньи, определил, что он достаточно крепок, и зацепился за край.

– Прихватишь с собой дури, для обмена или еще для...

– Зачем? Надо будет, я и так справлюсь.

– Лучше не надо. Всех не ухватишь. Народ там грамотный – увидят, как легко все выходит, могут и просечь.

Мужчина со щелчком захлопнул револьвер, мальчик что-то пропищал.

– Как все пойдет, не мне тебе советовать, сам разберешься. Внутри пролезешь легко. С охраной справишься без проблем. – Тулли толкнул его локтем. – Эй, друг! Ты чего не

слушаешь? Самому же инструктаж приспичило.

Раздался выстрел, и Тулли чуть не подпрыгнул. Но Минголла, для которого это не было неожиданностью, сделал вид, что не слышит.

Вечером накануне того дня, когда Минголла должен был отправиться в Ла-Сейбу, он заперся у себя в комнате – почитать немного и пораньше уснуть. Он пролистал «Придуман- ный пансион» из одноименного сборника, перечитал полюбившиеся места: описание самого здания и старого бассейна с такой грязной водой, что тот казался огромной нефритовой лепехой; портрет хозяина пансиона, старого корейца, который все время сидел в инвалидном кресле, исписывая иероглифами длинные бумажные ленты и привязывая их к садовым лианам – на счастье; а еще служанки Серениты, она умерла последней из всех, кто подписал контракт, и смерть самого автора в точности повторила ее последние минуты. Как странно, думал Минголла, что два рассказа одного и того же писателя оказались такими разными – история двух враждующих кланов по-прежнему его раздражала. Однако он все же заставил себя дочитать до конца и с отвращением узнал, что их война так ничем и не кончилась. Потом затолкал книгу в уже собранный вещмешок, сунул голову под подушку и попытался заснуть. Но сон все не шел, в конце концов Минголла сдался и отправился бродить по пляжу, глядя, как закатное солнце забрасывает море блестками и как они

растворяются в волнистой золотой линии, прочерченной по воде у самого рифа. Вскоре стемнело, Минголла сел на землю, прислонился спиной к стене отеля и, посматривая на гулявшие среди звезд бледные глыбы облаков, принялся колотить по песку палкой.

– Смотри, жабу не прибеи, – раздался девичий голос.

Из тени пальм к нему направлялась Элизабет – в белом церковном платье с пылающими полосами лунного света, в руке псалтырь.

– Почему это? – спросил Минголла.

– Палка из маниоки, – ответила она. – Стукнешь жабу, другие тебя с острова сживут.

Он рассмеялся.

– Не бойся, не стукну.

– И ничего смешного, – сказала она. – В прошлом году с сыном Надии Дилберт так и вышло. Жабы его молоком своим обрызгали, и ему жизнь не в жизнь стала.

– Я осторожно, – заверил ее Минголла так же серьезно.

Она подошла на пару шагов поближе, и глаза Минголлы пробежались по невысоким выпуклостям груди, затянутым в кружевной корсаж.

– А где твоя подружка? – спросил он.

– Нэнси? Гуляет с кем-то. – Элизабет оглянулась. – Я пойду, пожалуй...

– Побудь, поговорим немного.

– Я в церковь, нельзя опаздывать.

Минголла внушил ей, что ничего страшного, можно опоздать, и добавил желанья.

– Да ладно, – сказал он. – Всего-то на пару минут.

Веки ее опустились, и вид стал слегка отрешенным, словно она прислушивалась к внутреннему голосу.

– Ну, разве что на минутку. – Элизабет положила псалтырь на песок и осторожно присела на него, чтобы не испачкать платье. Бросила на Минголлу взгляд и тут же отвернулась; она напрягалась все больше и дышала все чаще. – Тулли говорит, – сказала она, – ты скоро уедешь.

– Ты спрашивала его обо мне?

– Нет... ну, да, в общем-то. Но это для Нэнси. Ты ей нравишься.

– Гм. – Минголла проводил взглядом красные ходовые огни ползшей вдоль горизонта рыбацкой лодки. – Вообще-то, да, уезжаю.

– Жаль... во Френч-Харборе карнавал будет.

Минголла смотрел на ее красивое лицо: широкий симметричный нос, надменный рот и скульптурные скулы – если бы он надумал ее рисовать, в этом лице сама собой проступила бы взрослая чувственность, но сейчас оно казалось абсолютно юным, страсть подавлена, и Минголла понял, что он хочет не саму эту девочку, а просто оставить метку – на ней, а через нее на Тулли. Он не понимал толком, зачем ему это нужно. Все эти месяцы Тулли был для него загадкой, как будто что-то прятал за личиной бравады и грубости, хотя...

Минголла подозревал, что личина эта придумана для того, чтобы скрыть простого и хитроватого себя самого, которого Тулли давным-давно хотелось послать подальше. И возможно, думал Минголла, больше всего на свете ему сейчас нужно переиграть своего же тренера, а для этого сорвать с того личину и доказать всем, что Тулли заботит гораздо больше вещей, чем он согласен признать. Минголла так хотел, и этого достаточно.

– Элизабет, – проговорил он, пододвинулся, слегка повернулся и положил ладонь ей на живот.

Она напряглась, но не отстранилась, и Минголлина рука поползла к груди, пальцы расстегнули одну пуговицу, другую; затаив дыхание, Элизабет выгнулась под его ладонью. И все же, когда он начал стаскивать с плеч платье, она ухватилась за ворот, удерживая половинки вместе.

– Я ничего про это не знаю, – сказала она. – Я не знаю.

Он прошептал ее имя, превратив его в таинственное и неотвратимое желание, коснулся губами шеи, щеки. Она опустила руки, перестала хвататься за платье, и его губы нашли верхний склон ее груди.

– Ох, как сладко, Дэви!

Он высвободил из кружева грудь, на ощупь она была как бурдюк с вином, полюбовался ее темнотой и блеском – от звездных лучей и от пота, – попробовал на вкус черноту соска.

– Дэви! О, Дэви!

Но его уже уносило прочь, уносило даже от своего желания. Звезды, месиво волн, половозрелая островная второкурсница – все это отдавало киношной романтикой и школьной глупостью, Минголле стало скучно. Более чем скучно. Под угрозой оказался сам смысл этой злой выходки.

– О боже!.. Дэви! Как же хорошо...

Господи, думал Минголла, пора уже наконец придумать новый язык любви, напихать в него интеллектуальных словес: *В твоих объятиях мое самосознание диссоциирует, любимый*, или хотя бы поэтических из тех, что поплоче: *В тот чарующий миг, Что ты входишь в меня, Я сама не своя от экстаза. Ты устами приник, Ярко звезды горят, Но любовь моя ярче топаза*, или... Идея!

Гениальная идея. Он вскочил на ноги, помог ей подняться. Пододвинулся ближе, положил руки ей на бедра. И втокнул любовь прямо ей в сознание, слепив в комок все, что он чувствовал к домохозяйке из Лонг-Айленда и к Деборе.

– Пошли в воду, – сказал он. – В воде ты будешь ко мне ближе.

Странно, что ее не вырвало от всего того сиропа, что он напустил в эти слова. Но нет, она купилась на все сто, любовь наполняла тупость глубоким смыслом. Ей тоже захотелось в воду. Куда угодно. Путешествие в рай, гонки на невиданном сексмобиле, экскурсия в секреторный Диснейленд. Повернувшись к нему спиной, Элизабет разделась, и зрелище ее ягодиц, гибкие колонны ног воскресили желание. Но

Минголла стоял на своем. Они пошли к воде, держась за руки и наступая на бог знает какую гадость: пороссячи кишки, рыбы мозги, тысячи абсурдных возможностей; все так же не отпуская рук, погрузились в неглубокую волну и погреблись к рифу; в двадцати футах от него остановились – достаточно далеко от берега, чтобы белые звездные лучи отливали на коже прохладой, но все же близко, чтобы чувствовать ногами дно. Минголла подтянул Элизабет поближе, поцеловал крепче, бедра ее скользили, соски тыкались в грудь, член у него напрягся и с удовольствием потерялся о выпуклый животик, снова вспыхнувшее желание заставило Минголлу подумать, что неплохо бы все же съесть этот пирог. Нет, нет! Все по плану. Безответно и незавершенно. Глаза ее сверкали рыбьим блеском, из черного рта, точно угорь, выполз язык. Если так на нее и смотреть, то можно и удержаться.

– Дэви!

Она хотела притянуть его к себе, но он выскользнул, поплыл назад и не останавливался до тех пор, пока она не слилась с темной стеной рифа.

– Я ничего про это не знаю, – воскликнул он. – Я не знаю.

– Дэви! – Испуганный крик.

Минголла нырнул, отплыл подальше и вынырнул через пятьдесят футов.

– Где ты, Дэви? Чего ты боишься?

Его смех утонул в прибое, фосфоресцирующие струи воды торчали вверх, как зубья исполинского гребня. Течение

уносило его к рифу, Минголла схватился за обросший ракушками выступ и спрятался в каменной нише.

– Дэви! – Элизабет брела в его сторону. – Чего ты боишься, Дэви? Я люблю тебя!

Она прошла всего в нескольких футах, крича, ища, и тогда с акульей хитростью Минголла нырнул и поплыл под водой к берегу. Одеваясь, он слышал, как она все так же его зовет. Еще немного, и она решит, что его вынесло через проток, и, чего доброго, отправится искать за риф. Дэви, Дэви, – будет кричать она по пути в Африку, темная головка прыгает на волнах, как любовный буй. С кораблей в нее полетят спасательные круги, но она лишь спросит: вы не видали моего Дэви, а когда ей скажут нет, то велит им плыть дальше, она не остановится, пока не найдет своего любимого. Минголла уже видел, как волны выносят ее на берег Аравии, как она бредет по темному лесу, измученная, гонимая, похищаемая террористами, забрасываемая дарами мультимиллиардеров и шейхов. Кто, спросят они, этот твой Дэви?

И она будет вздыхать, она будет плакать, будет смотреть безразлично в сторону ангела запада, и шейхам останется лишь беситься оттого, что им никогда не дано по-настоящему овладеть ею, что таинственный Дэви погубил ее для всех мужчин на свете, что один-единственный миг, вытесанный из мрамора и вознесенный на пьедестал ее памяти, затмил все прочие мгновения ее жизни и что настоящая любовь бессмертна.

Глава восьмая

Авенида де ла Република оживала в Ла-Сейбе по ночам. Широкую и ухабистую улицу делила пополам железная дорога, принадлежавшая компании «Юнайтед Фрут». Тянулась эта улица параллельно береговой линии между рядами оштукатуренных баров и захудалых отелей в большинстве с темно-зелеными вывесками, словно когда их рисовали, эта краска распродавалась по дешевке. У отелей были островерхие крыши, шаткие боковые крылечки и внутренние дворики, в которых толстые консьержки, царственно восседая за пластмассовыми столиками, попивали сальвавидское пиво, судачили с кумушками и перемывали кости проституткам, отсыпавшимся в душных номерах. В дневное время улица являла собой картину непередаваемого оцепенения. В сточных канавах раздувались обрывки бумаги и целлофана, а все уличное движение, не считая собак, состояло из редких нищих, бродивших в поисках подъезда, где можно прикорнуть, и одетых в черное вдов с разъеденными лицами, что усаживались время от времени на бордюр, пристроив у себя на коленях лотки с сигаретами. Со стороны доков, отделенных от улицы цепочкой отелей, постоянно раздавался скрежет перегруженного металла; жара стояла невыносимая, и каждый порыв ветра нес с собой песок – словно звериный язык, раздрающий кожу; Минголла с изумлением узнал, что ночлег

в отелях стоит пять лемпиров просто за комнату, десять с женщиной и двадцать пять с кондиционером, – понятно, на какое место граждане ставили прохладу.

Он выбрал недорогой номер на третьем этаже и до вечера изучал топографию Баррио: оно, как выяснилось, располагалось в нескольких милях к северу, само было размером с город и, по слухам, вмещало больше сорока тысяч душ; еще он разглядывал фотографию Альбины Гусман и человека, ради которого сюда приехал, – Ополонио де Седегуи. Сорокалетний никарагуанец был худощав и неплохо сложен; черные волосы, высокий лоб и кожа цвета сандалового дерева. Глядя на утонченное лицо, Минголла с трудом мог поверить, что перед ним фотография серьезного противника, но потом подумал, что его собственное изображение тоже вряд ли кого напугает, и решил, что не стоит слишком уж полагаться на свои силы. Когда стемнело, он сложил бумаги в ящик и сел к окну наблюдать, как пробуждается к жизни улица. В бары роями стекались проститутки, им на пятки наступали моряки и портовые рабочие. Взрослые уличные торговцы продавали лед и жаренные на портативных грилях шашлыки с луком, а дети – конфеты, пластмассовые игрушки и бусы из черных кораллов. За бильярдными столами с заткнутыми лузами устраивались игроки в кости, а музыкальные автоматы окутывали вопли победителей густым облаком мелодий и ритмов. Двери широко распахнуты, в ярких прямоугольниках света, как в рамках, танцоры, игроки и скандалисты –

улица все сильнее напоминала Минголле дюжину маленьких театров, где играется одна и та же пьеса.

В девять вечера, прошагав два квартала на юг, он вошел в «Кантину Лас-Вегас-99» – бар, где занималась своим ремеслом Альвина Гусман. Протолкался к дальнему концу стойки и заказал ром. Рядом уже торчало несколько человек, ближайший к Минголле сосед одарил его безутешным взглядом и снова уставился в стакан. Вообще-то, все, стоявшие за стойкой, смотрели в свои стаканы, все были мрачны, и Минголла заметил, что стоило начать им подражать, как мысли поплыли со скоростью рома во внутреннюю темноту. Он втянул в бессвязный разговор бармена, они обсудили мировой кубок по футболу, погоду и фреску над музыкальным ящиком – сверкающие игральные кости, рулетки, карты и покерные фишки чудовищного вида падали там на маленьких человечков, что благоговейно простирали к ним руки.

Каждые две минуты Минголла высматривал в толпе Альвину и наконец узнал ее. Она кормила монетами музыкальный автомат. Плотная миниатюрная индианка с медной кожей, полной грудью и такими же бедрами. Черные волосы заплетены в косу до середины спины, а наряд – белая блузка и набивная юбка – имел вид слегка заношенный. Как и Хетти, она чем-то напоминала Дебору, но не милостью – милости в ней не было, – скорее невозмутимостью. Альвина стояла неподвижно, безо всякого выражения на квадратном лице, но тут музыкальный ящик заиграл романти-

ческую балладу, и она принялась танцевать – одна, описывая грациозные круги и не отрывая взгляд от пола. Минголла уже собрался подойти познакомиться, но задержался, увидев в печальном одиночестве этого танца нечто напомнившее ему мелодраму из испанской лирики, нечто такое, что он не решился прервать.

Все, как вчера, и так же завтра будет.
Я смотрю в окно на луны восход;
Мятые простыни свет ее студит,
Словно сугробы из ткани метет.
Девять вечера, в пачке одна сигарета,
И когда я ее докурю наконец,
Ты исчезнешь в ночи, растворишься где-то,
Станешь памятью, эхом разбитых сердец...

Песня закончилось, и женщина потерянно остановилась, словно очнувшись в незнакомом мире. Минголла пробился сквозь толпу, тронул Альвину за руку и увидел, как из ее лица словно вытекает вся та энергия, что наполняла его раньше.

- Десять лемпиров, – сказала она.
- *Si, pues*, – согласился он. – *Y por la noche?*¹⁴
- У тебя акцент, – заметила она. – Гватемала.
- Да, я из Петэна. Сан-Франциско-де-Ютиклан.
- Я тоже гватемалка, из Альтоплано. – Интерес угас. – За

¹⁴ Да, конечно. <...> И ночью? (*исп.*)

ночь пятьдесят. У тебя есть номер?

– Тут рядом.

Она шагнула к дверям, затем предупредила:

– В рот я не беру... понятно?

Минголла сказал, что это не важно.

Они молча дошли до отеля и поднялись к нему в комнату. Там была кровать, облупленный умывальник, тумбочка и лампа под потолком. Темно-зеленые дощатые стены казались полосатыми из-за пробивавшегося от соседей света, справа раздавались звуки энергичного траха. Альвина начала расстегивать блузку, но Минголла попросил подождать.

– В чем дело? – нервно спросила она.

– Сядь. – Он включил свет. – Мне нужно с тобой поговорить.

– Зачем? – еще более нервно. – Чего тебе нужно?

– Сядь, пожалуйста.

Она подчинилась, но бросила взгляд на дверь.

– Меня зовут Дэвид, и я знаю, что ты – Альвина Гусман.

– Это не секрет, – сказала она подчеркнуто спокойно, но снова посмотрела на дверь.

– Мне нужна твоя помощь, – сказал Минголла, заражая ее дружелюбием и доверием.

Она подняла руку, словно хотела потрогать лицо, но ладонь повисла в воздухе.

– Какая еще помощь. Я заключенная.

– Я собираюсь в Баррио.

– Для этого тебе моя помощь не нужна. – Альвина положила руку на подушку, похлопала, проверяя, мягкая она или твердая, словно это была какая-то интересная штука. – Зачем тебе?

– Там один человек, никарагуанец, Ополонио де Седегуи...

– Не знаю такого.

– Он убил всю мою семью.

Не ослабляя нажима, Минголла расписал в красках всю легенду, жажду мести и то, как хорошо бы ему выдать себя за ее двоюродного брата и попасть таким образом под иммунитет, которым пользуются ее родственники.

– У меня есть приятель, он, наверное, знает этого де Седегуи. – Она смотрела участливо. – Тебя будут пытаться, ты можешь вообще оттуда не выйти. – Проститутка в соседнем номере испустила откровенно фальшивый восторженный вопль, Альвина невольно повернула голову. – Но если очень надо, – добавила она, – я буду ждать тебя около трех часов в «Девяносто девять».

– А что ты будешь делать до трех?

– Работать... охране нужны деньги.

Недовольные голоса из соседней комнаты, звон разбитого стекла.

– Держи. – Он протянул ей толстую пачку банкнот, скрепленную защелкой.

– Тут слишком много, – сказала она, пересчитав купюры.

– Скорее мало.

Она не стала спорить, сунула деньги в кармашек блузки, положила руки на колени и застыла, непроницаемая и мрачная, как идол.

– Можно я до трех посплю?

– Конечно.

Отвернувшись, Альвина расстегнула пуговицы и скинула блузку. Плечи ее пересекали красные рубцы, а когда она стащила юбку, Минголла увидел на пухлых бедрах и ягодицах еще более глубокие шрамы. Эти старые раны разворачивали ее совсем другой стороной: открывалась долгая история безнадежной борьбы и ужаса, скитаний по джунглям и тяжелых переходов. Альвина сложила одежду в ногах кровати и скользнула под одеяло, потом села, поймала взгляд Минголлы. Груды висели низко, ареолы вокруг сосков большие и коричневые. На правом плече затянувшаяся пулевая рана.

– Ты заплатил, – сказала она.

Минголла понимал, что она всего лишь предлагает отработать полученные деньги, но, возбуждвшись мысленным контактом, был вовсе не прочь заняться с нею любовью. Отнюдь не красавица, но невзрачность ее была сродни невзрачности самой истории, чья изобретательность придает миру симметрию и скрытую внутреннюю красоту; Минголле казалось, что Альвинина бесстрастность отражает ту самую спокойную уверенность, с которой красота противостоит миру. Эта женщина прекрасна, думал Минголла, и шрамы – тому

свидетельство. Однако он не хотел просто ее использовать – красота предназначена для другого.

– Тебе идут шрамы, – сказал он. Ее это не обрадовало.

– Мужчинам иногда нравится.

– Я не в этом смысле.

Она не отводила взгляда.

– Ты мне не ответил.

– Ответил.

За стеной раздался мясистый шлепок, затем крик, на этот раз непритворный.

– Я выключу свет, – сказал Минголла.

Он присел на край кровати, открыл тумбочку, достал из ящика нож, кожаный футляр и большой прозрачный мешочек с белым порошком. Отсыпал порошка на отворот пакета и разделил его ножом на дорожки.

– Что это? – Альвина наклонилась над Минголлиным плечом.

– Снежок. – Он раздавил комок. – Похоже на кокаин... но сильнее. Хочешь? Только потом спать не будешь.

– Нет, не сейчас. А сам ты спать не собираешься?

– К трем часам надо быть в форме.

Он вставил в ноздрю соломинку и быстро вдохнул пять довольно широких дорожек. На лбу натянулась кожа.

– Охрана отберет.

– Посмотрим, – сказал он.

Он вдохнул еще три дорожки. Мысли возбужденно пляса-

ли, и Минголла отчетливо представлял, как в висках вспыхивают бело-голубые искры. Глубоко во рту затаилась горечь.

– Поспи немного, – сказал он Альвине.

Погасил свет и сел у двери. В соседней комнате тоже было темно, и только с улицы проникало слабое свечение, а вместе с ним такая же слабая музыка и бормотание. В темноте плавали гладкие, словно бархат, черные пятна, и Минголла думал о том, что не только облупленная фарфоровая раковина, продавленная кровать и покореженный стол, но и сама темнота этого дешевого номера хранит в себе следы прежних жильцов. Еще он думал о никарагуанце и немного волновался. Минголла был теперь сильнее Тулли, хотя тот считался одним из лучших, но встречаться с никарагуанцем придется на его территории... на опасной территории. Действовать придется очень осторожно. Опаснее всего было безумие этого никарагуанца, болезнь, что заставила его искать убежища в Железном Баррио, – безумие способно перевернуть все, к чему Минголла готовился, и оставалось лишь уповать, чтобы оно обернулось слабостью.

Альвина легонько похрапывала. Минголла присмотрелся к очертаниям ее тела – она лежала на боку, отвернувшись к стене. Порошок подстегивал желание, и, надеясь побороть эрекцию, Минголла сел поудобнее. Очень хотелось трахать-ся. Отыметь историю: поставить раком и засадить в ее мясо по самые яйца; глядеть сверху на изрытую шрамами равнину и на толстую жопу. Фактически этим и занимается Пси-

корпус. Имеет историю бунтов, Армии Гопоты, затраханных крестьян и индейцев. Минголла теперь плохой парень. Подобные мысли и раньше приходили ему в голову, но никогда с такой отчетливостью, и, все больше загораясь будоражащей ясностью порошка, Минголла видел себя на киноафишах. МИНГОЛЛА – огненными буквами, его громадная фигура нависла над горящими деревнями и вопящими толпами, а из глаз брызжут во все стороны ментальные лучи. Затем картинка сменилась. Теперь он видел, как рыскает по заваленному трупами переулку, выискивая новую жертву. Минголла не понимал, как вышел на эту дорожку, цепочка событий восстанавливалась легко, но ничего не объясняла. Кажется, его кинули, или он сам себя кинул, или... Альвина что-то пробормотала сквозь сон. Блядь, надо ее трахнуть! И даже к черту еблю, просто хоть к кому-то прижаться. Минголле было страшно, и он не стыдился это признать. Еще бы не бояться, когда тебя ждет Баррио. Он просто полежит рядом с ней, и все, приткнется рядом и прижмет к себе, почувствует, как разогнавшееся сердце стучит в ее исполосованную спину, и поймет, что если она смогла пережить весь этот ужас и лишения, то у него тоже получится. Ему нужно утешение, простая человеческая поддержка. Он стащил одежду, босиком прошлепал к кровати и вытянулся рядом с Альвиной. Она пошевелилась, но не проснулась. Но когда Минголла обнял ее, случайно задев грудь, она обернулась через плечо, сверкнув в темноте белками. Почти невольно он взял ее грудь в

ладонь, пропустил между пальцами черенок соска, заставил его напрячься. Член уткнулся в зад. Без слов Альвина согнула колено, он залез ей между ног и потерся там немного, чувствуя, как становится влажно. Сунул во влагалище сначала один палец, потом два, повертел; мышцы затягивали его руку глубже, бедра крутились. Похоже, она его хочет, подумал Минголла. Наверное, думает, что они теперь соратники по борьбе с никарагуанским монстром. Он тоже хотел ее, не все равно кого, а именно ее, хотел, чтобы эта коммунистическая жопа выдавила из него все соки, хотел единения, искупления и власти. Он перевернул ее на живот, встал сзади на колени и, одним легким движением проскользнув внутрь, давил до тех пор, пока не погрузился до последнего дюйма. Он держал ее за талию, ему нравилось возвышаться так, что близость сочеталась с отдаленностью. Вытащил немного и стал смотреть, как ствол движется внутрь и наружу. Словно вылепливая, водил руками по бокам. Наклонился вперед, помял висящие груди, прижал Альвино лицо к подушке. Из рта ни звука, тактика герильеро – глотать крики, чтобы не услышал враг, трах под покровом ночи и папоротника. Минголла лупил сильно, надеясь вырвать из нее хоть писк или визг, любясь трясущимся задом, забываясь и не прислушиваясь больше к ее крикам, забывая все вообще, страх, похоть и дурь, скручиваясь в пылающий узел, затягивая все туже, пока тот вдруг не распустился нитями сладкого изнеможения, оставив Минголлу обливаться потом и хватать ртом воздух.

Он вытащил, и она отвернулась. Напряжение выдавало обиду.

– Я не хотел... – начал Минголла.

– Ты заплатил, – холодно сказала она.

Минголле было стыдно, он понимал, что хорошо бы починить все то, что он наломал: укрепить доверие, может, даже выстроить привязанность. Но гораздо больше он был сейчас расслаблен, доволен собой и своей победой над историей. Ремонт подождет, думал Минголла; сейчас ему хотелось, чтобы эта женщина знала точно, с кем имеет дело, даже если он не знал этого сам.

В три тридцать Минголла и Альвина в компании женщин – человек двадцать, не меньше, – дожидались автобуса, который должен был отвезти их в Баррио. Все молчали. Ночь была беззвездная, безлунная, и только ветер сбрызгивал росшую на обочине траву бесформенной темнотой моря. Сзади растянулась кучка хижин, другое баррио, из дверных проемов выплескивался свет, и соломенные крыши в его потоках были похожи на пучки линялых перьев. На севере показались огни, потом они разрослись и превратились в белый автобус с аккуратной черной надписью над окнами: «Департамент исправительных работ». Автобус визгливо прорычал, двери разъехались, из салона вывалились три жилистых охранника с пистолетами наготове. Кроме обычной одежды на них были маски вроде тех, которыми прикрывают головы

борцы. Минголла разглядел, что маски не просто красные – это были лица с ободранной кожей и анатомически точным муляжом мышц и сухожилий. Глаза в этих жутких штуковинах казались блестящей подделкой, а рты, когда охранники их открывали, просто черными дырами. Разглядев Минголлу, троица тут же выволокла его из кучки женщин, повалила на траву и наставила пистолеты.

– Погодите! – воскликнул он, транслируя им товарищество и доверие. Пистолеты опустились.

– Ты кто? – спросил один, помогая Минголле подняться.

Он отвел их в сторону, назвал свое имя, сказал, что он от правительства и что ему нужно тайно поработать в Баррио, разузнать кое о чем у одного заключенного. Потом спросил охранников, как их зовут.

– Хулио.

– Мартин.

– Карлито.

Минголла спросил, будут ли они работать следующей ночью, и охранники сказали да; он предупредил, что, скорее всего, опять окажется среди этих женщин, когда придет время отвозить их на работу. Он подумал, что слишком легко удалось подчинить своей воле людей в таком страшном обличье, – видимо, не так уж много в них скопилось зла. Они втолкнули его в автобус и, подчиняясь команде, усадили рядом с Альвиной.

– Как тебе это удалось? – шепотом спросила она, когда

раскрутился двигатель.

– Сунул кой-чего, – ответил он. Она обдумала его ответ и кивнула.

– Значит, и в Баррио разберешься.

С полчаса они ехали мимо кустов и кокосовых плантаций, затем повернули на неразмеченную дорогу, которая вскоре стала шире и воткнулась в ровную утоптанную площадку перед Баррио. Минголла вспомнил аэрофотоснимки: одноэтажная, крытая рифленным железом постройка тянулась на несколько миль среди вытравленных химией джунглей. С земли она выглядела менее внушительно и напоминала склад, на крыше которого выстроились одетые в маски охранники – не такое уж редкое зрелище в Латинской Америке, – и все же Минголла не столько воспринимал, сколько чувствовал, какая это громадина, будто сила тяжести и сам воздух здесь были не такими, как в окружающих землях. И глубже, сильнее попадая под влияние Баррио, когда уже видны становились детали, Минголла ощущал всю опасность этой тюрьмы. Над крышей скользили лучи расставленных в джунглях прожекторов, в них, словно спички, вспыхивали кровавые маски караульных и переливались толстые кольца дыма, похожие на хвосты драконов, слишком огромных, а потому невидимых в небе. Над главными воротами – точнее, над раздвижной металлической дверью, тоже освещенной прожектором, – торчала примитивная виселица, на ней качались восемь мужских и женских тел, израненных и

обожженных настолько, что вряд ли их повесили живыми. В окна автобуса несло приготовленной на углях пищей, дымом, тошнотворной плесенью смерти, болезненной приторностью скученных тел и бог знает чем еще... от этой адской смеси тысячи ароматов Минголла едва не задохнулся. Автобус остановился у полуоткрытых ворот, и стал слышен шум, сложенный, как и запах, из множества частей – смеха, бормотаний и криков, – но примечательнее всего были не сами эти части и не шум целиком, а его ритм – в таком несовместимом единстве нарастает и затухает гомон джунглей, где даже птицы и насекомые подчиняются законам и установкам органического мира.

– Держись поближе, – приказала Альвина, когда их погнали через ворота, и Минголла взял ее за руку. За спиной проскрежетали двери, заперев людей в душной полутемной жаре, и трое охранников исчезли за проделанным в боковой стене входом. Впереди были еще одни ворота со щелями, отсюда неслись шум, вонь и оранжевые проблески. Минголла словно проглотило чудовище с железными челюстями и огненными внутренностями. Вторые ворота со скрипом поднялись, люди поспешно повернули направо и вошли в тень. Уткнувшись в грубую каменную кладку, Альвина прошептала:

– Леон?

– Кто это с тобой? – Дребезжащий голос.

– Двоюродный брат... он свой.

– Мило, – отозвался голос.

Минголла решил, что это приветствие, но его так сильно загипнотизировал узор из дыма, пламени и теней, мелькания света и темноты, прочно соединенный со звуковыми ритмами, что только через несколько секунд все это сложилось во внятный образ. Крышу поддерживал сливавшийся в бесконечности лес черных столбов, среди них приткнулись жилища: навесы, палатки, хижины, пещеры в грудях кирпича. Стены принадлежали глинобитным домикам со ставнями на окнах; в других частях Баррио, если верить Минголлиным картам, таких домов были целые лабиринты, остатки города, некогда стоявшего на этой земле. Повсюду горели костры. У стен, в жаровнях, в смоляных бочках. Среди оранжево-дымного свечения бродили заключенные, многие с ножами в руках.

– Сучья родина, а? – сказал Леон, появляясь из тени. Средних лет индеец, ростом чуть повыше Альвины, с морщинистым лицом, запавшими щеками и стрижкой под горшок. Несмотря на жару, на плечах его болталось пончо.

– Это тот друг, про которого я говорила, – сказала Альвина Минголле. – Можешь на него положиться.

– Больно ты щедра на мои услуги. – Леон ухмыльнулся, обнажив семь или восемь гнилых зубов, торчавших под немислимыми углами, словно старые могильные плиты.

– Я заплачу, – сказал Минголла.

В ответ на такую лаконичность лицо Леона застыло.

– Что тебе надо? – спросил он. Минголла дал фотографию де Седегуи, и Леон сказал:

– Найду... поговорим утром. – Он вытащил из-под пончо нож. – Оружие есть?

Минголла достал из чехла свой.

– Тогда пошли, – сказал Леон.

Гуляя в ту ночь по Баррио – через зоны огня, пятна липкой темноты и полосы невыносимой вони – Минголла видел много забываемого и много непонятного, но ни о чем не спрашивал, ибо, хотя зрелище и разрывало сердце, он понимал, что Баррио объясняет само себя и что в этом мире царят свои понятия о добре и зле. Баррио словно раскрывалось перед Минголлой, предлагая ему образцы своих сокровищ. Он поворачивал голову к потертой шторке перед навесом, и она тут же отдергивалась; нахохленные, как вороны, люди, секунду назад толпившиеся вокруг смоляной бочки, расступались, открывая взгляду ужасную, жалкую или – редко – прекрасную картину. Минголла видел драки и групповые изнасилования, все, какие только бывают, болезни и увечья. Он смотрел на мужчину с деревянным обрубок вместо руки, в который была воткнута вилка, и на другого, несшего на подносе мышинные трупы, похожие на кровавые конфеты. Две матроны разрисовывали полумесяцами новорожденного младенца, а за их спинами стояла распятая у столба молодая женщина с таким же точно узором на восковых грудях.

В одном месте вдруг поднялся кусок крыши, шею спящего человека захлестнула петля, и через секунду, хрипящего и задыхающегося, его тащила вверх команда охранников; чуть дальше другие охранники сняли другой кусок крыши, и вода полилась из бочки на детей, они тут же принялись хохотать и слизывать друг с друга капли. Однокомнатный домик без окон, в котором жили Альвина с отцом, стал еще одной иллюстрацией к законам Баррио. К дверям этой халупы был прикован двенадцатилетний мальчик с мачете в руках, и, судя по виду, ему совсем неплохо сиделось на привязи; они подошли поближе, мальчишка протянул ключ Леону, тот отпер его и подарил манго. Затем пожелал всем спокойной ночи и напомнил Минголле, что утром они встретятся.

Стены здесь были голубые, но облупленные, их покрывал десятилетний слой граффити, комнату освещала свеча, и почти всю ее занимали два матраса; на одном лежал Эрмето Гусман – древний седой старик с красной, как ржавое железо, кожей, костлявое тело почти не выступало из-под укрывавшей его простыни. Пахло фекалиями, и, пока Минголла сидел на матрасе, листая пачку любовных романов, Альвина почти час отмывала старика. Она не удосужилась их познакомиться, старик, казалось, вообще не заметил Минголлу – но, когда Альвина подняла отцу голову, чтобы напоить минеральной водой из бутылки, тот уставился на него темными, однако все еще тронутыми огнем глазами, живыми и мужественными. Глаза словно пили Минголлу с той же жад-

ностью, с какой старик заглывал воду. Под этим взглядом Минголла чувствовал себя молодым и неопытным, старик что-то прошептал, и он решил, что это про него.

– Что он говорит? – спросил Минголла у Альвины.

– Говорит, что вода вкусная... как в старые времена.

– Когда мы застрелили ублюдка Аренаса. – Эрмето потянулся, чтобы сесть, но упал на спину. – Помнишь, Альвина?

Она успокоила его, сказала, что ему лучше молчать.

– Не любит, когда я вспоминаю старое, – проговорил Эрмето.

– О чем там вспоминать? – грубо сказала Альвина.

– О борьбе, – не унимался Эрмето. – Мы ведь боролись...

– Боролись! – Альвина сплюнула. – Дохли, а не боролись.

Минголле стало жаль старика.

– Не знаю, – начал он. – Вы...

– Нет, она права. Ничего мы не добились. – К концу фразы Эрмето повысил голос, и она прозвучала скорее вопросом, чем утверждением, словно старик не верил сам себе. – Думали, воюем с людьми, поубивали столько, что решили, победа за нами. Но мы не воевали с людьми. Мы воевали с волнами... да, два гиганта за тысячу миль гнали на нас волны. У нас не было ни единого шанса.

– Выбора у нас не было тоже. – Открыв жестяную коробку, Альвина достала оттуда хлеб и сыр. – Нас убивали.

Старик произнес несколько слов так тихо, что даже Альвина ничего не расслышала и попросила повторить.

– Мой брат, – он перекрестился, – да поможет ему Бог.

Она погладила Эрмето по голове. Старик попросил еще воды и жадно проглотил.

– Но ты же помнишь, как все было, Альвина? Тогда, в Чучуматанесе?

– Помню, – устало ответила она.

– Нас тогда заперли на высоком перевале, – объяснил он Минголле. – Воды совсем нет, да и еды, считай, тоже. Река внизу, но не добраться. В небе только вертолеты и гудели. Пить хотелось так сильно, что мы ели цветы кустарниковых пальм, у всех потом были судороги. Однажды нашли звериный водопад – маленький пруд с пеной. В конце концов вертолеты улетели, и мы доковыляли до реки. Станный был день... гром с туманом. Все как скелеты, но когда попадали под солнечные лучи, светились, как ангелы, – почти прозрачные. Ангелы бросались в реку.

– Ну, просто красота, – пренебрежительно бросила Альвина.

– Красота и есть, – сказал старик.

Она кормила отца хлебными и сырными крошками. Минголла обрадовался передышке – выносить стариковские описания было слишком трудно. Привалившись к стене, он вслушивался в звуки Баррио, думал о борьбе, об Армии Гопоты, потом, чтобы прогнать эти мысли, открыл пакет со снежком и втянул в себя приличную дозу. Отсыпал пакетик поменьше для Леона, лег и закрыл глаза. Сквозь веки пламя

свечей представлялось красными размазанными пятнами, и этот кровавый свет наводил все на те же мысли об Эрмето и Альвине. Минголла понимал, что стоит ему расслабиться, как он тут же начнет им сочувствовать, и в этом сочувствии будет столько же надуманного непонимания, сколько в прежнем безразличии. Он знал понаслышке, что такое голод в горах. По сравнению с ним все перенесенные Минголлой тяготы казались мелкими неприятностями, и одно это заставляло думать о расплате.

Альвина задула свечу и легла рядом. Минголла отодвинулся, не желая ее касаться, как будто боялся, что она запачкает его своими принципами, и тогда придется встать на весьма рискованный путь. От Альвины пахло землей, мускусом, и вместе с наркотиком эти ароматы будили желание. Она почувствовала:

– Хочешь еще, придется платить.

Минголла долго подбирая слова, наконец сказал:

– Я могу вас отсюда вытащить.

– Чепуха.

– Правда могу. – Он оперся на локоть и всмотрелся сквозь темноту ей в лицо. – Я...

– Правительство держит у себя сестру и племянников. Если мы сбежим, их убьют.

– Их можно найти. Или...

– Хватит, – оборвала она.

Они лежали молча, крики и гомон Баррио словно добав-

ляли темноте тяжести и выдавливали черный воздух из Минголлинных легких.

– Не понимаю, – сказала Альвина.

– Чего?

– Тебя... Почти не знаю, и ты не слишком мне нравишься, но почему-то я тебе верю.

– Жалко, что я тебе не нравлюсь.

– Не бери в голову, – сказала она. – Мне мало кто нравится.

В ее словах, подумал Минголла, осознанное неприятие жизни – он представлял, какая она была в те времена, когда политика делалась высоко в холмах и все казалось возможным: обычная хорошенькая индианка, наделенная необычным рвением и страстью. Ему хотелось как-то ей помочь, сделать что-то хорошее, и тут он вспомнил о стопке любовных романов.

– Тебе нравится секс? – спросил он. – Я хочу сказать, не... работа, а с кем-то, кто тебе небезразличен.

– Иди к черту, – ответила она.

– Я серьезно.

– Я тоже.

– Хочешь, сделаю так, что тебе понравится.

Она рассмеялась.

– Это я уже слышала.

– Нет, правда. Представь, я могу так тебя загипнотизировать, что ты почувствуешь страсть. Хочешь?

В матрасе зашуршала солома – Альвина повернулась на бок и поймала Минголлин взгляд.

– Десять лемпиров, – сказала она, – и я тебе хоть петухом прокукарекаю.

– Я о другом.

Протянув руку, она погладила его член.

– Ерунда, – сказала она горько. – Десять лемпиров. Про всех девчонок позабудешь.

Он обиженно оттолкнул ее руку.

– Не хочешь? – удивилась Альвина. – Ну ладно, тогда в другой раз, когда будет настроение.

Ему очень хотелось сделать то, что обещал, даже против ее воли, но что-то не пускало – Минголла не мог избавиться от уверенности, что эта женщина его выше.

– Не понимаю, – сказала через некоторое время Альвина. – Теперь я вообще ничего не понимаю.

Утро в Баррио отличалось от ночи только тем, что изредка поднимались секции крыш, внутрь лились струи серого света и заключенные, рискуя получить увечья, собирались под открытым небом, чтобы хоть мельком взглянуть на свободу; в остальном между черными столбами и кострами царил все тот же дымный оранжевый сумрак. Леон и Минголла сидели в темной нише центральной части Баррио – там, растянувшись во всю ширину тюрьмы, сохранилась целая улица глинобитных домов, и в одном из них, с белыми стенами, чер-

ными ставнями и разведенным неподалеку костром в смоляной бочке, жил Ополонио де Седегуи.

– Видишь четыре мужика у входа? – Леон сунул кончик ножа в пакет со снежком. – Они там всегда. Телохранители. Думай сам, как от них избавиться. Отвлечь, может. – Он вдохнул порошок прямо с лезвия. Черные глаза расширились, щеки втянулись. – *Chingaste!* Классная штука!

Четверо парней, выстроившиеся в ряд у дома де Седегуи, были молоды, накачаны и, судя по заторможенности, находились под психическим контролем. Вопиющая небрежность со стороны де Седегуи: вполне возможно, именно телохранители и вывели на него американских агентов.

– Если у тебя есть еще, то я знаю ребят, которые будут только рады, – сказал Леон.

– Потом поговорим. – Минголла тоже вдохнул целое лезвие снежка и посмотрел по сторонам. Он все больше привыкал к шуму, вони и с удивлением отмечал, что, похоже, ему здесь нравится. Он хмыкнул, и Леон спросил, что его так рассмешило. – Ничего, – сказал Минголла.

Леон тоже засмеялся, словно в этом «ничего» на самом деле было что-то веселое. В уголках глаз собрались острые лучики, и красно-коричневая кожа стала похожа на бумагу.

– Значит, – сказал он, помолчав, – ты Альвинин двоюродный брат, ага? Странно, она ничего о тебе не говорила. Обычно только о родне и болтает.

– Она про меня не знала, – ответил Минголла. – Я из дру-

гой ветви.

– А! – сказал Леон. – Тогда понятно.

Минголла вдохнул еще снежка. В голове происходили приятные вещи, зато нос разрывало на части, и Минголла подумал, что, может, стоит класть порошок под язык. Или вообще остановиться. Но он уже настолько привык быть на взводе, что постоянная подкормка казалась вполне нормальной.

– А я думал, у нее вся родня под Кобаном, – сказал Леон.

– Выходит, нет.

– Знаешь, – сказал Леон, – глупо лезть в эту яму, чтобы прикончить одного парня. Он и так считай что труп.

– Да, наверное.

– Тогда чего тебе на самом деле надо?

С подозрительностью Леона скоро придется что-то делать, но сейчас Минголла чувствовал себя настолько свободно и спокойно, что решил пока не трогать.

– Пошли отсюда. – Он поднялся на ноги.

По пути к домику Альвины Минголла размышлял о том, действительно ли ему здесь нравится: виноват, скорее всего, был порошок, но все-таки Баррио представлялось... не то чтобы красивым, но живописным. Картины его излучали внутренний свет и мудрое спокойствие, напоминавшее Минголле работы старых мастеров. Вот трое мужчин навалились на женщину, она брыкается и царапается, но все четверо смотрят вверх – туда, где открылась крыша, и древно

солнечного света заиграло на их фигурах, заставило замереть и преобразиться. А вот в тени под соломенным навесом сидит старая карга, ну вылитый персонаж Гойи¹⁵: лицо ее обрамляет черный платок, в руке она держит перо и удивленно на него таращится. И все Баррио с его черными перегородками, дымно-оранжевыми секторами горя, пляской пламени и силуэтами чертей представлялось Минголле коллекцией доренессансных триптихов. Подобно парню, что расписывал фресками разбомбленные деревни, он мог остаться здесь навсегда и обрести бессмертие, сохраняя для потомков жизнь в страхе и лишениях... Новый звук, волна смеха и еще более сильного возбуждения покатила ему навстречу, и Минголла замер. Цепочка одетых в маски охранников кнутами и автоматами гнала вперед толпу заключенных.

– Сюда! – Леон схватил его за руку и потащил к домам. – Здесь не достанут.

Минголле стало не по себе.

– Почему?

– Они никого не ищут... просто чистка. – Леон не отпускал его. – Всегда в это время, но дома не трогают.

Люди разбегались во все стороны, крича, визжа, острые лезвия звука обрывались на самом пике, и чье-то плечо швырнуло Минголлу к столбу. Вокруг него кружились и затягивались в воронки измученные болезнью цветы – все одинаковые, с вырезанными по шаблону дырами ртов и пустых

¹⁵ Франсиско Гойя (1746-1828) – испанский живописец, мастер гротеска.

глаз, с коричневыми крапчатыми лепестками кожи – завядший букет спустили в канализацию. Раздвоенная рука-хвостинка ухватила Минголлу за плечо, морщинистый рот проговорил «пожалуйста» и тут же унесся прочь. Минголла хотел пробраться к Леону, но течение толпы влекло его в сторону. Охранники приближались, уже виден был узор кровавых мускулов на их масках, слышны щелчки хлыстов, а крики боли мешались теперь с криками ужаса. В Минголлину ногу отчаянно вцепился маленький мальчик, точно зверек, ухватившийся в бурю за ветку дерева, но сила толпы содрала его, когда Минголла стал пробиваться через перегородивший течение людской тромб. Крики растворялись в дымном свете, он пульсировал, пламя смоляных бочек вздымалось еще выше, и Минголла боролся с желанием начать размахивать ножом и орать вместе со всеми. Он перевел дух за дверь, которую, подперев клином, все это время держал открытой Леон; вслед за Минголлой в полутемную комнату проскользнул какой-то подросток – проскользнул и закричал, когда нож полоснул ему горло. Перепуганное лицо Леона. Минголла втиснулся в дверь, ребром ладони свалил Леона на пол, тот перекатился, встал, согнувшись, выставил нож. Но тут же споткнулся, на лице замешательство, потом скорбь – Минголла выстрелил в него импульсом вины за преданную дружбу. Нож выпал.

Минголла запер дверь на засов, встал на колени рядом с мальчиком, проверил пульс; пальцы испачкала кровь. Леон,

рыдая и закрывая руками лицо, сполз по стене. За ним в дальнем углу тряслась старуха – окруженная дрожащими свечами и укутанная в такие же серые, как ее кожа, одеяла, она испуганно таращилась на Минголла. Он стащил одно из ее одеял и накрыл мертвого мальчика. Затем подобрал с пола нож и присел на корточки рядом с Леоном.

– На кого работаешь? – спросил Минголла. Тот рыдал, и, ткнув его ножом в ногу, Минголла повторил вопрос.

– Ни на кого! Ни на кого! – У Леона дергался кадык, а голос срывался. – Я только хотел порошок.

Предательство Леона заставило Минголла осознать, насколько он был безрассуден. Разгуливал по аду, точно маленький ребенок, млея, любовался эстетикой и без толку изображал доброго самаритянина. Идиоту еще повезло, что живой. Больше это говно не повторится, думал Минголла. Он сделает свое дело и свалит отсюда подальше. Лицо Леона блестело от слез, он не мог удержать рыданий, и Минголла нажал посильнее, медленно доводя муки совести до суицидального пика. Поднес к Леоновой шее нож.

– Не надо, прошу тебя... Господи, не надо! – Волоча за собой одеяла, к нему ползла старуха. – Я умру! Умру! – Голос четкий, но немогущий, как режущая боль, как скрежет друг о друга сломанных ребер. Лицо – серая маска смерти, волосатые родимые пятна, опухшие скулы. После этой мертвой жизни смерть стала бы ей лучшим другом. Минголла отвернулся – его переполняло отвращение, и он готов был пе-

переза́ть Леону горло с равнодушием холодного судьи. – Он не виноват, – ныла старуха. – Он себя не помнил.

На это у Минголлы имелся ответ, позаимствованный из университетского курса по философии, но он им не воспользовался.

– А в этом кто виноват? – Он указал ножом на мальчика.

– Ты не понимаешь, – ныла старуха. – Ты не знаешь, что ему... – Из мокрого темного глаза выкатилась слеза размером с жемчужину. – Его такое заставляли делать, такой ужас... Но он боролся. Десять лет в джунглях. Десять лет жить, как зверь, и все время война. Ты не понимаешь.

У Леона от рыданий тряслась грудь.

– Ты кто? – спросил Минголла.

– Он мой сын... сын.

– Ты знала, что он задумал?

Она не колебалась:

– Да, и ты сделал бы то же самое. Столько наркотика, такие деньги. Ты такой же, как мы.

– Нет. – Минголла снова указал на мальчика. – Этого я бы не сделал.

– Значит, дурак! – сказала старуха; эхом ей откликнулись уличные визги и крики, слегка приглушенные, но по-прежнему переполненные хаосом. – Что ты знаешь? Ничего ты не знаешь, ничего. Леон... О боже! Когда ему было семнадцать – только женился, – в деревню пришли солдаты. Они собрали молодых мужчин, дали им ружья и повезли на грузо-

вике в соседнюю деревню, там люди с помещиком судились. Настоящий злодей был. Солдаты приказали нашим мужчинам застрелить в той деревне всех молодых женщин. У них не было выбора. Если бы они отказались, солдаты убили бы их женщин. – Она с тоской посмотрела на серые стены, будто они могли что-то объяснить. – Ты ничего не знаешь.

– Прости меня! – взмолился Леон. – Боже, о боже, прости меня!

– Я знаю то, что он чуть меня не убил, – сказал Мингол-ла. – И мне все равно, как он до этого дошел.

– Да мне-то что? – Мать Леона вытаращилась в потолок и воздела руки. – Пусть меня лишают сына, пусть я умру с голоду. Зачем мне вообще жить? – Она бросила на Минголлу взгляд, полный незамутненной ненависти. – Режь! – взвизгнула она. – Убивай его! Смотри. – Палец указывал на Леона. – Ему тоже все равно. Какая разница: жизнь, смерть. В Баррио все едино. – Теперь она вопила в голос. – Чтоб тебе жить вечно в этой проклятой Богом дыре! Чтоб тебя эта жизнь сожрала дюйм за дюймом! – Она рванула блузку, посыпались пуговицы, обнажились пустые мешочки грудей. – Меня сперва убей! Режь, дьявол! Меня режь! Меня!

Увидав, что Мингол-ла не реагирует, она оттянула его руку от шеи Леона и потащила к своей груди. Глаза горели безумным огнем, словно у птицы, а хватка оказалась неестественно сильной. В горле булькало. Мингол-ла оттолкнул старуху, и она повалилась на пол, задыхаясь, оскалив зубы; древ-

няя серая волчица вся ушла в страх, ушла настолько глубоко, что страх превратился в радость, в жажду смерти. Мингол-ла не чувствовал жалости, это было неуместно. Старая карга не хотела жалости и не нуждалась в ней. Он нагнал на мать Леона сон, просто чтобы отвязаться. Отложив суд над самим Леоном, уселся в углу на одеяла... они даже пахли серостью.

Предупреждая усталость, он втянул еще снежка. К Альвине он больше не пойдет. Слушать мемуары Эрмето, снова проникаться уважением – все это только расслабляет. Он досидит здесь до полуночи, а после разберется с де Седегуи. Разберется честно. Без маневров и фокусов. Мингол-ле хотелось поединка – проверить свою силу. Вероломство давалось ему с трудом, и пока он не наберется опыта, ему еще не раз предстоит платить за собственную беспечность; грубая сила – вот самая надежная страховка. А нерасчетлив он только потому, что умеет обращаться с силой, решил для себя Мингол-ла; нерасчетливость – это диплом храбрости. И потом, если он мало озабочен собственным выживанием, значит, так тому и быть – для убийцы это даже полезно.

Плач Леона начал раздражать Мингол-лу, и он отправил его спать вместе с матерью. Достал фотографию де Седегуи и стал искать знаки. Однако мягкое лицо профессионала не выдавало ничего, если только сама эта непроницаемость не указывала на вероломство. Хотелось надеяться, что это так, что борьба будет между силой и хитростью и это станет для Мингол-лы самым лучшим испытанием. Уголкем фото-

графии он зацепил новую порцию снежка. Порошок твердел в голове, превращался в поток замороженного электричества и вскоре уже отторгал любые мысли, кроме своей собственной синтетической радости. У Минголлы горело в носу, сердце колотилось, но он не двигался с места. Таращился на грязную стену и превращал решимость в гнев, подобно воину, что воображает предстоящую битву, переживая ее заранее, в спокойную минуту у домашнего очага, со спящими у ног собаками.

Около шести хлынул дождь, тяжелые капли пулями стучали по крыше, затапливая все остальные звуки. Охранники поднимали секции кровли, и трассирующий дождь косо прочерчивал оранжевый сумрак, вспыхивая в каждой новой капле. Люди срывали с себя тряпье и пускались в пляс: рты открыты, кожа скользкая и блестящая, кто-то собирал воду в ведра, кто-то падал на колени, простирая руки к небесам. Костры шипели и пригибались. Клубился дым, в воздухе скапливалась сырая прохлада. Легкое, приподнятое настроение, безумие карнавала – под его прикрытием Минголла прошагал к горячей смоляной бочке на углу дома де Седегуи и присоединился к топтавшимся вокруг нее трем старикам, внушив им, что они давно его ждут не дождутся. Краем глаза он изучал расположившихся по бокам двери четырех охранников. Включив специальный блок, отгородился от пси-чувств человека, которого собирался убить, и стал ду-

мать, что делать с охраной.

Старики жарили насаженных на проволоку змей, те уже чернели и потрескивали, глаза – осколки мутных кристаллов, изо ртов вырывались струйки дыма, а подсвеченные снизу лица стариков превращались в мертвые маски из теней и разгоряченной кожи. Минголле предложили попробовать змеиного мяса, но он отказался и посоветовал угостить охранников. Мысль привела всю троицу в восторг. Как они сами не додумались? Телохранители обсудили неловкое приглашение и побежали на зов. Несколько минут спустя они растянулись на земле, погрузившись Минголлиными стараниями в сон, а старики оцепенели – они испугались, что мясо испорченное, но Минголла тут же внушил им, что все в порядке, а заодно что неплохо бы оттащить телохранителей за кучу камней и дать им там без помех отдохнуть. Дело сделано, старики вернулись к змеям, очистили кусочки мяса, попробовали и объявили, что надо еще немного пожарить, как будто не произошло ничего особенного.

Через пять минут в дверях показался де Седегуи. Он был в джинсах, зеленой рубашке с закатанными рукавами и оказался еще более тощим, чем предполагал Минголла; никарагуанец давно не стригся, длинные черные кудри падали ему на плечи, смуглое лицо ничего не выражало. Он тоже держал блок, но, заметив отсутствие охраны, ослабил защиту. Тепло его было сильным, но не таким сильным, как у Тулли, и Минголла, решив, что бояться нечего, тоже снял блок.

Де Седегуи отыскал его среди собравшихся у бочки людей, беспомощно развел руками; затем кивнул, и Минголла, не оставляя мечты о честном поединке, пошел навстречу. Барабанная дробь дождя, казалось, исходила из его собственного переполненного адреналином тела.

– Я тебя ждал, – сказал де Седегуи негромко и вежливо.

Минголла ничего не ответил, опасаясь, что слова, да и вообще любой контакт, подорвет его решимость.

– Рано или поздно они должны были кого-то прислать, и, конечно, посильнее меня. Но ты... – Де Седегуи улыбнулся тонко и грустно. – Наверное, у них теперь модно палить из пушек по воробьям. – Он потер подбородок средним пальцем, будто разглаживая какой-то дефект. – Ты ведь пришел меня убить, правда?

Минголла хранил молчание.

– Ну что ж... – Де Седегуи снова развел руки ладонями вверх. – Я не буду сопротивляться. Шансов все равно никаких... Да ты и сам в курсе. – Он нервно рассмеялся. – Так что, если не слишком торопишься, может, зайдём в дом? Дай мне покурить напоследок и выпить вина. Я вообще-то уважаю формальности и всегда считал человеческую смерть весьма серьезным для них поводом.

Все шло не так, как представлял Минголла. Капитуляция де Седегуи сбила его с толку – он не мог не сочувствовать этому человеку.

– В доме никого нет, – сказал де Седегуи. – Посмотри че-

рез окно, если не веришь.

Минголла подошел к окну, распахнул ставни, заглянул внутрь. У дальней стены стояла кровать, в противоположном углу горка подушек, а подвешенная к потолочному крюку керосиновая лампа заливала комнату неровным оранжевым светом. На полу штабеля консервных банок, бутылки, множество книг. Очень чисто.

– Хорошо, – сказал Минголла. – Пошли.

Войдя в дом, де Седегуи прикрутил до маленького полумесяца фитиль керосиновой лампы, и в комнате стало почти совсем темно.

– Не волнуйся, – сказал он. – Фокусов не будет. Я люблю темноту. – Он взял с пола бутылку вина и сел на кровать. – Тебе не предлагаю, к чему компромат. Давно ведь жду, кстати говоря.

– Вы хотите умереть? – спросил Минголла, усаживаясь на подушки.

Вспыхнула спичка, медленно разгорелся уголек сигареты. Де Седегуи лег на спину и слился с тенью.

– Не совсем. Просто мне неинтересно быть тем, кто я сейчас.

Минголла чувствовал себя неловко: де Седегуи втягивал его в свои проблемы, и он сомневался, что сможет довести дело до конца.

– Когда-нибудь ты тоже придешь к тому же, – продолжал де Седегуи. – Ты ведь ничем от меня не отличаешься.

Дождь стихал, барабанная дробь умолкала, и жестокая музыка Баррио снова обретала господство.

– Зачем вы здесь живете? – спросил Минголла.

– Я понял, что стал преступником, – ответил де Седегуи. – Можно было догадаться и раньше, но я слишком, – он рассмехался, – слишком любил свои преступления, чтобы считать их таковыми. А когда все же понял, то решил поселиться в самом сердце закона, изучить его уроки и мудрые установления. Я же сказал, что уважаю формальности.

– Искупление? – спросил Минголла.

– Правосудие. Разумеется, его всегда путают с наказанием. Люди веками превосходили самих себя, изобретая способы возмездия. Знаешь, например, что некто Бексон однажды разработал целую систему пенитенциарной геральдики? Он предложил, чтобы перед повешением приговоренных одедали в красное или черное, отцеубийцы, по его системе, должны были носить черные вуали и резные кинжалы, а рубахи заключенных украшались бы змеиными узорами. Поразительно! Есть ли разница, какого цвета будет мой смертельный саван? Все, что мне нужно, – это суд за мои преступления, и вот, – он поднял бутылку, – ты здесь.

– Если все так серьезно, то почему вы не убили себя?

– Ты плохо меня слушал. Я ищу правосудия, а сам, конечно, был бы куда милосерднее, чем ты. – Де Седегуи надолго приложился к бутылке. – Бессмысленно тебе что-то объяснять. Ты слишком молод и неопытен. Поймешь, когда добе-

решься до Нефритового сектора... хотя тогда, наверное, тебе будет все равно. Как и всем.

– Нефритовый сектор? Что это такое?

– Скоро узнаешь, – ответил де Седегуи. – Сейчас ты все равно не поверишь.

– Я могу заставить вас говорить.

– Что ж не заставляешь? Объясню. Потому что тебе меня жаль... или не жаль, но какие-то чувства в тебе есть. Процесс, тебя породивший, до такой степени выхолащивает все мыслимые чувства, что ты готов уцепиться за любое, даже самое неуместное. Ты – творение силы, и пока тебе слишком нравится с ней играть, ты не способен оценить, на какие она способна разрушения, – он растягивал слова, – страшные и добровольные разрушения, которые ты сам себе причиняешь.

Минголлу разозлила эта тирада, а страсть, переполнявшая последнюю фразу, даже напугала.

Де Седегуи резко встал с кровати, и Минголла насторожился. Но теперь никарагуанец просто ходил взад-вперед по комнате из тени в приглушенный свет и обратно. Он погасил сигарету.

– Тюрмы... просто восхитительно. О психологическом аспекте их устройств написаны целые книги. Бентам, например. Паноптикум. Превосходный проект! Кольцевое здание с башней в центре и двором вокруг; в башне широкие окна, смотрят на внутреннюю стену кольца, там находятся камеры,

они освещены изнутри, словно тысячи маленьких подмостков. В башне, разумеется, наблюдатели, скрытые от взглядов заключенных. Их присутствие – гарантия порядка. Кто решится бежать, если знает, что за ним все время смотрят? Этот Паноптикум похож на систему карцеров, которую применяют в Нефритовом секторе, хотя в ней нет и половины той эффективности. Но, по правде сказать, Нефритовый сектор – просто розыгрыш... да, розыгрыш, который сила устроила сама себе. – Он покачал указательным пальцем. – Погоди, еще увидишь! И тогда ты не поверишь своим глазам! Мелкая семейная ссора доросла до войны. Мадрадоны и Сотомайоры.

– Я уже слышал эти фамилии. – Минголла покопался в памяти. – В каком-то рассказе... кажется.

Де Седегуи рассмеялся.

– Это не рассказ, можешь мне поверить. Скоро узнаешь. – Он все так же ходил по комнате, с силой впечатывая подошвы в пол, словно затапывал маленькие костры; слова вырывались страстными шквалами. – А ты знаешь, что главной целью правосудия когда-то считалось признание вины? Люди объявляли себя виновными, стоя перед виселицей. «О Господи! Прости мне мое гнусное злодеяние, мой ужасный грех!» Здесь, в Гондурасе, эта традиция жива. Скотокрадов фотографируют с кусками мяса в руках, снимки печатают в газетах. Я сам однажды видел, как двое убийц держали под руки тело человека, которого они утопили. Жуткое зрели-

ще! Глаза как вареные яйца, белые, выпученные... дети, которым это попало на глаза, не забудут до конца жизни. Но кто поверит моему признанию? Какие я предъявлю доказательства? – Он швырнул бутылку в стену, и звон разбитого стекла резанул Минголлу по нервам. – Мы живем в Темные века! Повсюду позорные столбы, плахи, виселицы. Фиеста казней! Я сам приложил к этому руку... – Он остановился у двери. – Пора тебе заняться делом. Правда, пора.

Минголла опустил голову – он побежден. Никарагуанец был безумен и жалок, совесть проела его до костей, борьбы не будет и поединка тоже. Убийство станет истреблением.

– Чего ты ждешь?

– Отстаньте, а, – проговорил Минголла.

– О, неужто я тебя растрогал? – воскликнул де Седегуи с притворным сочувствием. – Раскопал остатки гуманизма? Трудности с мотивацией, ага? Так и быть, помогу. – Он подошел к Минголле и больно пнул его в ногу.

Тот вскрикнул и схватился за ушибленное место.

– Добавить мотивации? – спросил де Седегуи. – Ладно. – И плюнул ему в лицо.

Минголлу передернуло, но он сдержался и вытер щеку рукавом.

– Какое самообладание! – Де Седегуи хлопнул в ладоши. – Ты даже похож на человека! Но, – он понизил голос до мерзкого шепота, – мы-то с тобой знаем, что ты не человек. Вперед, мудака! Смотри, сколько силы – ползает, извивается, как

тошнотворный червяк, а ты боишься ею воспользоваться. Тебе же хочется... так вперед! Вот он я! Слепи меня своими молниями! – Он пьяно рассмеялся, подскочил и опять стукнул Минголлу по ноге.

– Пошел к черту! – Минголла откатился, встал, пригнулся, глаза сощурились от ненависти.

– Превосходно! – воскликнул де Седегуи. – Волкодав рычит, глаза наливаются кровью!

Минголла распался все сильнее, гнев питался отворачиванием к самому себе, и все это устроил де Седегуи; проскочила мысль, что неплохо бы отплатить ему тем же. Никарагуанец плюнул еще раз, задев Минголлу брызгами.

– Какая прелесть: ты так стараешься казаться крутым парнем, а на самом деле всего лишь грязный маленький паук, готовый изрыгнуть в слабого собрата свою отравленную блевотину. – Еще пинок. – Не трусь! Только подумай, в какой экстаз приведет тебя убийство, твои мысли вонзаются в меня... как там говорят американцы? Выебать мозги. Превосходная фраза! Этим ты сейчас и займешься – обкончаешься, пока заебешь мои мозги до смерти. Сколько мне еще ждать? У тебя что, любовная игра, предвкушение?

Де Седегуи замахнулся для очередного пинка, но пока он отводил назад ногу, Минголла ударил его со всей силы – той силы, о которой он не знал раньше, и де Седегуи захлестнуло волной отвращения к самому себе. Никарагуанец зашатался и растворился в тени у самой двери; слышался свист,

скулеж, вой поднимался все выше и выше, словно звук закипающего чайника. Схватившись руками за голову, де Седегуи вывалился через дверь, качнулся – темная сумасшедшая фигура в оранжевом сумраке – и свернул за угол; Минголла метнулся следом.

Три старика все так же торчали у горячей смоляной бочки, и, качаясь, не помня себя, де Седегуи оттолкнул их в сторону. Он стоял рядом с бочкой, дико трясся и вдруг схватился обеими руками за края. Металл наверняка был раскаленным, но де Седегуи даже не вскрикнул. Один из стариков рванулся к нему, вытащил нож, но прежде чем он успел ударить, де Седегуи – с формальной точностью глубокого поклона – опустил в бочку голову. Отраженное от стенок сияние стало в два раза ярче, и, когда де Седегуи выпрямился, у него горели волосы, горела рубашка, футовое пламя, облизывая череп, поднималось вверх, словно вставшие дыбом красно-оранжевые волосы с прожилками черных нитей. Крики, шорох, множество голосов катятся во все стороны – быстро, точно ветер в лесу, разнося весть. На мгновение Минголле показалось, что ничего де Седегуи не делается – сунет руки в карманы и отправится гулять по Баррио. Но он упал, полетели искры, и вот его уже загородили любопытные, а еще те, кому не терпелось добраться до часов и ботинок.

Мысли разбегались, на миг Минголла испугался, что де Седегуи засосет его в дренаж своей смерти, закружит и перемешает с отбросами и затхлыми волнами своего сознания.

Минголла попятился, ввалился в какой-то дом и лишь там, в темной комнате, немного успокоился. Еще рано... что он будет делать все это время? Кто-то заглянул в дверь, и Минголла рывкнул, чтобы они убирались. Вытащил пакет с порошком и с ужасом уставился на фотографию улыбающегося де Седегуи; зашвырнул ее в угол и сел на кровать. Подцепил ножом щепоть белой пудры, вдохнул. Слишком быстро, рассыпая порошок на колени и на пол. Порезал ноздрю. *Успокойся*, – сказал он себе, – *ты не виноват*. Он не хотел, чтобы де Седегуи совал голову в огонь. Он сам не знал, чего он хотел. Этот человек должен был умереть быстро и безболезненно. Ага, то, что надо. Он втянул еще порошка. И еще. Копнул слишком быстро, кровь смешалась со снежком, на ноже застыла корка. Господи, он же порезался! Искры, как звезды, как маленькие горящие головы, плывут в темноте, сердце колотится в сложном ритме. Безболезненно. Вот чего он хотел. «Конечно, правильно, – сказал он. – Ты упивался насилием, представлял, как трезубец мыслей раскалывает его череп, а на самого этого парня тебе было насрать. Ну да, что с того? Он был мертв, разве не так? Еще снежка? Почему бы и нет, в самом деле. Не повредит. Безболезненно, ну да. Как твоя кровь из носа. Господи». Он только сейчас заметил. Черт побери, весь рот, подбородок. В аду, записал он в мысленном дневнике, Минголла страдал носовым кровотечением, но избегал серьезных осложнений: он не пил воды, не прикасался к пище, не... «Заткнись! Заставь

меня, попробуй! Вдуй свои поганые мысли мне в голову – и пыхти! Я весь в огне. Хватит! Пых, треск. Помнишь запах? Хуже, чем эти ебанные змеи! Нюхни с ножа свое говно, не то просыплешь, весь же трясешься. Ага, вот так. И еще чуть-чуть... и еще. Видишь, голоса уже заткнулись, и память туда же. Тишь да гладь. Защить мозги проводами, сине-белой коликкой, электричеством, и ничего нет, только холодные сине-белые искры, тишина. Только знаешь что, Дэвид, Дэви, Дэйв, мистер Минголла, знаешь что?

Что?

Даже она будет слать тебе проклятия».

Автобус катился сквозь безлунную темноту в Ла-Сейбу, Минголла сидел с охранниками – Карлито, Мартином и Хулио. Альвина устроилась на несколько рядов позади, он на нее не смотрел, изучая вместо этого маски солдат. Кажется, он уже умел кое-что в них вычитывать, разбирался, что выражают эти карты кровавых мышц и сухожилий. Маски бесили, но не в них было дело. Ненависть и бешенство он держал теперь в потайном кармане, они усреднились, обезличились и одновременно стали чем-то вроде Минголлиного удостоверения, как лицензия на пистолет. Слушая банальные шуточки охранников, пересказ забавных эпизодов, которые случались с ними в Баррио, Минголла кое-что для себя решал. Это было справедливо, думал он. Око за око и все такое.

Автобус остановился на краю города, и шлюхи гурьбой

потянулись к Авенида де ла Република. Минголла сидел опустив голову и дожидаясь хоть какого-то импульса, чего угодно, что заставило бы его пошевелиться, – сам он был пуст.

– Тебе отмечаться не надо? – спросил охранник.

Три невидимых лица повернуты в его сторону.

– Здесь опасно, – сказал Минголла, подкрепив слова соответствующими эмоциями. – Вон из автобуса. – Он приказал им оставить оружие, подобрал автомат и снял его с предохранителя.

Ветер дул с моря, холодный и ритмичный, сметал мусор в придорожной траве, покрывал руки гусиной кожей. Охранники сбились в кучку чуть правее, они ежились, обхватив себя руками, ветер трепал незаправленные рубашки. Вместо лиц озадаченные переплетения сухожилий, смущенные складки мышц.

– Вас не должны видеть, – сказал Минголла. – Спрячьтесь в траве, когда можно будет встать, я подам знак.

Двое рванули к траве, но третий спросил:

– А что стряслось?

– Очень опасно! – заверил его Минголла и нажал посильнее. – Быстрее! Бегом!

Охранники спрятались в траве, а Минголле показалось, что они оторвались от земли и унеслись куда-то по длинной темной дуге. Зачем ему все это? Что оно меняет? Какому служит моральному императиву? Чернота, куда ни повернись.

Черное море, черная трава, черный воздух. Белый только автобус, но это ложь. Один из охранников поднял голову, и его маленькая красная рожа с изумленной дыркой рта стала точкой в бешеной черной поэме травы и ветра... Минголла разозлился.

– Лежать! – заорал он. – Лежать!

И начал стрелять. Очередью, почти неслышной в сильном ветре. Он прошивал траву, пока в рожке не кончились патроны. Схватил автомат за дуло и швырнул к морю. Прислушался. Ничего. Ни стонов, ни криков. Мертвая тишина, поразительно глубокая. Все, что прежде было живым, стало мертвым. Минголле нравилось. Тишина тронула его сердце холодным змеиным поцелуем, и он подумал, что стоит, пожалуй, взглянуть на тела. Проверить, может, кто дышит. На фиг, решил он, не стоит. Принюхался. Солено и чисто. Он сделал свое дело, и притом хорошо. Можно было стоять здесь до скончания века, наслаждаясь чувством выполненного долга, но он все же забрался в автобус и порулил к городу.

Он шагал по Авенида де ла Република, заглядывал в бары, но был на самом деле страшно далек от музыки и смеха, словно выработал иммунитет к этому воздуху. Купив у уличного торговца лимонный конус мороженого, облизывал на ходу льдинки, улыбался всем подряд и качал головой, когда дети совали ему под нос черные коралловые побрякушки. Какая-то проститутка, выскочив из бара, налетела прямо

на Минголлу, и он поддержал ее за талию, чтобы не упала. Она была худой, светлокожей и веснушчатой, чем-то похожей на Хетти и очень пьяной. Минголла довел ее до дверей отеля, обнимая за талию, и она спросила, не хочет ли он подняться с нею наверх.

– Я бы рад, – сказал он, – но надо кое с кем встретиться.

– Ну... – Она пригладила волосы и пьяно улыбнулась. – А ты славный, спасибо, что помог.

– Мне только в радость, – ответил Минголла и побрел прочь.

Улица заканчивалась сквериком, по углам росли высокие кусты гибискуса с розовыми и красными цветами. Кокосовые пальмы нависали над бетонными дорожками, те шли наискось через всю площадку; каменные скамейки, в центре фонтан, похожий на каменную лилию. Лицом к скверу стояла большая белая оштукатуренная церковь, к ярко освещенному фасаду вели два ряда ступеней. Минголла выбрал скамейку у самого фонтана, втянул для бодрости снежка – как раз столько, чтобы еще сильнее заискрились водные струи. На противоположном конце дорожки расположилась в тени гибискусов группка мальчишек с сапожными щетками. Они болтали и тянули сигареты. Коробки с гуталином украшала мозаика из битого стекла, и мальчишки напоминали карликов, в ранцы которых вбиты бриллиантовые гвоздики. Плохо, что нет сигарет; сам Минголла никогда не курил, но, вспоминая курящих друзей, думал, что сейчас самое время для

сигареты – успокоиться, привести в порядок мысли. Вместо этого он вдохнул новую щепотку снежка. Мальчишки-чи-стильщики с интересом на него посматривали, но, похоже, не собирались бежать за полицией. Хотя без разницы. С полицией он справится. Порошок нес приятную пустоту; Минголла откинулся назад, скрестил ноги и подумал, что слишком уж он распереживался из-за этого де Седегуи. Однако понимал, что никуда теперь не деться. В следующий раз он подготовится получше. Поедет в Петэн, разберется с Деборой, а после... после будет видно.

Доносившиеся из баров приглушенные обрывки музыки живо напомнили Минголле берег Флориды и старую подружку: двери машины открыты, чтобы, валяясь на песке или трахаясь на мелководье, можно было слушать радио. Проходишь ярдов сто, а вода только до задницы. Теплая, спокойная вода. Маяки подмигивают, словно упавшие звезды. В других машинах пьют пацаны, швыряют бутылки в море, они разбиваются о волнорез. Мысли подняли настроение. Времена сейчас тяжелые, но самое страшное уже позади, вот и воспоминания вернулись. Все воспоминания. Он втянул полное лезвие снежка и вдруг почувствовал, что он теперь не кто-нибудь, а Дэвид Минголла, Дэвид, блядь, Минголла, тот самый чувак, которого он чуть не потерял; ему пророчили великое будущее, и вот он снова здесь, он все тот же... только лучше.

Огневой квадрат «Изумруд»

...Согласно преданию, начало войне между Мадрадонами и Сотомайорами положил в 1612 году от Рождества Христова Абимаэль Сотомайор, похитив Хуану Мадрадона де Ламартин. Однако возможно ли объяснить столетия злодейств и крови излишне резким ответом на единственный поступок? Можно ли считать «Избиение младенцев» в Боготе 1915 года или взрыв резиденции Сотомайоров в Гватемала-Сити 1949-го результатом неводержанной чувственности умершего триста лет назад мужчины? Нет, как и любой великий конфликт, эту вражду питала неудержимая жажда власти – власть же укрывалась в обычном с виду цветке, что произрастал только в одном месте: западнее Панама-Сити, в долине, разделявшей владения этих семейств.

Хуан Пасторин. «Война между Мадрадонами и Сотомайорами»

Глава девятая

В последний их вечер в Петэне Сантос Гарридо рассказывал Минголле историю. То был ни дружеский совет, ни нравоучение – просто ответ на случайный вопрос, но из-за все-

го, что случилось после, Минголле виделся в нем скрытый смысл.

Трое суток они пробирались через джунгли, оставив позади деревню Сайяксче – в недавнем прошлом базу кубинской пехоты, а теперь, когда бои сместились на север к мексиканской границе, сонный и никому не интересный перевалочный пункт для бродячих торговцев, возивших по Рио-дела-Пасьон жестяные лампы, полосатые пластмассовые горшки и рулоны дешевых тканей. До сих пор Минголла знал джунгли разве что по окрестностям Муравьиной Фермы и не ожидал, что тропическая чаща встретит их такими тягостями. Они шли узкими глинистыми тропками, то и дело натываясь на проложенные муравьями-листорезами борозды, и стоило Минголле остановиться перевести дух, как эти твари забирались на ноги и больно кусались; проводник Гарридо не собирался ждать, пока Минголла сбросит их на землю, а потому приходилось лупить муравьев на ходу, оставляя на теле чувствительные синяки. Под ноги лезли груды гниющих лиан, над которыми вились целые облака кусачих мошек и комаров, они жужжали потом в волосах, набивались в нос и в рот. Путники спускались в каменистые ущелья, пролезали под стволами упавших деревьев, оттуда им на шею сыпались сколопендры и пауки. И главное, невыносимая жара. Минголлин антикомариный аэрозоль в считанные минуты смылся потом, приходилось лить на себя воду, в которой Гарридо растворял сигарный табак, утверждая, что никотин –

самый лучший репеллент; теорию эту Минголла, к собственному удовлетворению, опроверг. Но когда они забрались в Петэн поглубже, воздух стал прохладнее, влажнее и вязче. Листья оставляли водянистые следы на одежде, и даже обезьяны орали как-то мокро. Теперь Минголла стал замечать красоту джунглей. Зеленый свет, зеленые тени. Своды крон опирались на кафедральные колонны фиговых и капоковых деревьев, кору покрывал пушистый оранжевый лишайник, между стволами порхали шестидюймовые бабочки. Из травы торчали обвитые лианами известковые глыбы, похожие на каменные парусники, почему-то не затонувшие в давно исчезнувшем озере. Разбросанные повсюду следы войны добавляли природе своеобразной неорганической красоты. В ложбине, словно экзотическое яйцо, лежал шлем с треснувшим и затянутым паутиной щитком; из зарослей бамбука выглядывала укрытая пологом цветущих эпифитов ржавая башня танкетки; а неразорвавшаяся, затянутая чешуйками и ряской ракета казалась растением – как если бы джунгли, подражая войне, породили нечто, способное сойти там за свое.

На третью ночь Минголла и Гарридо разбили лагерь у подножия меловой глыбы; натянув гамаки между тремя саподилловыми деревьями, они поужинали тортильями и холодными бобами. Гарридо был сухопарым, но крепким индейцем шестидесяти с небольшим лет от роду, со все еще черными волосами и розоватым оттенком темно-коричневой кожи.

Говорил он только о том, куда поворачивать и чего опасаться, Минголла его почти не интересовал, ни как попутчик, ни как человек. Самого Минголла это не волновало, Гарридо в его глазах тоже был инструментом.

После ужина Минголла целый час чистил автомат, затем достал пакет со снежком и собрался расслабиться. Лунный свет, просачиваясь через кроны деревьев, заливал известняк и листву серебряными лужицами, камни вокруг казались огромной складкой черной ткани, расшитой абстрактными узорами. Комары и лягушки затянули свой жутковатый напев, в нем звучала музыка дырявого бамбука и бульканье воды. Удерживая на кончике ножа горку белой пудры, Минголла замер и прислушался.

– Зачем ты это нюхаешь? – спросил Гарридо. Минголла вдохнул и запрокинул голову, чтобы порошок просыпался поглубже.

– Мозги лучше работают. – Он надтреснуто рассмеялся. – И мошкара не лезет.

– Ты наркоман?

– Есть зависимость, но слабая.

Гарридо помолчал.

– Когда мы договаривались, я думал, понимаю тебя. Я думал, ты не такой, как другие американцы. Есть ли, спрашивал я себя, у этого молодого человека страсть к охоте? Что-то в тебе с нею не вязалось. Но вышло по-другому. Ты как они. Вы на все смотрите одинаково.

– Одинаково как?

– Без чувств.

Минголла фыркнул – прочистил нос, а заодно выразил свое мнение: бесчувствие он считал идеалом.

– Как будто, – продолжил Гарридо, – чувства мешают вашему главному плану.

– Зачем ты мне это говоришь?

– Когда идешь в опасное место, лучше все выяснить заранее.

– Ты хочешь сказать, чтобы в случае чего я на тебя не рассчитывал?

– Просто определяю, за что я в ответе, а за что нет.

Музыка джунглей звучала громче, ближе, и темнота вокруг лагеря представлялась Минголле триллионом орущих глоток.

– Зачем? – спросил он.

Гарридо достал из нагрудного кармана сигару, прикурил. Уголек осветил ему рот, блеснул в глазах.

– Однажды мы с другом нашли в неразрытом кургане нефритовую чашу. Старинную, времен майя. Большая удача. Но я забрал ее себе и сбежал. Потом узнал, что мой друг умер от лихорадки... у него не было денег на лекарство. С тех пор я честен с компаньонами. Чтобы не было недоразумений.

К концу последней фразы Гарридо повысил голос, Минголла попытался разглядеть выражение его лица, но ничего не вышло.

– А что случилось с чашей?

– Украли... какой-то американец.

– Поэтому ты нас и не любишь. – Минголла снова полез в пакет за снежком.

– Вовсе нет. Я понимаю американцев, а за тех, кого понимаешь, переживать трудно.

– Хреново, наверное, жить, – сказал Минголла, – когда голова таким дерьмом забита. По себе знаю. Бывает ведь: заглянешь в себя и вдруг видишь, какое дерьмо ты только что считал мудростью, – стоит подумать, на что купился, сразу блевать тянет. А через минуту все по новой. – Он вдохнул порошка и высморкался. – Ты уж извини. Смешно бывает слушать всякое говно вроде «я понимаю американцев», особенно когда следом идет «за тех, кого понимаешь, переживать трудно». Охуеть, какая глубина мысли. Прямо философия.

– Может, и так, – сказал Гарридо. – Но я сказал правду, и нам с тобой этого довольно.

– Как угодно.

Может быть, подумал Минголла, снова вдыхая порошок, если он просидит без сна всю эту ночь, то напитается мудростью джунглей и станет похож на Гарридо.

– Зачем, интересно, ты на нас работаешь, раз так не любишь американцев?

Гарридо выпустил дым и закашлялся.

– Я расскажу тебе историю.

– Бог ты мой! – воскликнул Минголла. – Где мой попкорн.

А как она называется?

– У нее нет названия, – холодно ответил Гарридо. – Хотя, наверное, ее можно назвать «Призрак конкистадора».

– Ужас! – Минголла, дурачась, подался вперед. – Ну, бля, я весь внимание!

– Другого ответа у меня нет, – холодно произнес Гарридо. – Будешь слушать?

– Само собой... По телику все одно ничего нет, ага?

Гарридо сердито вздохнул. Вокруг сигары выписывала сложные дуги мошкара, вспыхивая на уголке белым.

– Не так давно, – начал проводник, – неподалеку от развалин Яксчилана жил в одном селении охотник – такой же майя, как и я. Каждый день он вставал до рассвета, завтракал вместе с женой и сыном, брал ружье и уходил в джунгли. Все утро он охотился, выслеживал тапира или оленя, избегая следов ягуара, когда же солнце поднималось высоко, находил удобное место отдохнуть и пообедать. Потом наступал час сиесты. Однажды после полудня, когда охотник спал в тени храма, погребенного под холмом, его разбудил призрак царя майя – на далеком предке была лишь красная набедренная повязка и ожерелье из золота и бирюзы.

«Помоги мне! – воскликнул король. – Меня преследует враг!»

«Как же я тебе помогу?» – удивился охотник; он представления не имел, как защитить царя от врага, которому не

страшны ни пули, ни удары... кто его враг, охотник догадался по тому, что обитатели мира духов боятся только себе подобных.

«Позволь мне возложить тебе на лоб руку, – сказал король. – Ты уснешь, а я войду в твой сон и спрячусь в нем».

Охотник был рад услужить предку, ибо уважал традиции и почитал древних майя. Он позволил царю возложить руку себе на лоб, тут же уснул и оказался во дворце, пронизанном лабиринтами коридоров и комнат с потайными дверями. Царь вошел в один такой коридор и скрылся из виду. Дворец растаял, уступив место другим, вполне обычным снам.

Вскоре после того охотника разбудил белолицый всадник, облаченный в латы с золотой филигранью, он восседал на черном коне с огненными глазами, извергавшем из ноздрей клубы пара. Призрак конкистадора.

«Я знаю, это ты спрятал царя, – произнес всадник голосом, подобным железному колоколу. – Открой мне свой разум, и я последую за ним».

«Нет, – сказал охотник. – Я этого не сделаю».

Призрак конкистадора выхватил меч и взмахнул им с такой силой, что задрожали деревья, а в воздухе повис дымный след. Но охотник не испугался: он готов был отдать жизнь за традиции своих предков. Увидав такую храбрость, призрак вложил меч в ножны, поклонился, улыбнулся и сказал голосом, подобным меду:

«Если ты позволишь мне войти, я дам тебе золотую мо-

нету».

Слова конкистадора повергли охотника в мучительные раздумья, ибо был он беден, жил в лачуге из соломы и прутьев и, хотя добывал для семьи достаточно пищи, как все мужчины, мечтал, чтобы родным людям жилось лучше. Однако он поборол искушение и снова отказался. Гнев исказил лицо призрака, он поднял коня на дыбы, развернул его на месте и поскакал прочь, превращаясь постепенно в темную точку, которая в конце концов вспыхнула красной звездой и исчезла.

Охотник остался доволен собой; вернувшись этим вечером домой, он долго играл с сыном и страстно обнимал жену, уверенный, что помощь, которую он оказал царю, принесет удачу. Однако на следующий день, уже прицелившись в оленя, он вдруг услышал цокот железных копыт: неизвестно откуда появился призрак конкистадора, помчался прямо на животное, олень подпрыгнул и скрылся в кустах. Злобно хохоча, призрак развернул коня и исчез так же, как накануне. Других оленей охотнику не подалось, и пришлось ему возвращаться домой с пустыми руками. В кладовой, правда, оставались припасы, и он был уверен, что удача вернется. Однако две следующие недели всякий раз, когда охотник уже целился в свою жертву, будь то олень, тапир или агути, неизвестно откуда являлся призрак конкистадора и пугал животное. Охотник не сдавался, но когда его жена и ребенок заболели от голода, впал в отчаяние. Он больше не брал на

охоту обед, но по привычке не отказывался от сиесты, и на пятнадцатый день после того, как пришел царь, явился призрак конкистадора, пробудил охотника ото сна с черепами и сказал голосом, подобным праху:

«Впусти меня, или я стану преследовать тебя до тех пор, пока твоя семья не умрет от голода».

Увидав, что делать нечего, охотник позволил призраку конкистадора прикоснуться мечом к своей груди, и тут же провалился в сон с дворцом-лабиринтом. Призрак поскакал по коридору, а когда охотник проснулся, то обнаружил у себя в ладони золотую монету. Первым его побуждением было выбросить эту плату, но, вспомнив о бедственном положении своей семьи, он взял монету и купил на нее еды. Набив этим вечером животы, они лежали под звездами, и сердце охотника радовалось, когда он смотрел, как возвращается румянец на щеки жены и сына; но одновременно его мучил стыд за содеянное, и охотник думал о том, сможет ли он когда-нибудь чувствовать себя иначе.

На следующий день он снова увидел во сне дворец, из которого, к немалому его изумлению, появился царь, стал умолять выпустить его и рассказал по секрету, как отпирать двери сна. Охотник был счастлив искупить вину и сделал все, как велел царь. Но через несколько секунд из глубины дворца прискакал конкистадор и тоже потребовал выхода. Ликующий охотник запер двери сна и занялся своими делами. Однако на завтра во время сиесты ему приснился кош-

мар настолько мучительный, что, будь это обычным сном, он наверняка бы пробудился с жутким криком. Сейчас этого не произошло. Демоны срывали с него кожу, скорпионы со стальными клешнями угощали друг друга кусками его плоти, дергали за обнаженные нервы, а он все спал. В глубине сна охотник видел конкистадора, тот смотрел на него и улыбался, расположив руки на луке седла. Наконец призрак прогарцевал вперед и сказал голосом, подобным льду:

«Выпусти меня, а не то увидишь во сне собственную смерть». – И вновь у охотника не было выбора, он отпер двери сна, и призрак ускакал воевать.

Проснувшись и снова обнаружив у себя в руке золотую монету, охотник пал духом настолько, что отправился в первую попавшуюся кантину и напился там до бесчувствия. Он понимал, что превратился в поле битвы для древних духов, и лишь надеялся, что схватка не затянется надолго. Однако на завтра царь снова умолял впустить его в сон, а когда вскоре после этого явился конкистадор и потребовал того же самого, охотник, мучаясь угрызениями совести, подчинился и принял очередную золотую монету. Так прошли месяцы, а затем и годы. Охотник устраивал конкистадору ловушки, но призрак их избегал. Получая каждый день плату, охотник разбогател, за будущее семьи он уже не беспокоился и стал задумываться о самоубийстве. Но угрызения совести пасовали перед соблазном комфорта, и охотник рассудил, что если не его, то чьи-то еще сны все равно станут полем битвы

призраков, так какое он имеет право втягивать в эту ужасную распря другого человека?

И вот однажды, выйдя из сна, царь сказал охотнику:

«Друг мой, благодарю тебя за годы службы. Я отправляюсь на поиски нового сна, ибо конкистадор выведаль все тайны дворца, и я больше не смогу в нем прятаться».

Устыдившись, охотник стал просить у царя прощения, но тот сказал, что он напрасно себя упрекает, поскольку лучшего убежища, чем его сон, у царя еще не было. Затем скрылся в джунглях, а вскоре из сна выехал и призрак конкистадора. И тоже заговорил с охотником:

«Мне доводилось преследовать врага во многих снах, – сказал он голосом, подобным вулкану, – но твой был самым захватывающим. Жаль, что все кончилось».

Охотник задрожал от ненависти, но сказал лишь:

«Я счастлив, что никогда больше тебя не увижу».

Призрак рассмеялся, и от его хохота небо затянулось черными тучами.

«Ты наивен, мой друг. Как невозделанное в один прекрасный день снова начинает плодоносить, так и бесполезное рано или поздно становится бесценным. Пройдет время, тебе приснится новый сон, и мы вернемся, чтобы продолжить нашу игру».

«Никогда! – воскликнул охотник. – Я лучше умру!»

«Что ж, умирай, – сказал призрак конкистадора голосом, подобным пламени. – Возможно, у твоего сына обнаружится

талант к сновидениям».

Похолодев, охотник понял, что согласен на все, лишь бы избавить своего ребенка от такой судьбы.

Призрак опять расхохотался, небо прочертила молния, и ее изломы описали на языке богов тысячи ужасов.

«Держи! – Он швырнул к ногам охотника золотую монету, украшенную изумрудами и стоившую десяти лет службы. – Поручаю тебе сочинить новый сон, замысловатее того дворца. Чтобы к моему возвращению все было готово». – С этими словами призрак поскакал в погоню за царем, конь его оставлял на тропе выбоины, над ними поднимался едва заметный дымок, чтобы любой дух, взглянув с небес, мог их увидеть и отправиться по следу.

Гарридо загасил сигару, устроив в известняке гнездо искр. Похоже, он ждал ответа.

– Диалогов бы побольше, – сказал Минголла, – а так ничего.

Прошипев что-то от досады, Гарридо ухватился за гамачную веревку.

– Спокойной ночи, – сказал он. Забрался в гамак и натянул на голову противомоскитную сетку.

И все же история захватила Минголлу, хотя, чуть поостыв, он пожалел, что не спросил Гарридо, почему тот просто не сказал: «Из-за денег». Правда, потом он подумал, что это несправедливо. Хорошо бы как-нибудь порасспрашивать этого индейца – Минголле вдруг пришло в голову, что он не

только многого не понимает, но гораздо больше просто не видит. Некоторое время он повозился с идеей завести с проводником дружбу, но по здравому размышлению передумал, решив, что она лишь запутает его суждения и что перепалка между ними обещает стать куда занимательнее, чем любая душевная беседа.

Несмотря на снежок, он уснул, но назвать отдыхом этот гобелен из тревожных видений было трудно, и, очнувшись от яркого, нацеленного прямо в глаза света, Минголла подумал, что, наверное, кричал во сне и разбудил Гарридо.

– В чем дело? – Он хотел прикрыть глаза ладонью, но рука запуталась в противомоскитной сетке.

– Ни хрена себе! – Голос звучал по-деревенски. – Бобик по-американски лопочет.

– Я американец. – Минголла кое-как сел. – Что за херня? – В грудь ткнулось что-то твердое, он опять повалился на спину и сквозь белые ячейки разглядел ствол автомата и руку с фонариком.

– А с виду бобик, – сказал другой голос.

– Я агент... шпион. Вы кто, парни?

– Хозяева мы тут, – с угрозой произнес деревенский, – а ты вперся без спросу.

Прохлада разогнала остатки сна, и Минголла попытался надавить на деревенщину, но вместо того чтобы, встретив электрическое сопротивление, подчинить чужую волю сво-

ей, почувствовал, что его отшвыривает назад: как если бы он выскочил на ходу из машины и не побежал плавно вместе с ней, а подлетел в воздух. Он попробовал еще раз – с тем же успехом.

– Маскарад, значитца? – поинтересовался деревенщина. – А как проверишь? Мало, что ль, кубинцев по-американски шпарят. Мож, поскрести тебя маленько да поглядеть, чего там под краской?

Хор тупого хохота.

– Давай, как в кино, сержант? – Другой голос. – Поспрашивай его про бейсбол там или еще про чего.

– Ага! – Деревенщина. – Ну-ка, дружок, растолкуй-ка нам, кто там у чикагских «Медведей» центровым?

– А напарник твой тоже в маске? – Еще голос.

– Да чего вам надо-то? – Минголла попытался оттолкнуть автоматный ствол. – Дайте встать!

– Кореш евонный вроде как настоящий бобик, – сказал деревенщина. – Кончай его.

Автоматная очередь. Минголла замер.

– Гарридо?

– Ежели откликнется, – сказал деревенщина, – я делаю ноги.

– Ебаный псих! – заорал Минголла. – Мы же...

Автомат ударил его в грудь.

– Ты, парень, и сам пока что в дерьме. Отвечать будем?

Хотелось заорать и выскочить из гамака, но Минголла

сдержался.

– На что?

– Кто центровым у «Медведей»?

Смешки.

– «Медведи» играют в футбол, – сказал Минголла.

– Лады, уговорил. Мериканцы про такое знают, – согласился деревенщина и опять засмеялся. – Только вот ведь за-кавыка, – на этот раз он говорил серьезно, – мериканцы у нас тоже не больно-то в почете.

Молчание, писк комаров.

– Кто вы? – спросил Минголла.

– Зови меня Кофе... Особое подразделение, при Первом Пехотном служили. Только потом – как бы это сказать – свет, короче, увидали, ну и свалили от вояк подальше. Имя-то у тебя есть, мужик?

– Минголла... Дэвид Минголла. – Он, кажется, понял, с кем имеет дело, и спросил, чтобы знать наверняка. – Что значит «свет увидали»?

– Свет благословенного «Изумруда», мужик. Садись под лучи, которые через листья, впитываешь помаленьку, а в башке правда шевелится.

– Да ну? – Минголла толкнул его еще раз, но опять ничего не вышло.

– Думаешь, на психов напал, а? – поинтересовался Кофе. – Прямо как мой бывший взводный. Тоже все прикидывал, псих или нет, пока я ему не растолковал: «Так точно,

лейтенант, только я не просто псих, а псих во Христе». Ну, а после про царство рассказал, которое мы строить будем. Ни машин, ни выхлопа. Будет там тебе благолепие, Дэвид, – ежели, понятное дело, проверку пройдешь. Будешь охотиться с ножом и чують по запаху тапира. А по птичьим крикам узнавать погоду.

– И что взводный? – рассеянно спросил Минголлу, пытаюсь хоть как-то зацепить сознание Кофе. – Он-то вас понял?

– Ну, ты ж знаешь, как оно с лейтенантами, Дэвид. Не тянут.

Противомоскитная сетка полетела назад, Минголлу выдернули из гамака, поставили на колени и стянули запястья веревкой. В невнятном свете фонаря он разглядел гамак Гарридо: черный кокон болтался теперь ниже, как будто смерть была тяжелее жизни. Минголлу рывком подняли на ноги и повернули лицом к тощему, как вешалка, типу с гнилыми зубами и раздутыми зрачками; всклокоченная борода болталась на груди слюнявчиком, темные космы свисали до плеч. Он поднес фонарь к подбородку, и Минголлу разглядел ухмылку. Позади стояли его люди, такие же тощие и бородастые, но пониже ростом. Дырявые камуфляжные комбинезоны, автоматы старого образца.

– Рад знакомству, Дэвид, – сказал Кофе, опуская фонарик. – Как насчет ночного марш-броска?

– Может, щелкнуть ему парочку? – предложил кто-то.

– А что, дело. – Кофе залез в карман, затем поднес фонарь

к ладони – там высветились две округлые капсулы из серебристой фольги. – Самми пробовал?

– Слушай, – начал Минголла, – у меня...

Кофе вогнал ему в живот кулак, и Минголла сложился пополам. Не упал он только потому, что кто-то держал конец веревки, обмотанной вокруг его запястий. Несколько секунд он вообще не мог дышать, а когда все же набрал в рот воздуха, Кофе схватил его за подбородок и потянул вверх.

– Урок первый, – сказал бородач. – Спрашивают – отвечаешь. Значит, так: самми пробовал?

– Нет.

– Тады держись... чистая радость и победа. – Он поднес к носу Минголлы первую ампулу. – Как щелкну, сразу вдыхай, понял? А не то будет тебе новый урок. – Он раздавил ампулу большим и указательным пальцами, Минголла вдохнул жгучий пар. – Теперь вторую, – весело сказал Кофе.

Мир стал резче и ближе. Высоко в кронах деревьев Минголла разглядел паукообразные фигуры обезьян, подсвеченные обрывками лунного света и обрамленные филигранью черной листвы, услышал сотни новых звуков, они сплетали обрывки тьмы в наглядную карту из шелестящих папоротников и скрипучих ветвей. Ветер стал прохладнее, каждое его дуновение словно облизывало тело, теребило волосы.

– Люблю смотреть, когда по первому разу, – сказал Кофе. – Господи, как здорово!

Минголле вдруг стал противен этот Кофе, и презрение

вырвалось густым безумным смехом.

– Думаешь, мелко нас видел, а? Не ведись, Дэвид. Ни надуть, ни удрать, ни свалить меня даже и не думай. – Кофе схватил его за ворот и притянул к самому лицу. – Я в «Измурде» третий год, я вижу, когда муха срать садится. Чтоб ты знал – в этих блядских джунглях я царь! – Он отпустил Минголлу и оттолкнул подальше. – Ладно, пошли.

– Куда? – спросил Минголла.

– Вопросы? – Кофе снова повернулся к нему лицом, вылетающее из расширенных зрачков безумие мелко трепетало вокруг Минголлиной головы. – Ты не спрашиваешь, а делаешь что говорят. – Кофе расслабился и ухмыльнулся. – Но раз новенький, так и быть. К свету правосудия, там и решим, быть тебе у нас в команде али нет. – Он закинул автомат на плечо. – Полегчало?

Парень дернул за конец веревки, и Минголла воткнулся в гамак Гарридо; пока он выпутывался из ячеек, парень прокомментировал:

– Дохлах бобиков не видал, что ли.

В Минголле поднималась химически чистая злость, яростное ощущение, что честь и характер – не пустые слова. Он резко вырвал веревку, и, когда часовой пнул его автоматом, оттолкнул ствол в сторону, с невероятной быстротой выскочил вперед и подсек парня под ноги.

– Убью, сука! – пригрозил он валявшемуся на земле бородачу. – Только тронь, убью!

– Во, дела, – воскликнул у него за спиной Кофе. – Да мы, никак, тигра за хвост поймали. – Голос звучал весело и сардонически, но когда, обернувшись, Минголла увидел, как сержант улыбается – жестко и оценивающе, – он понял, что ошибся.

Каждые полчаса шагавший рядом парень шелкал под носом у Минголлы серебристую ампулу, и вскоре сознание пленника отяжелело от необузданной ярости, как будто все его мысли застыли плотным комком пластиковой взрывчатки. Он изо всех сил пытался как-то повлиять на этих людей, но ничего не получалось. И дело было не только в ментальных трудностях, Минголла просто не мог как следует сосредоточиться. Во-первых, пробираясь сквозь заросли, он слишком отвлекался, а во-вторых, навязанный наркотиком образ мистического бойца как-то не складывался с влиянием, оно казалось нечестным. Вместо того чтобы продолжать попытки, Минголла выдумывал планы побега один другого кровавее. Острота чувств сбивала с толку, и прошло немало времени, прежде чем он научился разбираться в запахах и звуках – препарат бил в голову так сильно, что Минголла сомневался, не галлюцинации ли это. Трудно было, к примеру, поверить, что барабанную дробь у него в груди выбивает его собственное сердце, а тонкий прерывистый свист в ушах – на самом деле крики летучих мышей, что мелькали в лунном свете хэллоуиновскими силуэтами. Поэтому-то, по-

чувствовав в первый раз где-то рядом Дебору, Минголла не придал этому значения. Однако ощущение не ослабевало, а один раз, потянувшись сквозь темноту туда, откуда оно, как казалось Минголле, исходит, он совершенно точно зацепил край ее сознания – знакомое возбуждение электрического контакта и особенный оттенок мыслей, в которых – не важно, что он не касался их раньше, по крайней мере сознательно, – он сразу угадал Дебору. Но в следующую секунду она или включила блок, или ушла из зоны досягаемости. Что она тут делает? – недоумевал Минголла. Следит за ним? Если да, то неужто знает о задании? Почему бы ей тогда не устроить засаду. А может, подумал Минголла, ему просто почудилось.

Они вышли на большую круглую поляну, поросшую папоротником и окруженную гигантскими фигами и секвойями; кроны сходились не очень плотно, и поляна напоминала мутноватый аквариум, в хилом придонном течении которого копошились странные пернатые твари. На стволах висели человекоподобные фигуры, но в полумраке было не разобрать какие. Минголлу бросили на землю и оставили на попечение единственного охранника, остальные пятнадцать человек уселись в центре поляны. Часовой заставил Минголлу вдохнуть еще пару ампул, теперь тот лежал на спине и в безмолвной ярости возился с веревкой. Приглушенные голоса людей, писк комаров и мягкий ветер сливались в затихающий гул, Минголла злился все больше еще и оттого, что в этом несуразном месте кто-то осмелился решать его судьбу.

– Толку-то развязываться, – заметил часовой. – Все одно поймаем. – Это был лысый мужик с густой рыжеватой бородой и болтавшимся на шее треугольным зеркальцем. – Не, у старого сержанта не сбежишь. Давненько ждет знака, и сдастся мне, ты этот самый знак и есть.

Минголла удвоил усилия.

– Может, он перепутал, никакой я не знак.

Бородач презрительно рассмеялся.

– Сержант не путает. Есть знак – он читает. Чтоб кто распознал лучше сержанта – не бывало такого.

– Теперь будет. – Минголла решил провести охранника. – Знаешь, для чего я сюда пришел? Сказать, как надо, куда идти, в общем.

Часовой опять засмеялся, на этот раз слегка надтреснуто, поднял зеркальце и направил себе в лицо лунный луч.

Когда веревка начала поддаваться, появился Кофе, отпустил часового и присел на корточки рядом с Минголлой. Затем сказал, втянув сквозь зубы воздух так, что получился клейкий ноющий звук:

– Никогда не думал об Эдеме, Дэвид?

Тоска в голосе Кофе – он точно всерьез скорбел о перво-родном грехе – приглушила Минголлину ярость, и он не нашел, что ответить.

– В газете как-то писали, – продолжил Кофе. – Эдем, говорят, в Антарктиде был. Все, говорят, нашли – ягоды, корни, – тыщу лет прошло. Вроде как змей обделал с Евой свои

дела, живая сила вытекла, вот все и позамерзало. Как думаешь, правда?

– Не знаю.

Минголла попытался повлиять на Кофе, но ничего не вышло. Видимо, самми что-то делал с электрической активностью мозга, и синхронизация не срабатывала, даже если сам нанюхаешься.

– Вот и я не знаю. Кто ж газетам верит? Про политику-то они вон какую херню печатают. – Кофе щелкнул ампулу и втянул пары. Оглянулся на поляну. Там осталось три человека.

– Где твои люди? – подозрительно спросил Минголла.

– В патрулях. – Кофе хрустнул костяшками. – Так вот, про политику... Бля! Полное ж говно! Сам не докопаешься – хрен чего узнаешь. Половина первых леди – мужики в юбках. Смотреть же страшно. Уродины! Прикинь: был бы ты президентом, неужто б не нашел себе бабы получше, чем эти старые кошелки? Точно тебе говорю: президенты – все пидоры... у них там свое пидорское общество, только никто не знает.

– Я тоже не знаю, – сказал Минголла, сиюсь установить мысленный контакт.

– Да откуда тебе знать-то? А мне вот откровение было. Только ему и верю. – Кофе тяжело вздохнул, словно давно постиг этот огромный мир и все его неразрешимые проблемы. – А у тебя откровения бывают, Дэвид?

– Это смотря что понимать под откровением.

– Если смотря что понимать, значит, не бывает. – Кофе почесал бороду. – Ты веришь в чего-нибудь... ну, в высшую силу?

– Нет, – ответил Минголла, – не верю.

– Веришь, однако, Дэвид. Ты ж у нас человек плана – нет бы сесть да поразмыслить, что к чему, – занят слишком. А когда не будешь занят, тогда и жди откровений. – Кофе опять обвел глазами поляну, в бледном свете вырисовывался его линкольновский профиль. – В то и веришь, Дэвид. В то, чтоб поскорее и без веры.

Трое в середине поляны сидели спокойно и безмолвно, как пророки за медитацией, – тени в центре млечной сферы и пронизывавшая всю эту картину мистика на миг убедили Минголлу, что Кофе прав в своих построениях и откровение уже произошло прямо в середине этого света.

– Знаешь, кто в «Изумруде» человек плана? – спросил Кофе. – Я. И коли так посмотреть, то негоже мне тебя судить, ты сам мне суд. Видать, мозги в последнее время хреново чистил да и на работу забил. Видать, ты ко мне с проверкой, вот и славно.

– Какая еще проверка?

– Клыки и когти, Дэвид. Клыки и когти. – Кофе достал из кармана горсть ампул и сыпал их горкой на землю. – Твои снаряды, Дэвид. Вертайся спиной, руки развяжу.

– Может, объяснишь сначала, что происходит? – сказал

Минголла.

Кофе перевернул его и разрезал ножом веревку.

– Я приду утром, когда свет силен. За тобой, Дэвид.

Желудок Минголлы сжался в комок.

– А если я тебя убью?

– Ты ж проверка, Дэвид, не испытание.

Минголла сел, потирая запястья, и посмотрел на Кофе. Луна разгорелась ярче, и он чувствовал, что она не просто освещает их лица и одежду, а высвечивает общую честность. Он словно видел всю жизнь этого Кофе – бензоколонка на захолустном перекрестке, пацан стоит, привалившись к стене, вожак на дворняжьей псарне, тянет самогон и замышляет подлости; однако, пришло Минголле в голову, этот ненормальный и сдвинутый тип, по крайней мере, научился подличать с достоинством. Интересно только, что этот Кофе нашел в Минголле?

– Как насчет оружия? – спросил он.

– Я ж сказал. – Кофе приподнял руки ладонями вверх. – Клыки и когти. – Он кивнул на людей в центре поляны. – Эти вот присмотрят, чтоб все по правилам, а другие будут поблизости – на случай, если кто удрать надумает. – Он поднялся с усталым видом, и лежавшему на земле Минголле его голова показалась где-то на уровне крон, будто сержант стал высок и загадочен, как дерево. – До утра, Дэвид.

– Херня твои проверки! – воскликнул Минголла; как луна сквозь облака, в нем вдруг прорвался страх. – Своим дока-

зять приспичило, вот и надумал прибить неважно кого.

Кофе пнул папоротник, отошел подальше.

– Отчего у машины мотор работает, как думаешь? Оттого что ключ в зажигании крутанул? Искра проскочила? Заправиться не забыл? А может, потому, что физика так велит? Не, от всего вместе и еще миллион почему, про которые мы с тобой ни хрена не знаем. – Он зашагал прочь, становясь тенью среди теней. – Нет таких штук, как причины и следствия, и нет в этом сраном мире законов. – Голос доносился из темноты, и в нем звучало множество темных голосов, спрятанных за этой поляной. – Все правда, Дэвид, – сказал он. – Все настоящее.

Кофе оставил шестнадцать ампул, и Минголла, надеясь забить раздражение и тошноту – наверняка от вечернего пакета со снежком, – щелкнул сразу две. Вдруг хлынул дождь, а когда кончился, все хлипы и хлопы капающей воды слились в Минголлиных ушах в невнятное бормотание; ему мерещились демоны, они выглядывали из-под листьев и перемыкали ему кости, но страшно не было. Ампулы творили чудеса, снимая защитный экран с самой сердцевины его гнева. Самоуверенность была электричеством, облепляла его слоями новой силы, он улыбался, размышляя о предстоящей схватке, и даже в собственной улыбке чувствовал яростную мощь, натяжение мышечных волокон, дрожь нервов.

Наступил рассвет, сырой и серый, птицы погалдели и от-

правились в свой первый за день полет, пикируя чуть ли не на головы сидевших на поляне людей. Подлесок напоминал причудливо выстриженный сад. Вокруг папоротников таяла фиолетовая аура, трепетали лужицы теней. Челнулись³¹ обвислыми комплектами боевого снаряжения: десять вялых, облаченных в шлемы фигур, каждая с фатальной дырой или трещиной. Минголла сообразил, что костюмы эти были нечто вроде зарубок на ремне Кофе, но духом не пал. Препараты придавали таинственный оттенок всем его мыслям, он уже представлял, как одним великолепным ударом настоящего атлета убивает Кофе, становится королем этой человеческой иллюзии и, облачившись в папоротники и корону из листьев, правит Потерянным Патрулем. Однако сама схватка была сейчас важнее всего, что за ней последует. Добраться до пика, когда совершенство разгоняет кровь, сомнения побоку и огромный, как созвездие деяний, и столь же переполненный светом, темнотой и первоначальным смыслом Минголла будет смотреть на мир сверху вниз и понимать, что превзошел обыденность. Вот на какой путь он намеревался встать – на путь доблести и чести. В просвете между кронами деревьев сияла волшебная звезда, явно заблудившись в лавандовой полосе, что тянулась над розовым рассветом. Минголла смотрел на звезду до тех пор, пока не понял ее сверкающего смысла.

Рассвет разгорался, и над папоротником, вылетая из под-

³¹ Явная ошибка в переводе. (прим. LX)

леска, порхали бабочки. Их было, на Минголлин взгляд, жуть как много. Тысячи за тысячами – цифра эта все время росла, подбираясь к миллиону. И пород их тоже казалось слишком много для одного места. Бабочки были повсюду, облепили ветки и листья, словно в одну ночь наступила весна и расцвели все цветы сразу: кусты скрылись из виду, а стволы деревьев заметно потолстели. Время от времени бабочки взлетали с какой-нибудь ветки и в боевом порядке кружили над поляной. Минголла никогда не видел ничего подобного, хотя и слышал, что в брачный сезон они действительно собираются в огромные стаи, – сейчас, видимо, это и происходило.

С востока на поляну пробивались косые лучи солнца, настолько замысловато преломляясь в капельках влаги, что те сверкали гранями, словно обточенные и развешанные в воздухе золотые кристаллы. Троица встала и разошлась по краям поляны. По Минголлиному позвоночнику пауком проползло мрачное предчувствие, и, чтобы прочистить себе мозги, он щелкнул две ампулы. Затем, устав от ожидания, прошагал к центру поляны, цепляясь нервами за каждое дрожание тени или шевеление листа. На солнце набежали тучи, небо стало приглушенно платиновым, а осязаемое трепетание воздуха лишь подчеркивало тишину. Не прошло и минуты, как с восточной стороны поляны выбежал Кофе, вскоченную солому его бороды раскалывала ухмылка. Минголла ждал каких-то формальностей, но Кофе рванулся впе-

ред и тут же, не дав ему опомниться, налетел, боднул головой в бок, свалил на землю. Минголла сгруппировался, перекатился, вскочил на ноги; поражаясь плавности собственных движений и не обращая внимания на боль в ребрах, он обежал круг и восхищенно рассмеялся.

– Эх, Дэвид! – Балансируя на руке и колене, Кофе по-прежнему ухмылялся. – До чего ж неохота тырить у тебя такую радость. – Он резко вскочил и поднял над головой стиснутые кулаки, словно выжимая силу из воздуха.

Из Минголлы с бульканьем рвался смех.

– Зачем тебе жить, ты же псих. Это не проверка... я принимаю у тебя командование.

– Да ты что? – Кофе полуприсел.

– Будешь мне потом снится, – сказал Минголла. – Душа вознесется к свету, оставив тело червям и тлену.

Кофе добродушно встряхнул головой и отмахнулся от порхавшей у него перед носом бабочки.

– До чего ж я в тебя влюбленный, Дэвид. Прямо даже не знаю. – Он восхищенно смотрел на Минголлу. – Жалко, однако ж, иначе никак.

Он рванулся вперед, махнул левой рукой, заехал Минголле по скуле, тот качнулся, второй удар впечатался в зубы, но Минголла устоял. Голова закружилась, боль резанула десны. Он выплюнул кровь и осколки зубов.

– Вот и я про то ж, Дэвид. – Кофе разжал левый кулак и отогнал плясавших у него перед глазами бабочек; еще две

сидели на голове, как повязанные в жестких волосах бантики. – Дело за временем.

Он снова ринулся в атаку, нырнул под правую Минголлину руку и, ткнув его два раза в голову, повалил на землю, затем приложился к ребрам – в то же место, куда раньше таранил головой. Минголла взвизгнул, отполз в сторону и распластался по земле от нового удара. Кофе поднял его, поставил на колени и легонько шлепнул, словно требуя внимания.

– Что ж, Дэвид, – сказал он. – Плакать пора.

У Кофе на макушке восседало теперь две дюжины бабочек – диковатый живой венок, – другие цеплялись за бороду, а над самой головой кружило целое облако, словно галактическая спираль из срезанных цветов. Заметив тех, что сидели в бороде, Кофе удивленно смахнул их прочь. Еще две водрузились ему на лоб. Не обращая на них внимания, сержант размахнулся и с поразительной силой всадил кулак Минголле в шею. Следующий удар пришелся в челюсть. Кофе сжал кулак для третьего. Минголла силился удержать сознание, но темнота уже размывала поле зрения по краям, и, стукнувшись головой о землю, он отключился.

Очнулся он под треск стартового пистолета; небо представляло собой цветные пятна бреда. Красные, синие и желтые. Он их не различал. Мимо проковыляло что-то странное, повернулось, зашаталось. Минголла сел и стал смотреть, как эта штука наматывает вокруг поляны кольца. Опутанное тонкими крылышками существо, человекообразное по фор-

ме, но слишком толстое и неуклюжее, люди такими не бывают. Существо орало, сдирало комковатых бабочек с распухшей в три раза головы, затем крик прервался, словно заткнули дыру. Бабочки стекались к нему, как сквозь воронку, существо разрасталось, потом осело, превратилось в холм, поверхность все время шевелилась, как будто прерывисто дыша. Холм все распухал, притягивая новых и новых бабочек, небо очищалось, гора росла с отрывистой резвостью ускоренной киносъемки, пока не превратилась в разноцветную пирамиду тридцати футов высотой, похожую на храм, усыпанный миллионом прекрасных цветов.

Минголла смотрел во все глаза, не верил и жутко боялся, что сейчас это сооружение рухнет, завалит его тоннами хрупких крылышек. Пистолетные хлопки стали чаще, совсем рядом сквозь папоротник просвистела пуля. Минголла упал на живот, охнул от боли в ребрах и пополз по-пластунски сквозь папоротник. Пупырчатые листья прижимались к лицу и отваливались в стороны с подводной медлительностью. Он словно прорывался сквозь мозаику бледно-коричневых и бледно-зеленых цветов, к которой казалась неприменимой даже мысль о разобщенности, а потому и заметил этот ботинок, только коснувшись его рукой: гнилой армейский ботинок с дырами на щиколотках и лианами вместо шнурков был надет на ногу лежавшего вниз животом человека. На каблуке сидели бабочки. Минголла подполз поближе и увидел торчавший из горы таких же бабочек приклад.

Он потянул его – осторожно, стараясь не задеть ни одного крыла. Около дюжины бабочек остались на автомате, уцепившись за ствол и магазин. Одна опустилась Минголле на руку, и он с воплем стряхнул ее на землю. Затем с облегчением обогнул тело и пополз в джунгли.

Стрельба стала спорадической, пули больше не зарывались в землю. Минголла дотащился до поваленного дерева, спрятался. Он щелкнул ампулу, слегка восстановив силы, но все равно чувствовал себя последним куском дерьма. Ребра горели, а вздутые синяки на лице ныли и оттягивали кожу, как мешки с отравой. Он выплюнул кровь и нащупал языком дырку на месте зуба. Затем перевернулся на спину и подумал, как там себя чувствует Кофе под всеми этими бабочками – горло забито колючими ножками и щекотными крылышками. Сквозь дырку в зарослях Минголла выглянул на поляну. Бабочки повсюду, смерч все кружился и кружился. Скоро они доберутся и до него. Вот и хорошо. Он лежал, вымотанный, в голове ни единой мысли, смотрел на бабочек, но видел не их, а следы полета – зависшие в воздухе полосы света. Время обрушилось и засыпало его тоннами гнилых секунд.

Слева затрещали ветки, из кустов вывалился человек. Тот самый рыжебородый, что караулил его ночью. Свое зеркальце он где-то потерял. На щеках веснушки грязи, в волосах обрывки папоротника. В руке болтался десантный нож. Бородач моргнул. Качнулся. Камуфляж на нем прилип к реб-

рам, а провал живота обрисовывало большое кровавое пятно. Щеки надуты – он как будто хотел что-то сказать, но боялся, что изо рта выскочат не только слова.

– Боже! – медленно проговорил рыжебородый. Глаза закатились, колени подогнулись. Затем он выпрямился – кажется, заметил Минголлу – и качнулся вперед, замахиваясь ножом.

Минголла попытался вскинуть автомат, но обнаружил, что прижал бедром приклад. У кого другого получилось бы лучше. Пуля прилепила под глаз рыжебородому красную звездочку, придав лицу блаженное выражение, и мужик рухнул поперек Минголлиных ребер, перекрыв ему остатки дыхания. Крики вдалеке. Минголла скатил бородача и зажмурился от боли. Усилие пробило в нем шахту, сквозь которую хлынула дурнота. Он пытался бороться, но скоро, решив, что ничего хорошего в здравом рассудке нет, да и плевать, кто там командует смертью и бабочками, перестал сопротивляться и закрутился спиралью по всем слоям темноты и сияющих крыльев, темноты и волшебного света, памяти и боли такой яркой, что она стала белой тьмой, в которой Минголла и потерял все следы своего существования.

Глава десятая

Свет лампы смывал с жестяной крыши тени, размазывался веером по земляному полу и ложился на стены из пальмовых ветвей, что сплетались в зеленовато-коричневую чешую. Пахло дождем и гнилью. Из мебели в комнате имелись только деревянный стул и стол, если не считать соломенного тюфяка, на котором лежал Минголла – с перевязанными ребрами и больной челюстью. На потолке болталось что-то яркое. Ленты... или бумажные куклы? Минголла протер глаза, сощурился и вдруг разглядел, что с потолочных балок, легонько шевеля крыльями, свисают сотни бабочек. Он замер. Снаружи доносились голоса – мужской и женский. Слов Минголла разобрать не мог, но ему показалось, что мужчина говорит с акцентом. Вроде с немецким. Через секунду мужчина вошел в хижину. Он был в черных брюках, синей рубашке-поло и распространял вокруг себя неправдоподобно сильный жар. Минголла притворился, что спит.

Человек сел за стол и задумчиво посмотрел на Минголлу. Худой, но мускулистый, с седовато-светлыми коротко стриженными волосами, он обладал тем холодным и аскетичным обаянием, которое вместе с акцентом наводило на мысль о злых ээсовцах из старых военных фильмов. С потолка спустилась бабочка и села человеку на палец. Человек посмотрел, как она ползает по тыльной стороне ладони, затем резко

дернул запястьем, словно выпуская в небо сокола.

– «И в золоте летучем облаков чуть схожие с крылами мотыльков, – сказал он. – Тонули невесомые крыла, невидимые плавали тела»¹⁶. – Он смотрел, как бабочка поднялась к потолочному столбу. – Тем не менее они бывают чудовищны, вы так не считаете?

Минголла не отзывался.

– Кажется, вы не спите, – заметил мужчина. – Меня зовут Нейт, а вас, как мне сказали, Дэвид.

– Кто сказал? – сдался Минголла.

– Друг... по крайней мере, она считает вас своим другом.

– Дебора? – Минголла умудрился сесть и передернулся от стреляющей боли в боку. – Где она?

Нейт пожал плечами – очень сдержанно, лишь слегка их приподняв.

– «Порхает, подобно бабочке тщеславной и яркой, с поляны на поляну вдоль лесной тропы». Мэтью Арнольд, «Свет Азии»¹⁷. – Он улыбнулся. – Знаете, из цитат о бабочках я могу составить целый разговор.

Минголла чуть надавил своим сознанием на Нейта, начал формировать влияние, но тут с потолка слетели несколько бабочек и опустились ему на лицо.

¹⁶ Строчки из иронической поэмы Александра Поупа (1688-1744) «Похищение локона». Перевод В. Микушевича.

¹⁷ Поэму «Свет Азии» (1879) с описанием жизни и учения Будды написал не поэт и критик Мэтью Арнольд (1822-1888), а ученый и поэт Эдвин Арнольд (1832-1904).

– Пожалуйста, больше так не делайте, – сказал Нейт. – За дверями их еще больше.

Мозг Нейта был устроен своеобразно, главный узор электрического потока оказался слишком сложен и устойчив для любого влияния – в столь замысловатое переплетение ячеек Минголла, похоже, проникнуть не мог. Узор завораживал, но Минголла не рискнул исследовать его пристальнее.

– Значит, там, на поляне, это вы все устроили? – спросил он.

Нейт посмотрел на него с укоризной.

– Грязная работа... очень грязная. Но она говорит, вы того стоите.

Первым делом, подумал Минголла, надо подружиться с этим Нейтом, чтоб доверял.

– Вы прошли через терапию, – сказал он. – А как вас занесло сюда? Дезертировали?

– Ничего подобного, – ответил Нейт. – Пси-корпус счел меня бесперспективным. Пока я там сидел, ничего не получалось. Сомнительно, сказать по правде, что терапия как-то вообще повлияла на мои способности. Я был недалеко от Тель-Авива, когда на него сбросили бомбу, и спустя какое-то время стал замечать признаки силы. Продукт гнева, можно сказать. – Он уставился на потолочные балки. – Бабочки. Малоподходящее орудие. Вот если бы меня потянуло к тиграм или змеям... – Он умолк и стал смотреть на свои сцепленные руки.

– Как это было? – спросил Мингол्ला.

– Что было?

– Тель-Авив. – Мингол्ला старался говорить как можно дружелюбнее. – В Штатах ходили слухи о самоубийствах, апатии.

– Бомба – мощный символ, и не только в непосредственном смысле. Увидеть ее... Я не смогу объяснить. – Он нетерпеливо махнул рукой и посмотрел Минголлле в глаза. – Зачем вы ищите Дебору?

Мингол्ला подумал, что соврать у него вряд ли получится.

– Многое изменилось, – сказал он.

– Безусловно, и гораздо больше, чем вы думаете.

– Я с ним поговорю, – сказала Дебора.

Она стояла в дверях, заблокировавшись, прижимая рукой автомат, и под ее взглядом Минголлины надежды взлетели до небес. Конечно, встреча получилась совсем не такой, как он рассчитывал, но даже если бы все шло по плану, он наверняка чувствовал бы то же самое. При виде этой женщины Минголлина одержимость только выросла, впитав в себя свободный покрой ее джинсов, впалые щеки, волосы, давно не стриженные и ниспадавшие до пояса, – все вместе складывалось в новую страсть, в новый портрет похудевшей и внутренне повзрослевшей Деборы. Ее темные глаза напоминали своим упорством глаза Эрмето Гусмана, а четкий контраст белой блузки и темной кожи – тот сон, в котором она в него вселилась. И только убедив себя, что она более-менее такая,

какой он ее запомнил, Минголла выпустил на волю обиды, но уже не мечтал о мести, лишь тихо жалел о преданной любви.

Нейт уступил Деборе кресло, предостерегающе посмотрел на Минголлу и вышел, окутанный листопадом бабочек. Дебора положила автомат на стол и сказала:

– Тебе неплохо сделали лицо, но американцем ты мне нравился больше.

– Мне тоже, – согласился Минголла и, помолчав, спросил: – Зачем ты меня спасла? Откуда вообще узнала, что я здесь?

Она посмотрела сначала на него, потом в сторону.

– Это сложно. Я не знаю, что тебе можно говорить, а что нельзя.

– Тогда зачем мы вообще разговариваем?

– Также не знаю.

В Минголле нелепейшим образом смешивались сейчас гнев и желание.

– Ребра у меня сломаны?

– Кажется, только ушибы. Вот со ртом мало что получилось. Придется тебе поосторожнее... чтобы не занести заразу.

– Это ты меня залатала?

– Больше никому. Из Нейта никудышный доктор.

– Угу, зато бабочками командует.

– Да. – Грустно.

– Кто он вообще такой?

– Раньше был журналистом. – Она быстро посмотрела на Минголлу. – А теперь мы с ним пробираемся в Панаму.

– В Панаму?

Она кивнула, теребя предохранительную скобу автомата.

– Может, все-таки объяснишь, что происходит?

– Я не знаю, можно ли тебе доверять.

– Что я сделаю... раздавлю десять миллиардов бабочек?

– У тебя слишком сильный мозг, – сказала она. – Можешь что-нибудь натворить.

– Когда-то все равно придется сказать.

– Может быть.

В голове вертелась дюжина желаний, они налетали друг на друга и отскакивали, как полицейские из мультфильма, которые пытаются схватить растворившегося в воздухе человека, – Минголла вдруг понял, что именно растворилось в воздухе и теперь с криками «Вот оно я!» выскакивает в разных углах комнаты, устраивая все больший переполох, – самое главное его желание... с которым он никогда и не думал бороться, а лишь позволял на время исчезнуть. В сердцевине каждого чувства лежала сейчас тактика, а может страсть соблазна. Дебора подняла голову, и в мерцающем свете он вроде бы различил, как в глубине ее глаз мелькают темные тени, словно ее желания точно так же сталкивались между собой.

– Зря ты меня подозреваешь, – сказал Минголла, затем

понял, что фраза эта, сложенная из вполне осмысленных слов, целиком звучит нелепо, и рассмеялся. – Послушай, я вообще-то в большой жопе. Я, гм...

– Знаю, – сказала она. – Можешь мне поверить, я знаю, что они могут с тобой сделать.

Минголла имел в виду совсем другое, но не стал возражать.

– Ага. – Он выждал несколько секунд. – Почему ты сбегала?

Она все так же изучала предохранительную скобу.

– Кое-что выяснилось, и до меня дошло: все, что я делала, – ложь. Революция оказалась бессмыслицей.

Минголла подумал об Альвине и Эрмето.

– Ага, борьба! – презрительно фыркнул он.

– В борьбе нет ничего смешного! – Дебора щелкнула прикладом по столу.

– Пожалуй. Но уж больно жалко смотреть, как люди бьются головой о кирпичную стену.

Ее лицо застыло.

– А что бы ты делал на их месте?

– А мне какое дело? На эту войну меня притащили на аркане.

– В Пси-корпус тебя не тащили.

– Верно. Будь у меня сейчас выбор, я бы дезертировал. Надоело убивать, и надоели все те, кому приспичило убить меня. – Он вспомнил Кофе, де Седегуи, остальных и только

сейчас осознал, насколько они мертвы. Как будто сорвали панцирь, помогавший ему раньше выдерживать все, что он натворил. – Пора сваливать.

– Назад в Америку? – В ее устах это прозвучало почти неприлично.

– А что такое?

– Ничего... неужели ты сможешь жить после всего, на что насмотрелся, – запихать под подушку чужие беды и как ни в чем ни бывало малевать картинки? – Она схватила автомат и встала. – Я больше не могу. Завтра поговорим.

– Что ты не можешь?

– Выносить твое самодовольство, – объяснила она. – Как спокойно ты отводишь глаза от всего, что их оскорбляет. Я начинаю подозревать, что это у вас такой национальный характер.

– Это не моя война.

Наступил ее черед смеяться.

– Увы, твоя! Только придется выбирать сторону. – Остановившись в дверях спиной к Минголле, она добавила: – Лучше бы эти солдаты тебя убили.

– Почему? – спросил он, помолчав.

– Ты шел за мной. Тебе нужно убить меня.

– Откуда ты знаешь?

– Неважно.

Она переступала через порог.

– Так какого черта? – крикнул он ей вслед. – Что тебе ме-

шало?

Несколько секунд спустя в сопровождении порхающих лент в хижину вернулся Нейт. Бабочки расселись на потолочных балках, а Нейт с той же точностью опустился на край стула. Ощупав Минголла глазами, он удовлетворенно кивнул:

– Думаю, теперь все будет в порядке.

Обозленный оттого, что разговаривал с Деборой как последний идиот, Минголла спросил:

– Что все?

– Все.

Простота ответа словно открыла Минголле глаза на такую же простоватость в лице этого человека, которую он не замечал раньше. Нейт поднял руку, и две бабочки, спустившись с потолка, украсили собой его указательный палец.

– «Меж тенью пурпурной и золотом солнца, – сказал он, – две темные бабочки кротко присели, сонные крылья сомкнув»¹⁸.

Деревня – индейский поселок, изобиловавший мухами, лепешками дерьма и шкурками от плодов манго, – лежала в излучине изумрудно-зеленой реки и насчитывала примерно три десятка лачуг, из которых Нейту досталась отнюдь не самая бедная. Поселок прижимала к воде высокая сте-

¹⁸ Искаженная цитата из стихотворения «Разлученные» Джин Ингелю (1820-1897).

на леса, переплетение буйной зелени, и резким контрастом выглядели на ее фоне хижина из почерневших жердей, связанных вместе гнилой бечевкой; запущенные, нелепо скособоленные, они напоминали останки огромных неудавшихся костров. Из дыр в крышах поднимался бледный дымок, и по тому, как ветер истончал его до полной неразличимости и уносил прочь, можно было подумать, что из-за этого дыма постепенно белеет небо. В хижинах болтались гамаки, из них выглядывали дети; в двери и из дверей сновали куры и свиньи. Если бы не смятые жестянки и не выцветшие этикетки от пивных бутылок, деревня ничем бы не отличалась от средневекового селения.

Минголла бродил по деревне, искал Дебору, но, так и не найдя, остановился на берегу смотреть, как солнце дожигает остатки призрачно-серого тумана. Подошел Нейт, бабочки гроздьями оттягивали его брюки, другие кружились над головой. От нечего делать Минголла решил завязать беседу.

– Дебора сказала, что вы – журналист, – начал он.

– Бывший, – ответил Нейт.

– Ага. – Минголла выдержал паузу и поинтересовался деталями: – Корреспондент?

Нейт словно вернулся из мысленного отпуска.

– Да, был когда-то военным корреспондентом. Не слишком определенное занятие в наши дни.

Устав от загадок, Минголла решил, что ему неохота разбираться в этой путанице.

– А фамилия у вас какая? Может, я что читал.

– Любовь.

Минголла разложил слово на звуки, и они показались знакомыми.

– Черт! Так это же вы писали о парне, который разрисовывал развалины... Военный живописец.

– Да.

– И вы так и не узнали, кто он такой?

– Скандинав... Датчанин. Подробностей, увы, нет – не повезло. Вы видели его работы?

– Только фотографии в новостях. Что-нибудь удалось спасти?

– Насколько я знаю, нет. Он ставил мины-ловушки слишком изобретательно. Кто бы мог подумать, что профессия музейного смотрителя окажется настолько опасной?

– Ага, я видел по телевизору, как рванула фреска. – Минголла пнул комок грязи, прислушался, как тот плюхается в воду. – Зачем вам с Деборой в Панаму?

– Она сама расскажет, когда решит, что можно.

– Где она?

– Занята, – ответил Нейт. – Просила побыть с вами с утра.

– Она обещала, что мы сегодня поговорим.

– Значит, поговорите... только не сейчас. – Нейт махнул рукой в сторону джунглей. – Хочешь, погуляем, навестим моего друга?

– Сдуреть можно! – Минголла всплеснул руками. – По-

шли паковать жратву! Пикник устроим! – У него перед носом замельтешили бабочки. – Ладно, – сказал он. – Гулять так гулять.

Выйдя на тропинку, они зашагали вниз по склону, густо заросшему бамбуком и пальметто; Минголла спросил, что за приятель.

– Бог, – ответил Нейт.

Минголла заглянул ему в лицо, выискивая признаки безумия, затем подумал, что прогулка по джунглям – это, наверное, местный розыгрыш.

– На самом деле всего лишь компьютер, – объяснил Нейт, – но с претензией на божественность.

– Компьютер... Что еще за компьютер?

– Экспериментальная модель с какого-то вашего вертолета. Сбила русская ракета, пилот погиб. Но ракета не взорвалась, просто воткнулась в панель. Компьютер насобирал с нее модулей и сам себя отремонтировал. Теперь утверждает, что синкретический процесс породил новую инкарнацию.

– Ты в это веришь?

– Трудно сказать, – ответил Нейт. – Долгое время я верил только в того бога, который однажды утром вознесся над Тель-Авивом. А теперь, ну... ты, я думаю, сам разберешься.

Когда они добрались до места катастрофы – папоротниковой ямы, окруженной гранитными глыбами, – солнце стояло уже высоко, и в свежем утреннем свете пейзаж действительно смотрелся слегка божественно. Тонкий черный вер-

толет напоминал сигару и не упал на землю, а повис примерно в двенадцати футах от дна ямы на паутине из лиан и сломанных веток; в лучах утреннего солнца полусилует с тонкой сеткой трещин на глазах-кабинах и искореженными лопастями напоминал мистического эмбриона, нерожденного ребенка инопланетных гигантов. Дыры в древесных кронах, проткнутые падавшим вертолетом, уже заросли, и по металлическим листам обшивки скользили копыта золотисто-зеленого света, дрожали, словно живые, от влаги и пылинок, шевелились на ветру. Из лопастей фонтанами вздымались эпифиты, капали вниз малиновыми и лавандовыми цветами, а бабочки, словно возникая из ослепительного блеска пластмассы, переливались чешуйками белого золота. Заглянув под определенным углом в кабину, там можно было рассмотреть скелет пилота, все еще пристегнутого к сиденью, но это напоминание о смерти не умаляло красоты, скорее ставило под пейзажем подпись – вензель на старинном свитке. Яма с вертолетом казалась не столько географической точкой, сколько ее абсолютом, ландшафт будил воспоминания о картинах Яна ван Эйка¹⁹ с его мистическими пасторальными сценами, где из любого камня вот-вот мог забить ключ, а птицы заговорить человеческими голосами.

Минголла и Нейт стояли на вершине гранитной глыбы, а в десяти футах ниже, в дыре, пробитой русской ракетой, мер-

¹⁹ Ян ван Эйк (1390-1444) – нидерландский живописец, также увлекался миниатюрой. Некоторые свои картины подписывал девизом «Как умею».

цали синие и зеленые индикаторные лампочки компьютера.

– И что теперь? – спросил Минголла.

Нейт приложил палец к губам.

– Доброе утро, Нейт, – раздался из вертолета сухой отмо-
дулированный голос. – Ты хорошо себя чувствуешь?

– Вполне, спасибо.

– И Дэвид, – сказал компьютер. – Рад наконец поознако-
миться.

Минголла решил, что компьютер опознал его по данным своих сенсоров, а еще по рассказам Деборы и Нейта, но хо-
лодная безмерность этого голоса обескураживала.

– Взаимно, – по-дурацки ответил он. – Как дела?

– Рад, что тебе интересно, – отозвался компьютер. – Ска-
зать по правде, все складывается весьма неплохо. Скоро вой-
на разрешится тем или иным образом и...

Минголла усмехнулся:

– Правда?

– Насколько я понимаю, Дэвид, тебе известна моя сущ-
ность, но ты сомневаешься в достоверности информации.

– Именно.

– Кто же я в таком случае?

– Говорящее недоразумение.

Компьютер сдержанно рассмеялся.

– Мне доводилось слышать менее удачные определения
Бога, но менее комплиментарные, пожалуй, нет. Естествен-
но, те же слова применимы и к человеку.

– Не стану спорить. – Минголле нравилась эта компьютерная любезность.

– Ага! – воскликнул тот. – Похоже, я имею дело с практикующим экзистенциалистом, с человеком, который, говоря упрощенно, играет в крутого парня от философии и отвергает все сантименты, кроме тех, что укладываются в его схему романтического фатализма. Я прав?

– А ты сам не знаешь?

– Безусловно, знаю. Но у нас же диспут, Дэвид. И я сомневаюсь, что тебе доставит удовольствие, если я начну подчеркивать свое всемогущество и непогрешимость. И потом, наше время не нуждается в доказательствах.

– А в чем оно нуждается?

– Во мне, – сказал компьютер. – Ни больше ни меньше. Тебя интересует сумма моих функций? Не хотелось бы тебе наскучить.

– Пожалуйста, продолжай, – сказал Минголла, подумав, что учтивость компьютера привносит в это странное, но прекрасное место атмосферу аристократической гостиной.

– Все очень просто. Иногда Бог являет себя миру в весьма зрелищных воплощениях... если того требует время. Однако большинству эпох бывает достаточно символического присутствия, и наша в этом смысле типична.

– Странно вообще-то считать Бога символической фигурой, – сказал Минголла.

– Мы ведь договорились, Дэвид, что ты не особенно силь-

ный эксперт в вопросах божественного.

– Как он тебя. – Нейт ткнул Минголлу локтем в бок, и тот зашатался от боли. – Ох, прости, пожалуйста!

– Ничего серьезного, я надеюсь? – спросил компьютер.

– Все в порядке. – Минголла сел на край валуна.

Внизу замигали индикаторы, словно в далекой галактике вдруг забегали звезды.

– Как уже было сказано, – продолжал компьютер, – большинство эпох требуют с моей стороны лишь минимального вмешательства. И поскольку работа в такое время остается незамеченной, то и нынешняя моя деятельность не оставит следа в истории, если не считать таковыми быстротечные и скандальные слухи. Явление Христа и Будды было необходимым пиротехническим элементом. Но в большинстве случаев, – очередной смешок, – я сторонник скрытых методов.

– В чем же суть твоей работы?

– Она завершена. Второй пилот вертолета – молодой человек по имени Уильям – при падении был тяжело ранен. В мою задачу входило исцелить его, снабдить необходимыми знаниями и подготовить к важнейшей миссии – каковую он в настоящий момент и выполняет.

– Как-то удачно для тебя получилось, что пилота здесь нет, – сказал Минголла.

– Доказательство – благая весть о рождении Иисуса, а не меня. Мне не нужна ничья вера, кроме Уильяма, а от Уильяма не требуется ничего, кроме исповедывания этой веры.

Твоя вера, Дэвид, бесплотна. Моя работа завершена, и вскоре я встречу свой конец... весьма позорный, надо сказать, конец, как и вся эта эпоха.

– Может, расскажешь?

– Почему бы и нет? После войны в эти края приедет на охоту бизнесмен из Гватемала-Сити, найдет меня и переправит из любопытства к себе домой. Потом выставит на публику, так и не поняв, что я настоящее божество; навлечет на себя гнев Церкви, и тот в свою очередь распалит массы. Однажды в дом бизнесмена ворвется толпа, убьет его и уничтожит меня. Чудо моего Успения пройдет незамеченным из-за пожара в электропроводке.

– Если ты знаешь будущее, – сказал Минголла, сдерживая смех, – может, расскажешь, что там у меня намечено на следующий год?

– Не вижу смысла раскрывать тебе твое будущее.

– М-да, пожалуй, правильно.

– Однако в твоём присутствии здесь и сейчас смысл имеется. Не хочешь зайти внутрь?

Минголла уставился в дыру на ряды мигающих индикаторов. По плечам пробежала дрожь.

– Зачем?

– Не бойся, – сказал компьютер.

– Я не боюсь. Просто не вижу смысла.

– Смысл прояснится несколько позже. Я не пытаюсь ничего доказать, Дэвид. Просто считаю, что недолгая близость

между тобой и мной поможет тебе в будущем.

– Дело, конечно, твое, – сказал Нейт, – но мне там было спокойно.

– Ты туда лазил?

– Несколько раз.

Минголла снова заглянул в темную дыру и решил, что глупо так уж нервничать.

– Ладно, хрен с тобой.

Нейт придержал его за руки и отпустил, когда Минголла уперся ногами в металл. Вертолет качнуло, скрипнули лианы, вниз посыпалась древесная труха. Минголла опустился на четвереньки, подполз к дыре и влез туда головой вперед, стараясь не задеть металлические зазубрины. Добрался до края панели и уселся лицом к компьютеру.

Он ожидал, что, несмотря на все заверения, компьютер попытается обратить его в свою веру, но тот молчал; Минголла чувствовал себя глупо, но все же не хотел уползать обратно, показывая тем самым, что испугался. Воздух был прохладнее и суше, чем снаружи, – под стать компьютерному голосу, – и, как говорил Нейт, в вертолете было покойно: индикаторы мигали, мотор тихонько выл, а дыра, окаймленная зубчатой дугой зеленовато-золотистого света, походила на окно в Эдем. Глядя в нее, трудно было поверить, что под этим же самым светом живут маньяки, ягуары и ядовитые змеи. Может, в том и заключалась правда компьютерного обмана, всех религиозных обманов: ограничь свое зрение уз-

кими рамками, удержи в себе луч зеленовато-золотистого света, глотни прохладного сухого воздуха – и ты познаешь невинность, и она защитит тебя от жестокости этого мира. Возможно, будь Минголла вооружен верой, а не силой, он избежал бы многого из того, что так мучит его сейчас. Он сложил руки, закрыл глаза и погрузился в мир мертвого вертолета и самозваного пророка его – бога, достойного этого века. Мысли стали ленивы. Воспоминания о Баррио, о пропавшем патруле, о Муравьиной Ферме проскакивали, словно кадры старого, расцарапанного фильма, где уже выцвели краски, выпрєнные взгляды или жесты выдают старую актерскую школу, и в каждом эпизоде Минголла видел, как безнадежно неверным было все, что он делал.

– Пожалуй, достаточно, Дэвид. – Компьютерный голос звучал как будто отовсюду. – Я полагаю, если ты прямо сейчас отправишься в деревню, то Дебора будет тебя там ждать.

Минголла хотел спросить, откуда компьютер знает, чем занята Дебора, но потом сообразил, что, будь это знание логическим заключением или внутренней истиной, Минголлино мнение никого не интересует. Жалея, что не может поверить во все заблуждения на свете, он выбрался на свет из темноты вертолетной утробы.

Дебора сидела у реки, прижав колени к груди и подперев подбородок, – судя по виду, она ждала уже довольно долго. Блока не было, и вокруг, словно от костра, расходились

волны тепла; она посмотрела на Минголлу, и тот за неестественно спокойным взглядом сразу почувствовал напряжение. Еще он отметил, что Дебора осунулась и худоба добавила ее лицу скульптурности, теперь оно лучше сочеталось с чувственными губами и носом. В снах и фантазиях его больше всего притягивала Деборина красота – сейчас же он видел, что она и вправду красива, хотя и не так, как в воспоминаниях, однако гораздо сильнее Минголла ощущал особость этой женщины, ведь красота была только частью. Жесты, движения, черные кудри, словно хвосты экзотических птиц, упавшие на блузку, то, как ветер прижимает к груди материю, – все вместе было сейчас гораздо важнее и любимее, чем обычная привлекательность. Минголла гнал это ощущение, изо всех сил воскрешал обиды и мысли о предательстве, но уже понимал, что они больше ничего не значат, – да и какая разница, почему его к ней тянет, просто очень хочется погрузиться в этот поток с головой и смыть с себя грязь, что выросла с тех пор, как они расстались.

Дебора махнула, чтобы он сел, но после подвинулась, освобождая между ними место. Он взгляделся в бахрому джунглей на другом берегу. Белое взрывное солнце заливало небо такой же белизной, отчего зелень сбивалась в серовато-серое перезревшее пятно. Над верхушками деревьев, раскинув серпы крыльев, проплывали птицы, над рекой вставали серебряные дуги и слышались всплески.

– Мы будем говорить? – спросил Минголла.

– Да. – Ответ повис в воздухе.

Берег резко обрывался, а вода у Минголлы под ногами была утыкана маленькими воронками, что закручивались вокруг коричневых отростков полузатопленной ветки; над ней парили черные мухи, и на зеленоватой темноте мелководья, словно рыбки, мелькали тени. Чуть дальше над водой склонился ряд папоротниковых деревьев десяти-двенадцати футов высотой, их перистые листья кивали на ветру и от этих кивков становились похожими на животных – они словно одобряли все, что проплывало мимо их странных безглазых голов, а заодно отмеряли покой огневому квадрату «Изумруд».

– Хорошо, – сказал наконец Минголла, – давай начну я. Ты говоришь, что узнала нечто такое, из-за чего все, что ты делала раньше, показалось тебе бессмыслицей. Что именно ты узнала?

Дебора прочертила пальцем полосу на глине.

– Есть другая война. Война в войне.

Минголла едва не расхохотался ей в лицо, но ее мрачность была слишком убедительна.

– Какая война?

– Не совсем война, – сказала она. – Борьба за власть. Между двумя группами медиумов, я думаю.

Может, она просто свихнулась?

– Как ты об этом узнала?

– От собственного начальства. Так они работают. Челове-

ка строят, дают ему силу, смотрят, как он с ней справляется. А когда он пристрастится настолько, что ничего больше ему не нужно, они втягивают его, – голос задрожал, – в свое проклятое братство! Говорят понемножку, намеками и смотрят, как человек отзывается. Ну вот, а мне все выложили слишком сразу! – Она посмотрела на Минголлу, в глазах мука. – Я верила в революцию. Я отдала ей все... все! А это никакая не революция! И даже не контрреволюция! Один камуфляж.

Минголла вспомнил, как Тулли распахивался насчет того, что война не имеет смысла, потом загадочные фразы де Седегуи. Он рассказал Деборе о Тулли, и она ответила:

– Вот-вот! Так они всегда начинают, с намеков и сомнений. После говорят о специальных операциях, что-то там про таинственные цели. Потом преподносят всю картину целиком... без подробностей, потому что пока не доверяют. Никто никому не доверяет. Так и есть. Все всех подозревают, всем нужна власть. А на остальное плевать. Благородство – не смешите меня! – Она снова посмотрела на Минголлу, на этот раз спокойнее. – Знаешь, почему я убежала, что стало последней каплей? Мне рассказали о тебе!

Он молчал и ждал продолжения.

– Мне сказали, что тебе поручат меня убить. Но я же знаю, как идут тренировки, в какой ты должен быть изоляции. Рядом – два-три человека, не больше. Если тебе что-то поручают, об этом знает только тренер и тот, кто отвечает за терапию, а значит, кто-то из них играет в одной команде с моим

начальством. Если сопоставить это с тем, что я знала раньше, получатся какие-то элитные игры, такие сложные и запутанные, что я бы в жизни не разобралась... по крайней мере, пока продолжала бы в них играть.

Минголла не сводил глаз с закрученной воронками воды, смотрел, как полоски темной пены отрываются от комка глины, налипшего на сучок затопленной ветки.

– Действительно трудно переварить, – сказал он, – но я тоже кое-что слышал.

– Это еще не все, – добавила Дебора. – Амалия знает больше.

– Амалия?

– Другой ключ. Маленькая девочка. Живет у меня в хижине. Спит. Она теперь все время спит. – Дебора потерла шею, словно устала от разговора. – Из-за нее я и решила тебя спасти. У меня не хватает сил ее разбудить. Ты мне поможешь.

– И это все... других причин нет?

– Какие еще причины? Ты устроил за мной охоту, – с вызовом сказала она, но Минголла чувствовал по голосу, что это не так.

– Это раньше... Теперь нет.

– Только ты не сам так решил.

– Дебора, – сказал он. – Я просто...

Она вскочила на ноги, отошла на пару шагов.

– Я просто был не в себе, – закончил он.

Ветер, словно вуалью, прикрыл ей рот черными волосами;

за ее спиной у хижины сидели три голых по пояс индейца и с интересом за ними наблюдали.

– Ты сможешь мне или нет? – резко спросила она.

– Само собой, – ответил Минголла. – Только о том и мечтаю.

Амалия оказалась толстой индейской девочкой лет двенадцати-тринадцати с сильным психотическим жаром и недостатком меланина, отчего ее красно-коричневая кожа была испещрена розовыми пятнами, которые в тусклом свете Дебориной хижины казались влажными и воспаленными, будто шрамы от ядовитых цветов. Девочка была одета в грязное белое платье с узором из синих котят и лежала в гамаке, свесив через край руку. Дышала она глубоко и ровно, веки слегка подрагивали, и, по словам Деборы, она не просыпалась уже почти неделю.

– Просто выдохлась, – сказала Дебора. – Как заводная игрушка, все медленнее и медленнее. А потом остановилась. Правда, с ней и раньше было что-то не то. Я думала, она недоразвитая. Уставится в стену, лежит и что-то себе бормочет. А иногда начинала беситься... все ломает и кричит. Временами приходила в себя, и тогда мне удавалось ее разговаривать. Рассказывала про Панаму, какое-то место, которое она называла Нефритовый сектор... говорит, там все решается. Часто повторяла что-то механически: обрывки стихов, рассказы.

Рассеялись последние сомнения.

– Я уже слышал о Нефритовом секторе.

– Что ты слышал?

– Только название, и еще говорят, там что-то важное.

У хижины остановилась оголодавшая корова и заглянула в дверь, напустив застарелой вони. Пятнистая рыже-белая шкура так обтягивала морду, что та походила на продавленный глобус, рога закручивались дугами и доставали почти до глаз. Корова фыркнула и побрела прочь.

– Что еще она говорила? – спросил Минголла.

– Рассказывала, где жила раньше. С кем-то из «других», как она выразилась. Сказала, что была у этого «другого» «поломанной игрушкой». Я спросила, кого она называет «другими», и она ответила, что они как мы, только слабее... хотя в некоторых вещах сильнее. Потому что они прячутся, потому что их нельзя найти.

В соломе гудели мухи, где-то закудаhtала курица. Было жарко, и складки на шее горели от пота. Минголла дышал через рот.

– Это, наверное, дико, – сказал он, – но за всю терапию я ни разу не подумал о тех, кто с этими препаратами обламывается... хотя один раз мне вкатили ударную дозу. Я просто считал, что все идет отлично. Черт его знает почему.

– Думаешь, с Амалией так и вышло... сломалась на препаратах?

– А как, по-твоему?

– Может быть. Но с ней могло быть что-то не так еще до терапии.

– В любом случае картина не из приятных.

– Должна тебя предупредить, – сказала Дебора. – Она очень сильная... очень. А в мыслях хаос.

Минголла посмотрел на Дебору, поймал взгляд. Кожа у нее была почти такого же пепельно-бурого оттенка, как воздух в хижине, и на мгновение Минголле почудилось, будто глаза ее живут отдельно и плывут сейчас к нему. Она нервно отступила и взялась за веревку гамака.

– Я попробую, – сказал он.

Хаос – это было мягко сказано; больше всего девочкины мысли походили на рвущуюся в черепе шрапнель. Электричество казалось непереносимым, а наставшее следом возбуждение потрясло Минголлу своей внезапностью.

– Господи! – только и сказал он.

– Думаешь, не получится? – Тревога в Деборином голосе.

– Не знаю. – Он потер виски; боль больше походила на воспаление, чем на простую боль.

После нескольких попыток он кое-как приспособился и начал проецировать в сознание Амалии бодрость и хорошее самочувствие. Несмотря на боль и тошноту, контакт с ее мыслями того стоил. Постепенно Минголла понял: то, что воспринималось случайным потоком, было на самом деле бесконечным множеством узоров, по большей части настолько мелких, что они почти полностью затеняли друг

друга, и он поймал себя на том, что интуитивно усиливает некоторые из этих узоров, направляет собственную энергию вдоль их линий. Другие узоры у Амалии, как и у Нейта, были, наоборот, мощными, легко определялись, и чем дольше он с ней работал, тем сильнее становились эти доминанты. Однако прошло уже полчаса, а девочка так и не проснулась.

– Так можно возиться до вечера, – сказал он Деборе. – Давай вместе.

Дебора нахмурилась, потеревила веревку от гамака.

– Ладно, – согласилась она. Нырнула под веревку и встала с противоположной стороны. – Начинай.

Минголла настолько сосредоточился на Амалии, на ее кипящих мыслях, что не сразу заметил новый и гораздо более упорядоченный электрический поток, границы которого постоянно от него ускользали. Когда же наконец поймал, то принял его за один из узоров Амалии и надавил изо всей силы. Защелкнулся контакт, и Минголла почувствовал, как два потока трескучей энергии связываются, переворачиваются, натягиваются, образуя что-то вроде жидкого узла, который закручивается все сложнее и сложнее, загибается внутрь себя, затем наружу; Минголла сосредоточился на том, чтобы затянуть этот узел окончательно, придумать для него самое лучшее выражение, и тут все, даже само это стремление, растворилось в чувственном огне, как будто он схватился за оголенный провод: мысли искрились, занятые одним-единственным льющемся сквозь тело и голову напря-

жением. Вдруг оказалось, что он во все глаза таращится на Девору, не понимая, кто порвал цепь и как это вообще возможно. Дебора смотрела испуганно, рот открыт, она с трудом дышала и, кажется, готова была броситься вон из хижины. Срочно что-то сказать, успокоить, остановить, ведь Минголла теперь знал, что никакой стены между ними больше нет. Он видел это очень ясно и был уверен, что Дебора тоже смотрит сейчас в самую сердцевину их связи; непонятно, что это было, – форма казалась не менее сложной, чем узел, который они только что завязали, – но Минголла видел эту форму, и одно это отвергало мысль, что чувства его привнесены извне. Разве что усилены. Раскручены и разогнаны. Но не созданы. Дебора тоже это понимала – он был уверен.

– Дебора? – слабый шепот Амалии.

Глаза открыты, девочка дернулась, словно испугавшись, что гамак ее проглотит.

– Как ты себя чувствуешь? – Дебора наклонилась и погладила Амалию по голове.

Та уставилась на Минголлу. Она не была даже хорошенькой, но во сне казалась юной и здоровой; сейчас же ее лицо держала под контролем какая-то зловещая энергия, и Амалия имела вид толстой самодовольной стервочки – из тех, с кем никто не хочет играть.

– Зачем ты его любишь? – спросила она Девору. – Он делает людям зло.

– Он – солдат, солдаты часто делают людям зло. И я его

не люблю.

– Не ври, – объявила Амалия. – Я знаю!

– Думай что хочешь, – терпеливо ответила Дебора. – Но лучше расскажи нам о Панаме.

– Нет! – Девочка перевернулась на бок, лицом к Минголле. Сетка гамака врезалась в ее дряблый живот. – Давай играть.

– Пожалуйста, Амалия. Мы потом поиграем.

Минголла попытался на нее повлиять, но едва он прикоснулся к ее сознанию, узор, которого он раньше не видел и, очевидно, погребенный где-то в глубине, поплыл взад-вперед, закрутился бесконечной петлей и прошил Минголлины мысли частыми стежками ярчайшей силы. Во лбу у него вспыхнула горячая точка, разрослась до белого солнца, и боль затопила голову. Минголле что-то толкнуло, он понял, что упал, и услышал, как кричит Дебора. Боль утихла, и он увидел, что Амалия сидит в гамаке, пронзая Минголла торжествующим взглядом поросячьих глазок.

– Пускай тоже играет, – заявила она.

– Мы обязательно с тобой поиграем, но потом, – сказала Дебора. – Сначала ты расскажешь нам о Панаме.

– Сама с ней играй. – Минголла с трудом поднялся. Осторожно потрогал затылок, нащупал шишку. Затем, испугавшись свирепого взгляда Амалии, попятился к двери.

– Не трогай его, – приказала Дебора. Мордаха растянулась в хитрой ухмылке.

– Признайся, что ты его любишь, тогда не буду.

Дебора бросила на Минголлу хмурый взгляд.

– Говори! – потребовала Амалия.

– Я его люблю.

– И всегда-всегда будешь его любить, ага?

– Ага.

– А дашь мне потом поесть?

Минголла едва сдержал смех – слишком уж жадным стало девочкино лицо, и слишком комично оно выглядело.

– Курицу с рисом, – ответила Дебора. – Обещаю.

– Ладно! – Амалия улеглась в гамак, скрестив руки на детской груди. – Про что рассказывать?

– Про Нефритовый сектор, – подсказал Минголла.

Она стрельнула в него глазами, затем уставилась в потолок. Сонная невинность, казалось, снова овладевала ею. Довольно долго девочка молчала, и Минголла не выдержал:

– Она не...

– Тс-с-с! – Дебора замахала руками. – Сейчас заговорит.

– Куда-то... – Амалия облизала губы. – ...Исчезли... все под ним исчезли... гладкий, как камень, как нефритовый сектор среди ярких плиток, и он думал, что они больше никогда не вернуться, что они ушли куда-то далеко-далеко, в страну под коркой мира, Панама приколоты к ней, как дурацкая булавка к полоске синего шелка, и там, в этой далекой стране, развяжется кровавый узел, и настанет мир. – Голос ее твердел. – Но не тот мир, что непостижим, нет, это

будет самый понятный мир, его купят за деньги крови и стыда, а отчеканят монету те, кто наконец поймет, как всё, что есть честного в этой войне, вместить в тактику мира, и тогда установится неестественный, но прочный порядок, суррогат спасения, которое само суррогат надежды, и однажды... и однажды... – Она вздохнула и погрузилась в молчание.

– Я это уже слышал... теми же словами, – Минголла напрягал память, но вытащить ничего не мог.

– Где?

– Потом вспомню. Спроси ее о «других».

Дебора спросила; на этот раз пауза тянулась дольше, но когда Амалия заговорила, слова ее звучали уверенней.

– ...Лишь последним эпизодом многовековой вражды, названным Мадрадонами Войной за Цветок – этот эвфемизм как нельзя лучше иллюстрирует их склонность приукрашивать действительность. Диего Сотомайор де Кабрильо, племянница которого была обесчещена, не замедлил с расплатой, однако взялся за дело типично по-сотомайоровски, предпочтя немедленному удару изощренную и тонкую репрессалию. Имея в то время серьезное влияние в правительстве Панама, этот человек воспользовался своим высоким положением и наслал на Мадрадон целую армию налоговых агентов, а также других государственных служащих, чья назойливость призвана была отвлечь их внимание, пока он сам разрабатывал сценарий. В Баррио Кларин он нашел орудие – очаровательного мальчика, обладавшего зачатками

природного ума, притом что мозг его после младенческой травмы так и не восстановился, – из этого камня Диего Сотомайор выточил за несколько лет оружие высочайшей элегантности: воспитав в мальчике дар к поэзии и пению, он превратил его в хорошенькую игрушку, которая не могла не привести в восторг Серафину, младшую дочь его заклятого врага; в глубине же лабиринта юношеских мыслей пряталось жестокое чудовище, пробудившееся при виде ее обнаженного тела...

– Сукин сын! – Минголла стукнул кулаком по ладони.

– Не шуми! – Дебора склонилась над Амалией, которая, похоже, снова погрузилась в глубокий сон. – Ее нельзя перебивать. Она просто замолчит, и все. Черт! Придется будить заново.

– Незачем. Она уже все рассказала. – Минголла встал у двери и стал смотреть на летаргическое шевеление деревни. Женщины перебирали рассыпанную на деревянных подносах кукурузу, в гамаках качались сонные дети, бродили вперевалку надменные свиньи. – Все, как ты говорила. Намеки. Этим Исагирре и занимался.

Она встала рядом с ним в дверях.

– Я не понимаю.

– Те, кого она называет «другими», – это персонажи рассказа о двух кланах, свихнулись на особой траве, которая дает им ментальную силу. Как и мы, могут влиять на людей, но у них это получается гораздо медленнее. Они слабы. – Он

горько рассмеялся. – Но они прячутся. Их силу просто так не обнаружишь.

– Ты уверен?

– Разбуди эту засранку, выкачай из нее все, что сможешь, и на хуй Панаму.

– Бесполезно. Она говорит одними и теми же цитатами. Наверное, ее так запрограммировали. Я просто не понимала, откуда взялись эти странные семейства. – Дебора посмотрела на Минголлу и, словно испугавшись их близости, пошла к реке.

– Ты куда? – крикнул он. Она не остановилась.

– Погулять... подумать.

Он догнал ее, пошел рядом.

– Я с тобой.

– Не надо. – Дебора остановилась у хижины; у самого входа две голые девочки лепили из грязи пирожки. – Я лучше сама.

– Надо же поговорить.

– Кажется, все уже ясно.

– Между нами не все ясно.

– Это бессмысленно.

– Херня! Для тебя не бессмысленно, я же вижу!

Дебора отступила на шаг, но не от испуга, а будто хотела издали увидеть всю картину.

– Прости, – холодно сказала она. – Ты, наверное, что-то подумал. Но на самом деле...

– Ага. Знаешь что...

– ...у нас нет ни малейшего шанса на близость.

– Ты все равно не сможешь задавить собственные чувства.

– У меня нет никаких чувств.

Она повысила голос; две маленькие девочки смотрели теперь на них с благоговейным страхом.

– Конечно, никаких чувств, откуда – ты спасаешь мне жизнь якобы для того, чтобы я разбудил эту Амалию. Зато когда мы ее будим, ты утверждаешь, что она уже и так рассказала все, что знает. Зачем я тебе понадобился? Зачем ты меня спасала?

– Из чувства долга, – сказала Дебора. – Я тебя в это втянула, не кто-то.

– Не говори ерунды. Я без всякой Амалии вижу, что ты меня любишь.

Лоб ее прорезали злые морщинки.

– Если ты думаешь, что я позволю эмоциям управлять моими поступками, то ты просто меня не знаешь. Революция – это...

– Нет давно никакой революции, – напомнил Минголла.

– Может, и нет. Но я намерена выяснить, что происходит, и никакие чувства мне не помешают.

– Что за чухню ты порешь?! – воскликнул Минголла. – Прямо как в кино: «Прости меня, Мануэль, но пока все плохое не стало хорошим, мое сердце принадлежит борьбе».

Она изо всех сил хлестнула его по щеке, затем по другой,

от такого шквала у Минголлы запылала кожа. Он поймал ее запястья и, когда она замахнулась коленом, оттолкнул в сторону.

– Ублюдок! – Скрючив пальцы, она тарасилась сквозь пряди волос сумасшедшими глазами. – Тупой ублюдок! – Развернулась на пятках, зашагала прочь и скрылась за хижинной.

Минголла сжал кулаки, очень хотелось кого-нибудь стукнуть, но рядом был только воздух. Маленькие девочки смотрели на него во все глаза и очень серьезно.

– Знаете что, – сказал Минголла, – когда вырастете, становитесь лесбиянками.

Они переглянулись и хихикнули.

– Я серьезно, – сказал он. – Все лучше, чем это говно.

Он побрел к реке, стирая со щек жар и оглядываясь на хижину, за которой скрылась Дебора.

– Я тоже тебя люблю, – сказал он.

Глава одиннадцатая

В иные дни Минголле казалось, что он продирается сквозь вакуум, безвоздушную серость, порожденную бесцельностью его существования, а в другие – что он вообще никуда не движется, жизнь течет мимо, огибая утес, на который его зачем-то выбросило. Нечего делать, некуда идти. Цели кончились, а обида на Дебору хоть и всколыхнула с новой силой Минголлина чувства, но энергии что-то решать у него не было; может, она и права, думал Минголла, чувства и вправду мешают долгу – он завидовал ее самоотверженности, но встречаться с ней каждый день было настоящей мукой. Всякий раз, когда их пути пересекались, он, как вампир в предчувствии горячего блюда, впитывал любой запах, любой, даже самый невинный знак возбуждения; представлял, как пробирается за ней в Панаму, спасает ей жизнь и получает в награду неопишное блаженство. Он подозревал, что Дебора не случайно медлит с отъездом, что ей тяжело его отталкивать, и это повышало его шансы – однако выигрыш означал бы для него продолжение войны, а Минголла сомневался, что способен выносить все это дальше. На сердце у него камнем висела память о мертвых и не давала сдвинуться с места. Он чувствовал их всех. Они были тверды, основательны и сдержанны. Но еще тверже и основательнее была мысль о том, что он оказался пешкой в чьей-то столетней

игре. Верилось с трудом: облаченная в слова, эта мысль превращалась в нелепую фантазию. Однако чем больше он разбирался в пережитом, тем отчетливее видел, как фантазия и быль соединяются вместе. Враждующие кланы из рассказов Пасторина, та легкость, с которой манипулировали самим Минголлой, да и почти вся война были пропитаны одним и тем же раствором – неестественной надменностью, заставлявшей Минголлу поверить. Вера пробуждала гнев, а гнев – стремление понять, что за извращенный порок лежит в основе войны. Но и гнев, и стремление понять уступали простой душевной усталости, и Минголла не делал ничего. Он часто ходил к вертолетной яме, иногда вместе с Нейтом Любовым. Закат был для этого лучшим временем. Заливавшие вертушку лучи вспыхивали сквозь кроны деревьев красным или оранжевым светом, отскакивали от стекол солнечными зайчиками, рисовали на черном металле зубчатые узоры, и огромный силуэт вертолета становился похож на зловещее пасхальное яйцо, ожидавшееся, когда его подберет столь же чудовищный ребенок. Этот свет сгушался вокруг Минголлы, облекал его в черно-оранжевые доспехи, и в голову лезли романтические мысли о высоких целях и одиноких героических подвигах. Иногда компьютер заговаривал с ним, но Минголла не отвечал: ему не нужны были ни утешения, ни дружба. Скелет пилота и голос механического божества лишний раз напоминали о том, что война – жульничество, а Минголла и приходил сюда по большей части затем, чтобы

не забыть, с чем имеет дело.

Время от времени он пытался вызвать на откровенность Нейта, но тот почти всегда отмалчивался. Малообщительный от природы, он все больше замыкался в себе, его не интересовали ни дела, ни разговоры, ему хватало бабочек, и Минголла, которому нравился этот человек, чувствовал между ними некую созвучность, списывая его нелюбовь к разговорам просто на нелюдимый характер. Однажды, правда, Нейт разговорился и рассказал о войнах, на которых побывал репортером. Афганистан, Камбоджа, Ангола. Он стал тогда фактически военным туристом, торчал целыми днями в шикарных отелях, болтал с такими же скучающими корреспондентами о том, чем эта конкретная война отличается от других виденных ими стычек; пока смертоносный огонь превращал все вокруг в руины, они сочиняли сентиментальные очерки о простых людях и напивались с экс-президентами.

– Но такой войны, как эта, мне еще не попадалось, – сказал Нейт, стукнув пяткой по камню. – Она безумна. А безумнее всего в Панаме.

– Ты был там? – спросил Минголла.

– Да, в прошлом году. Загадочное место. Большая часть – город как город, но одно баррио – баррио Кларин – отгорожено баррикадой. По официальной версии, там карантин, но никто не знает, от какой болезни. Пропуск достать невозможно, но слухи просачиваются. Говорят, на улицах жуткие бои. Да и вообще странные вещи говорят. Вроде бы чепуха,

но когда раз за разом слушаешь одно и то же, поневоле задумаешься.

– О чем слушаешь-то? – спросил Минголла.

– Ни о чем конкретном. Поговаривали, что в баррио Кларин идут какие-то переговоры, будто бы связанные с войной. Вот и все. Проверить, конечно, не удалось. Но кое-что я видел, м-да... бездоказательно, но слухи после этого звучат правдоподобнее. Например, туда входил врач, который занимался моей терапией. Я стоял далеко, но Исагирре ни с кем не спутаешь.

– Исагирре?!

– Ты его знаешь?

– Он вел и мою терапию тоже.

– Значит, ты был в Мехико-Сити?

– Нет, – сказал Минголла, – на Роатане.

– Гм. – Нейт посмотрел на вертолет. – Непоседливый нам доктор попался, а? – Он тяжело вздохнул. – Что ж, наверное, в Панаме все и прояснится.

– А как... – Минголла собрался расспросить его об Исагирре, но Нейт оборвал.

– Я жутко устал и от крови, и от путаницы, – сказал он. – Как будто ничего другого в моей жизни не было, только кровь и путаница. Вчера попробовал вспомнить, нашлось ли на всех моих войнах хоть что-то приятное, и в голову пришло только одно. Мелочь, да. Но ни на что не похоже, потому, наверное, и запомнилось.

Минголла попросил рассказать; ему казалось странным, что на войне вообще может происходить что-то приятное.

– Лето восемьдесят девятого, Афганистан, – сказал Нейт, – долина Бамьян. Слышал про такую?

– Нет.

– Там очень красиво. Когда на юге пыльные бури и закат... Невероятно! Небо ярко-красное и желтое, краски смешиваются прямо на глазах, а холмы черные. Доисторический пейзаж. Там был парнишка, молодой совсем, ему ногу оторвало на русской мине, и голос он тогда же потерял. А может, просто не хотел ни с кем разговаривать. Даже со мной... хотя поглядывал с любопытством – волосы у меня светлые. Им всегда любопытно. У меня был ручной ксилофон. Знаешь такую штуку? Деревянная коробочка, полая, а вместо клавиш металлические полоски. Двенадцать, кажется. По ним стучишь пальцами, и они тренькают. Африканский инструмент. Мальчишка был в восторге. Сам я так себе музыкант, знаешь. Только если подыграть собственным мыслям или мечтам. Вижу, мальчишке интересно, ну и отдал ему, – Нейт зевнул и оперся на локоть. – Научил бить по клавишам, после этого он мог сидеть с инструментом часами. Конечно, у меня были дела поважнее. Русские лупили по нашим позициям, а мы с группой все это снимали. В общем, на какое-то время я забыл и про мальчишку, и про ксилофон. И вот как-то ночью вышел погулять на окраину лагеря. Красивая была ночь. – Нейт повалился на спину и положил голову на руки.

Сонно моргнул. Говорил он теперь медленно и неразборчиво. – Звезды гораздо больше, чем здесь, потому что воздух очень чистый. Луна серпом, холодная и серебряная. Воздух тоже холодный. И вот смотрю: на камне у спуска в долину сидит мальчишка. Он играл на моем ксилофоне. Плечи сгорблены, голова над самым инструментом – тень на звездах и на темно-синем небе. Господи, как он играл! Так свободно и так выразительно! Он выжал из этих двенадцати нот все, что в них было. Холодные арпеджио дрожали так, что, казалось, танцевали звезды под совсем простые мелодии. Горькие мелодии, печальные. В ней была мощь, в этой музыке. Мощь Баха, хотя ни громкости, ни диапазона. На миг я засомневался, что мальчишка играет сам. Подумал, может, это дух какой – подойду сейчас поближе, и он окажется тенью без глаз, безо рта и вообще без лица. Война была в музыке, а еще сила этих людей. – Нейт сел, выпрямился и глубоко вздохнул. – Вообще-то народ не сказать, чтобы выдающийся, знаешь... что бы там ни говорили про их благородство и боевой дух. Воры и убийцы по большей части. Один мужик, к примеру, рассказал мне, как пару лет назад услышал, что в Кабуле можно сдавать за деньги кровь и молодые путешественники этим пользуются. Вот он и устроил в Хайберском ущелье засаду. Резал людям горло и сливал кровь в кожаные мехи. А когда решил, что теперь уж точно разбогатеет, потащил эти мешки в Кабул. Кровь, конечно, испортилась, и мужик натурально взбесился – больницы послали его подаль-

ше. Теперь думает, что все это чепуха и его просто надули. Знаешь, сколько там таких. Но если в них и было что-то хорошее, то все собралось в той музыке, что играл мальчик. Безукоризненная решимость, любовь к земле. Я, – он опять зевнул, – я ее до сих пор иногда слышу. Как будто играет по нервам. Когда спать хочется, вот как сейчас.

Казалось, он задремал, и Минголла, пораженный, как сильно Нейт стал похож на Амалию, потряс его за плечо.

– Эй, что с тобой? – спросил он.

– Слишком сыро, – сказал Нейт. – Никак не привыкну к этой влажности. Вечно в сон клонит.

– Вид такой, как будто тебе плохо.

– Нет, просто сырость. Жара-то мне нипочем... но в Израиле сухо, понимаешь.

Минголлу это не убедило, но он решил не настаивать.

– А что сейчас в Израиле? – спросил он.

– Понятия не имею. Я там не был уже несколько лет... несколько лет. – Нейт уставился на что-то далекое в кронах деревьев. – Уже почти и не помню.

Возможно, эти последние слова Минголла тоже пропустил бы мимо ушей, но сейчас в голосе Нейта прозвучал какой-то тревожный оттенок, как будто он говорил о чем-то для себя важном. Минголла спросил, что же он помнит, но Нейту явно не хотелось отвечать – он пробормотал что-то про инфляцию, милитаризм и больше к теме не возвращался.

– Не так уж это приятно вспоминать, – объяснил он.
Минголлу стало стыдно, и он сказал, что все понимает.

Однажды вечером, возвращаясь от вертолетной ямы, Минголлу заметил, что от деревни на юг, к реке, уходит тропинка, и, поддавшись импульсу, свернул на нее. Плотная заросшая дорожка почти все время поднималась в гору и взбегала на поросший густыми кустами обрыв, Минголлу выбрался на него, весь покрытый потом и грязью. Сумерки перемешивали воду и джунгли во что-то однородно-серое, над средним течением собирался туман, но до темноты оставалось еще полчаса, и Минголлу решил искупаться. Он сполз с заросшего обрыва и уже собрался перелезть через тянувшиеся вдоль берега кусты, как вдруг увидел Дебору. Она застегивала блузку, и Минголлу успел поймать взглядом небольшие приподнятые груди, прежде чем они скрылись за белым ситцем. Голова была закручена полотенцем; покончив с пуговицами, Дебора стащила его и расплескала по спине волосы. Села на берег и свесила с обрыва ноги. Рядом стояла палатка, крыша ее резко выделялась на фоне розовой полосы света и темных деревьев у противоположного берега. Минголлу постоял минуту, перебирая в уме варианты, насчитал всего один и полез через кусты.

Испугавшись шума, Дебора обернулась. Минголлу думал, что она рассердится, но услышал всего лишь:

– Что ты тут делаешь?

– Гуляю, – ответил он. – Я ж не знал, что это твое место.

– Иногда здесь ночью. Тут горячие ключи.

Он сел рядом. Под ногами булькала над известняковой пещерой кристально чистая вода, и он заметил, как на галечном дне мелькнула крохотная рыбка.

– Вода очень горячая?

– У самого источника – да, но дальше просто теплая. Попробуй, если хочешь.

Такая забота наводила на мысль, что можно наконец поговорить по-человечески, но Минголла вдруг осознал, что сказать ему особенно нечего. Он чувствовал Деборин взгляд.

– Я скоро уезжаю, – сказала она ледяным голосом.

Вода в ключе бурлила бодро и шумно, перекрывая плеск довольно сильного течения.

– Поехали со мной.

Обалдевший Минголла пытался поймать ее взгляд, но она уже отвернулась.

– Вдвоем легче. – Дебора мотнула головой, словно хотела на него посмотреть, но что-то ее удерживало. – В общем, решай.

Блузка облепила намокшее тело, и в нем чувствовалось напряжение – в неудобно повернутой шее, в посадке головы.

– Так как? – спросила она.

– У меня нет больше сил.

– Это неправда, – сказала она. – Ты просто устал... Так бывает, когда долго идешь, а потом ляжешь и чувствуешь,

как болят все мускулы, и думаешь, что дальше идти уже не можешь. Но потом встаешь, и все в порядке.

– У тебя есть Нейт, – сказал Минголла. – Чтобы делить тяготы.

– Я знаю, но...

– Но это не то, правильно? Почему бы тебе не признать честно, зачем я тебе понадобился?

Он обвел пальцем ее подбородок, и она вздрогнула – всем телом, как кобылица, почуявшая в ветре незнакомый запах, – но не отстранилась.

– Затем, что я тебя хочу, – ты этого ждал?

– Только если это правда. – Он обнял ее за плечи, опустил руку ниже, почувствовал, как бьется сердце.

Розовая полоса на западе стала краснее, шире, теперь она напоминала раздутое сильным ветром пламя, и на изгибах Дебориных щек замелькали алые отблески.

– Конечно, правда. Я не могу скрывать. И никогда не могла. Это тоже причина, но не единственная.

– А другая причина – подозрение, все под подозрением. – Он услышал в собственном голосе приглушенный вызов.

– Да.

– Есть только один способ избавиться от подозрений – научиться доверять.

– Я... Я не знаю.

– Тогда зачем я тебе нужен. Друг-приятель или вроде того? Так, да?

– Нет... Я...

– Нужно доверять – доверять хоть чему-то.

– Я стараюсь, – сказала она. – Хочу, но не могу.

Он развернул ее, положил руки на талию.

– Почему?

Теперь слова звучали отрывисто и неразборчиво:

– Это никогда не было хорошо, даже с... и... я хотела...

хотела...

Он скользнул рукой под блузку, и Дебора замерла, затаив дыхание.

– Нет, – еле слышно проговорила она.

– Я тебя люблю, – сказал он, забираясь повыше. – И ты меня любишь.

– Нужно бороться.

– Зачем?

Большой палец нащупал выпуклость, медленно потерял туда-обратно в усыпляющем ритме. Она склонила голову набок, словно привлеченная тихим шумом с дальнего берега, и он поцеловал ямку там, где шея переходит в грудь. На языке смешались прохладный зеленоватый вкус реки и тепло тела. Замкнув, словно гипнотизер, Деборин взгляд, он расстегнул блузку. Послышалось что-то очень похожее на протест, но звук так и не вырвался наружу. Разведя полы, Минголла приник к груди – водил губами, целовал кончики, дразнил соски. Взял сосок в рот и осторожно провел зубами, Дебора вздрогнула и положила руку ему на голову.

– Подожди, – сказала она. – Подожди.

Но Минголле осточертело ожидание, он уложил ее на землю, рука потянулась к животу, ниже, чувствуя под джинсами шелк, зная, что она открыта и ждет.

– Подожди!

Она прокричала это пронзительно – пораженный, не зная, что и думать, Минголла испугался, что сделал ей больно, и отпустил. Она откатилась в сторону, встала, запахнула блузку.

– Я не могу, – сказала она. – Я тебя совсем не знаю.

С этим можно и поспорить, подумал Минголла, да что толку? Он сел, болела мошонка. Все было странно, но не ее испуг. Женщинам часто такое мерещится – ни с того ни с сего они вдруг решают, что еще не готовы, что не надо их трогать там и здесь, вообще нигде, и тогда остается только складываться от боли. Нет, он просто ничего не понимал. Смотрел на бурлящий ключ, как будто сквозь слой всех своих обстоятельств. С пережатыми яйцами, на берегу реки, закат, посреди тропического леса, посреди войны, кругом психи и индейцы, Гватемала. И все сплетено вместе странной паутиной его отношений с этой женщиной. Как, интересно, он вообще хоть что-то понимает.

– Ты права, – сказал он. – Пропустим.

Он стал смотреть на другой берег, а когда через минуту обернулся, Деборы уже не было.

Стемнело, но луна еще не взошла; пробираться по тропе

без фонарика было неохота, и Минголла заполз в палатку. Там пахло Деборой, и этот запах словно отделял его от ночных криков и речной грязи. Жалко, что в палатке нет телефона. А то бы позвонил кому. Первым делом, конечно, родителям. Просто, чтобы настроиться на американскую волну, доза соли и нутрасвита. Привет, мама, папа, я тут, в Манголандии, с ружьем и камерой, война – это ерунда, не страшнее развлекашки из диснеевского мультика, скоро буду дома, привезу вам подарки, пока, мама, папа. А потом – потом он позвонит Спарки, хозяину тамошней рыгаловки. Прямо картинка. Старый пердун Спарки тянет свои клешни к телефону. Ну, – говорит, – чего надо? А Минголла ему в ответ: Здорово, Спарк. Дэвид Минголла говорит из Гватемалы. Спарки пару раз повторит его имя, а потом: Точно... Дэви! Чизбургер с лимонной колодой, ага? Как ты там, черт? – все это с притворной радостью, потому что Минголлин папаша – большая шишка, а Минголла ему: Я тут такого шороху навел, Спарк. Всех бобиков передушил. Спарки, между прочим, дуболомный патриот, так чего лезть? Потом Минголла спросит: Кто там есть поблизости? – и Спарки скажет: Ну, из твоих никого. Вся толпа разбрелась кто куда. Нет, на фиг Спарки, напоминать себе лишний раз, что времена кончились. Кому бы еще позвонить? В голове вдруг словно зажглась лампочка. Точно! Тетке с Лонг-Айленда. Пусть слегка потрясется. Что у нас сегодня? Он сосчитал по пальцам. Пятница. Черт! Они пошли жрать пиццу, потом в кино, чтобы разогреться, а к

полуночи домой за не особо выразительным сексом. Четыре раза в неделю, грех по расписанию. Меньше нельзя, вредно для здоровья. Минголла вспомнил, как они трахались в первый раз, он тогда уже почти занялся делом, как она вдруг отстранилась и произнесла врачебным голосом: Дома мы всегда ложимся на бок, чтобы никому не было тяжело. Он тогда вконец обалдел от такой наивности, но почувствовал себя жутко опытным и, может, оттого в нее и влюбился. Много ли надо, чтобы влюбиться, Дебора только что подтвердила. А может, незнание только подхлестывает чувства – чем нереальнее, тем больше тянет... Не... тетку тоже на фиг. Надо поговорить с Деборой. Она цепляется за свою революцию с той же жадностью, как домохозяйка с Лонг-Айленда за брак. Однако есть надежда. Позвонить ей по прямой связи, прямо через джунгли. Слушай, – скажет он, высунет из палатки трубку и будет ловить все, что скажет ночь: сверчков и лягушек со светящимися глазами, красноголовых обезьян, у которых дрожат языки, волшебных черных птиц с ядовитыми клювами, и пусть она послушает, что каждый сам по себе и в один голос они говорят музыкой, говорят шифром, шелканьем, визгом и невнятным шумом: ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного, и они зачаруют ее, и она все поймет и больше не будет бояться.

Во сне Минголла задыхался, а проснувшись, понял, что в жаре палатки действительно нечем дышать. Он выполз на-

ружу, встал, потянулся. Ночью прошел дождь, смыл с неба тучи, и теперь в реке пылало солнце, покрывая нефритовую воду блестящей глазурью. На дне горячего источника пинала носом гальку серебристо-голубая рыбка. Минголле стало завидно. Он бы и сам с удовольствием, расталкивая камешки, поискал среди ила рачков. Разделся и вошел в воду, торопливо перешагнув бурлящую у самого берега горячую струю. Гладкий известняковый карниз тянулся футов на десять, и даже у самого края вода над ним была всего несколько дюймов глубиной. Минголла встал на колени, ополоснулся и повернул лицо к солнцу, мысли уносило течением. Что-то плеснулось у самого берега, и он обернулся на звук. Дебора стояла в воде и расстегивала блузку, аккуратно сложенные джинсы лежали поодаль. Вода блестела у нее на бедрах и на черной щетке лобка. Дебора стащила блузку, смяла, подержала в руках и бросила к джинсам. На миг показалось, будто ее тело врезано в зелень, как замочная скважина в дверь, за которой открывается темно-желтая пустыня.

Минголла уже почти ничего не чувствовал – все ощущения закрутились вокруг нее. Дебора была чуть полновата в талии, а слишком маленькая грудь и широкие бедра придавали фигуре почти детское обаяние. Она тоже опустилась на колени, повернулась, на лице робость, десять выражений сразу пытаются стать одним, и Минголла подумал, что сам, наверное, выглядит не лучше, потому что растерян и боится сделать что-нибудь не так.

– Я не могу... – сказала она. – Так вышло.

Он не очень понимал, какую именно неуверенность ей так хотелось побороть, и, чтобы сбить неловкость, поцеловал, нашел язык, провел рукой по внутренней стороне бедра. Она развела ноги, и палец скользнул внутрь, туда, где уже было открыто; она подалась вперед, впуская его в себя, и Мингол-ла догадался, что она не хочет ждать, что лучше пропустить вступление и чтобы все получилось сразу. Он усадил ее верхом на себя, она положила голову ему на плечо, и мир за ее волосами стал полосатым; она направляла и опускалась до тех пор, пока он целиком не оказался внутри. Удерживая в себе, обволакивала его теплом, сжимала его, это было, боже! как хорошо, как хорошо, он таял в ней, растворялся в этом безупречном единении. Мингол-ла чувствовал, как ломается маска войны и гнева и сквозь нее проступает чистое безмятежное лицо, а осколки летят прочь, в половодье солнца, в изумление яркой воды. Мир таял, джунгли текли вместе с рекой, блестели жаром, зелень и синева, становясь просто светом, пробивали веки. Дебора дрожала, впивалась ногтями ему в спину, и от этой дрожи все чуть не кончилось сразу.

Нужно было двигаться, но в такой позе не получалось. Поддерживая, он стал заваливать Дебору на спину, пока волосы не расплылись по воде веером; затем уперся свободной рукой в дно, чтобы держать двойной вес. Обхватив ногами за пояс, она втянула его в себя еще глубже, и он кончил – все эти проклятые дни, страсть пролились струей, сердце замер-

ло, Минголла дрожал и хватал ртом воздух. Однако остался тверд и все так же ее хотел. По спине растекался пот, как будто расходилась расплавленная трещина, соленые капли жгли глаза. Упиравшаяся в дно рука болела от неловкой позы, но потом словно выросла в известковые мышцы, и боль утихла. Дебора крутила бедрами, терлась, толкала, выстраивая свой миг. Для нее он настал тоже быстро. Живот напрягся, она резко вскрикнула и впилась ему в плечи. Затем притихла, рот приоткрылся, глаза зажмурились от яркого солнца. Он вытащил и медленно вернул обратно. Так хорошо, такие шелковые мускулы. Хорошо и божественно, как все, что сладко и спокойно. Одно-единственное слово билось и билось у него в голове: *Дебора, Дебора, Дебора*, но не то, не ее имя – ее имя было всего лишь переводом другого, настоящего слова, и оно значило гораздо больше, тайное королевство смысла, силы и щедрости. Он смотрел на нее. На плывущие по нефриту черные завитки волос, на сонное восточное лицо. Смотрел на то место, где они соединялись. Хотел что-то сказать, но не мог, хотел сказать, но не доверял словам... слова, произнесенные вслух, становятся уликами, их можно обратить против, и даже теперь, когда они стали любовниками, недоверие не исчезло. Ну и пусть, ну и хорошо. Взгляд его скользил над ее головой, над шипучей водой, к линии деревьев, и Минголла двинулся опять, и, когда все стало хорошо навсегда и на миг, в памяти вдруг вспыхнула картинка Муравьиной Фермы, вокруг которой выкосили джунгли:

абсолютная безмерность и молчание света, невинное ясное небо над обугленными, словно спички, пальмами, трещины в красной почве сочатся дымом, и как они брели по этой мертвой земле, перемалывая ногами ломкие выжженные стебли, и ничего не боялись, потому что все змеи в норах стали тенями в пепле.

Они лежали лицом друг к другу в теплом потоке ключа и смотрели на дальний берег, на маленькие кроны деревьев, и Минголла представлял, что они с Деборой выросли до небес и превратились в усталых гигантов, только что вылезших со дна на поверхность. Дебора запрокинула голову, и в этот миг по самой верхотуре неба проскочил серебряный штрих; лоб ее перечеркнула морщинка. Минголла притянул Дебору к себе, но она отстранилась:

– Нет... пойдём отсюда. В палатку.

Подняв кучу брызг, она вскочила и выбежала раньше его на берег.

Опущенный полог запечатал их в тесной полутьме, и в тяжелом, как задержанное дыхание, воздухе Минголла чувствовал одиночество и, как ни странно, прилив энергии. Деборино тело пылало влагой, глаза горели. Он встал на колени между ее ног, наклонился и попробовал на вкус. Пробовал на вкус, исследовал складки, лакал, представляя, как во рту размазывается мед. С минуту она почти не шевелилась, но Минголла чувствовал, как ей хорошо, какой она сейчас чув-

ствуует себя желанной. Бедра дернулись, а ноги сжали Минголлина голову. Дыхание вырывалось хриплыми толчками. На животе вздулись пучки мышц, и она вцепилась Минголлу в волосы, удерживая неподвижно, как будто, если бы он убрал сейчас губы или сделал что-нибудь еще, она разлетелась бы на куски. После, когда он лег рядом и поцеловал ее, Дебора сказала:

– Я теперь знаю свой вкус... Раньше думала, что это ужасно.

– А сейчас нет?

– Нет, потому что твой я тоже знаю.

Притворная застенчивость возбудила Минголлу, и он вошел снова. На этот раз, поддавшись импульсу, надавил на ее сознание, выстроив тот сияющий круг, что вышел у них случайно, когда они будили Амалию. Тело не слушалось, каждым его движением командовали теперь завихрения и повороты электрического узла, который они повязали внутри своих голов, и с этой секунды Минголлу приходил в себя лишь в те редкие мгновения, когда рвалась связь. Вот он вбивается в нее, придавив над головой запястья, а вот она сидит верхом и раздирает ногтями его грудь. Час за часом, снова и снова, до самой ночи. Грубый, сладкий, животный секс. Он давно бы уже выдохся, но каждое замыкание ментального контакта зажигало его вновь, наполняло трепетом энергии и жизни. Уже перед рассветом, когда над складками полога нависли серые лучи, Дебора выскочила из палат-

ки и вернулась через минуту мокрая, с куском материи и полной флягой воды. Она обмыла ему грудь, пах и, оставив флягу в сторону, взяла в рот. В полутьме она казалась тенью, водопад волос закрывал лицо, и пойманный врасплах Минголла больше думал сейчас о ней, чем о своих ощущениях. Пальцы впивались ему в бедро, рот сжимался. Она была трогательно неопытна, делала все слишком мягко, училась на ходу, но его мысли управляли ее нерешительными движениями, и все получалось хорошо, прекрасно, заботливая мягкость этих мыслей, короткие воспоминания о других, более опытных женщинах, мысленные сигналы, которые он ей слал, подсказывая, как лучше, о господи, да, и волновался, что когда он кончит, ей может не понравиться, но потом эта забота утонула в нестерпимом желании, ему было нужно, нужно излиться в нее, заполнить ее, чистый рисунок ее губ, ствол входит глубже, щеки втягиваются, язык обвивается во круг, в темноте что-то вспыхивает, и он следит за всполохами глазами, выпадами бедер, всем своим желанием и натянутыми мышцами, пах изгибается, встречаясь с ее ртом, он бормочет: Господи, Дебора! – и кладет ей руки на затылок, ведет ее в этот последний миг, пустой и окаменевший входит в свет, и нервный блеск наслаждения наполняет его сильнее, чем вся их прежняя дикость. Она уютно прижалась, улыбнулась гордой сияющей улыбкой и поцеловала его, поделив с ним его собственный соленый вкус. Потом что-то шепнула.

– Я не слышу, – сказал Минголла.

– Ничего.

Он был уверен, что она шепнула: «Я тебя люблю», и обрадовался тому, что слова наконец-то стали им доступны и что рождается доверие; но одновременно его пугала властность этих слов, замораживала его силу, и он в который раз спрашивал себя, кто эта женщина, незнакомка, которую любовь сделала такой близкой, и зачем они здесь, и что им делать дальше.

Больше всего Мингоглу поразила не сила их мысленного контакта – он вообще-то ждал чего-то подобного, – а послепочувствие: всплеск сил и бодрости. Он вспомнил слова Ис-агирре о том, что взаимное влияние двух медиумов увеличивает силу обоих, и, чтобы проверить, правда ли это, они с Деборой снова пошли к Амалии. На этот раз они разбудили ее почти сразу, а когда девочка атаковала Мингоглу, он без труда отбил ее. Амалия не умела проигрывать. Она с ужасом смотрела на них из своего гамака, красные пятна у нее на лице, словно радий, полыхали в темноте хижины, и в конце концов она расплакалась. Дебора ее успокаивала, но Мингоглу больше интересовала клиника, и он принялся укреплять наименее доминантные узоры Амалиного сознания, наполнять их собственной силой, надеясь услышать что-нибудь интересное из ее прошлого.

– Я ничего не помню, – дерзко заявила девчонка, когда Минголла спросил ее о терапии.

Но она явно врала, и он гнул свое.

– Нас было много, – сказала она, – в большом доме.

– Девочки и мальчики, как ты? – спросила Дебора.

– Таких, как я, там не было.

– Ну, я имела в виду... больные?

– Поломанные, – ответила Амалия, и слово отразилось от стен так, словно все поломанные вещи в хижине откликнулись на ее зов.

Минголла составил в уме следующий вопрос, но задать его не успел – Амалия заговорила сама:

– ...И свет Зверя, что выпущен на свободу, стал светом разума для Мадрадон и Сотомайоров, и они встретились в городе Картахене, чтобы устроить мир, а после разъехались по свету, связанные одной целью, и год за годом пробирались они во власть, чтобы объединить мир в одну нацию. Но не все были согласны. Молодежь обоих кланов обуреваемая страстью, и они все так же убивали и насиловали, лгали и обманывали, как бесчисленные поколения прежде, и потому было решено, что... что они тоже... они тоже должны...

Гамак с Амалией вдруг обвис, узоры ее сознания смешались в кучу, и Минголла уже ничего не мог сделать. Какое-то время в комнате раздавался лишь скрип гамачной веревки, и Минголла с тоской понял, что они запутались в таких дебрях, которые ни он, ни Дебора не могут ни контролировать, ни даже осмыслить... под скрип веревки ему вдруг привиделась комната с мягко поблескивающими стенами, свет шел

из почти невидимых ячеек, вкрапленных в бордовые завитки обоев, сам Минголла лежал на кровати, это был номер мотеля, из мебели – хромированный стол под широким зеркалом, такие же хромированные стулья с бирюзовой обивкой – все это одновременно стерильное и нелепое. В ванной лилась вода. Щелчок, дверь открывается, и выходит Дебора, вытирая полотенцем волосы. На ней футболка и трусики. Минголла так и не привык к ее новому после пластической операции лицу, и каждый раз, возвращаясь, – какой бы короткой ни была разлука, – он секунду или две не узнавал ее, искал в лице прежние черты и линии, убирал новую правильность и высматривал ту причудливую асимметрию, которая когда-то понравилась ему больше всего. Только мягкая походка осталась прежней – Дебора бродила по комнате, держась поближе к стенам, как любопытная кошка: глаза опущены, поглощена собой. Тронув пластину у двери, она притушила свет и легла рядом.

– Ты как? – спросил он.

– Никак не привыкну, – ответила она. – Тут так много...

– Много чего?

– Всего. Еды, света, прохлады. Всего, что захочешь.

– Земля шелков и злата. А что нам комфорт!

– Мне здесь не нравится, – сказала она. Несколько лет назад он бы посмеялся над ее аскетизмом, но они уже переросли и шутки, и вообще легкость.

– Это ненадолго, – сказал он, – после завтрашнего... –

Минголла не договорил: они знали, что будет завтра.

В этой сухой прохладной комнате они занялись любовью, и да, это был жар, да, это была радость, электрическое слияние мыслей, и все-таки это был не просто секс, а что-то большее и что-то меньшее, подтверждение взаимных обязательств, тренировка силы, эротическая гимнастика, порождавшая в них внутреннюю бесстрастность, которая – как любовь – была теперь своим собственным оправданием. Потом, когда все кончилось, их сила стала осязаемой и жесткой, как озон в этой комнате, и одним только легким движением мысли Минголла прошел сквозь стену и коснулся сознания коммивояжера, спешащего в бар пошуршать за рюмкой бумагами и поразмышлять над секретами торговли, над моралью официанток... и сознания водителей, издалека замороженных огнями Города Любви, что рассыпались по желто-коричневой пустыне, подобно созвездию, отправившемуся искать лучшее небо... Минголла выдергивал мысли из их голов, выравнивал их собственным сознанием, сильный, как Бог, рядом с их светлячковой хрупкостью, настраивался на триллионоваттовую расточительность американского Запада... *козел ебущий, только влезь в мою полосу, я запихну эту железяку тебе в жопу... а если по тормозам, сучка вылетит через стекло, так и надо, всю дорогу воеет и ссыт каждые пятнадцать минут... Господи, не дай грехам мира се-го – нет, дай – не дай...* Этому сознанию Бог виделся перламутровым эротическим светом, фатальным отречением...

бессловесный мысленный гул, статический треск воображения, желаний и надежд, по-детски слабых и невежественных, воспоминания случайные, как радиопомехи в грозу, и ни одной по-настоящему сильной мысли.

Не достать, по крайней мере.

В бледном, пробивавшемся сквозь занавески свете Дебора казалась чем-то взволнованной, и Минголла спросил, не думает ли она о завтрашнем дне.

– Нет... о послезавтрашнем. Что мы будем делать дальше.

– Все будет хорошо.

– Я знаю, – сказала она и отвернулась.

Они проснулись на рассвете и пошли завтракать в кафе неподалеку от мотеля, называлось оно – согласно трехъярусной вывеске – «Верна. Техасско-мексиканские деликатесы». Заказав яичницу с ветчиной, тосты и кофе, они уселись в кабинке из красного со звездочками винила и стали смотреть сквозь собственные отражения на шоссе, на то, как поток фар и глянцевых грез шуршит и катится к фальшивому рассвету Города Любви, ведомый мужчинами и женщинами, которым хочется сперва приятного времяпрепровождения, потом спасения, и они верят, что это возможно, а еще в то, что скидка на нижнее белье в супермаркете жизни посеребрит их надежды, выпрямит желания и они вернутся к домашней скуке, покрытые новеньким хромом и заряженные до краев лошадиной силой секса. Они еще долго сидели перед пустыми тарелками. Спешить не стоило. Исагирре никуда не деть-

ся из-под защиты стен и охраны. Других посетителей в кафе не было, официантка принесла чек, прислонилась к стене кабинки и спросила:

– Ребята, вы только приехали или уезжаете?

– Приехали, – ответил Минголла.

– Первый раз в Городе Любви?

– Ага.

Она кивнула, худая сорокалетняя женщина с мудрыми печальными морщинками на лице и радужными прядями в канареечных волосах, стареющая деревенская панкушка с опозданием вернулась к морали и покаянию – накрахмаленная зеленая форма только дополняла маскарад.

– Тут ничего такого особенного нет... если знаете, о чем я, – сказала официантка. – То есть против Г. Л. я ничего не имею, боже упаси, можно покувыркаться разок-другой. Только никому от этого лучше не стало. Хуже, правда, тоже. Тут просто... ну как везде, понятно. Тогда какой толк?

Дебора пробормотала что-то соглашательское; ответ прозвучал безразлично, но Минголла чувствовал, что между ней и официанткой возникло чисто женское понимание, в котором он был лишним.

– Откуда вы, ребята? – опять спросила официантка, притворяясь, будто ей это интересно.

– Из Мехико, – ответил Минголла. – А до этого были в Гондурасе.

Вопрос разбудил в нем паранойю, он проверил сознание

официантки – не прячет ли она что-нибудь, но там все было земным и естественным.

Посредственность, однако, девственная.

– О, Мехико! – Судя по ее тону, Мехико должно было располагаться в конце бульвара грез, в далеком сиянии рая. – А я тут продаю мексиканские бусы. – Она ткнула пальцем в сторону кассы, рядом с которой стояла витрина, полная дешевого оникса и серебра. – И блюда мексиканские тоже есть. Черт, у меня даже хахаль был из Мексики. Перед войной, понятное дело. А сама вот ни разу не съездила. Но всегда хотелось. Парни красивые, ящерицы на берегу и все такое. И развалины. Так охота посмотреть на развалины.

Рассказав о своих потаенных желаниях, официантка осмелела и словно почувствовала в них родственные души; спросила, не принести ли им еще кофе... за счет заведения. Вернулась с кофейником. Налила и плюхнулась рядом с Деборой. Расспросила их о жизни и поохала над короткими ответами; ей явно не терпелось поведать свою собственную историю – историю, которую она должна рассказывать в это медленное предзакатное время каждый день и которая поможет ей его пережить.

– Вы, ребята, наверное, думаете, что в этой старой забегаловке ничего особенного нет, – сказала она. – Но можете мне поверить, кой-чего попадается. Всем охота пообжиматься в Городе Любви, вот и к нам всякие типы тоже забредают.

– Правда? – вежливо поинтересовалась Дебора. Потом

бросила взгляд на Минголла, и он посмотрел на часы. Время еще оставалось, и не так уж плохо было посидеть, послушать, слегка попритворяться, что никуда им особенно не надо, – получить свой кусочек нормальности.

– Вы не поверите, – объявила официантка. После чего поведала о мужчине и какой-то его сверхнеобычной собаке, потом о двух женщинах, похожих как две капли воды, хорошенькие такие, как звездочки, беленькие, обе беленькие, сделали операции, чтоб быть похожими, сами сказали, что у них все теперь идентичное, даже родинки, и голоса им поменяли, чтоб сливались, когда говорят, даже петь не надо, ничего, так звонко щебечут, ну точно две птички, только что говорить выучились. До чего занятно было, когда они просили чего-нибудь хором, вафли со сливками или бекон, вот, а все эти операции, чтоб устроить в Городе Любви побольше шуму.

Отключившись от официантки, Минголл разглядывал Дебору и видел, что она тоже на него смотрит. Он словно соединился с ней, как тогда, в Сан-Франциско-де-Ютиклан, вдруг заметил, сразу узнал, и на минуту ему показалось, что она тоже смотрит на него молодыми глазами и видит того мальчишку, которым он когда-то был. Чувство оказалось настолько чистым, что он даже испугался этого узнавания, растерялся... и это тоже стало частью мгновения, частью прошлого, потому что он давным-давно научился преодолевать растерянность. Миг ушел, едва возникнув, и Минголл пре-

красно знал, что удерживать его бесполезно. Просто случайность, одно из их мелких умений. Ему было смешно, когда Исагирре, напустив на себя божественности, говорил, что такие моменты спасительны. Никто ему тогда не поверил; слишком нелепо, чтобы быть правдой... хотя теперь Минголла понимал, что доктор имел в виду основы психологии. И хорошо бы знать: раз он завел тогда разговор, не вложил ли он специально эту мысль Минголле в голову, то есть не манипулирует ли он ими до сих пор? Подозревать приходилось все. Но какова бы ни была природа этого мгновения, оно действительно спасло Минголла. Он стал слушать официантку, она ему даже чем-то понравилась, он понял, как она рвется к лучшей жизни, увидел, какая трогательная наивность сквозит во всех ее желаниях, заговорил с ней, заговорил от всего сердца, забыв на время, кто он такой и что собрался делать, и они разговаривали, смотрели, как тянется серое утро, как на горизонте, словно морская пена, гроздятся облака, и печали у них были общими, и они хватали друг друга за руки, врали, но все равно верили, находили страсть в забвении и смеялись.

Розовая полоса прочертила на востоке небо, в кафе, пытаясь, словно чайники, сигаретами, ввалились два дальнобойщика, громогласно потребовали кофе и стейки. Официантка прокричала на кухню заказ, принесла еще кофе и снова села, все так же переполненная историями. Но сквозь стеклянные двери проталкивались новые посетители, от усталости

серые, как небо, чесались от шоссейной грязи и поправляли трусы, врезавшиеся в задницу после многочасового сидения; официантке пришлось взяться за работу. Минголла с Деборой подождали немного, надеясь, что у нее выдастся свободная минута, но женщина была слишком занята. Они подошли к кассе и встали там, держа в руках деньги, официантка в конце концов поставила стейк и яичницу перед очередным дальнобойщиком и сломя голову помчалась получать у них плату. Сказала, чтобы обязательно заглядывали, рассказали, как им понравился Г. Л., и до чего ж ей приятно было с ними встретиться, ну не смешно ли: знакомишься с людьми совсем чужими, а получается, что вы прям как старые друзья. Они пообещали зайти еще, оставили побольше чаевых и помахали на прощанье. Вернулись в мотель и уложили в машину автоматы.

В растерянности, не желая поверить в то, что уже почти понял, Минголла вышел из хижины и принялся разглядывать убогую деревню. Солнце блестело на соломенных крышах, еще мокрых после ночного дождя, свинцово-серые лужи на желтой земле казались озерцами ртути. По улице навстречу друг другу прошли курица и мужчина: индеец направлялся в джунгли, птица – к реке, искать червей в узкой полоске ярко-зеленой прибрежной травы. Минголла узнавал куски пейзажа, помнил их имена и назначение, однако частям явно не доставало связности, и он вдруг начал пони-

мать, что происходит эта бессвязность не от какого-то при-
сущего деревне дефекта, а оттого, что в ней сейчас находится
сам Минголла. Он посмотрел на приглядывающую за Ама-
лией Дебору. В ней ничего бессвязного не было.

Панама.

Он вспомнил рекламную фотографию: небоскребы и ак-
вамариновая бухта, а где-то за ними – безмолвный лабиринт
баррио Кларин.

До Минголлы вдруг дошло, что он должен быть в Панаме.
Более чем должен. Это было похоже на моральный импера-
тив, и, рассматривая Дебору, Минголла думал, что у любви
есть побочный эффект – она дает человеку моральную под-
порку, колышек, на который можно повесить свои страхи,
превратив тем самым любой неоправданный риск в повод
что-то делать. А может, все иначе – может, его толкает в Па-
наму то унылое торжество, которым было наполнено виде-
ние; может, ему нужна победа – любая победа, и теперь он
поверил, что она возможна. Нет, подумал Минголла. Не по-
верил. Будущее не предопределено, каким бы ясным оно ни
казалось в видениях.

Дебора вышла из хижины, покачала головой, когда он
спросил об Амалии, и они пошли к реке. После дождя вода
поднялась, берег расплылся грязью; они сели на переверну-
тое каноэ, и Дебора принялась смущенно рассказывать о до-
ме, о детстве, что прошло в богатом баррио Гватемала-Си-
ти, – в особняках там били фонтаны, а гребни стен украша-

ли битым стеклом. Минголла знал, что все ее мысли заняты Панамой, но теперь, когда они стали любовниками, она не хотела ничего от него требовать и не была уверена в собственных желаниях.

Он слушал ее с удовольствием: лезть во что-то серьезное было неохота, а разузнать о ее жизни интересно. Правда, с еще большим удовольствием он в последние два дня рассказывал Деборе о себе: воспоминания, которые прежде не имели особого значения, стали важными для того человека, в которого Минголла превращался рядом с ней. Лето на дядюшкиной ферме в Небраске, например. Его там заворожила кукуруза. До того она представлялась ему разве что желтыми початками с каплями масла, однако теперь, посреди кукурузного поля, он обнаружил, до чего странные эти растения: об их листья легко порезаться, как о край бумаги, а мощные корни невозможно вытащить из земли. И слышно, как они растут. В том месте, где толстый край листа соединялся со стеблем, раздавался крякающий скрип – иногда из-за ветра, но часто и в полной тишине, безо всяких причин. Невероятное множество зелени вызывало в Минголле клаустрофобию. А потом зима, когда умирала прабабка. Рак. Минголле шел двенадцатый год, и они по очереди с матерью и бабушкой за ней ухаживали. Отец не был расположен к такому милосердию. Опухоли на шее. Их нужно было массировать. Твердые мускулы на ощупь были как камень, и под ними ни проблеска жизни. Зубы у прабабушки все время скри-

пели, а ресницы вращались в веки, добавляя мучений. Глаза безнадежные и пустые, как стертые круги. Но Минголла помнил, какой она была раньше. Прабабка мало говорила, но вокруг нее сам собой устанавливался порядок, наполненный чистотой и домашними пирогами. Она вышла замуж за летчика-трюкача, этот парень летал сквозь амбары и возил из Канады виски. Но ничего этого она уже не помнила – ушла в себя и в пустоту. Однажды, когда Минголла устал ее массировать, она поймала его руку, крепко сжала, и в ту ночь ему приснилось, что он дротиком пытается убить тигра. Красивого тигра с гладкими мускулами. Зверь двигался не быстро, но очень расчетливо, как будто хотел что-то Минголле показать. Он только потом сообразил, что мышцы у тигра были такими же твердыми, как опухоли на прабабушкиной шее.

Ленивое течение сносило к берегу обрывки листьев, они сустились, сталкивались у самой кромки, и, глядя, как их засасывает под мрачный зеленый сруб, Минголла решил.

– Дебора, – перебил он ее, – ты когда туда собралась?

Она смотрела непонимающе.

– В Панаму, – пояснил он.

Секунду ее лицо не выражало ничего, потом, легонько улыбнувшись, она прижалась к Минголле. Объятие получилось слабым и покровительственным и вместе с улыбкой выглядело так, словно она сдавала его на руки своей печали.

– Нужно еще пару дней на сборы, – сказала она и, задумчиво помолчав, спросила, почему он передумал.

– Это на что-то влияет?

– Нет, просто любопытно.

Она явно надеялась услышать об истине и справедливости или еще какую похожую муть, но врать не хотелось.

– Не отпускать же тебя одну.

Она взяла его за руку, поигралась с пальцами и наконец сказала голосом маленькой девочки, смущенной и сбитой с толку:

– Спасибо.

За два дня до отъезда Минголла в последний раз навестил компьютер. Не признаваясь себе, он все же хотел на прощанье как-то отдать должное этой машине, ибо она тоже примирала его с действительностью. Дебора сперва поиздевалась над самой идеей – та задевала ее рациональность, – но смеху ради пошла вместе с Минголлой. Когда они добрались до ямы, уже наступал вечер и пронзавшие вертолет золотые лучи были настолько четко очерчены пылью и влагой, что казались музыкальными аккордами, – такой свет собирается иногда над органами и хорами в просторных соборах. Позолоченный солнцем скелет как будто даже улыбался, а компьютерный голос казался воплощением густого безмолвия, словно веками копил слова.

– Благословляю вас на вашем пути, – провозгласил он.

– Дикость какая-то, – отозвалась Дебора.

– Ты ошибаешься, – возразил компьютер. – Влюблен-

ным крайне необходимо благословение. Чтобы противостоять нелюбящему миру, их честности недостаточно. Они зависят от силы, которую черпают в одном миге, а значит, они благословенны. Оглянитесь вокруг. Машина стала божеством. Свет истончился. Даже смерть, и та преобразилась. То, что вы сейчас видите, – это сверхъестественная красота, ставшая таковой благодаря продленному мигу. И можно ли дать лучшее определение любви, особенно для вас, в таком рискованном предприятии. Ваш миг длится. Вы поднялись к нему и до сих пор живете на этой высоте. Рано или поздно вам придется спуститься, однако вершина останется с вами навсегда. Всегда доступная, всегда спасительная. То, что выстроило сердце, мозг не разрушит.

Дебора презрительно фыркнула.

– Ты мне веришь, – сказал компьютер. – Но тебе не нравится, когда то, во что ты веришь, говорит тот, в кого ты не веришь.

Затрещали удерживавшие вертолет лианы, свет дрогнул, словно чья-то могучая мысль потревожила глубинные структуры этой ямы.

Назад они отправились почти в сумерках. Птицы располагались на ночлег, обезьяны верещали, а лучи света растворялись в подлеске. Извилистая тропа начиналась у окружающих яму гранитных глыб и вела на запад, все время под гору, постепенно сужаясь и превращаясь в зеленый тоннель со сводчатой лиановой крышей, что, петляя, тянулся на восток

и вывел их на поляну, заросшую пальметто и саподиллами. Тут всегда было очень красиво, но когда Минголла с Деборой вышли из тоннеля, поляна показалась им еще красивее оттого, что все ветви и листья были усыпаны миллионами бабочек. Ошарашенный обилием цветов и узоров, Минголла не сразу заметил на другом конце поляны Нейта, тоже расцвеченного бабочками; они парили вокруг его головы настоящим облаком, сквозь которое время от времени проступало непроницаемое лицо.

– Нейт! – Деборин голос прозвучал резко и испуганно, Минголле тоже стало страшно, он попытался прощупать Нейта, но ничего не вышло. Особый узор, на который он наткнулся в тот день, когда попал в деревню, сводил на нет все его усилия – пробиться сквозь этот колеблющийся барьер было невозможно.

Слетались новые бабочки, облако заполняло всю поляну, Дебора схватила Минголлу за руку, и они побежали обратно к яме. Оглянувшись, он увидел, что тоннель плотно забивает суматошная волна – поток цветов в зеленой трубе; от шелеста холодела спина и подкашивались ноги. Добежав до нависавшего над ямой валуна, они остановились па самом краю, бабочки уже кружили над Дебориной головой, и она крикнула:

– Прыгай!

Они рванулись одновременно, Минголла приземлился на корточки, упал вперед. И сразу заметил, что Дебора сползает

вниз с опасно качнувшегося вертолета. Поймал ее за руку. Бабочки лезли в рот и в глаза, он прихлопнул их рукой. Затолкал Дебору в пробитую ракетой дыру, сам залез следом, ободрав руку об острый край. Затем переполз через мигающие индикаторы в темный конец компьютерного отсека и начал возиться с крышкой ведущего в кабину люка. Дебора тоже взялась за дело – тянула на себя проржавевший металл, расшатывала пальцами щели. Бабочки повсюду. Легкие касания на лице и на руках. Минголла отплевывался. Сердце лупило по ребрам неровной капелью. Крышка со скрипом подалась, и они протиснулись внутрь, тут же захлопнув ее за собой. Несколько дюжин бабочек успели просочиться в кабину, и Минголла набросился на них с почти безумной яростью, давя, размазывая по пластмассовому пузырю в клейстер из порванных крыльев. Когда бабочки кончились, он прислонился к креслу второго пилота и уставился на скелет с торчащими сквозь ошметки летной куртки ребрами. У мертвого пилота был пергаментно-желтый с коричневыми пятнами череп, а обезвоженные сухожилия в углах рта придавали ухмылке гротескную дурашливость. Минголла даже решил, что пилот собрался рассказать анекдот, но тут в пустой глазнице показалась голубая бабочка, и вид у скелета сразу стал зловещим. Вскрикнув, Минголла стукнул по черепу рукой, тот не удержался на шее и покатился по полу; из раздробленного позвоночника вылетела струйка пыли.

Все так же часто дыша, Минголла обернулся к Деборе.

Она сидела, привалившись к люку и опустив голову на поднятые колени.

– Все в порядке, – сказал он. – Теперь все в порядке.

Свет померк – совершенно неожиданно, – и Минголла тут же крутанулся узнать, в чем дело. Затянутый трещинами фонарь облепили тысячи бабочек, затмевая красное вечернее солнце пеленой крыльев и ломких тел. Как разложенная по столу мозаика, в которой недостает нескольких кусочков. Детали эти тут же нашлись, в кабине потемнело, через ткань крыльев теперь пробивалось лишь тусклое красноватое свечение. Минголла почти чувствовал навалившуюся на пластик невероятную тяжесть, и секунду спустя раздался треск – пузырь поддавался.

– Эй! – Он потряс Дебору за плечо. – Ищи Нейта! Остнови его!

Он выплеснул мысли наружу, почти сразу соединился с Нейтом, собрал свой страх в клинок и воткнулся в его защиту. Но даже когда Дебора добавила к нему всю свою силу, узор устоял. Скрип стал громче, пластиковая крошка посыпалась Минголле на голову, он почти чувствовал, как на грудь наваливается многотонная тяжесть, выдавливая из нее воздух. В отчаянии он попытался слиться с этим защитным узором, и – треугольный осколок пластмассы чиркнул по щеке – это сработало. Зашуршали крылья, колючие лапки царапнули лоб; что-то попало на зуб, хрустнуло, Минголла выплюнул. Край его страха описывал сложные петли и дуги,

скользил вдоль Нейтова узора с резвостью швейной машинки, и Минголла вложил в этот поток всю свою силу, ускоряя его, как только возможно. Деборины мысли тоже включились, известный только им двоим узел вплетался в узор, подавляя его, втискиваясь в дикий трехсторонний комок боли и чувственности. Раздался крик, заклятие исчезло, связь распалась.

Бабочки улетали; угасающие лучи просачивались сквозь просветы в пелене размазанных тел и крыльев. Сквозь одну такую щель Минголла рассмотрел на валуне белокурую голову и почувствовал, как в ленивом смятении беспамятства болтается сознание Нейта. Бабочки усаживались Деборе на волосы, сама она дрожала, привалившись к креслу пилота, в кабину влетели еще несколько дюжин, но у Минголлы не было сил разбираться – он лишь смотрел, как они хлопают крыльями вокруг безголового скелета, вылетают обратно сквозь пробоину в пузыре, разноцветно вспыхивают в закатном солнце, поднимаются все выше и выше, словно мерцающий пепел, а затем пропадают из виду в кружеве черных листьев и в багровом небе.

Выбрались из вертушки на валун, где лежал Нейт. На нем была кобура, и Минголла вытащил оттуда пистолет. Потом они принялись его будить. Сознание Нейта плескалось почти так же беспорядочно, как у Амалии, но, видимо, за последние дни их общая с Деборой сила основательно выросла, так что они без труда с этим делом справились.

Мысленные узоры Нейта – снова как у Амалии – не показывались вообще, но Минголла кое-как умудрился их восстановить. Заодно увидел, что нетрудно будет прокрутить все обратно, ослабить и разрушить узоры здорового мозга, и спросил себя, не это ли однажды произошло с Нейтом. Тот вскоре сел и тупо огляделся; пригладил волосы.

– Я, э-э-э... – Он ущипнул себя за переносицу. – Что-то не то.

– Ты нас чуть не убил, – сказал Минголла. – Помнишь?

– Конечно, помню. Мне полагалось смотреть и помогать. – Он уставился вниз на вертушку. – Как всегда, сплошные проколы.

– Что еще за проколы? – спросила Дебора.

– Вам объяснить? – спросил компьютер.

В его голосе Минголле послышалось нетерпение, но, не обратив на машину внимания, он лишь повторил вопрос Деборы.

– Они искусны, очень искусны, – сказал Нейт. – Они тратят невероятно много времени, чтобы взять под контроль хотя бы одного человека, но зато вековой опыт. Беда в том, что они небрежны. Слишком полагаются на свою власть, а потому слишком любят широкие жесты – чем грандиознее, тем лучше. Не опускаются до мелочей... это нам с вами они очевидны.

– «Другие»? – спросил Минголла. – Ты говоришь о них?

Нейт заметил в руке у Минголлы пистолет.

– Отдай мне, пожалуйста.

– Шуточки!

– Так надо, – сказал Нейт. – Он меня найдет и опять заставит что-нибудь делать.

– Я действительно могу объяснить, – сказал компьютер.

– Ты был когда-нибудь ничем? – спросил Нейт. – Видишь то, чего нет, и слышишь в голове приказы.

Глаза его метались, он сцепил руки, с каждой секундой возбуждаясь все больше и больше. Смотреть было тяжело – Нейт сам себя накручивал, все туже и туже зажимая пружины.

– Кто тебя заставил? – спросила Дебора.

– Исагирре. – Нейт потянулся за пистолетом, но Минголла отбросил его руку. – Пожалуйста! Такой ясности не было уже много лет. И не будет, это последний шанс.

– Сначала расскажи об Исагирре, – приказала Дебора, – а потом мы подумаем, что можно сделать.

– Хорошо. – Нейт приложил ладонь к валуну – осторожно, словно хотел познать его, добыть из него спокойствие. – Хорошо, я вам верю.

Стемнело, лунный свет ложился бликами на черный металл вертолета; Нейт говорил спокойно и размеренно, запрокинув голову и прикрыв глаза, точно поглощенный молитвой святой. Он рассказал им, как после срыва терапии его вместе с такими же отбракованными долго держали взаперти. Дом находился в Штатах – так ему кажется, но он не уверен.

– Главный там был Исагирре, – сказал Нейт. – Собственно, только он из обоих кланов и жил там постоянно.

– Кланов? – переспросил Минголла. – Значит, Амалия говорила... правду?

– О да. Исагирре часто рассказывал об этих семействах и об их вражде. Качал головой, как будто это давит ему на душу, но сами истории ему нравились, он чуть ли не упивался их кровавым прошлым. Настолько у него все получалось красиво. Элегантный ужас. – Нейт покосился на пистолет. – Такое странное и мрачное место... этот дом. Вы там поосторожнее. Они опасные люди. Исагиррины игрушки, его оружие.

Все постепенно складывалось. Обмолвки, Нейт и Амалия, рассказы Пасторина. И за всем – Исагирре... если это его настоящее имя, что, скорее всего, не так. Сотомайор или Мадрадона. Тщеславие не позволило ему поменять имена. Заставил Пасторина на себя работать. А может, он и есть Пасторин. О затворничестве этого писателя ходили легенды, и Минголла вспомнил, что никогда не видел его фотографии.

– Что он для нас заготовил? – спросил Минголла.

– Не знаю точно. Мне полагалось наблюдать и защищать. Но что-то разладилось.

– Он ничего не говорил о том, что мы станем сильнее? Что общий фокус увеличивает силу?

– Сказать по правде, – вмешался компьютер, – я об этом

забыл.

Все трое повернулись к вертушке.

– Я просто подумал, что было бы интересно отправить тебя за Деборой, – продолжал компьютер. – У меня слабость к нестандартным ситуациям. А теперь я даже рад. До сих пор еще никто не справлялся с Нейтом. Этот сбой ясно показал, на что вы способны. Возвращайтесь поскорее, я буду скучать.

– Исагирре, – воскликнул Минголла. – Ну ты и ублюдок! Компьютер довольно хихикнул.

– Привет, Дэвид. Не ждал?

– Не особенно. – Минголла встал, посмотрел на вертушку и пожалел, что это не сам Исагирре. – И где ты сейчас, интересно?

– Не будь занудой, Дэвид. Я же со всей душой – и к тебе, и к Деборе. А где я сейчас... В Панаме встретимся.

– С чего ты взял, что после всего, что случилось, мы поедем в Панаму?

– А куда вам деться? Вы ж дезертиры, домой нельзя. И потом, разве вам не интересно, что там такое в Панаме. Посмотреть своими глазами, нет?

– Может, перебросишь нас прямо туда? – предложила Дебора.

– Могу, конечно, – согласился компьютер. – Однако я бы предпочел лишний раз оценить вашу силу. В пути вас ждут испытания, и мне, честно говоря, было бы весьма любопытно

посмотреть, как вы с ними справитесь.

– Ты ненормальный! – воскликнул Минголла. – Нашел игрушки. Все люди для тебя игрушки.

– Вовсе нет, – возразил компьютер. – Я просто предусмотрителен.

– Что происходит в Панаме?

Молчание; черная сеть лиан туго натянулась под огромной вертолетной тушей. Минголла чувствовал в себе почти такую же громаду и мощь – как будто его тело, тоже став сетью, опутало некий черный предмет – силу, о которой Исагирре в своей самоуверенности мог и не подозревать. Если Минголла скроет эту силу, а Дебора свою, Исагирре ждет сюрприз.

– Прошу тебя. – Нейт потянулся к пистолету.

– Если вы оставите Нейта здесь, – сказал компьютер, – я найду, кому за ним присмотреть.

– Нет! – Нейт вскочил на ноги. – Я не хочу!

– Спокойно, Нейт, – проговорил компьютер. – Все не так плохо.

Дебора протянула руку:

– Дай мне пистолет.

Минголла был потрясен:

– Зачем?

Она ничего не ответила, но и не убрала руку.

– Зачем? – повторил он. – Можно ведь...

– Дай ей пистолет! – приказал Нейт. – Так надо. – Он с

трудом сдерживался и казался больным. Лицо Деборы выражало смирение.

– Тогда уж лучше я, – проговорил Минголла.

– Это вообще ни к чему, – сказал компьютер. – Нейт явно преувеличивает ужасы своей службы. С ним все будет хорошо, я вам обещаю.

– Хорошо? – Нейт встал на край валуна и сжал кулаки. – Ага, еще как хорошо. Я буду сидеть целыми днями взаперти, и ни одной мысли в голове. А когда проснусь... ха! Когда проснусь, я буду страшно благодарен, что меня согнули в дугу... и опять...

Он, похоже, забыл, что хотел сказать, и уставился на вертолет. В темных кустах за каменным кольцом стрекотали цикады.

Дебора взялась за дуло пистолета.

– Жди меня на поляне.

Минголла неохотно выпустил рукоять, бросил последний взгляд на Нейта, прошел по листовенному тоннелю и остановился под перистой тенью пальметто. Он чувствовал себя странно от мысли, что Дебора способна кого-то убить, даже из милосердия. Он вспоминал ее партизанское прошлое, он хотел думать о ней хорошо. Проходили минуты, и он забеспокоился, не случилось ли чего-нибудь, – Нейт ведь мог отобрать пистолет. Двинулся обратно к яме, и в тот же миг раздался выстрел. Заверещали обезьяны, тысячи темных крыльев захлопали и небе. Через несколько секунд из

тоннеля появилась Дебора с засунутым за пояс пистолетом. Минголла хотел ее успокоить, но она прошла мимо, не сказав ни слова, и так быстро зашагала сквозь редкие кусты, что он с трудом ее догнал.

Последний свой день в квадрате «Изумруд» они грузили в каное оружие и провизию, а еще уточняли маршрут. По реке до Петэнской автотрассы. Автобусом до Реюньона. Пешком через джунгли к Рио-Дульче, чтобы выйти южнее Сан-Франциско-де-Ютиклан, и, наконец, на лодке вниз по реке до Ливингстона. Амалию – девочка появилась в деревне вскоре после Деборы и наверняка по команде Исагирре – они оставили на попечение бездетной вдовы; нелепо было надеяться, что Исагирре не потребует ее обратно, но пусть хотя бы пока о ней кто-то позаботится. Они сели в каное и отгрести к горячему источнику, чтобы провести там последнюю ночь.

Вечер выдался спокойный. Дебора с мрачным видом сидела на берегу и болтала ногами, касаясь пальцами обжигающей воды и словно определяя свой болевой порог. Минголла примостился рядом, чистил оружие и думал о том, что их ждет. Он поглядывал вдоль реки на юг. Тьма там была гуще, как будто с той стороны напознал черный газ, и Минголле казалось, что он видит в нем четкие контуры их путешествия: подъемы и спуски, тайные укрытия, бегство и опасности – как будто его мысли стали ветром, огибавшим землю и события. Время от времени он говорил о чем-то с Дебо-

рой, по большей части о ерунде, не хочет ли кто есть, пить, спать. Только однажды получился нормальный разговор – когда она спросила, о чем Минголла думает.

– Да так, ни о чем... Вспомнились яблони у нас во дворе. Еще дома.

– А я решила, что ты думаешь, как мы доберемся до Панама.

– Сначала да, но потом почему-то вспомнил, как я подрезал яблони, отпиливал сухие ветки.

– Никогда не видела яблонь.

– Они славные. Я, правда, многого не замечал, пока не пришлось повозиться. Попилишь часа три подряд, поневоле кое-что узнаешь.

– Что?

– Ну, например, когда опилки нагреваются, они пахнут печеными яблоками.

– А еще?

Он задумался.

– Когда ветка уже отмирает и не может выпустить новые листья по всей длине, они вырастают всегда с краю, на самом конце.

Дебора обмакнула пальцы ног в воду.

– Совсем как Нейт.

– В смысле?

– Он сказал кое-что до того, как... – Поджав губы, она смотрела на свои руки. – Плохо, – проговорила она после

долгого молчания. – Я не могу поверить, что он действительно хотел умереть, все-таки это было безумие.

– Наверное, и то и другое.

– Нет, – сказала Дебора. – Только безумие.

– Тогда зачем ты это сделала?

– Ему бы опять захотелось нас убить.

– Этого достаточно.

– Раньше – да, но... – Она шлепнула пяткой по воде, подняв брызги. – Я слишком переживаю. – Она посмотрела на Минголлу как бы с упреком. – Я не хочу становиться слабой из-за того, что между нами происходит.

Он попытался ее развеселить:

– По-моему, так все наоборот.

Дебора не поняла, и он объяснил, что сила у них, наоборот, растет.

– Но я же совсем о другом! – Она снова плеснула ногой по воде. – Чувства размягчают.

– Убивая человека, нельзя ничего не чувствовать.

Он рассказал ей о Баррио и де Седегуи, о том, что сделала с ним бесчувственность, а когда закончил, Дебора заметила:

– Он прав. Мы создания силы. Но от нас ничего не зависит. Все контролирует Исагирре или кто там еще над ним.

– Возможно, – согласился Минголла. – Нами наверняка манипулируют. Но это не значит, что мы сами никогда не получим контроль. – Он положил автомат на землю и обнял Дебору. – Я все думаю о том, что говорил Нейт.

– О чем?

– О том, что они постоянно ошибаются, что они искусны, но небрежны. Все, что у них получается, получается случайно. Я и сам это замечал по тому, как все вышло в Баррио. Думал, прорвусь, у меня же все под контролем, а в конце концов вляпался и меня чуть не убили. Еще можно вспомнить, что они делали со мной. Исагирре вкатил ударную дозу, а потом переживал, что слишком много. Это у них в крови, такая безалаберность. Вертушка – отличный пример. Столько мудохаться с куском железа и ради чего? Смысла никакого, одни понты. Исагирре поигрался в бога. Эти люди веками сидят на своей дури, наверное она как-то на них повлияла. Они сильные, но силу свою постоянно прохлопывают. И если мы будем смотреть по сторонам, никому не верить, кроме самих себя, то, может, у нас и получится их поймать. Может, мы и есть их главный прокол. Такое у меня чувство.

Дебора молчала.

– Правда, – сказал он. – Это не домыслы.

– А я не хочу, чтобы они прохлопывали, – сказала Дебора. – Я хочу, чтобы из-за них тут хоть что-то изменилось.

– Ты хочешь сказать...

– Мне плевать, кто и чем там у них заправляет, – продолжала она. – До тех пор, пока это не Американская торгово-промышленная палата в Гватемала-Сити. И не «Юнайтед Фрут», и не «Стэндард Фрут», и не «Банко Американо Десаролло». Или еще какая американская компания. Если Ис-

агирре против них, то я буду работать на него.

Она словно отбросила уныние и готова была всерьез рассердиться. Минголле не хотелось спорить.

– Ага, пусть... ладно. Только давай все ж поосторожнее, хорошо? Давай не будем доверять тем, кого не знаем. Договорились?

– Договорились, – согласилась Дебора. – Но кому-то рано или поздно доверять придется, и пусть это будут люди Исагирре.

Звездный свет блестел в реке, очерчивал вихрение воронок. Ветер разогнал комаров, и Дебора с Минголлой растелили спальные мешки рядом с палаткой. Вблизи лицо Деборы казалось мягким, почти как у девочки, он коснулся ее груди, и она задышала ему в щеку горячо и часто. Но, несмотря на близость, он чувствовал, что отдаляется от нее, – наверное, слишком много думал о предстоящем путешествии и не мог забыться; он изучал ее груди, бедра, вагину, пытаясь через знание тела познать ум и душу, найти какую-то такую выпуклость, которая успокоила бы его растрепанные нервы, объяснила бы и оправдала тот риск, на который он шел ради этой женщины. Добился он, однако, всего лишь возбуждения. Кожа ее была на ощупь как звездный свет, гладкой и затянутой прохладной пленкой. Минголла опустился ниже и оказался между длинных бедер, Дебора выгнула шею, всмотрелась в небо и выкрикнула:

– Боже! – словно увидела там чье-то непостижимое при-

существование.

Но Минголла знал, к кому был на самом деле обращен ее крик. К охватившему их теплу и слабости. К тому, что из страха и надежды творило желание. К бездумному, самопоклоняющемуся существу, в которое они превратились вдвоем со всеми своими бедрами, губами и сердцами. И оно было Богом.

Через дебри

*Люди в этих местах – трава.
Томас де Куинси*

Глава двенадцатая

Рэй Баррос – плохой человек. В Ливингстоне это вам подтвердит кто угодно. Посудите сами, говорят люди, он сплошь и рядом вешает на себя часы и цепочки, которые раньше видели на его пассажирах. Посудите сами: когда его жена была на сносях, она как-то раз отправилась вместе с ним в путь, а вернулась без живота и без младенца. Не потому ли, что Рэй, которому вечно не хватает терпения на слабых и немощных, счел ребенка досадной помехой и выкинул его вон? И не потому ли вскоре после этого жена бросила его и перебралась к родным в Пуэрто-Барриос?

А посмотрите на бабу, с которой он с тех пор путается, – она же шлюха, вместо глаза у нее странная роза, наделенная волшебной силой. А коль вы еще не поняли, что это за злыдень, – поглядите, что он возит. Кокаин, дезертиров, антиквариат. Нет, сказали Минголле люди, лучше бы тебе поискать другую лодку... хотя на чем еще доберешься до Панамы, кроме как на «Энсорселите», и бог знает, когда будет

другая оказия. Может, сеньору лучше вообще переменить свои планы.

Предостерегавшие Минголлу мужчины и женщины были карибцами, обитали в белых каситах, купались в многоярусном водопаде, что сбегал с зеленого холма неподалеку от города, и их мирная жизнь в столь тесной близости от зоны боев лучше всего доказывала искусственность этой войны. С их слов Минголлу нарисовал себе портрет пирата Рэя Барроса – седоватого человека с золотыми зубами, покрытого шрамами и татуировкой, а ветхое рыбацье корыто «Энсорселита» неплохо подходило именно такому персонажу: сорокафутовая, с темно-зеленым корпусом лодка, под палубу втиснуты четыре каюты, в корме охлажденный трюм. Ходовую рубку, перекошенную больше, чем надо, градусов на пять, не красили уже много лет, но из-за остатков желтых пятен она казалась издали покрытой веселым горошком. На палубе валялись тряпки, масляные железяки, мотки веревки, дырявые бензиновые канистры, а доски были усыпаны пятнами сухой гнили. Однако с неряшливым видом лодки сочетался характер Рэя, но никак не внешность. В этом долговязом узкогрудом человеке немногим моложе тридцати лет, с модно подстриженными черными волосами, плоско ложившимися на затылок, и длинным лошадиным лицом чувствовалась, несмотря на простоватость, порода и что-то очень для Минголлы знакомое. Возможно, думал он, довольно привлекательное лицо напоминает ему придворные портреты Гойи –

длинноносых, тонкогубых герцогов и маркизов.

В лодку они погрузились утром, – холодным пасмурным утром, когда по морю ползли клочья тумана; Рэй встретил их у причала изысканным поклоном, но тут же все испортил ворчливым приветствием.

– Я же сказал – в семь, – ругнулся он. – Ты что себе думаешь, мужик? У меня что, такси? Пассажир, блядь, вас уже битый час дожидается.

Не успел Минголла спросить, что еще за пассажир, как из-за рубки с довольным видом показался черный великан. Седые прожилки в курчавых волосах, красная бейсбольная кепка, джинсы и футболка, плотно обтягивавшая мускулы на груди и руках. Над глазом розовый крючковатый шрам. Минголла сперва не поверил, что это действительно Тулли, но в следующий миг выхватил из-под рубашки пистолет.

– А ну убери это сучье говно! – Рэй попятился.

Тулли и бровью не повел.

– Суров ты, Дэви. Да и с нутра силен. А это, как я погляжу, – он окинул взглядом Дебору, – Чифуэнтес и есть, ага? С виду ничего, друг.

– Что ты тут делаешь? – спросил Минголла.

– То же, что и ты, друг. Панама! – В устах Тулли это слово отозвалось окликом судьбы и великими подвигами в самом ближайшем будущем. – Прибавил два и два, и вышла Панама.

Рэй тем временем допятился до рубки и уже собирался

проскользнуть внутрь, но Минголла приказал ему стоять на месте.

– Кто это? – спросила Дебора, в ее руке тоже был пистолет.

– Неужто Дэви не говорил тебе про Тулли Эбанкаса?

Он шагнул вперед, и Минголла сунул пистолет за пояс, решив, что оружие не понадобится.

– Не дури, Тулли, – сказал он. – Я с тобой справлюсь.

– А то я не знаю, Дэви. Кто говорил, что из тебя выйдет толк? Знаешь, сколько я ждал этой минуты? Я за тебя, друг.

– Угу, само собой.

Рэй снова полез в рубку, но Минголла опять его остановил.

– Пора запускать эту херовину, – сказал Рэй. – Если вам, козлам, охота друг друга перестрелять, перестреливайтесь. Меня сейчас больше туман заботит.

Он нырнул в дверь, и через минуту послышалось урчание, корпус затрясся, а труба изрыгнула черный дым.

– Будешь в меня стрелять, Дэви? – спросил Тулли и ухмыльнулся.

– Могу, – ответил Минголла. – Зачем тебе в Панаму?

– А куда ж еще? Дурак был, что сразу не допер.

– До чего?

– До того, про что слышал. Мало, что ль, Исагирре болтал, да и все остальные тоже. А потом вдруг сложилось.

Пробравшись сквозь завалы на палубе, Минголла остановился на расстоянии вытянутой руки от Тулли. Тот усмехал-

ся ему сверху вниз, морщинистое лицо казалось тяжелым, как у идола. Улыбка растаяла, когда Минголла надавил на его сознание и, пробив защиту, настроил на честность. Снова спросил, зачем Тулли понадобилась Панама, и тот выдал ему обрывки историй, догадок, намеков и подслушанных разговоров – всего того, что привело его туда же, куда и Минголлу с Деборой.

– Охуеть! – воскликнул в конце концов Тулли и с благоговением уставился на Минголлу. – Где это ты так насобачился?

– Тренировка, – ответил Минголла.

Из частогокола Туллиного сознания он вычленил жадность и волю, а под ними – незамутненное добродушие, ослабленное, правда, препаратами и силой. Он решил, что Тулли можно доверять, но в своих чувствах к нему разобраться не мог: тонкий слой дружбы прикрывал вражду.

– Слушай, Дэви, – заговорщицки произнес Тулли, – нам бы потолковать, а? Прикинуть, как быть с Панамой. Думается мне, там несладко. Пожалуй, мы друг другу пригодимся.

– Поговорим, только после. – Он повернулся к Деборе. – Все в порядке, это мой бывший тренер.

Опустив пистолет в сумку, Дебора одарила Тулли подозрительным взглядом и шагнула вперед. Оставляя за кормой Ливингстон, «Энсорселита» тряслась и раскачивалась на серой зяби.

– Ненавижу это гребаное море. – Тулли взгляделся в гори-

зонт. – Ненавижу! – Он подвинулся к Минголлу и обнял его за плечи. – Давненько не видались, а, Дэви?

Минголла буркнул что-то согласительное, но руку убрал.

– О чем ты хотел говорить?

– Ну... – Тулли оперся на поручни и сурово произнес: – Для начала, может, растолкуешь, что ты натворил с моей Ли-забет?

Минголла не сразу вспомнил это имя.

– А, да... Не знаю, старик. Совсем тогда был в раздрае. Извини.

– Бля, девка месяц по тебе ревела.

– Я же сказал, извини, – разозлился Минголла. – Что мне теперь делать – переться на остров и вправлять ей мозги?

– Это я и сам могу. Но решил пока не трогать... другие мудаки зато не полезут, все польза. Любопытно просто – совесть не мучает?

– Не особо, – ответил Минголла. – Других забот хватает.

– Тебя еще тогда тянуло на крутняк, – сказал Тулли. – А теперь смотрю, ты и вправду крут. Но кой-чего доброго в тебе есть, друг. Я-то вижу.

– Оставь в покое мою душу, старик. Скажи лучше, что у тебя на уме... что-то ведь задумал, а?

Из рубки вышел Рэй и встал рядом с Деборой, которая смотрела сейчас назад, на удалявшийся город.

– Кой-чего есть, – согласился Тулли. – Мне довелось пару месяцев пробыть в Панаме, когда еще рыбачил. Маленько

я эту страну знаю. Ежели припечет, есть у меня в Дарьенах местечко. В самый раз, чтобы схорониться.

Рэй что-то говорил, размахивая руками, как вдруг задел грудь Деборы – та отшатнулась.

Толкнув Тулли плечом и расшвыривая по сторонам мусор, Минголла зашагал к Рэю.

– Держи свои гребаные руки при себе, понял!

– Он не нарочно, Дэвид. – Дебора встала между ними, Рэй усмехнулся и пожал плечами.

– Не кипятись, *hombre*, – сказал он. – У меня своя баба есть... Эй, Корасон! Поди сюда!

Из ведущего к каютам люка показалась женская голова. Рэй поманил, и женщина выбралась на палубу. Она была полновата, но вполне привлекательна: по-индейски смуглая, с обычными для метисов чертами лица, длинные волосы заплетены в косу. От Корасон исходил довольно сильный психотический жар, а место левого глаза занимала голограмма, изображавшая покрытую росой розу на черном беззвездном небе.

– Видишь, – сказал Рэй. – Есть кого потискать. – Он махнул ей пальцем. – Расстегнись.

Корасон опустила глаза и начала расстегивать блузку.

– Не надо, – сказал Минголла. Она не остановилась.

– Своей бабой командуй, – огрызнулся Рэй, – а не моей.

Из расстегнутой блузки вывалились тяжелые груди.

– Пошли отсюда. – Минголла подтолкнул Дебору к люку.

За спиной у него раздался насмешливый голос Рэя:

– Ты куда, мужик, а то, может, пощупаешь? Много теряешь!

Они плыли вдоль берега, прячась от патрулировавших в открытом море военных. Было пасмурно, а когда сквозь облака все же проглядывало солнце, его бледный свет размазывался по морю плоским однообразным блеском, так что казалось, будто лодка ползет по океану свежей серой краски. Монотонность путешествия нарушали разве что постоянные приставания Рэя к Деборе. Стоило ей появиться на палубе, как тот, буквально прижав Дебору к поручням, принимался пичкать ее доказательствам и своего революционного пыла, а также рассказами о совершенных во имя этой самой революции гадостей. Минголла как-то предложил покончить с подобной дурью раз и навсегда, но Дебора ответила:

– Он грубый, но безобидный. И на самом деле не так уж плох. В политике он, по крайней мере, искренен.

Реакция показалась Минголле странной – меньше всего Рэю подходило слово «искренность», и, кроме всего прочего, он совершенно возмутительно вел себя с Корасон.

В тот первый день женщина показалась Минголле более чем симпатичной, но из этого требовалось вычесть ее экзотическую побрякушку. Все смотрели сперва на глаз Корасон и только потом на нее саму, а потому сюрреалистическая красота розы как бы призывала считать красивой и ее хозяй-

ку, хотя на самом деле та была вполне обыкновенной. Второе впечатление подкреплялось собачьей покорностью, с которой она сносила любые выходки Рэя. Однажды, например, он заставил ее надеть черные лодочки, вечернее платье, соорудить на голове высокую прическу, заколоть волосы переливающимися шпильками, похожими на букетики цветов, и отправил в таком виде драить палубу; эта работа заняла у Корасон почти всю ночь и превратила ее наряд в тряпки. Ходила она всегда с опущенной головой, почти ни с кем не разговаривала и вздрагивала, услышав шаги Рэя.

Но однажды, когда Минголла спускался по лестнице к себе в каюту, он услышал голос Корасон из-за приоткрытой на дюйм двери Тулли.

– Ничо я не чувствую, – говорила она.

– Какой черт, ничего! – сердился Тулли. – За дурака-то меня не держи.

Через дверную щель Минголла увидел, как Корасон стоит в одних трусах перед койкой Тулли. В розе на ее глазу отражался свет фонаря.

– А зачем тебе мои чувства? – спросила она. – Никому они не нужны. Ничего я не хочу.

– Херня, – сказал Тулли. – Это Рэю только того от тебя и надо... тащится он. А ты, видать, думаешь, что так и правильно; почему – не знаю.

– Я пошла. – Она натянула блузку.

Тулли – безнадежно:

– Еще придешь?

Не дожидаясь ответа, Минголла нырнул в пустую соседнюю каюту. Когда шаги Корасон затихли, он вышел оттуда и толкнул Туллину дверь.

– С огнем играешь, старик, – сказал он. – Не хватало нам только сцепиться с Рэем.

– Не сцепимся. – Тулли растянулся на койке. – А если что, вправим ему мозги – всего-то делов.

– Что-то мне неохота копатья у человека в мозгах, пока он плывет через рифы, – сказал Минголла.

– Не дергайся. – Тулли тяжело и жалобно вздохнул. – Он в курсе про меня и Корасон. Если хочешь знать, это вообще была его идея. Тащится, когда она рассказывает, как ей с другими мужиками. – Тулли ткнул кулаком матрас.

– В чем дело?

Морщины на его лице стали глубже, словно кожа пошла трещинами.

– Мудак я, – проговорил он. – Сохнуть по кривоглазой дуре – в мои-то годы... тем более самой-то ей даже до себя дела нет. – Он несколько раз напряг и расслабил руку, наблюдая за игрой мышц. – Нравится бабе думать, будто она бревно. Но, черт побери, я-то вижу – проняло ее, только говорить не хочет.

– Может, она и вправду чурбан, – предположил Минголла. – А ты просто морочишь самому себе голову.

– Не, все с ней нормально. Только стыдится. Чертовы ба-

бы, знают, что в их чувствах вся сила, вот и выебываются. И так повертят, и сяк, пока мужик совсем не присохнет. – Он снова стукнул по матрасу. – Убей, не пойму, зачем ей это.

– Рэй, наверное, постарался.

– Не похоже. Баба прошла через терапию, на хрена ей гнуться перед Рэем. Не-е-е... Сдается мне, она давно такая. – Тулли поднес кулак к свету и оглядел его со всех сторон: алхимик так изучал бы странный корень в лучах перегонного куба. – Да, друг, с этим сукиным сыном я бы не прочь повозиться минут эдак пять.

– Не стоит, неумно это, – сказал Минголла. – Он нам еще пригодится.

– Толку-то от твоего ума. – Тулли сердито глянул на Минголла. – Очень умно было связываться с этой твоей Чифуэнтес. Думаешь, у тебя от нее крыша не едет?

– Она-то здесь при чем?

– При том, что Рэй по ней сохнет.

– Клеится, а не сохнет.

– А Корасон говорит, сохнет, сам не свой, говорит, мужик.

– Значит, не повезло.

Тулли фыркнул и уставился в потолок.

– Блядь, Дэви, тебя еще учить и учить.

Минголла присел на край койки.

– Расскажи про Панаму, старик. Что ты там говорил за место?

– Успеется.

– А сейчас ты что, занят... желчь копишь?

Пару секунд Тулли молчал, потом сел.

– Твоя правда. Ладно, слушай. В Дарьенских горах есть деревня, Трес-Сантос называется. Смотри... – Он стянул со столика карандаш и бумагу. – Вот тебе карта. – Рисуя, он продолжал рассказывать: – Четыре-пять часов от Панама-Сити... если только тумана не будет. В тумане хоть неделю ползи. Можно вдоль океана, и тогда попадешь в Трес-Сантос с запада. Там туманов меньше.

– И что за деревня? – спросил Минголла.

– Ничего, индейцы. Но если в Панама-Сити ебнет, делать ноги лучше всего из Трес-Сантос.

– Бля, они ж там найдут кого угодно.

– Точняк... С воздуха. Но оттуда в лес идет тропа. В лесу, правда, тоже долго не высидишь. Однако ж следы заметить можно. Индейцы подсобят, если скажешь им про меня. Покажут кой-какие тропки, и кто б за тобой ни гнался, пока собаки возьмут след, будешь уже далеко. – Он поднял бумагу и внимательно на нее посмотрел. – Держи, пригодится, в Панаме, вообще-то, херово.

Минголла сунул листок в карман рубашки.

– Как же тебя занесло в те горы? Вроде рыбачил.

– Рыбачил, это верно... только командовал моей рыбалкой один недоебыш, который только фуражку и успел на себя напялить. Как пришли в Колон, так я и через борт, еще мотор не заглушили. Тоже было весело. Дикая эти Дарьены.

– В смысле?

– Дикость там кругом, но тот лес – это вообще ни на что не похоже. – Тулли заложил руки за голову. – В горах есть деревни, там солнце вообще не показывается... даже в самые ясные дни все равно туман, а воздух с виду такой, будто атомы плавают и блестят, знаешь. А когда человек идет тебе навстречу, у него туман заворачивается вокруг головы, да еще солнце – ну точно нимб, – можно подумать, Иисус явился. И тишина. Туман приглушает звуки, никогда не поймешь, что далеко, а что близко. Как будто там все из тумана, а расстояния меняются. Крылья хлопают, а видно только тени, и джунгли как будто шевелятся, медленно так, лианы выгибаются и закручиваются, ну точно змеи. И брухо. Ведьмаки. По ночам костры палят, сами по себе, на высоких местах видно. И слышно, как бормочут. А когда замолкают, может явиться черная собака – прется через всю деревню, она ничья вообще-то, но ежели глянешь ей в глаза, колдовать научишься.

Тулли говорил, и на Минголлу все сильнее наваливалась холодная тяжесть; он не хотел этого признавать и лишь заметил, что место, должно быть, интересное.

– Это да. Но я не потому с тобой толкую. – Тулли оперся на локоть и уставился на Минголлу. – Есть у меня чувство, что когда-нибудь ты туда соберешься, потому и даю тебе эту карту.

– Может, и загляну, – сказал Минголла подчеркнуто безразлично.

– Я не про то, Дэви, – поправил его Тулли. – Ты знаешь, о чем я. Точно ведь вижу – соберешься.

Только через неделю плавания Минголла во второй раз заговорил с Рэем. Дебора загорала под просочившимися сквозь облака бледными лучами солнца, Минголла сидел с ней рядом, разглядывая черно-зеленую полосу гондурасского берега, когда из рубки вышел Рэй, в руках мини-кассетник, уселся под дверь, закурил сигарету и включил магнитофон. Музыка была негромкой, но Минголла сразу узнал ритмы Праулера и характерный вокал Джека Леско. Он потихоньку подвинулся вдоль поручня на двадцать футов и, притворяясь, что изучает берег, с удовольствием посреди этой чужеродной пустоты вслушался в знакомые мелодии:

...ад харкнул в небо багровой
плошкой опухшей луны,
И я увидал, как дал деру мой друг Рико,
Но он уже не был мне другом: с него
причиталась двадцатка.

Я орал ему вслед, все звенело вокруг,
мы неслись без оглядки...

Прочь от электросолнца, сиявшего воплем неона:
«Круглосуточно! Голые девочки! Девочки! Девочки!
О, йе-е-е... Круглые сутки...»

– Нравится музыка, мужик? – Рэй приглушил звук. – Мне нравится.

Минголла сказал, что музыка ничего.

– Спорим, маленькой леди тоже понравится. Может, позвать – пускай послушает. Чего-то она загрустила. Спорим, развеселится.

– Сомневаюсь. – Минголла перевел на Рэя злобный взгляд.

– Дебора, да, хорошенькая маленькая леди, – увлеченно продолжал Рэй. – Очень хорошенькая! Говорит, у вас любовь, но я-то знаю, сколько дерьма надо перемолоть, пока они повалятся на спину.

Минголла посмотрел на него еще злее, но промолчал.

– Любовь! – Рэй хмыкнул и швырнул окурок в море, затем, прикрыв глаза от солнца, посмотрел на Дебору. – Да уж, хороша. Точно, старик, я такое нечасто говорю. Что-то у меня к ней неровно дышится. Вот и думаю: а что, если старина Рэй заставит ее маленько улыбнуться.

– Пока ты только скуку на нее нагоняешь.

– Значит, надо постараться. – Он покосился на Минголлу. – Знаешь что – давай махнемся, а? Ночью я пришлю к тебе в каюту Корасон, а ты дай мне разобраться с маленькой леди.

Минголле стало противно, и он отвернулся.

– Ты чего, я дело говорю, мужик, – не унимался Рэй. – Моя Корасон такие штуки умеет, охуеть, – поставишь на пистолете зарубку.

Минголла вдруг вспомнил, что давно хотел спросить Рэя

об одной вещи.

– Ты не помнишь парня по фамилии Джилби? – сказал он. – Невысокий, белобрысый, примерно мой ровесник. Ты должен был его возить месяцев восемь-девять назад.

– Джилби? – переспросил Рэй. – Не-а.

Минголла всмотрелся ему в лицо – не врет ли.

– Ты бы его запомнил. Угрюмый такой, знаешь... с ним хреново. Если что, долго разбираться не будет.

– Ты что, думаешь, – с угрозой произнес Рэй, – я его за борт спихнул?

– А что, не спихивал?

– Наслушался в Ливингстоне сраных мандавошек. – Рэй поднялся на ноги и встал в позу оскорбленной добродетели. – Вот что, дружок. Я тебе не ангел, я, блядь, вор! Но я кидаю за борт только тех, кто сам напрашивается.

– Может, Джилби и напросился.

– Тогда б я его запомнил.

– А как насчет ребенка – ребеночка своего не забыл?

Рэй плюнул Минголле под ноги.

– Мой ребенок родился мертвым, мужик. Я его выкинул, потому что баба совсем не своя стала.

– Это ты сейчас так говоришь.

– Да, говорю. Наслушался козлов из Ливингстона – что они знают про Рэя Барроса? Сколько я отпахал на благое дело? Чуть жопу не порвал, у самих небось кишка тонка.

– Неужели?

– А ты думал! – Рэй придвинулся к Минголле и выпятил грудь. – Что ты, ебанный гринго, в этом понимаешь? Ты...

Минголла толкнул его.

– Откуда ты знаешь, что я американец?

Рэй ухмыльнулся:

– Дебора и рассказала.

– Не пизди, – сказал Минголла. – Говори, откуда?

– Ха! Ебанных гринго Рэй Баррос нюхом чует. Тебя клево подмазали, мужик, и пиздеть научили... но ходишь ты, как гринго, повадки у тебя, как у гринго, и несешь ты такую же хуйню, как все гринго. И вдобавок не сечешь, как мы тут кровь за народ проливаем. За попов, убийц, какая, на хуй, разница. – Он погрозил кулаком солнцу. – *La Violencia!*²⁰ Знаешь, что я тебе скажу, мужик? Эта война не кончится, пока не победим мы.

Сам того не желая, Минголла оценил его страстность – вроде бы тут все было честно.

– Ни хуя ты не въезжаешь, гринго! – продолжал Рэй. – Потому-то мы с маленькой леди как пить дать столкуемся. В душе она знает, что я ее пойму.

Пора, решил Минголла, поставить его на место.

– Ты много говоришь, старик. Это хорошо. Кто много говорит, того на большее и не хватает.

Рэй потер подбородок, длинное лицо приняло задумчивый вид.

²⁰ Нападение, насилие, сила. (исп.)

– Хочешь сказать, что ты крепче меня?

– Само собой. А еще знаешь что? – Минголла показал на Дебору. – Она тоже крепче. У тебя нет шансов, бобик. Хотя можешь, конечно, попробовать.

Плечи у Рэя напряглись, словно он собрался броситься в драку, но потом, похоже, передумал. Подтянул штаны, зыркнул на Минголлу и ушел в рубку. Минголла поднял каскетник и показал его Рэю, но тот смотрел в сторону, слишком занятый штурвалом. Тогда Минголла прошагал к корме, подкрутив по пути регулятор, чтобы баллада звучала громче.

Приходи ко мне, девочка, жить...

Где ж ты лучшее место найдешь.

Ты зависла на старом дерьме,

А душа, она нового ждет.

Послушай, пластинка игра-а-ает,

И поет он, девчонка, послушай

Не про нас, моя крошка, совсем не про нас.

Но хоть ты и твердишь мне, что кончено все,

Это, знаешь, ведь как посмотреть:

Стоит только в глаза мне тебе посмотреть,

Я все знаю и вижу насквозь...

НЕ СКРЫТЬ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ СВОЮ!

НЕ СКРЫТЬ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ СВОЮ!

Сбежишь, быть может, но

НЕ СКРЫТЬ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ СВОЮ!

Тебя я раскусил, моя леди...

– Что это? – Дебора нахмурилась и кивнула на кассетник, когда Минголла сел рядом.

– Праулер... Нравится?

– Ничего.

– Это старое, – сказал он. – Года четыре или пять назад. Для него нетипично. Обычно у них темп поживее. Сейчас еще что-нибудь найду.

– Не надо, мне уже нравится. – Она прижалась к Минголлу.

...Какой-то незнакомец

сидит в тоске,

продулся в солитер, он хлещет джин, и ему плохо без тебя.

Неужто ты не видишь, что там в себе,

он ловит этот отблеск в твоих глазах,

и что-то тебе мнится, правда,

когда ты смотришь на него...

– О чем вы там говорили с Рэем? – спросила Дебора.

– Ни о чем.

– У тебя был сердитый голос.

– Он мудака.

...Он не верит в судьбу,

так легко победить в солитер,

даму червей положи
на бубновый туз,
так чего же ты ждешь, все равно...
НЕ СКРЫТЬ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ СВОЮ!

Деборины волосы трепались у Минголлинаго лица, он словно вдыхал и выдыхал ее запах в такт качанию «Энсорселиты». По волнам плыли водоросли – длинные густые красно-коричневые бороды с черными, похожими на бобы семенами. Солнце пробивало облака серебряными клиньями, над берегом кружила темная птица, потом она спикировала и исчезла среди пальм.

- Похоже, так и есть, – сказала Дебора.
- Что?
- Рэй... мудака. Но я все равно вижу, что он не со зла.
- Если человек мудака, то это уже не важно.

Решайся, девчонка!
Поищи в сердце силы
на последний шанс,
вдруг найдется мир,
где мы сможем жить
и не глядеть назад.
Может, я мечтатель, может, я дура-а-ак
или просто одинока,
но вдруг я знаю ответ
на все те вопросы, что мучат тебя...
Ты только спроси...

Высунув голову из рубки, Рэй злобно смотрел на них, длинное худое лицо его казалось жестоким символом, напоминанием обо всех тех испытаниях, что уже были и будут впереди, но Минголла чувствовал себя сейчас настолько хорошо, настолько далеко от полного катастроф и лишений мира, что, не переставая думать о том, какотреагирует на это Рэй, он ухмыльнулся и приветливо помахал ему рукой.

Наутро их остановил патруль, но проверка оказалась ерундовой. Рэй заплатил положенную мзду, и они снова поплыли вдоль Гондурасского шельфа. Тем не менее весь следующий день они простояли в глубокой бухте на якоре, и Рэй сообщил, что какое-то время они будут плыть только ночами, – в этой части Гондураса он числился в розыске и не хотел попадаться на глаза ополчению. Он все так же крутился вокруг Деборы, правда, вел себя осмотрительнее, но Минголла видел, что ухлестывал он теперь за ней настойчивее и самозабвеннее. Приглядевшись повнимательнее, а также поразмыслив над случайными словами Деборы, которые пересказал ему Тулли, Минголла решил, что все дело в их с Рэем неприязни: злоба обострила чувства, к ним добавилось сознательное решение, и вот простая похоть поднимается до настоящей одержимости, словно сама мысль о недоступности подпитывала Рэеву страсть.

Чтобы не попадаться ему на глаза, они с Деборой все боль-

ше сидели у себя в каюте и все сильнее втягивались в пылкий мысленный контакт. Все указывало на то, что сила их по-прежнему растет, но Минголла знал это и без всяких доказательств. Однажды ночью он стоял на носу лодки и любовался на дорожку из жидкого золота, прочерченную по черной воде к только что взошедшей луне, как вдруг почувствовал то же, что и на берегу реки последним вечером в огневом квадрате «Изумруд»: он может заглянуть за горизонт и ухватить суть будущего; теперь это чувство было поразительно ясным, и Минголла знал, что стоит сделать легкое усилие, и он соскользнет в новое видение. Но он боялся видений, боялся пророчеств. Хотелось жить в этом растянутом океанском мгновении, никогда никуда не приплывать, а потому он даже не пытался проверить свою силу.

Проводя столько времени вдвоем, они все лучше и лучше понимали друг друга. Минголла и раньше чувствовал в Деборе сложную натуру, теперь же он ясно видел, как оборвала ее рост война и вся сложность вылилась в простую революционную прагматику; бунтарский дух делал из нее ребенка, обожающего делить все, что происходило вокруг, на примитивные категории: белое и черное, за и против, – и будет или нет она расти дальше, зависело теперь от того, насколько затянется этот противоестественный выверт естественного процесса. Что-то похожее он ощущал и в себе, но собственные изменения виделись ему не такими резкими, они скорее напоминали ограничители роста – так японские садовники

сгибают ветви деревьев, заставляя их перекашиваться в нужные стороны.

В каюте остро пахло бензином, и слышно было, как бьются о борт волны. Там стояло две койки, света не было, и теснота с темнотой лишь усиливала близость. Однажды ночью они лежали на боку, как две ложки, – Деборины ягодицы у Минголлы на бедрах; он начал поворачивать ее на живот, чтобы войти сзади, как вдруг в голове раздался пронзительный выкрик: «Нет!» Он услышал его совершенно ясно, интонация была Деборина. Послание было настолько отчетливым и властным, что он ответил тем же способом: «Что? Что не так?»

– Я тебя слышала, – сказала Дебора, поворачиваясь к нему лицом.

– И я тебя. Давай еще раз.

Через несколько минут они сдались.

– Может, ничего и не было, – сказала она.

– Было и будет еще. Только не надо давить.

Тарахтение мотора, удары волн раскачивали корпус. Дебора прижалась крепче, и он обнял ее одной рукой.

– А что все-таки случилось? – спросил Минголла. – Я сделал что-то не так?

– Ерунда.

– Если ты не хочешь говорить...

– Нет, дело не в этом. Просто у нас все так хорошо, что я боюсь ворошить прошлое.

Двигатель сорвался в натужное ворчание, что-то прокричал Рэй.

– А может, лучше рассказать, – проговорила она. – Может, ты поймешь, почему я так дичилась в самом начале.

– В «Изумруде»?

– Да... Понимаешь, я не хотела, чтобы у нас все выходило как сейчас, было много причин, и одна – я боялась, что ничего хорошего не получится.

– Ты про секс?

Она кивнула.

– Мне никогда не было хорошо, и я думала, что изменить это уже невозможно, даже с тем, кого любишь. Но вот теперь хорошо, и я все время боюсь, что это когда-нибудь кончится.

– Почему?

– Слишком безупречно... то, как тыходишь в меня, как прикасаешься. А раньше... наоборот. – Она смущенно отвернулась. – Когда нас потащили на допрос... правительство...

– Твоих родных?

– Да. – Она вздохнула. – Когда нас посадили, я знала, что меня изнасилуют. Они всегда так делали. Я была к этому готова, но шли дни, ничего не было, и я боялась все сильнее. Думала, они берегут меня для чего-то особенного, для чего-то совсем жуткого. Наконец появился этот человек. Майор Армагуэль. Он был очень молод для майора и вполне неплохо выглядел. Говорил вежливо, мягко. Я даже стала на

что-то надеяться. Сказал, что ходатайствовал перед властями и заберет меня из тюрьмы, как только я соглашусь сотрудничать. Я была уверена, что сотрудничество означает и секс тоже, но мне уже стало все равно. Тюрьма – это ужасно. Женщины все время орут, мимо камер таскают трупы. И потом я подумала, что если выберусь оттуда, то вдруг как-то смогу помочь своим. Я ответила ему: да, все, что угодно. Он улыбнулся и сказал, что ничего особенного от меня не потребуется, что его поручения будут несложными, хотя и необычными. Просто канцелярская работа.

Дебора устало рассмеялась и взбила под головой подушку.

– Был конец недели, его дежурство заканчивалось, и он повез меня к себе домой. Шикарный дом в Первой зоне, рядом с большими отелями. Бассейн, горничные. На втором этаже он устроил для меня комнату, и я думала, он придет ночью. Ничего подобного. Мы поужинали, потом он сказал, что должен разобраться с бумагами, а мне предложил пойти спать. И так все выходные. Как будто я у него в гостях. Подумывала о том, чтобы сбежать, но участок сторожили собаки, и я все еще надеялась как-то помочь родным... хотя надежды оставалось совсем мало. – Она запнулась, потом заговорила все так же ровно. – В понедельник утром он повез меня к себе на работу. Он служил в ВВС, и кабинет у него был в аэропорту. Ты хорошо ориентируешься в Гватемала-Сити?

– Не очень.

– Напротив гражданского там есть маленький военный

аэропорт, в нем и был кабинет. Целое утро я сидела в приемной вместе с его адъютантом и разглядывала стены. Около полудня адъютант принес мне сэндвич и бутылку содовой. Я съела все это и опять стала ждать. В голову пришло, что, может, майору просто понадобилось, чтобы в приемной сидела симпатичная девушка. Потом часа в два он появился в дверях и сказал: «Дебора, ты мне нужна». Как будто я его секретарша и он собирается мне что-то диктовать. Я вошла в кабинет, и он приказал мне снять трусы. Все так же вежливо. С улыбкой. Мне стало страшно, но говорю же, я была готова ко всему, а потому сделала, как он сказал. Он велел мне встать на четвереньки рядом со столом. Я встала. Кажется, выкатилась пара слезинок, но я справилась. Он достал из ящика тубик, крем, что ли, и... смазал, в общем. Это было хуже всего. Потом спустил штаны и вошел в меня сзади, как ты...

– Прости, – сказал Минголла. – Я не знал...

– Нет, нет! – Дебора замахала руками, нашла его лицо, сжала. – Иногда мне хочется, чтобы ты так делал, но... – Она опять вздохнула. – Лучше я расскажу до конца.

– Хорошо.

– Я думала, он будет груб. Не знаю почему. Наверное, решила, что он так хорошо со мной обращался только для того, чтобы одурачить, а потом застать врасплох. Но ничего подобного. Долгое время он вообще не двигался. Просто стоял на коленях и держал меня за бедра. На столе у него была бу-

тылка виски, и через пару минут он к ней приложился. Затем подвигался, но всего несколько раз. Опять выпил, опять подвигался. И так примерно полчаса. Потом кто-то постучал. Майор крикнул, чтобы заходили. Это был другой офицер. Он посмотрел на меня, но, кажется, ничуть не удивился. А после вообще не обращал внимания, они говорили с майором о делах. Что-то там про расписание, и он ушел. Так продолжалось всю вторую половину дня. Майор прикладывался, пару раз двигался, занимался делами. В конце дня он вытащил член и занялся мастурбацией. Не сказал, чтобы я смотрела, ему вообще было все равно, чем я занята. Кончил и вытер тряпкой. Отвез меня домой и в этот вечер опять вел себя так, словно я у него в гостях.

Минголла положил голову Деборе на плечо, ему очень хотелось избавить ее от этих воспоминаний.

– То же происходило каждый рабочий день, – продолжала она. – Сначала я чуть ли не радовалась, что он не делает мне ничего плохого, но скоро... не знаю, как объяснить это чувство. Унижение оттого, что я для него просто мебель. Вина, потому что все оказалось не так страшно. Ощущение, что я не человек. Иногда я становилась противна самой себе из-за того, что мне недостаточно противно, а иногда мне почти нравилось. Временами казалось, будто я освобождаюсь, что, когда он во мне, я улетаю в другую вселенную, что я невидимка, совсем другая и ни на кого не похожая. Потом я стала думать, что скоро ему надоест, и он отправит меня обратно в

тюрьму. Помню, однажды, когда я об этом подумала, то стала – как будто это нормальные отношения – что-то делать, как-то двигаться... ты понимаешь, чтобы ему было лучше. Но он не захотел. Отчитал меня, велел стоять спокойно, а не то он меня накажет. Мое отношение к нему постоянно менялось. Туда и обратно. В один день мне становилось противно и хотелось его убить. А на следующий я была благодарна, что он уберег меня от чего-то худшего. На самом деле я почти мечтала о его кабинете, только там я была уверена, что нужна ему. За ужином мы с интересом разговаривали, я дарила ему подарки. Иногда я почти любила его. По крайней мере, это было очень похоже на любовь. Наверное, поэтому он в конце концов меня и отпустил, моя привязанность ему только мешала. Я была сама не своя, думала, вот-вот сорвусь, и зачем-то стала рассказывать ему о своих чувствах. Как бы хотела расширить нашу связь. Кажется, думала, вдруг ему будет интересно. Как исследователю, понимаешь. Обратит внимание на распад моей личности. Но ему было все равно. Бог знает, что ему вообще было интересно.

Она надолго замолчала, и Минголла спросил, что было дальше.

– Однажды я ждала его утром, но вместо этого пришли два солдата. Они повезли меня из города на север в сторону Антигуа. Я была уверена, что меня убьют, а тело выбросят в ущелье. Но они просто-напросто высадили на обочине. Я растерялась, не знала, что делать. Ходила взад-вперед, смея-

лась и плакала. Даже не поняла, что это была остановка, пока не подъехал автобус. Я села в него... а что еще оставалось делать. С тех пор я этого майора не видела. Через два года, уже после терапии, попробовала его разыскать. Оказалось, он погиб. Покушение.

– Ты хотела его убить?

– Что-то в этом роде, но не только. Я хотела понять, почему он так со мной обращался... дело ведь не только в его пороках, не в них одних. Сама не знаю, что бы я с ним сделала. Может, и убила бы... не знаю.

Мотор сбавил обороты, и стало слышно, как вокруг «Энсорселиты» плещется вода; Минголла был рад этому звуку – такое неожиданное вторжение позволяло молчать. Время шло, но они не говорили ни слова, только касались друг друга. Дебора дышала глубоко и ровно. Затем сказала:

– Давай трахаться.

– Я думал, ты спишь.

– Я спала... но мне приснилось, что мы трахаемся.

– А ты опять не заснешь?

– Не знаю. Попробовать-то можно.

Он притянул ее к себе, поцеловал. Сперва она отвечала нерешительно, видимо хотела увериться, что не боится воспоминаний. Вскоре, однако, отдалась ласкам. Но когда он вошел, она замерла неподвижно, и Минголла остановился.

– Я хочу, чтобы ты кончил, – сказала она.

– Ты же почти спишь.

– Нет, мне хорошо. Иногда лучше, когда не шевелюсь. Мне нравится.

Вопреки логике, он чувствовал, что улетает, отдаляется от Деборы, объяснить это было трудно, и Минголла встревожился, однако тревога улетучилась, стоило ему услышать в сознании Деборин голос.

Она уснула, и Минголла перевернулся на спину, прислушался к шуму мотора. Что-то его беспокоило, и он понял, что по-прежнему где-то далеко. Минголла знал, что надо всего лишь повернуться, обнять ее и все опять станет уютно и мирно. Но, зная это, он не шевелился. В голове вертелась мысль о том, что он как-то неправильно понимает эту женщину. Она его тоже. Они словно уворачивались друг от друга, и вся их честность – все эти внезапные исповеди и откровения – были просто дымовой завесой. Не то чтобы они лгали, скорее оформляли свои признания столь театрально, что те становились недоправдой, покровом истины, которую они не понимали сами. Так и есть, решил Минголла. Они слишком мало понимают самих себя, чтобы быть честными... а еще боятся понять. Самопознание – вещь не из приятных. Оглядываешься меньше чем на неделю назад и видишь, каким ты был идиотом. Например, в «Изумруде». Корчил из себя сперва дуболомного кретина, а потом помирающего от любви мудака. Хреново, кстати, корчил. И одному богу известно, какого идиота он корчит из себя сейчас. Минголла повернулся на бок, спиной к Деборе. Скорее все-

го, их проблемы начались еще с первой встречи – он почти всегда мог их отбросить, но что-то постоянно всплывало на поверхность, постоянно будило сомнения. Минголла вздохнул, вздох совпал с огромной волной, поднявшей «Энсорселиту» вверх, и на миг Минголла почувствовал, как это слияние волны и вдоха несет их по неподвластной гравитации дуге – изогнувшись над Панамой, она упирается в темную страну, где их ждут фигуры в балахонах и с горящими глазами. Он снова перевернулся на спину, Дебора пошевелилась и что-то пробормотала. Он хотел додумать, но мысль вдруг показалась ничтожной. Все ничтожно, и все не стоит ни гроша. Он еще долго лежал без сна, но так и не нашел ничего стоящего, о чем имело смысл думать.

На следующую ночь заглох мотор – как раз в тот миг, когда Рэй охмурил Дебору пылкостью своих революционных идей, а также доступом к секретным сведениям. Почти полная луна висела над самыми облаками, а лодка плыла так близко к берегу, что Минголла различал в серебряном свете кроны пальм. Рэй стоял, привалившись к дверям в рубку, внутри сквозь матовое отражение видна была у штурвала Корасон. Она повернулась к Минголле, и ее левый глаз вспыхнул красным светом. Минголла пытался прочесть у нее на лице хоть что-то, но Корасон выдержала его взгляд без намека на вызов, словно предоставляя возможность высматривать там все, что угодно.

– М-да, – говорил Рэй. – Мне без разницы: жива революция или умерла. Надо будет – я один начну все сначала, понятно? И потом, – он погрозил Деборе пальцем, – фиг ли ты все повторяешь одно и то же дерьмо про то, как все померло? Если померло, то за каким чертом тебя понесло в Панаму? Сбегаешь? Как бы не так! Сперва вы с этим янки лезете ко мне на борт, потом чуть не убиваете черномазого, а через минуту – глянь-ка, уже старые кореша. Херня какая-то. Есть у вас план, однако. Любому дураку видно. И что-то многовато в последнее время прется в Панаму козлов. Видать, там затевается крупное.

– С чего ты решил? – спросил Минголла.

– Говорю же, мудаки валом валят, и все какие-то странные. – Рэй выудил из нагрудного кармана сигарету. – Вот и хотелось бы знать, что ж там они затеяли.

– Сам не понимаешь, что говоришь, – проворчала Дебора. – Народ бежит в Панаму с первого дня войны.

– Не тот народ. – Рэй чиркнул спичкой, поджег сигарету. Затем отвернулся и выпустил дым, предоставив Деборе любоваться его четким профилем.

Каждым своим жестом, думал Минголла, этот человек выстраивает образ Романтического Контрабандиста, явно разыгрывает самоотверженного Зорро. Поза была комична, но Минголла все больше подозревал, что Рэй знал об этом и весь маскарад нужен ему для того, чтобы спрятать под ним истинную самоотверженность. Для фигляра, которого он тут

изображал, Рэй слишком долго проплавал в этих опасных водах, и Минголле все меньше нравился и сам этот человек, и его выходы.

– М-да... – Рэй постучал пальцем по носу. – Давно ведь чую, дело тут нечисто, да и слышал кое-что.

– Хуйню ты слышал, друг. – Сидевший на поручне Тулли повернул к ним голову; лунный свет омывал половину его лица. – Кто ж такому чурбану, как ты, путное скажет.

Рэй не обратил на него внимания.

– Вез я на юг одного мужика, вообще сквозь меня смотрел. Ну и славно, если кто сквозь меня смотрит, много чего прощелкает. – Рэй выпустил в сторону Тулли струю дыма. – Вот как-то он мне и говорит: Рэй, говорит, эта война не такая простая, как тебе кажется. А я ему: Ну да? А что такое? Как будто мне вообще-то по фигу, ну, вы понимаете. А он мне: Может, зря я тебе об этом говорю, но скоро наступит мир, и придет он из Панамы. А я ему: Да ты что! Неужто и прям мир! Охуеть можно! Мужика аж распирает, как он меня удивил, прям куда там. О да, говорит. Я знаю людей, которые прямо вот сию секунду этим занимаются. Переговоры, сечешь?

Рэй сложил руки, склонил набок голову, и по этой позе лектора, который изрек нечто ошеломительное и теперь молчит, наслаждаясь эффектом, Минголла понял, кого он ему напоминает. И подумал, что должен был догадаться с самого начала. Тому и служили все его мелкие оговорки.

– Короче, – продолжал Рэй, – стал я на этого мужика потихоньку наезжать... чтоб незаметно, ясное дело. Так, прикололся слегонца. И он мне выложил, что точно, в Панаме переговоры, но и война тоже. На улицах армии. Я спрашиваю, кто с кем воюет, мужик сперва заюлил, это, мол, охуительный секрет, как будто он хер знает какое мне одолжение делает, ну, вы понимаете, сам, говорит, всего не знаю, но одно имя он мне сказал, очень, говорит, оно там важное. Сотмайор, говорит. Запомни, говорит, Сотмайор. Ключ, говорит, ко всему.

Минголла встретился глазами с Рэем, отметил, что тот не улыбается, однако почувствовал тайную насмешку. Он уже собрался потребовать объяснений, но в эту секунду у лодки заглох мотор.

– Блядь! – Рэй выкинул сигарету за борт и распахнул дверь в рубку. – Что ты сделала?

– Ничего, – сказала Корасон. – Ничего я не делала. Он сам заглох.

Рэй шагнул вперед, открыл люк в машинное отделение, упер руки в бока и уставился в темноту.

– Корасон! – проревел он. – Тащи фонарь!

Корасон принесла фонарь, Рэй схватил его и полез вниз. Остальные сгрудились вокруг. Там, внизу, Рэй скользил лучом по лабиринту перепачканного маслом металла. Задержав на секунду фонарь, он пнул кулаком в переборку.

– Сукины дети! Бляди!

– Починить можно? – спросила Дебора. Рэй еще раз пнул стену и вылез на палубу.

– Эту пизду так просто не починишь, запчасти надо! А у меня нет. – Он, кажется, собрался зашвырнуть фонарь куда подальше, но всего лишь стукнул им по ноге. – Пиздец, мужики!

– Придется тащить ее в порт, – сказал Тулли. Вид у Рэя был дикий, мышцы в углах рта выпирали узлами.

– Сказано же, что я у них в розыске. Поймают – снесут башку, на хуй.

– Пойдем под парусом, – предложил Минголла.

– А то! К рассвету как раз допилим до Трухильо, чтобы этот сукин сын Домингес мог пялиться на «Энсорселиту» и лыбиться во всю рожу. Блядь! – Рэй схватился за голову. – Надо ж так вляпаться!

– Починить точно нельзя? – спросил Минголла.

– Ты что, глухой, мужик? – Сжав кулаки, Рэй повернулся к нему.

– Значит, ничего не попишешь, бросаем корыто здесь, – сказал Тулли. – Пойду поищу, во что завернуть автоматы.

Рэй толкнул его в грудь.

– Я те дам, бросаем!

Тулли прижал Рэя к стене рубки, схватил рукой за горло и основательно перекрыл кислород.

– Не серди меня, друг! Усвоил? – Он чуть сжал кулак, и у Рэя вылупились глаза. – Хочешь остаться на корабле – от-

лично. Мы и без тебя обойдемся.

Минголла посмотрел на берег, на поднимавшиеся в глущине холмы.

– Там что? – спросил он.

– Солдат дохуища, – проговорил Рэй, потирая горло, – вот что.

– Оланчо, – сказал Тулли. – Горы, джунгли. Война там и начиналась, но теперь боев вроде нет. А вообще, кто его знает.

– Может, оно и выйдет, – согласился Рэй. – Если проскочить через патрули, может, я и доведу вас до Панамы. А может, и на новую лодку чего подвалит.

– Сами справимся, – сказал Тулли.

– Хуй вы справитесь! – Рэй отодвинулся подальше. – Зассыте через десять миль. Дороги есть, я знаю. Военные, контрабандисты по ним ходили. Когда у меня еще не было «Энсорселиты», я тоже там ходил.

Минголла посмотрел на берег, затем на Рэя. Хорошо бы, подумал он, задержаться и посмотреть, что у Рэя в мозгах.

– По этим дорогам пройти еще можно?

– А то, – ответил Рэй. – Только надо раздобыть грузовик или типа того. Может, вездеход какой. Чего-нибудь да найдется. Фермеры в этих краях вешают на грузовики вторые бензобаки, чтоб в холмах охотиться.

– Сколько это займет времени? – спросила Дебора.

– Смотря, на что нарвемся, – ответил Рэй и заботливо по-

добрался к ней поближе. – Одно знаю точно. В Панаме нам будет про что рассказать.

В двух милях от того места, где они высадились на берег, среди рядов кокосовых пальм пряталась копроя плантация: высокие деревянные вешалки для сушки кокосового волокна, три жестяных навеса, под которыми хранили продукцию, и длинное одноэтажное здание из оштукатуренного камня под красной черепичной крышей. В последнем жили работники и располагалась контора хозяина, дона Хулио Сальдивара. За углом барака стоял припаркованный «форд-мустанг» – почтенного возраста, но с запасным бензобаком, приваренным ко дну багажника. Дон Хулио встретил их на пороге дома с автоматическим пистолетом в руке, но Минголла вогнал в него порцию добродушия, а после сообщил, что они правительственные агенты с секретной миссией. Хозяин тут же предложил «мустанга», кое-какое туристское снаряжение, а Деборе, потерявшей, пока они плыли к берегу, одежду, – на «Энсорселите» не было спасательных шлюпок – старые вещи его дочери, которая уехала учиться в университет Сан-Педро-Сула. Минголла отправил Рэя и Тулли проверять «мустанга», а сам расположился с доном Хулио в кухне – тесной камерке со старомодной газовой плитой, мотельным ледником и развешанными на белых галечных стенах фотографиями дона Хулио на фоне охотничьих трофеев. Хозяин взялся рисовать карту прибрежных холмов и до-

рог, по которым можно обойти пропускные пункты.

– А здесь что? – спросил Минголла, ткнув пальцем в ту часть карты, где исчезали все дороги. – Вы тут ничего не отметили.

– Нечего отмечать, – объяснил дон Хулио. – Джунгли да привидения.

Он был невысок и толстопуз, лет чуть меньше шестидесяти, с кожей цвета красного дерева, одет в мешковатые шорты и распахнутую на гладкой груди гуайяберу; массивная голова, двойной подбородок, густые черные волосы словно покрывал на висках иней. Строгими и горделивыми чертами дон Хулио напомнил Минголле собственного отца, а по той преувеличенной уверенности, с которой хозяин говорил о любви своей дочери, Минголла догадался, что все это ложь и что девчонка по-настоящему его ненавидит. Разговор перешел на политику. Похлопывая по пистолету, дон Хулио призывал усилить бдительность по отношению к красной угрозе – было что-то более чем жалкое в этом сочетании портретов с мертвыми ягуарами и тапирами, мачизма и пустоты в доме. Хозяин вспоминал молодость. В те времена он владел в Петэне ранчо. Непросто было, сказал он, отгонять герильеро, но дон Хулио справлялся. И как же его любили женщины! «Кадиллак», ночи в танцзалах, Гватемала-Сити. Есть ли в мире город прекраснее, чем Гватемала-Сити?

Минголла удержался от комментариев. Он как-то пробыл в этом городе три дня. Вечером забрел в зал для патинок

на Шестой авеню – главной улице центра – и заигрался с автоматом; обернувшись, чтобы разменять деньги, Минголла вдруг обнаружил, что не только игровой зал, но и вся Шестая авеню абсолютно пусты, хотя минуту назад там было не продохнуть от машин и народу. Он помчался к своему отелю, и ни один гватемалец не пожелал объяснить, что произошло. Гватемала-Сити в Минголлином представлении был адским городом. На «тойотах» без опознавательных знаков там раскатывали эскадроны смерти, постоянно выли сирены и слышалась отдаленная стрельба, а есть там еще Зона №5, где люди живут в домах из покрышек и глины и мальчишки мечтают о том, как пустят богатеям кровь.

– Сколько раз я предупреждал своих друзей насчет красных! – говорил дон Хулио, возвращаясь к любимой теме. – Повез их как-то на пляж в Телу... Вы знаете Телу?

– Нет, – сказал Минголла.

– Очаровательный городок на самом побережье, – пояснил дон Хулио, – летом отдыхают люди из правительства. Но комми, конечно, не могли не отметить. Размалевали своими лозунгами все стены. Как бы то ни было, я повез друзей на пляж. Они ж либералы, – это слово у него прозвучало ругательством, – они верят в свободу слова! Пф! Я и показал им лозунги на барах. Смотрите, говорю. Этот ваш коммунизм добрался до самых низов, философия низведена к безграмотным лозунгам. В политический процесс вторгаются тупые страсти футбольных фанатов. За свободу! Долой

несправедливость! Как будто нищету и болезни можно победить со счетом два-ноль. Неужели история так ничему вас и не научила, спросил я их. Посмотрите на Никарагуа. Позвали на свою голову кубинцев, и теперь у них не страна, а военный лагерь, доносчикам и убийцам почет и уважение. И что дала бедным их революция? Как срали на улицах, так и срут, только колоннами по одному и с песнями о всеобщем братстве. – Дон Хулио вздохнул. – Но меня никто не слушал, и вот что вышло. Шесть лет в аду. – Он похлопал Минголлу по руке. – Слава богу, есть еще такие люди, как мы с вами. Коммунисты к нам не сунутся, они знают, что их ждет.

Дебора вошла в кухню как раз вовремя, чтобы услышать последние слова и метнуть на дона Хулио ядовитый взгляд. Она переделалась в серую юбку, цветастую блузу, и, не заметив враждебности, хозяин плантации воскликнул:

– Вы разрываете мое сердце, сеньорита! Превосходно!

Дебора пропустила комментарий мимо ушей.

– Машина готова, – сказала она.

– Вы так быстро уезжаете? – Дон Хулио встал. – Какая жалость! С тех пор как умерла жена, я так мало вижу людей. Ну что ж. – Он похлопал Минголлу по руке. – Я горд знакомством, буду молиться за успех вашей миссии.

Пока они не свернули за угол, дон Хулио стоял в дверях и махал им вслед. Поднималось солнце, и в сером свете стало видно, насколько загажен берег: помет, обломки кокосов, вдоль линии прилива кучи водорослей и заросли тины ка-

зались издалека выброшенными на песок трупамн. Темное пятно «Энсорселиты» подпрыгивало за волнорезом.

Открыв водителъскую дверь, Минголла вдруг вспомнил, что забыл карту.

– Сейчас вернусь, – сказал он.

Рэй, сидевший сзади между Корасон и Тулли, как будто хотел что-то сказать, но вместо этого отвернулся.

Передняя дверь была открыта, и, входя в дом, Минголла услышал в кухне монотонный бубнеж дона Хулио.

– Мне нужно ему кое-что сообщить.

Минголла осторожно приблизился. Повернувшись спиной к двери, хозяин плантации разговаривал по телефону.

– Да, – сказал он, – только что отбыли.

– Положи трубку, – скомандовал Минголла.

Дон Хулио резко обернулся, левая рука потянулась к кобуре, и Минголла ударил, рассчитывая на легкую победу. Однако, пробираясь внутрь сознания дона Хулио, он вдруг наткнулся на мощный узор и застыл пораженный. Налетела легкая эмоциональная волна, ручеек гнева, и Минголла почувствовал, как этот узор – змейка из потрескивающего серебра – порождает у него в мозгу двойника, а мысли скользят в его медленном гипнотическом ритме. Так легко оказалось подчиниться узору, кольцо за кольцом, кивать и качать головой, вслушиваться в исходившее из глубины мозга жужжание, резкий раскачивающийся звук, словно сами нервы жаловались на неисправность. А может, так и есть, может

быть, может... Он заметил, как рука дона Хулио скользнула к кобуре, и попытался встряхнуться. Но успокаивающие ритмы узора пронизывали его насквозь, баюкали, убеждали, что все в порядке. Дон Хулио медленно, словно в густом сиропе, расстегивал кобуру. Минголла с трудом шагнул ему навстречу, споткнулся, мотнул головой и со всего маху ударился ею о стену. Боль на секунду ослепила, но узор пропал, и, не дожидаясь, пока он появится вновь, Минголла погнал вперед волну страха. Дон Хулио отшатнулся, Минголла давил все сильнее, посылая волны страха и отвращения за то, что пропустил в себя чужое сознание. Хозяин плантации захныкал, осел на пол и закатил глаза.

Минголла взял телефонную трубку.

– Алло, – прорвался сквозь дистанционные помехи мужской голос. – Алло!

– Кто это? – спросил Минголла.

– О Дэвид! Поздравляю! Очевидно, ты сдал экзамен.

– Исагирре?

– К твоим услугам.

– Ты все это подстроил?

– Я не очень понимаю, о чем ты. Дон Хулио едва не смял тебя своим ментальным талантом... я не ошибся?

– Ошибся, – сказал Минголла. – Я вошел, увидел, как он разговаривает по телефону, и ударил.

– Кажется, ты все-таки привираешь, Дэвид. А как там сейчас дон Хулио? Жить будет?

Минголла посмотрел на хозяина плантации: тот выглядел неважно – одутловатое лицо, весь в поту, дыхание поверхностное. Игрушечный реакционер с серебряной змейкой в голове.

– Ладно, ерунда, – сказал Исагирре. – Я пошлю кого-нибудь проверить.

– Плохо соображаешь, козел, – сказал Минголла. – Неужели я не знал, что Рэй привел нас сюда специально? Все я прекрасно вижу.

– А зачем мне соображать? Владеешь ты ситуацией или нет – с будущими опасностями это никак не соотносится.

– И сколько еще ты наставил ловушек?

– Весь мир – ловушки. Тебе посчастливилось угодить в мою. Зато, возможно, избежишь остальных. – Исагирре хмыкнул. – У меня есть занятия поинтереснее, чем переживать за тебя. Ты очень силен, Дэвид, но не очень важен. Таких, как ты, – единицы, таких, как мы, – много. Мы с тобой справимся.

Он повесил трубку, и Минголла встал на колени рядом с доном Хулио – старик двигал бровями, силясь что-то сказать. Потом застонал. Минголла попробовал привести его в чувство, но едва он установил контакт, как сознание дона Хулио мигнуло и погасло... как та колибри на берегу Роатана. Минголла проверил пульс. Кожа дона Хулио была поразительно холодна, словно он умер уже давно.

– Что за дела? – раздался у него за спиной голос Рэя, по

бокам стояли Тулли и Дебора.

– Кажется, сердечный приступ, – объяснил Минголла.

Он мысленно пририсовал Рэю козлиную бородку и добавил морщин. Сомнений не оставалось. Сходство с доктором Исагирре было очевидным.

– Умер? – спросила Дебора.

– Да. – Минголла забрал у дона Хулио пистолет и встал. – Правые уже не те, что раньше, – сказал он, наблюдая за реакцией Рэя.

Тот толкнул ногой руку мертвеца.

– *Sono!* – выругался он и сплюнул. Затем улыбнулся Минголле. – Чего ты с ним сделал, мужик? Напугал до смерти?

Глава тринадцатая

В сером свете холмы Оланчито казались призрачными и блекло-зелеными. Пыльные тропы обрывались в зарослях и на склонах так, будто то, к чему они когда-то вели, волшебным образом исчезло. У самого моря возвышались округлые холмы, макушки их щетинились низкорослыми пальмами, которые с прибрежной дороги казались вставшими дыбом волосами; дальше от воды горы становились круче, покрывались гранитом, а вершины их прятались за тучами. Два дня путники ехали по дорогам, а когда те кончились, то прямо сквозь заросли; джунгли успели затянуть собою самые страшные следы войны, но кое-что попадалось на глаза, ненавязчиво, но отчетливо. В основном – хотя иногда и приходилось пробираться сквозь заросшие папоротником развалины или воронки – все вокруг выглядело нормально. Зеленели деревья, кричали птицы и насекомые, потоки воды низвергались водопадами. И все же в воздухе было разлитое какое-то злое очарование. Как будто беспорядочные выступы холмов поднимались над громадными скелетами, чьи гниющие кости пропитали ядом каждый росток. Отрава была в воздухе, наваливалась на людей, наполняла свинцом даже самый ясный и солнечный день, сковывала конечности, превращала дыхание в тяжелую работу.

Гондурасские холмы без всякой демаркационной линии

перешли в никарагуанские, и путешественники заплатили за это пошлину, еще более упав духом, – даже Рэй был теперь молчалив и угрюм. Ехали медленно: сползали в крутые ущелья, застревали в реках и часами оттуда выбирались, ливни ослепляли, превращая окна машины в размазанные пятна. Попадая в разбомбленную деревню, путники всякий раз чуть ли не вздыхали с облегчением – столь жесткое свидетельство войны разгоняло сверхъестественную ауру. В некоторых поселках еще оставались жители, и там путешественники покупали красный бензин; его держали в смоляных бочках, и в нем была намешана всякая дрянь. Робкие обитатели деревень ютились, как обезьяны, в развалинах и прятались за шаткими стенами, пока гости не уезжали, – на искреннее гостеприимство рассчитывать не приходилось.

Некуда было деться от постоянных приставаний Рэя к Деборе и столь же навязчивого желания Тулли обсудить свои проблемы с Корасон; но редкими ночами Минголлу с Деборой удавалось ускользнуть, отойти подальше от лагеря, поговорить и заняться любовью. Минголлу так ничего и не понимал в их отношениях. Любовь увеличивала силу, и это затмевало мысли о том, что расцвет отношений требует решительных действий, а если еще учесть весьма нервное окружение, то о каких действиях вообще можно было говорить. Но мысли все равно лезли в голову, и, когда Минголлу задумывался, когда он смотрел на Дебору и пытался представить себе их будущее, ему все меньше верилось, что оно вообще

возможно. Они мало чем отличались от детей, которым попало в руки оружие и которые столкнулись с чем-то, что не укладывается в логические рамки; несмотря на любые доказательства, случались минуты, когда Минголла был уверен, что все, чему они научились, – просто ошибка. Силясь удержать это невнятное понимание, он словно куда-то проваливался, забывал о войне, о ненадежных попутчиках, цеплялся за Дебору, а она за него.

Через девять дней пути они наткнулись на дорогу. Не на просеку или старую тропинку контраст, а на всамделишную желтую грунтовку – широкая и удобная для машин, она начиналась из ниоткуда и, петляя, уходила в холмы. Минголла предположил, что дорога была военная и прокладывалась, чтобы соединить базы, которые так и не построили; судя по дикости окрестных джунглей, дорогу забросили давно, однако ни одна травинка не нарушала ее гладкости – в дело явно пошли химикаты, изобретенные как раз для таких целей. Путешественники наткнулись на дорогу перед самым закатом, и, хотя ехать по ней можно было хоть всю ночь, Минголла решил, что психологически будет лучше разбить лагерь: если через несколько миль дорога оборвется, останется еще кое-какая инерция, она и пригодится им на следующий день. Он поставил «мустанг» на склоне холма в нескольких сотнях футов над дорогой, и они разбили лагерь у ручья, что тек по заросшей папоротником расселине.

В тот вечер Дебора с Минголлой спустились с холма и рас-

положились на опушке джунглей; дорога проходила внизу и заворачивала в выемку между двумя холмами. В этой же выемке, словно яйцо, лежала луна, в ее свете желтая грунтовка казалась влажной и поблескивала минералами – не золотом, а скорее компостом, – еще она напоминала след гигантской улитки, проползшей отсюда на юг. Комаров не было слышно, только свистящие гласные ветра. Дорога смягчала пустоту, но тишина заполняла все вокруг настолько глубоко и плотно, что Минголле казалось, будто он ощущает вечный гул и вибрацию земли. Говорить среди этого безмолвия не хотелось: они просто сидели взявшись за руки и, словно чудом, любовались дорогой. Дебора положила голову Минголле на плечо, он ловил запах ее волос, ровные удары сердца, едва ли не слышимые в этой тишине, и чувствовал, как почти все, что было у него в жизни, обретает сейчас постижимую ценность. Теперь он знал, что такое любовь. Хотя вряд ли смог бы дать ей определение. Но верил, что отныне в любой миг сможет воскресить в памяти все эти то ли придуманные, то ли прочувствованные детали. Чем бы ни была любовь, она была здесь, сейчас, отчетливая и узнаваемая в тишине, дороге, стуке Дебориного сердца и тысяче других вещей.

Дебора села и, тряхнув головой, перекинула волосы на спину.

– Какой-то звук.

– Ветер, наверное.

Она встала на колени, разгладила юбку, стряхнула с нее

росу. Затем указала на противоположный склон, где густыми лентами собирался туман:

– Скоро ничего не будет видно.

– А на что там смотреть?

– Все думаю, – сказала она через секунду, – как же сильно я изменилась. Мы с тобой совсем недавно, а кажется, прошли годы.

– В чем ты изменилась?

– Я уже не так уверена, как раньше. Когда я еще только собиралась в Панаму, мне просто нужно было выяснить, что там происходит. Потом захотелось стать частью... даже если это не моя революция, это все равно революция, я знаю. И все еще верю. Но сейчас я все чаще задумываюсь, стоит ли она того. Иногда представляю, как мы ото всех убежали. Спрятались – и пусть они там сами разбираются в мировых проблемах.

Минголла рассмеялся:

– У меня все наоборот.

– Правда?

– Ага. Раньше думал сбежать. Но чем ближе мы к Панаме, тем лучше понимаю, что хочу я этого или нет, лезть туда придется. И тем больше я зол на Исагирре. – Он опять рассмеялся. – Наверное, это и называется прорасти друг в друга.

– Может быть, – уныло согласилась она. – Но ты хотя бы меняешься правильно.

– Как сказать. Я подсел на ту же наркоту, что мудацкие

раздолбаи, которые, как выяснилось, и крутят это кино.

– Ты до сих пор думаешь, что они раздолбаи?

– А разве нет? Посмотри, как они нас ведут через всю эту игру. Если они собрались договариваться о мире, то и его прохлопают тоже. Сама посуди. Два клана веками сидят на дури. У них в руках власть, а они только сейчас чего-то надумали. Хреновые перспективы, однако, у их мирного процесса.

– Похоже, так.

Он всмотрелся в Деборино лицо, странное и выразительное, как роза в глазу Корасон. Маленькое сокровище – таким оно виделось Рэю, человеку, у которого было все... но что делать, если сокровище недоступно, неприкосновенно даже для власти. Минголла был уверен, что уже сейчас он сильнее Рэя. Однако нужно вести себя осторожнее, не показывать Рэю слишком многого, с ним связан Исагирре, который перепугается, когда узнает, насколько они теперь сильны. Может, решит их уничтожить. А может, пора сцепиться с Рэем напрямую. До сих пор Минголла надеялся выведать у того хоть что-то, какие угодно обрывки, но вполне возможно, имеет смысл ему пригрозить.

– Дэвид, ты как будто за сто миль отсюда.

– Уже вернулся... Просто задумался.

– Ну... – Она прижалась к нему. – Если они раздолбаи, вдруг у нас что-то получится.

– Они корчат из себя богов, а значит, всей этой истории не

повредит небольшая порция реальности. – Минголла уставился на дорогу, силясь разглядеть, что за черное пятно появилось между холмами. – Там что-то движется. – Он помог Деборе подняться, и они отступили под деревья.

– Остановилось, – сказала Дебора.

– Нет, погоди. Опять пошло.

Через две минуты стало ясно, что предметов два – темный и светлый – и что приближаются они неспешными порциями: проедут футов пятьдесят или шестьдесят, остановятся, затем двинутся снова; прошло еще две минуты, и стало очевидно, что это лошадь и фургон. Прицеп напоминал домик на колесах с островерхой крышей, темно-синие стены украшены пятиконечными золотыми звездами и полумесяцем; лошадь белая в серую крапину. Возницы не было. К колышкам на кучерском месте привязаны поводья, окна и двери черные. Чем-то пугало его приближение, пустой фургон шатался, точно тело без костей, и всем своим архаическим видом не предвещал ничего хорошего.

Фургон дополз до того места, над которым сидели Минголла с Деборой, и остановился. Лошадь топталась на месте, глаза вращались и горели лунным светом – старая лошадь, хриплое дыхание. Минголла вышел на дорогу, кобыла резко дернула головой, но не сдвинулась с места: ей как будто хотелось поскакать быстрее, но она подчинялась расписанию шагов и остановок, и Минголла появился как раз вовремя. Он взялся за уздечку, поддержал кобыле голову. Лоша-

диные глаза крутились, как на шарнирах, смотрели с ужасом, и Минголла, тронутый ее скульптурной красотой и безумием, понял, что с лошастью сыграли дурную шутку: кто-то вроде него самого, накачанный препаратами гений нового порядка, отправил клячу хромать по этой заброшенной дороге – ни для чего, просто из ничтожной прихоти. На Минголлу это подействовало даже сильнее, чем если бы что-нибудь столь же ужасное сотворили с человеком. Люди, в конце концов, того достойны, но лошадей, таких красивых и таких глупых, нельзя втаскивать в это дерьмо.

Дебора встала рядом, и Минголла передал ей уздечку.

– Попробуй ее приласкать, – сказал он, а сам забрался на облучок и нырнул в фургон.

Еще не распознав, что там внутри, Минголла интуитивно понял, что ничего хорошего быть не может, скорее всего, нет ничего вообще, а если что и найдется, то лучше бы ему об этом не знать. Через секунду он испугался. Но это была просто фантазия. Он прекрасно понимал, что интуиция не обходится без ужаса, ибо больше всего люди боятся напоминаний о своей уязвимости, а потому, оправдываясь сами перед собой, заранее навешивают на все неизвестное сверхъестественные штуки. У стены стояла койка, на полу перед ней размазался треугольник лунного света. Слабо, но отчетливо пахло чем-то живым, но нездоровым. Минголла замялся, не зная, стоит ли здесь копаться. В дальнем углу он заметил что-то блестящее и протянул руку. Пальцы на-

щупали гладкую бумагу и вытащили пачку глянцевого фотографий: каждая изображала секс между черной женщиной и толстым белым мужчиной. Пальцем ноги Минголла что-то задел, и это что-то с треском стукнулось о стену. Он нагнулся и набрал полную горсть костей. Человеческих – без трещин и каких-либо следов насилия. Позвонки и фаланги пальцев. Кости притягивали лунные лучи, и свет казался ветхим полотнищем, натянутым между окном и полом. Больше ничего здесь не было. Не считая пыли и тлена. Возможно, фургон был чьим-то изобретением, посланием одного сумасшедшего шутника к другому, возможно, он лишь представлялся таковым, но Минголла был уверен, что вид этой повозки, фотографии и кости могли только лишней раз напомнить человеку о его никчемности и малопривлекательной органической сущности. Кружилась голова, слегка подташнивало, и Минголла выбрался обратно на облучок. После темноты фургона свет казался удивительно живым, как будто его можно было вдыхать, а выдыхать тень.

– Нашел что-нибудь? – спросила Дебора.

– Пусто. – Он спрыгнул на землю.

– Она уже получше. – Дебора погладила лошадь по носу.

– Я ее распрягу, – сказал Минголла. – Пускай пасется.

Они отвели лошадь сквозь сгущавшийся туман вверх по холму и остановились на поляне, окруженной перекрученными раскидистыми деревьями с корой черной и морщинистой, как лица старых-старых людей; кобыла делала шаг, же-

вала траву, потом шла дальше. Она почувствовала себя дома – безмятежно и естественно. Крапчатая кожа растворялась в тумане, словно кобыла не то возникала, не то распадалась на призрачные белые полосы, цеплявшиеся за ее холку и круп, голова время от времени исчезала, когда лошадь наклонялась за пучком травы. Лунный свет пробивался сквозь туман, окружал ореолом кусты и деревья, получались целые озера невозможной глубины, дымные переливающиеся кольца, словно над поляной властвовала магическая сила и заливала ее своим светом. Отчасти эта магия заставила Минголлу почувствовать желание, а еще надежду, что, напитавшись ею, он забудет фургонную гнусность. Он прижал Дебору к дереву, расстегнул на ней блузку, помог стащить трусы.

– Слишком мокро. – Она кивнула на покрытую росой траву.

Он приподнял ее, показывая, что можно иначе. Деборины груди были прохладными, поблескивали капельками влаги и перекатывались под руками, как маленькие морские буйки; глаза расплывались в лучах света. Минголла подтянул вверх юбку, опять приподнял и вошел; Деборины руки скрестились вокруг дерева, а ноги обхватили Минголлу за пояс. Ночной тишине пришел конец. Фыркание лошади, хруст травы, приглушенный шум джунглей подобрался ближе, заострился, словно им дирижировали влажные звуки любви и прерывистое дыхание. Белое действие заставляло луну светить ярче. У рта Деборы клубился пар, вплетался в волосы, и, гля-

дя, как она меняется, Минголла чувствовал, как сам он меняется тоже, превращаясь в чудовище с золотыми глазами и когтями, набирается силы от каждого выпада, каждого крика Деборы. Потом все кончилось, он еще долго прижимал ее к дереву, слишком слабый, чтобы говорить или шевелиться, а когда наконец выпустил и обернулся к поляне, то почему-то подумал, что лошадь исчезла, что ее растворила их добрая магия. Но кобылка была на месте, по самый круп в белом море, смотрела на них без любопытства, как бы нехотя, зная точно, что только что происходило, а в темных и неподвижных ее глазах не читалось ни одного вопроса.

Прошло несколько дней, и как-то вечером Рэй пригласил Минголлу с Деборой к себе в палатку на чашку кофе; Тулли с Корасон в это время собирали хворост. Рэй, очевидно, уже не претендовал на Корасон, полностью сосредоточившись на Деборе, и, хотя не приставал открыто, не сводил с нее глаз, а временами начинал многозначительные разговоры. Пробывавший сквозь полог туман поблескивал в свете портативной лампы, Рэй лежал на спальном мешке и, ненадежно установив на животе чашку кофе, говорил о Панаме – в основном о том, что ему якобы поведал тот давний пассажир. Чем больше он говорил, тем глаже становилась его речь, рафинированнее интонации, и, сообразив в конце концов, что он намеренно себя выдает и что нет больше смысла блюсти осторожность, Минголла спросил:

– Ты кто, старик? Мадрадона или Сотомайор?

Рэй поставил чашку на пол и сел, морщины у него на лице заполнились тенями.

– Сотомайор, – ответил он. – Хотя почти все мы, конечно, привыкли к другим фамилиям.

– А почему... – начала Дебора.

– Почему я не сказал раньше? Почему говорю сейчас? Потому что...

– Потому что он играет, – сказал Минголла. – Для них это игра. – Он хотел спросить Рэя о лошади, но побоялся, что не сумеет сдержаться. – И нам предлагают поверить, что эти ебанные игрунчики в состоянии договориться о мире.

– У нас нет выбора, – надменно произнес Рэй. – Вам почти все уже известно. Хотите узнать остальное?

– А то, – ответил Минголла. – Неплохое развлечение.

– Очень хорошо. – Рэй глотнул кофе. – Перед началом прошлого века наши мудрые головы разглядели, что мир ползет к катастрофе. Это не было неизбежностью, как вы понимаете. По крайней мере, тому поколению еще хватило бы. Тем не менее они видели, в какую сторону развивается конфликт, – силы росли, и это становилось угрозой для всех. Клань решили прекратить вражду и направили на это всю свою энергию. Мы встретились в Картахене и заключили между семействами мир.

Минголла чуть не подавился смехом.

– Альтруисты!

– Именно, – подтвердил Рэй. – Вы не представляете, сколько потребовалось альтруизма, чтобы преодолеть столетия ненависти. Ведь прекратить свару явно недостаточно, между злейшими врагами нужно было наладить настоящее сотрудничество, ибо логика развития мировой революции оказалась... – Он не нашел подходящего слова и покачал головой. – Для начала требовалось разрешить демографическую проблему. Клань в то время были немногочисленны; чтобы внедриться в политические элиты, военные круги и разведку, нужны были людские ресурсы. Для этого, то есть для пополнения наших рядов, были созданы такие программы, как Пси-корпус и Сомбра... Это заняло больше ста лет, зато теперь мы практически готовы взять власть. Ни в России, ни в Соединенных Штатах не осталось структур, за чьи нити мы не в состоянии были бы дернуть.

– Так почему вы до сих пор этого не сделали? – спросила Дебора.

– За прошедшие годы мы совершили слишком много ошибок. Слишком многие, несмотря на соглашения в Картахене, оказались не в состоянии отринуть вражду, и время от времени она вновь разгоралась. Во всем остальном дела шли неплохо. Пока, – Рэй глубоко и неуверенно вздохнул, – пока мы не совершили ужасную ошибку. Вражда вспыхнула вновь, когда группа человек в двадцать пыталась нейтрализовать угрозу палестинского террора. Эти люди настолько увлеклись выяснением отношений, что пренебрегли зада-

нием. Результат – террористам удалось переправить в Тель-Авив ядерное устройство.

– Господи! – Минголла хотел сказать что-то еще, но сарказм и оскорбления были неуместны рядом с этой преступной глупостью.

Рэй будто не заметил его вспышки.

– После Тель-Авива выработали новое соглашение, но конфликты не прекращались, особенно среди молодежи. Наконец было решено, что члены кланов, не позволявшие затухнуть вражде, а также наиболее сильные представители Сомбры и Пси-корпуса, способные поддержать новый мировой порядок, должны собраться в баррио Кларин и заключить сепаратный мир. Условия договора должны удовлетворить всех – тогда, и только тогда, мы начнем смену власти.

– А если вы не договоритесь? – спросила Дебора.

– Значит, мы умрем, и власть возьмут без нас. Я не знаю точно, как будет исполнен приговор. Этим ведает Карлито. Наверное, бомбежка. Но мы договоримся. Каждый день приносит все новые успехи.

– Кто такой Карлито? – спросил Минголла.

– Доктор Исагирре, – ответил Рэй. – Мой дядя.

– Отлично, – сказал Минголла. – Мы премся в Панаму, чтобы этот свихнувшийся сукин сын разбомбил нас к ебене матери. Похоже, нас считают идиотами.

Рэй пожал плечами:

– Можете бежать, но вас легко выследят. И потом, – он

посмотрел на Дебору, – разве вам не хочется поучаствовать в устройстве нового мира?

– Мне – нет, – сказал Минголла. – Все, что вы творили до сих пор, как-то не впечатляет.

– Ты же ничего об этом не знаешь.

– Зато я знаю эту чертову войну!

– Не мы начали эту чертову войну, а вы! За последние годы нам удалось загасить ее почти целиком, осталась десятая часть. Мы вынуждены продолжать войну, чтобы прикрывать собственные операции, у нас не хватает людей, чтобы влиять на каждое сражение, мы контролируем командные структуры. Но как только мы договоримся о мире, мы закончим и войну тоже. А после дернем за нужные нити и покончим со всеми войнами вообще. – Рэй еще раз глотнул кофе и скривился. – Мы совершаем позорные поступки, мы позволяем продолжаться позорным событиям. Но сила накладывает обязательства. Нужно делать то, что должно быть сделано, и отвечать за последствия. А победителей не судят.

– Знаешь что, – сказал Минголла, – я вообще-то верю, старик, что ты не врешь. Правда, верю. Это-то меня и пугает. Вы думаете, что искренность все оправдывает. Любой каприз и любое зверство.

– Твоя беда не в нас. – Рэй притянул колени к груди и положил на них руки. – Она во мне. Посмотри на Дебору: она понимает, что мир пора менять. Понимает, что, какой бы крови это ни стоило, так дальше продолжаться не может.

Но ты, – он наставил на Минголлу палец, – ты этого не видишь. Ты здесь не жил. Твою страну не терзали банковские монополии и корпорации с их маленькими гитлерами. Рано или поздно это непонимание разведет вас в разные стороны.

– А тебе только того и надо, ага?

Рэй улыбнулся.

– Я бы на твоём месте на это не рассчитывала, – сухо сказала Дебора.

– Я рассчитываю на твою преданность делу, *guapa*²¹, – ответил ей Рэй. – Я знаю, как глубоко она в тебе сидит. А с моей стороны ты можешь рассчитывать на честность.

Минголла фыркнул.

– Ты думаешь, если мы с вами осторожничаем, значит, мы бесчестны? – спросил Рэй. – А тебе не приходило в голову, на какой риск приходится идти, доверяя людям, которые слишком сильны, чтобы их контролировать. Но ради революции мы согласны и на это. – Рэй прикурил сигарету и выпустил перышко голубоватого дыма, придав паузе значительность. – Та власть, которой мы обладаем... способна дать нам все, что угодно. Со временем возникнет новая и крепкая мораль. Привычные в этом мире ценности потеряют свою привлекательность, и единственной страстью станет труд. Поэтому наша революция чиста.

– А что произойдет с этой моралью, – спросила Дебора, – когда люди столкнутся с тем, с чем не в состоянии справиться-

²¹ Красотка. (исп.)

ся?

– Ты о нас с тобой? – поинтересовался Рэй.

– Только о тебе... о том, что когда человек позволяет себе страсть к тому, чем он не может обладать, то это называется безответственностью. Или детством.

Рэй загасил сигарету о подошву сапога.

– Ты считаешь меня безответственным?

– Именно.

– Страсть здесь ни при чем, – сказал он. – Верь мне, Дебора, я говорю серьезно.

– С такими людьми вообще нельзя иметь дело, – сказал Минголла.

– Может, и нельзя, но, к сожалению, он прав, – возразила Дебора. – Нам придется иметь с ними дело.

– За каким чертом?

– За таким, – сказала она, – что гораздо разумнее участвовать в революции, чем делать вид, будто ее нет. Я всегда считала... ты знаешь.

– Но они же маньяки, они...

– А твой президент лучше? Хотим мы того или нет, нам придется разговаривать с кланами. Но для этого вовсе не обязательно иметь дело с Рэем. – Последнюю фразу Дебора произнесла холодно, после чего дотянулась до рюкзака Рэя и вытащила оттуда пистолет.

– У вас будут неприятности, – спокойно произнес Рэй.

Минголла забрал у нее оружие и небрежно направил его

Рэю в пах.

– Неприятности у нас будут в любом случае.

Рэй не сводил глаз с пистолета.

– Расскажи-ка лучше о Панаме, – сказал Минголла.

– Дурак ты, – сказал Рэй. – Стреляй – промучаешься остаток жизни, они тебе это устроят.

Минголла коротко и безумно рассмеялся.

– Считай, что мне по фигу. – Он взвел курок. – Говори, Рэй, или я начну отстреливать от тебя куски.

– Что ты хочешь знать?

– На лодке ты пел, что в баррио Кларин есть какие-то армии. Дерутся, когда между кланами начинаются разборки. Давай-ка подробности.

Слова вырывались из Рэя суетливо, взгляд не отрывался от пистолета.

– Ну, армии, да... тысяча примерно, может, больше. У нас нет выбора, неужели не ясно. Мы не можем убивать друг друга, а страсти кипят. Надо же было что-то делать.

– Спокойно, – сказала Дебора. – Не торопись.

– Он выстрелит?

– С ним никогда не угадаешь, – ответила она. – Так что за армии?

– В них испорченные люди, безнадежно испорченные. У них уже почти нет разума.

– Что значит «испорченные»? – спросил Минголла.

– Их испортили такие, как ты... или как я. Слишком ча-

стые воздействия разрушили их мозг. Вы же понимаете. Как в Роатане, люди из твоего отеля. Только еще хуже. Они даже едят с трудом. – Под взглядами Минголлы и Деборы Рэй все больше нервничал. – У нас не было выбора, как вы не понимаете? Если бы не эти армии, мы перебили бы друг друга, и тогда ни о каком мире не было бы речи. Это не приносит нам радости, поверьте! Но работает. Клянусь! Боев нет уже месяц.

– Боже! – воскликнула Дебора.

– У них нет оружия, – проговорил Рэй. – В баррио Кларин оружие вообще запрещено.

– Охуеть, какое благородство. – Минголла прицелился Рэю в грудь.

Голос сорвался:

– Не надо!..

Пистолет оттягивал руку, и очень хотелось облегчить его на одну пулю. Но Рэй был нужен живым. Если скрыть от него свою силу, он сослужит им в Панаме неплохую службу – доложит Исагирре и всем остальным, что Минголла с Деборой вполне сильны, но ничего особенного, справиться можно. Минголлу удивляло, что он не стал спорить с Деборой, когда та решила продолжать путешествие, – теперь он понимал, что все это время его вела злоба на Мадрадон и Сотомайоров. Еще было странно, насколько тяжел в нем гнев, но чувство это ему нравилось, и Минголла решил бросить самоанализ.

– Ладно, Рэй, живи, – сказал он. – Доволен?

Рэй умудрился сохранить угрюмое молчание.

– Но клыки хорошо бы выдернуть. – Он подобрал автомат Рэя и зажал его под мышкой. – А то что за дела – разгуливаешь тут с ружьем, прям как взрослый.

– Ты... – Рэй оборвал сам себя.

– Что ты сказал?

– Ничего.

– Гадость какая-то у тебя на уме, Рэй. Я же вижу. – Минголла ткнул автоматом ему в колено. – Чего там, старик. Говори уж.

Рэй только сверкнул глазами.

– Ладно... – Минголла встал и поводит автоматом поперек Рэевой груди. Захочешь попиздеть – не стесняйся. – Он обнял Дебору за талию. – Только лучше днем, ага? По ночам мы жутко заняты.

После этого разговора Рэй сменил тактику. Теперь он бросал на Дебору страстные взгляды, напускал на себя мрачный вид, строчил в записную книжку стихи и вяло разглядывал пейзажи – стандартный набор несчастного влюбленного. Создавалось впечатление, что, открыв им правду о себе, Рэй заодно обнажил слащавую сердцевину своей страсти. Ничто и никто, кроме Деборы, его теперь не интересовало, и, хотя Минголлу эта томность устраивала куда больше прежнего напора, он скоро понял, что как на знатока окрестной глуши

на Рэя лучше не рассчитывать – толку не будет. На Минголлины вопросы он отвечал односложно, если вообще отвечал, и даже когда по пути возникало что-то серьезное – например, городок Теколутль, – Рэя это не заботило, он пожимал плечами и говорил Минголле, что ему по фигу, пусть что хотят, то и делают.

Минголла не хотел заезжать в Теколутль. Достаточно было посмотреть на этот город с поросшего соснами кряжа, чтобы почувствовать его зловещую ауру, и взгляд сквозь бинокль это ощущение нисколько не рассеял. Большое полусело-полугород заполняло седловину между двумя холмами, над ним возвышался собор из крошащегося серого камня, а покосившиеся, увитые лианами колокольни напоминали растительные шахматные фигуры, из-под которых выдернули доску. Другие постройки – дома, лавки и мастерские – были не столь импозантны, но столь же ветхи, обуглены и сломаны; они также заросли вьюном, и сквозь скрывавший долину тонкий слой тумана город представлялся невесомым, словно только что возник из небытия или, наоборот, собирался в него кануть.

– Хрен обойдешь, – сказал Тулли. – И потом – может, у них бензин найдется.

– Как-то слишком тихо. – Дебора опустила бинокль. – Похоже, там никто не живет.

– Кто-нибудь бывал тут раньше? – спросил Минголла, обращаясь ко всем сразу.

– Индейский базар тут был. – Корасон кивнула на Дебору. – Может, она и права. Вряд ли там кто-то живет. Если индейцы что-то бросают, они редко приходят опять.

– Ладно, – сказал Минголла. – Посмотрим.

Они не решались остановиться до тех пор, пока, выставив в окна автоматы, дважды не проползли по каждой пустой улице, – рев «мустанга» казался в тишине поразительно громким. В конце концов они встали у собора на главной площади, перед разбитым фонтаном. Тяжелые растрескавшиеся двери кафедрала были приоткрыты примерно на фут – темное дерево и железная оковка напоминали древнюю тюрьму, как если бы католического бога полагалось держать взаперти. Площадь вымощена булыжником, но щели между камнями поросли травой, а прямо напротив собора стоял розовый оштукатуренный отель с аляповатой надписью по всему фасаду: «HOTEL CANCION DE LAS MONTANAS»²². Перед зданием ржавые столики и драные зонты – остатки уличного кафе.

– В таких отелях бывают генераторы, – сказал Тулли. – Может, и бензин найдется.

Судя по роскошным обрывкам штор, огромной стойке и парчовым полоскам на замшелых обоях, отель предназначался для состоятельных людей, но сейчас в нем обитали только насекомые и ящерицы. Тысячи этих ползучих гадов застыли неподвижно, когда путешественники вошли в ве-

²² Отель «Песня гор». (исп.)

стибюль, обрушив своими шагами целые потоки известковой пыли. Путешественники прошли через холл мимо полузадушенной эпифитами шахты лифта, и тут, повернувшись, чтобы сказать что-то Тулли, Минголла увидел, что исчезла Корасон. Он спросил, куда она подевалась, но Тулли тоже только сейчас обратил внимание.

– Пойду поищу, – сказал он.

– Нет, я сам. – Минголла направился к выходу, но Тулли поймал его за руку:

– В чем дело, друг? Наверняка ж гуляет просто.

– Может быть, – согласился Минголла.

– Зря ты ей не доверяешь, – сказал Тулли.

– С чего ты взял?

– На лбу написано.

Минголла высвободил руку.

– Я только посмотрю. А вы ищите бензин.

– Она ничего тебе не сделала! – крикнул Тулли, но Минголла лишь махнул рукой и выскочил на площадь. Корасон стояла у дверей кафедрала и заглядывала внутрь. Минголла окликнул, и она вздрогнула.

– Ты меня напугал, – сказала Корасон, когда он подошел поближе.

– Как-то ты слишком тихо улизнала.

– Хочу посмотреть церковь.

Роза в глазу показалась Минголле – и уже не в первый раз – автографом Сотомайоров, хитрой рекламой их власти

и глупости.

– Ты кто вообще? – спросил он.

– Никто.

– На хрена мне твоя философия! Я хочу знать, что ты делаешь... на кого работаешь.

Корасон смотрела бесстрастно.

– Я тебе не доверяю, – предупредил Минголла. – Так что лучше говори.

– Если надо что-то узнать, – сказала она, – почему бы тебе просто не посмотреть в меня? Ты же сильный, тебе все можно.

– Уже смотрел. Кажется, испугалась. Еще на лодке, – пояснил Минголла. – Раза два, для проверки. Вроде бы все нормально. Но я мог что-то пропустить. Ловушки. Приказы. То, о чем ты не знаешь сама.

– Если не знаю сама, то зачем ты меня спрашиваешь? – Она потянула на себя дверь. – Пойду я лучше.

Вслед за ней Минголла зашел в неф, остановился у каменной купели, и они повернулись лицом друг к другу. В полутьме казалось, будто роза парит в глубине головы Корасон, а кончик перекинутой через плечо косы терялся в чернильной тени.

– И все-таки рассказала бы ты о себе, – попросил Минголла.

– Не волнуйся, – сказала она. – Ничего я твоему Тулли не сделаю.

– Мне интересно, что ты вообще делаешь?

– Просто живу.

Минголла задумался над этим минималистским ответом, сравнил Корасон с Нейтом, доном Хулио и Амалией. Вполне возможно, она, как и все эти люди, была сломанной игрушкой, а эта страсть к минимализму служила уловкой – одной из тех, которыми Исагирре так любил снабжать свои творения. Но Минголла не был в этом уверен, и судить окончательно не позволяла совесть: нельзя что-то затевать из-за одних подозрений, особенно когда дело касается женщины Тулли.

Корасон толкнула внутреннюю дверь, Минголла шагнул следом и едва не задохнулся от густого запаха фекалий. Хрюканье, кудахтанье. Он хотел уже о чем-то снова спросить Корасон, но тут заметил, что алтарь освещен четырьмя канделябрами: островок света плыл в темной пустоте, в центре его находился филигранный серебряный крест, достаточно большой, чтобы на нем можно было распять грудного младенца. Над головами зашелестели крылья, а за спиной раздался лязг – входную дверь закрыли на засов. Совсем рядом шаркнули по грубому камню башмаки, кто-то чуть не выхватил у Минголлы автомат. Ничего не получилось, башмаки протопали прочь, и Минголла нырнул за церковную скамью. Пробуравив темноту, он нащупал несколько сознаний. Примерно дюжину. Можно было их оглушить, но он не хотел раскрывать перед Корасон карты. Минголла выстрелил

В воздух.

– Не надо! – Корасон схватилась за автомат. – Там ничего страшного. Я чувствую.

Он оттолкнул ее и выстрелил еще раз.

– Дайте свет! – крикнул он. – А не то всех перестреляю!

– Прошу тебя! – взмолилась Корасон. – Неужели ты сам не чувствуешь? Там не опасно.

– Не стреляй! – Голос неподалеку от алтаря говорил по-английски.

– Тогда зажги свет, черт подери!

– Сейчас, сейчас... минутку.

...Дэвид...

Голос Деборы у него в голове.

...все в порядке... не лезь...

...что происходит...

...пока не знаю...

...Дэвид!..

...погоди...

– Эй ты, давай-ка пошевелись, – крикнул Минголла.

– Секунду можешь подождать?

Голос, вдруг дошло до Минголлы, говорил по-американски... и не просто по-американски. Отчетливый нью-йоркский акцент.

Тусклый желтый свет полился из настенных ламп, оставив в темноте сводчатый потолок, и, хотя Минголла ожидал чего-то подобного, царившее в церкви жуткое разорение его

ошеломило. На полу соломенные циновки, кучи навоза, скамейки заляпаны птичьим дерьмом. Под потолком кружили ласточки: лавируя между тяжелыми распорками, они выскакивали на свет и тут же исчезали. В центральном приделе разлеглись две свиньи, черный петух выклевывал что-то из забитого грязью стыка между камнями, а вдоль алтарного ограждения прогуливался козел. Людей видно не было, но Минголла знал, что они прячутся за скамьями.

– Господи! – воскликнула Корасон.

В проходе у восточного алтарного придела показался одетый в черную рясу священник и, секунду поколебавшись, направился к ним. Тощий, седые волосы достают до плеч. Такого странного человека Минголла еще не встречал. Молодые и гладкие черты лица сочетались в нем с морщинистой и складчатой кожей шестидесятилетнего старика; он был похож на загримированного актера. На шее у священника висело ожерелье из белых камней с нацарапанными на них символами – скорее всего, четки.

– Прошу вас, – сказал священник. – Вам нельзя здесь оставаться.

Минголла повел автоматом вдоль скамеек.

– Пусть встанут.

– Они боятся, – сказал священник. – Это всего лишь девочки.

– Не так уж и боятся, – возразил Минголла. – Чуть автомат не отобрали.

– Они защищали меня.

Минголла снова качнул оружием.

– Пусть встанут.

Священник сказал несколько слов по-испански, и одна за другой девушки поднялись на ноги. Молодые, не старше двадцати лет, некоторые беременны. В белых полотняных рубашках. Смуглая кожа, черные волосы и стоические лица – они были похожи, как сестры.

– Что здесь происходит? – спросил Минголла.

– Ха! Рассказать?! – Корасон ткнула пальцем священнику в лицо. – Уебок морочит девчонкам головы и лазит под юбки.

– Это не так...

– Не ври! – крикнула Корасон. – Меня вырастили такие же ублюдки, как ты. Блядская Католическая церковь ебет людей с первого своего дня!

– Я не стану отрицать... – начал священник.

– Еще б ты отрицал, сука! – Корасон отступила назад.

Преувеличенный гнев Корасон заинтересовал Минголлу даже больше, чем объяснения священника, однако он сказал:

– Дай ему договорить.

– Я не стану отрицать, что Церковь допускала эксцессы, – продолжил священник. – Однако еще с довоенных времен мы стоим на стороне народа.

Корасон фыркнула.

– Уверяю вас, я не злоупотребляю невинностью этих девушек. – Он беспомощно развел руками. – Здесь что-то про-

исходит... что-то невероятное. Мне трудно объяснить.

– Еще бы, – подтвердила Корасон.

– Кто отец? – Минголла указал на одну из беременных девушек.

– Я, – ответил священник. – Но...

– Что я тебе говорила! – Корасон подошла вплотную к священнику. – Это же святые люди... Ебут все, что шевелится. Женщин, мальчишек. – Она задела носом лицо священника. – Козлов!

Что-то в горячности Корасон казалось Минголле фальшью. словно она разыгрывала перед ним спектакль, изо всех сил стараясь убедить, что она тоже человек с чистой душой. И может, оттого Минголле и не понравился с самого начала этот город. Опасность была не физической – просто он мог купиться на то, что хотел ему всучить Исагирре.

– Ты ведь из Нью-Йорка? – спросил он священника.

Священник на секунду застыл, затем кивнул:

– Из Бруклина.

– А я с Лонг-Айленда.

– Я мало что помню, – рассеянно сказал священник. –

Столько всего произошло.

– Да? Например? Что же происходит сейчас?

...Дэвид...

...все нормально... скоро выйду...

Священник тяжело вздохнул.

– Может, она и права. – Он кивнул на Корасон. – Может,

я всего лишь оправдываю нарушение celibата. Священники не раз страдали от подобных иллюзий.

– Иллюзий... хуйня! – снова влезла Корасон. – Какие иллюзии, вам только пипки подавай!

– Но даже иллюзии, – продолжал священник, – здесь реальные. Это место... – Подняв голову к куполу, он проводил взглядом ласточку. – Фундамент храма высечен из громадного камня, который, по словам индейцев, обладает магическими свойствами. Наверное, так и есть. С первой минуты я почувствовал в этих камнях жизнь. Они ее притягивают. Как ласточек. Поколение за поколением птицы не покидают этих стен.

– Таких церквей полно, – сказала Корасон.

– Верно, но ласточки... – Священник взмахнул рукой. – Вы не поверите.

– Тебе только и верить. – Корасон хмыкнула.

– Заткнись! – приказал Минголла.

– Какого хрена! Ты не знаешь этих ублюдков!

Она собиралась сказать еще что-то, но Минголла оборвал ее и велел священнику продолжать.

– Ты когда-нибудь видел здешние фрески? – спросил тот. – В барах, в вестибюлях отелей? Океанские корабли, вулканы, гоночные машины, Иисус – все на одной картине. Это кажется бессмыслицей, нагромождением случайностей. Но чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что именно так проявляется синкретический процесс, которым охвачена вся

эта земля. Вы видите его – этот процесс, он являет себя во всех сторонах жизни, но я уверен, он лишь отражение чего-то гораздо более важного, однако связанного.

– Чего же?

– Бога... или, по крайней мере, божественной идеи. – Священник поднял руку, словно для того, чтобы предупредить насмешки. – Я знаю, знаю! Нелепо, безумно. Но мы – я и девочки – день за днем живем в этом процессе, в синкретическом слиянии Христа с индейским духом. – Он торопился договорить, чтобы Корасон не перебила. – Нужно здесь жить, чтобы это понять, чтобы почувствовать всю правду моих теперешних слов. Но вы должны мне поверить! Я не соблазнял этих девочек... по крайней мере, сознательно. Их привела сюда высшая сила, и она же вынудила меня нарушить целибат. Сны, голоса. Знамения. Через нас воплощается новый бог. Языческий, но благой. – Он тронул свое ожерелье и пробормотал что-то на незнакомом Минголле языке, затем указал на девушек. – Спроси их, если хочешь. Они тебе все расскажут.

– Еще бы! – возмутилась Корасон. – Ты же им, сука, мозги промыл!

– А что за новый бог? – спросил Минголла.

– Он еще не вполне ясен, – ответил священник. – Мы дополняем его образ, и когда-нибудь он станет полон. Но...

– Какой образ?

– Сейчас я вам покажу. – Священник поманил их за со-

бой и зашагал по восточному приделу к боковому алтарю. В глубине на пятифутовом постаменте за несколькими рядами мерцающих свечей возвышалась фигура Девы Марии – высотой в два человеческих роста; плотное позолоченное платье переливалось складками, как поток золотой лавы. Корсаж украшали драгоценные камни, а шею – золотой крест. От статуи к стенам тянулась паутина, в волнах исходящего от свечей теплого воздуха слегка подрагивали замысловатые тростниковые подпорки, по выщербленному лбу карабкался жук. Толстый слой розовой краски на лице расползся, а на щеках и шее проступили какие-то символы. К левой руке фигуры был примотан нож, к правой – букетик цветов. В тусклом свете статуя походила на полуразложившегося монстра, и все же в ней чувствовалось какое-то природное величие. Минголле вдруг показалось, будто паутина и блики свечей дрожат оттого, что статуя незаметно ото всех дышит.

– Вы видите все, что можно увидеть, – сказал священник. – А теперь уходите... пожалуйста!

– С чего это тебе так не терпится нас спровадить? – спросила Корасон. – Чего прячешь-то?

– Ничего, вообще ничего. Но вы вмешиваетесь в процесс. Нам необходимо уединение, нам нужно думать о Зачатии.

– Ладно, пошли, – сказал Минголла.

– Ты бросишь девчонок? – возмутилась Корасон.

– А что я должен делать?

– Как что – забрать их отсюда! Подальше от этого ебара!

Оглянувшись, Минголла увидел, что девочки сгрудились у входа в боковой алтарь.

– Вам тут нравится, леди? – спросил он. – А то пошли с нами.

Они молча отпрянули, глаза жесткие, как обсидиан.

– Похоже, им тут неплохо, – сказал Минголла.

– Благодарю вас! – сказал священник.

– Ты сам не понимаешь, что творишь! – Корасон потрясла пальцем перед Минголлиным носом. – Эти ебаные попы – они же психи. Им так приспичило занять Бога, что они уже думают, будто сами этот Бог и есть. Как будто все про Бога знают. И лезут человеку в душу. Уж я-то насмотрелась!

– Когда? – спросил Минголла.

Корасон глубоко вздохнула.

– Когда я была маленькой, тринадцать лет, наш сучий поп таскал меня к себе домой... чему-то особенному выучить, так он говорил маме. Что-то, говорил, есть во мне сильно духовное. Сперва просто болтал о Таинствах, ну, ты знаешь. Потом решил показать. Таинства! Ага! Через год я знала про все эти Таинства больше, чем замужние тетки.

А ведь звучит убедительно, думал Минголла, и если она говорит правду, то это многое объясняет. И все же что-то не сходилось. Слишком неожиданно Корасон пустилась в откровенности, и слишком хорошо это совпало со все растущим Минголлиным недоверием – может, стоит послушаться предчувствия и избавиться от нее прямо сейчас. Но он сооб-

разил, что тогда придется иметь дело с Тулли, а ему бы этого не хотелось. В конце концов, он может ошибаться, а если даже и нет, то от Корасон не будет большого вреда, нужно только получше за ней следить.

Не обращая больше внимания на ругань и причитания, Минголла подтолкнул Корасон к выходу.

– Идите с Богом, – напутствовал их священник, затем рассмеялся. – Или еще с кем.

Минголла остановился в дверях и оглянулся – ему вдруг стало жаль своего земляка.

– Это все невзправду, старик, – сказал он. – Ты сам-то понимаешь?

– Иногда мне тоже так кажется, – ответил священник. – Но... – Он пожал плечами и усмехнулся. – Я это я.

– Ладно... удачи.

– Эй, погоди, – окликнул его священник. – Как там «Метз»?

– Хрен знает, я за «Янки» болею.

Священник изобразил на лице суровость.

– Богохульник. – Дружески махнув рукой, он захлопнул дверь.

В небе теперь была видна война, зловещая заря целый день не сходила с горизонта, закручиваясь розовыми и золотыми воронками, омывая светом облака. В деревнях, где путешественники покупали бензин, им объяснили, что зона бо-

ев растянулась на несколько миль и обойти ее невозможно. Столь прекрасный образ войны пугал еще больше, но делать было нечего, и они шли вперед. Джунгли постепенно редели, а следы конфликта попадались все чаще. Подъезжая к травянистому холму, путешественники заметили на его склоне дюжину желтовато-коричневых фигур, похожих издалека на отпечатки громадных сапог; однако при ближайшем рассмотрении пятна эти оказались раздавленными и высохшими трупами; очевидно, по ним проехался танк – вместо лиц безглазые маски, а пальцы вывернуты наружу, как у человечков, которых в детстве Минголла лепил из глины. Меньше чем через сутки путешественники обнаружили незарытую братскую могилу, а тем же вечером они подъехали к основанию вулкана, поднимавшегося прямо из середины секвойевой роци, где Минголла заметил высоко на стволах деревянные платформы, а чуть позже, пока «мустанг» пробирался между деревьями, увидел, как с одной такой площадки спускаются по веревкам люди. Оружия у них как будто не было, но Минголла на всякий случай перехватил автомат и велел Деборе остановиться. Затем он, Тулли и Дебора выбрались из машины и, наставив автоматы, стали смотреть, как приближаются два человека.

– Привет! – крикнул первый.

Это был плотный лысеющий американец лет пятидесяти, в шортах и потрепанной гимнастике с генеральской звездой в петлице. Открытое, пышущее здоровьем лицо хорошо по-

дошло бы водителю бойскаутов или директору детского лагеря. Его товарищ был индейцем, на вид постарше, морщин побольше, в джинсах и футболке с Микки-Маусом.

– Господи, до чего ж здорово видеть новые лица! – воскликнул американец. – Куда собрались?

– В Панаму, – ответила Дебора.

– Ну, ночевать-то вам где-то надо? – сказал американец. – Моя фамилия Блэкфорд. Фрэнк Блэкфорд. Армия США, в отставке. А это, – он показал на индейца, – это Грегорио, мой шурин. Мы, можно сказать, делим мэрство нашей маленькой общины. Пошли. Поедите чего-нибудь, а потом...

– Спасибо, – сказал Минголла. – Но мы хотели до темноты проехать еще несколько миль.

Добродушие Блэкфорда улетучилось.

– Нельзя. Это опасно.

– Чем? – спросил Тулли.

Грегорио пробурчал что-то на своем языке. Блэкфорд кивнул и объяснил:

– В этих краях обитает крупное животное. Ночное и очень свирепое. Обычное оружие его, считай, вообще не берет... потому мы и забрались так высоко.

– Что за животное? – спросила Дебора.

– *Malo*, – сказал Грегорио. – *Muy malo*.²³

– Это длинная история, – сказал Блэкфорд. – Послушайте меня, сегодня вам все равно далеко не уехать. Только зале-

²³ Плохое. <...> Очень плохое. (исп.)

зете в самую середину опасной зоны. Оставайтесь, я вам все расскажу.

Похоже, он искренне о них заботился, но Минголла на всякий случай подкрепил эту заботу сперва в американце, а потом и в Грегорио.

– Ладно, – сказал он. – А что делать с машиной?

– С ней ничего не будет. – Блэкфорд рассмеялся. – Зачем Зверю машины.

– Зверю? – Дебора с тревогой посмотрела на Минголлу.

– Психи хреновы, – вполголоса пробормотал Тулли.

Блэкфорд его услышал:

– Может, и психи. Зато живые! Живые! А что еще нужно в наше время.

С края охватившей кольцом секвойевый ствол деревянной платформы в просветы между ветвями видны были такие же площадки на соседних деревьях. Сквозь тонкие ветки и темно-зеленую листву, словно оранжевые граненые самоцветы, блестели огни угольных жаровен; вокруг них суетились женщины, а дети сидели под навесами у самых стволов. Ветер доносил запахи стряпни, смешанные со свежим ароматом деревьев. Люди перебирались с платформы на платформу по системе веревок, уворачиваясь друг от друга в воздухе. Внизу из зазубренного края трубы, словно серебряная рыбка, била вода, выливаясь в тянувшийся от дерева к дереву желоб; где-то неподалеку пыхтел насос. Слышались об-

рывки разговоров и детские крики. Платформу, на которой стоял сейчас Минголла, закрывала крыша из переплетенных ветвей, а мебелью служили соломенные тюфяки и подушки. В углу приткнулся бледно-зеленый боевой комплект и шлем, и, после того как все поужинали разложенными на банановых листьях бобами и рисом, Минголла спросил Блэкфорда, чей этот костюм.

– Мой, – ответил тот.

– Не знал, что генералы участвуют в боях, – сказал Минголла.

– Они и не участвуют. – Блэкфорд щелкнул по звездочке в петлице. – Такие штуки дают, если высидишь двадцать пять лет в интендантстве. А костюм, – он словно искал нужное слово, – часть моей давней фантазии. Зато теперь пришлось кстати.

– Как же вас к птицам-то занесло? – спросил Тулли.

Привалившись к стволу, он обнимал Корасон. Рэй лежал на тюфяке и пялился на Дебору, та сидела по-турецки рядом с Минголлой. На древесный поселок опускалась темнота, в просветах между листьями показались звезды, а на западе у горизонта, хорошо заметный под ветвями, горел оставленный закатом неоновый шрам.

Блэкфорд вытянул ноги и приложился к бутылке рома.

– Скоро на работу, но, пожалуй, я еще успею рассказать вам эту историю.

– Вы работаете ночью? – удивилась Дебора. Блэкфорд

кивнул, ковырнув бутылочную этикетку.

– Почти вся моя служба, – начал он, – прошла в Сальвадоре. Черт побери, я хороший организатор, но совсем не военный человек, и меня это всегда доставало. Почему-то считал, что, будь у меня возможность, я оказался бы не хуже этих бравых ребят. Что такое война, спрашивал я себя, как не организованное насилие? Если я смог организовать доставку и подвоз, то почему бы не попробовать точно так же управлять боем? Я просился на фронт, но бумаги заворачивали. Говорили, что на этом месте от меня больше пользы. Но шуточки доходили. Фрэнк Т. Блэкфорд, боевой офицер, – помереть можно от хохота. Вот я и решил им всем доказать.

Блэкфорд вздохнул, и в тот же миг небо на западе неожиданно потемнело.

– Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что мысль была дурацкая. Наверное, я и сам был тогда дураком. И уж точно ничего не понимал в войне. Иначе не смотрел бы на нее как на повод для геройства, поле, где человек способен хоть как-то отличиться. Короче, решил проявить характер, дернул за кой-какие нити и оказался в Никарагуа временно командующим воинским подразделением – патрулем дальней разведки. Под другим именем, как вы понимаете. Мне полагался отпуск, и я решил совершить с этим патрулем что-нибудь выдающееся. Точнее, невозможное. А потом вернуться в Сальвадор и потрясти соответствующими бумагами перед носом у начальства. Ну вот, через три дня боев я потерял...

хотел сказать, что потерял контроль над моими людьми, но в действительности у меня его никогда и не было. Тогда как раз входил в моду самми, а безопасной дозы никто не знал. Мои ребята просто-напросто походили с ума, а я, чтобы не отставать от них, тоже стал нюхать эту дурь и быстро превратился в такого же психа. Помню, как мы врвались в деревни – маленькие мирные поселки с фонтанами на площадях. Я проскакивал их на полном ходу в сумасшедшем танце, поливая огнем все вокруг, словно выписывая на стенах похабщину. Стрелял в людей и смеялся. Орал на них. Как ребенок с солдатиками.

Блэкфорд поднес бутылку к губам, но пить не стал, просто посмотрел куда-то в листву.

– Я не мог это вынести. Хотя нет, не так просто. Я мог это вынести. Я наслаждался своей химической бравадой, и вовсе не совесть привела меня в чувство. Просто я стал еще большим психом, чем мои люди, и они меня бросили. Болтался среди холмов без препаратов и без радио. Я прошел все те деревни, которые мы разрушили, и тогда – только тогда – до меня наконец дошло, где я и что натворил. Я видел в руинах привидения. Они заговаривали со мной, увязывались следом, а я все куда-то мчался, пытаюсь от них отделаться. – Блэкфорд выпил и передернулся, словно горлышко бутылки ударило в незажившую рану. – Хуже всего было ночами. Понял тогда, почему собаки воют на луну. Они ей отвечают, луна – это застывший вой, длинная желтая глотка, разинутая

от ужаса и отчаяния. Я прятался среди развалин и в воронках. Прятался от того, что там было, и от того, чего не было. Однажды провалялся в канаве всю ночь рядом с каким-то бревном, а когда стало светать, увидел, что это окоченевший труп. Он тарасился на меня все время, а глаза вжигали в голову что-то явно нехорошее. Я попал в эпицентр безумия. В этом месте оно обладало волей и само разбиралось, что нужно делать и что такое порядок. На той высоте безумия, куда я забрался, можно было сидеть и вести вполне рациональную дискуссию с любым разумным человеком, а то и победить его по всем пунктам.

Блэкфорд собрался отхлебнуть еще, но вспомнил о гостях и передал бутылку Тулли.

– Привел меня в себя вулкан. Вид у него был такой примитивный, что, казалось, собирался растолковать простые истины. Как на ладони, идеальный конус, торчит себе в голубое небо – такое мог нарисовать цветными карандашами ребенок, если ему рассказать про Никарагуа и про то, какой эта страна была раньше. Вокруг вулкана никого, только индейцы и подземный огонь. Меня проняло, я обошел его вокруг – три мили, восхищаясь и разглядывая. Так буддисты делают. Это называется коловращение. Может, я сам вспомнил, а может, кровь подсказала, что делать, когда видишь магическую гору. Кто знает... Я любил этот вулкан, мне было хорошо у его подножия, в его тени. И все время, пока я бродил по кругу, я не встретил ни одной живой души. До тех

пор, пока Григорио не надумал спасти меня от Зверя. Сперва я решил, что этот индеец еще больший псих, чем я. Он ни разу не видел ни самого Зверя, ни его следов. И при этом клялся, что Зверь существует. Его рассказ меня зачаровал; если бы не это, я бы из чистого упрямства остался на земле и, наверное, погиб. Но мне хотелось послушать еще, узнать получше диковинных людей, что живут на деревьях.

Блэкфорд махнул бутылкой в сторону платформ – драных дощатых плотов, освещенных почти уже затухшими очагами; у огней коленопреклоненные человеческие тени, и каждая такая картина заключена в филигранную рамку из листьев, отчего казалось, будто в магических зеркалах вдруг возникли образы потустороннего мира.

– Конечно, почти ничего этого раньше не было, – продолжил Блэкфорд. – Пока я не взялся за дело, селение выглядело весьма убого. Но даже в тот первый день жизнь этих людей показалась мне в высшей степени разумной, и, послушав Григорио, поразмыслив над глубинной сутью его рассказа, я понял, что как раз здесь смогу проявить себя наилучшим образом. – Блэкфорд забрал у Тулли бутылку, отпил, вытер рот рукой. История захватила его, он посматривал на гостей не для того, чтобы проверить, слушают они его или нет, а просто силой взгляда подкрепляя слова. – Вот что рассказал мне Григорио. Много лет назад в верховьях реки, что течет за вулканом, жил немец по имени Луденс. Никто не знал, почему он там поселился, но в те времена одинокие эксцентрич-

ные немцы были в Центральной Америке скорее правилом, чем исключением, а потому мало кто обращал на него внимание. Немец изредка появлялся в нижних деревнях пополнить запасы еды и всякий раз говорил индейцам, чтобы те не ходили к истокам, поскольку там обитает страшный зверь. Чудовище. Большинству хватало предупреждений, но были, естественно, и такие, что хотели убедиться сами и отправлялись на поиски Зверя. Их изуродованные трупы приплывали потом по реке, и вскоре уже никто не решался подниматься к дому Луденса. Так продолжалось до самой его смерти, а после выяснилось, что немец раскопал серебряную жилу и, как записал у себя в дневнике, сочинил легенду о Звере, чтобы никто не раскрыл его тайну. Еще он признался, что убивал индейцев, дабы придать легенде правдоподобия. Люди признали, что Луденс убийца, но это ничуть не поколебало их веру в Зверя. Здешние чудовища – по крайней мере, их никарагуанская разновидность – гораздо искуснее своих североамериканских сородичей: в индейские знания и традиции прекрасно вписывалось то, что, убивая всех, кто вторгался на его территорию, Луденс исполнял волю Зверя. Признав, что сам сочинил эту легенду, немец скрыл страшную правду – так сочли люди, – а сама эта правда заключалась в том, что искусный и губительный демон существует. Война заставила индейцев покинуть родные земли и перебраться в верховья реки, но даже тогда они не осмелились остаться на земле, а забрались на деревья, которыми чудовище не инте-

ресовалось.

Рэй рассмеялся.

– И теперь ты уверен, что Зверь существует?

– Эта истина соблазнительна, – сказал Блэкфорд. – И как любая истина, весьма сложна в своем проявлении. Учтите, что за все прошедшие после смерти Луденса годы никто так и не решился проверить легенду на прочность, никто не провел на земле ни единой ночи. Я предложил бы вам самим заняться этой проверкой, но при любом исходе – что она докажет? Если вы останетесь живы, это не поколеблет легенду – Зверь мог быть просто занят. Зато ваша смерть еще более укрепит веру. Единственным реальным испытанием веры на истинность служит ответ на вопрос: приносит ли она пользу своим адептам? А кто рискнет отрицать, что Зверь несет нам благо? Не он ли удержал нас от войны? Не он ли побудил нас создать этот прекрасный поселок? Вере достаточно философического существования. – Блэкфорд улыбнулся. – Вы спросите, верю ли я сам в существование Зверя. Отвечу: я и есть его существование. Все, что вы видите вокруг, – его тайная топология, границы его воли. Если вы спросите меня, умеет ли Зверь выть, грызть и рычать, мой ответ будет: слушайте. Найдите свой ответ сами. Я нашел свой.

Ночью Минголле не спалось. Он лежал, вслушиваясь в шелест листьев и мириады других шумов ночного балдахина. Разглядывал темные фигуры. Около полуночи одна из

них украдкой поднялась и перекинула через руку нечто, казавшееся неуклюжей тенью, – боевой костюм. Это был Блэкфорд. Хозяин платформы подошел к краю и шагнул в дощатую клетку-подъемник. Заскрипели веревки, и клетка исчезла из виду. Минголла подполз поближе, перегнулся через край. Блэкфорд уже выбрался из клетки и стоял теперь у подножия дерева, ясно видимый в потоке лунного света. Он стащил с себя рубашку, шорты и влез в боевой костюм. Надел шлем, закрепил застёжки, потом зашагал прочь сквозь пирамидальные колонны секвой и пропал из виду.

Минголла дополз до своего тюфяка, лег рядом с Деборой и попытался осмыслить только что увиденное, а после того как ему это удалось, решил попробовать понять, вел себя Блэкфорд как простой сумасшедший или, наоборот, то была исключительно трудноуловимая и в высшей степени предусмотрительная форма здравомыслия. А может, думал Минголла, между этими состояниями нет на самом деле никакой разницы. В глубине леса раздался гортанный вой, в котором Минголла тут же узнал сигнал акустического маяка от боевого костюма. Вой прозвучал три раза и затих.

– Что это? – тревожно спросила Дебора, хватая Минголлу за руку. – Ты слышал?

– Ага. – Он мягко уложил ее обратно на тюфяк. – Спи.

– Но что это было?

– Не знаю.

Он держал ее, пока она не заснула, но сам еще долго лежал

без сна, слушая неправдоподобно частые сигналы – Зверь обходил свои владения.

Глава четырнадцатая

На границе войны стояло произведение искусства – памятник прежним иллюзиям и приговор той действительности, которой уже нет. В часе езды от линии фронта на стенах разрушенной деревушки – серия фресок; деревня располагалась на пологом склоне поросшего соснами холма, и еще с пропускного пункта на проходившей ниже дороге Минголла видел сквозь стволы эти яркие пятна.

– Парень такой был, знаешь, как там его... Военный Художник. – Капрал пропустил Минголла с Деборой через пункт, очевидно поверив, что они из разведки. – За этой фигней присматривает музейный мудака, если охота, можно взглянуть. Потом приставим к вам проводников до штаба.

– А что, давайте посмотрим. – Минголла выбрался из «мустанга» и вопросительно взглянул на Рэя, Корасон и Тулли, расположившихся на заднем сиденье.

– Мы здесь побудем, – сказал Тулли. – Мало мне этой чертовой войны, чтоб еще на картинке пялиться.

Рэй, после того как утром его опять отшила Дебора, пребывал в мерзком настроении, а потому не сказал ничего.

– Возьмите автоматы, – посоветовал сержант. – А то у нас тут снайперы.

Утро выдалось свежим, прохладным, яркий солнечный свет отливало белесым золотом, вспыхивая на росистых сос-

новых иголок, – совсем как в Нью-Йорке в конце сентября. Минголла с Деборой прошли сквозь сосны, и стало видно, что деревня мала, пятнадцать-двадцать домов, не больше, почти все без крыш и как минимум без одной стены; но уже на поляне, где стояла эта деревня, мучительная сила фресок заставляла забыть о разрушениях. Внешние стороны стен несли на себе картины каждодневной жизни: полная индианка удерживает на голове кувшин; в проеме дверей играют трое ребятишек; крестьяне идут через поле, на головах цветные платки, на плечах мачете. Акриловые краски напоминали пастель, а мужчины и женщины были выписаны в натуралистической манере, которая отличалась от фотореализма лишь утонченностью крестьянских лиц и балетной отточенностью поз. Глядя на фигуры, Минголла чувствовал, как художник пытался поймать ту самую секунду, когда впервые дала о себе знать судьба; в этот миг люди слышали посвист ближайшего будущего – на лицах еще нет изумления и тревоги, а тела разве что слегка напряглись, добавив изящества прежним свободным от страха позам. Крестьяне были яркими призраками – еще живые, но уже мертвые, когда само знание о смерти не ударило их в полную силу. Стена за стеной, фрески лупили по глазам, и выносить их становилось все труднее. Внутри хижин тоже были какие-то картины, и Минголла уже хотел взглянуть на них, когда услышал за спиной бодрый голос:

– Фантастика, правда?

К ним направлялся высокий худой мужчина лет под тридцать, темно-русый, с оливковой кожей и несколько измученным, но привлекательным лицом; он был в джинсах и трикотажной рубашке, сопровождал его человек постарше – метис с видеокамерой в руках.

– Меня зовут Крейг Спарлоу, – сказал высокий. – Я из музея Метрополитен. Надеюсь, вы не против, если мы снимем ваш визит на пленку... мы ведем летопись этого обломка, пока он еще находится в естественных условиях.

Минголла представил себя и Дебору, сказал, что они не возражают. Сомнительно, чтобы Спарлоу интересовали их имена: задрав подбородок, уперев руки в бока и излучая всем своим видом гордость собственника, музейный работник погрузился в созерцание.

– Просто поразительно, – сказал он. – Мы потеряли двух человек, пока искали мины-ловушки. То ли еще будет, когда начнем разбирать и упаковывать. Кто знает, все ли мины нашли. Но боже мой! Даже если удастся спасти всего одну фреску, дело того стоит. Я знаю, они смеются, – он кивнул в сторону КПП, – что там спасать, когда вокруг такое. – Он грустно улыбнулся и развел руками, словно извинялся за это «вокруг», считая его безнадежным, но отказываясь признавать свою вину. – Нужно все-таки оставаться людьми, правда? Сколь бы ни ужасна была эта война, нельзя отрицать, что она порождает работы великой красоты и силы. – Он вздохнул – эстет, противостоящий первоначальному невежеству, ко-

торое так больно его задевает. – А вот эта, эта – особенная. Художник наверняка сам так считал... единственная картина, которой он дал название.

– Какое? – спросил Минголла.

– «Механика, лежащая в глубине поверхностной реальности», – ответил Спарлоу, смакуя каждое слово.

– Вроде бы не очень подходит, – сказала Дебора.

– Честно говоря, я... – Спарлоу хлопнул себя по лбу. – Вы же не были внутри домов, правильно? Пойдемте! Я вам все покажу. И поверьте, вы убедитесь сами, название подходит как нельзя лучше.

Он препроводил их в дверь ближайшего дома. Земляной пол зарос высокими сорняками и крапивой, среди длинных зеленых стеблей дрожали цирконовые крылья стрекоз, солнечный луч прочертил через всю стену острый угол, но – такова была природа фресок, такой холод отбрасывали эти стены – свет почти не влиял на картины. Они несли на себе гротескную машинерию, достойную кисти Босха или Брейгеля²⁴. Сложную и заполнявшую каждый дюйм стеной поверхности. Зубцы желтой кости вместо шестерен, шкивы из открытой сердечной мышцы, веревки сухожилий вместо тросов, причудливые соединения хрящей. А из темно-багровых зазоров между сочленениями и ребрами машин выглядывали искривленные громоподобные лица вроде тех, что

²⁴ *Иероним Босх* (ок. 1460-1516) и *Питер Брейгель-старший* (между 1525 и 1530-1569) – нидерландские художники, склонные к фантастичности и гротеску.

мерещатся в желобках древесной коры: трудно было понять, нарисованы эти лица специально или возникают из теней и неровностей стен. Стоило Минголле повернуть голову, как машины переключались в новое положение. Он вспомнил, как давно на дядюшкиной ферме скакал по сельской дороге мимо сверкавшего светлячками поля; он заметил тогда, как секунда за секундой меняется их узор – ковши, полумесяцы, что-то еще, – и, видимо, от усталости навязчивость огоньков стала совершенно иррационально действовать ему на нервы; он старался не замечать их, но это плохо получалось; какой-то светляк выскочил тогда прямо перед носом, и Минголла его вдохнул. Так же на него действовали эти жуткие машины: каждый новый узор заставлял задыхаться.

– Чувствуете? – спросил Спарлоу. – Убежденность в рисунке, кисть художника просветляет, его глаза следят за нами. – Собственные глаза Спарлоу стрельнули в сторону, проверяя усердие оператора.

Они переходили из комнаты в комнату, из дома в дом; Дебора и Минголла молчали, оператор не отставал, а Спарлоу все тянул свою нудную лекцию.

– Конечно, – говорил он, – каждая экскурсия начинается и кончается в разных местах. Однако мы полагаем, что вот этот дом и вот эту стену художник считал центральной.

На фреске была нарисована кровать, на ней лицом к стене лежал мужчина – так, что виднелись только черные волосы и загорелые плечи, а рядом молодая женщина, индейски-

ми чертами лица напоминавшая Дебору. Простыня сползла вниз, обнажив груди, с края матраса свесилась темная рука. В позах этих двоих ощущалась бессильная энергия, как-то связанная со смертью, ибо они умерли, уступили зловещим процессам, воплощенным в кабелях и шестеренках кровавых человеческих останков, что виднелись в тени под кроватью.

– Конец истории, – сказал Спарлоу. – Живопись как нарратив, переосмысленный нашим временем. И переосмысленный с пронзительной силой.

Возможно, поразительное сходство Деборы и женщины на фреске так воспламенило Минголлин гнев, но он вдруг ясно понял, что весь его путь сквозь лабиринт раскрашенных комнат был подобен бегу огня по бикфордову шнуру и что именно он несет в себе волю художника, выполнившего эту работу и предопределившего ее уничтожение, – спичкой, которая подожгла этот шнур, стал гнусавый голос Спарлоу. Не обращая внимания на панические вопли экскурсовода, Минголла поднял автомат и открыл огонь. Он прошивал стену сверху донизу, по воздуху летали раскрашенные обломки штукатурки, грохот отдавался эхом, а когда в рожке кончились патроны, от всей картины осталась лишь свисавшая с края матраса темная рука женщины... Глядя на эту отдельную от всего руку, Минголла вспомнил, что уже видел ее раньше: мимолетная галлюцинация в кабинете Исагирре – за быстро мелькнувшей изящной рукой появилась подробная

картина ночной улицы; Минголла не чувствовал сейчас ничего, кроме пустоты, он понял, что это значит: финал predetermined, долгие годы будущего воплощены в галлюцинации порнографической Америки. Под вопли Спарлоу он вышел из комнаты на улицу и набрал полную грудь чистого, залитого солнцем воздуха. Между сосен к ним бежали Тулли и пара солдат с КПП.

– Что за дела? – крикнул Тулли. – Что с тобой?

– Все в норме... Просто расхуячил картину.

– Да ты что? – удивился солдат.

– Ага!

Солдаты рассмеялись.

– Ну ты даешь, мужик! Ну даешь! – Они помчались вниз по склону сообщать эту новость остальным.

Дебора встала рядом с Минголлой, взяла его за руку, словно признавая себя соучастницей, Спарлоу за их спинами спросил оператора:

– Все заснял? – И затем: – Ну хоть что-то.

Он подошел к Минголле и резко сказал:

– Потрудитесь объяснить, зачем вы это сделали. – В голосе звучала горечь и усталый сарказм. – Вас, очевидно, что-то подтолкнуло, импульс варвара? О боже!

Минголла слышал, как жужжит камера.

– Так было нужно... что тут скажешь?

– А вы знаете... – Голос Спарлоу заметно окреп. – Вы знаете, через что нам пришлось пройти, чтобы сохранить этот

шедевр? Знаете?.. – Он брезгливо махнул рукой. – Куда там!

– Какая разница, – сказал Минголла. – У вас ведь все снято. – Он кивнул в сторону камеры. – Это даже лучше, чем сама картина, правда?

– Подобная потеря... – начал было Спарлоу с высокопарной серьезностью, но Минголлу захлестнуло волной гнева – он выхватил у Деборы автомат и наставил на музейщика.

– Снимаешь? – спросил он у оператора, затем опять повернулся к Спарлоу: – Это твой звездный час, мужик. Поделись мыслями о смерти как искусстве. Последнее слово о творческом процессе?

Дебора потянула его за руку, но Минголла оттолкнул ее.

– Брось ты это дело, – вмешался Тулли. – Парень того не стоит.

– Ну зачем так нервничать, – проговорил Спарлоу. – Мы...

– Зачем? – оборвал его Минголла. – А ты пошевели мозгами! – Такой злобы он не помнил давно, наверное со времен Железного Баррио, но не совсем понимая, что с ним происходит, – дело было в картине, в том, как она подтверждала горькое будущее, – Минголла чувствовал, как ему все сильнее нравится это состояние – острота и безжалостное буйство. Он щелкнул предохранителем, Спарлоу побледнел и отшатнулся.

– Прошу вас, – сказал он. – Прошу.

– Я б с радостью, – ответил Минголла, – но меня так захва-

тило творчество, какое тут на хуй милосердие. Ты что, не видишь неотвратимость момента? Врубись, я говорю о серьезных вещах. Из полусвета войны является идеальный критик, палит в самое сердце картины, после чего обращает оружие на человека, чьи действия вопиюще противоречат формальному императиву работы.

– Пленка кончилась, – объявил метис-оператор. Ситуация его, похоже, забавляла, и Минголла сказал, что подождет, давай перезаряжай. Дебора и Тулли уговаривали его, но он рывкнул, чтобы они заткнулись.

– Ради бога! – Спарлоу оглядывался по сторонам, искал помощи, но ничего не находил. – Вы меня убьете... Не нужно!

– Я? – Минголла стукнул себя в грудь. – Ты не понимаешь, старик. Я всего-навсего воплощенное вдохновение картины, которая...

– Готово, – объявил оператор.

– Отлично! – В голове у Минголлы пели, стонали солнечные лучи, жужжали насекомые, и он сказал себе: «Я все-таки пушу в расход этого кретина, а что, он действует мне на нервы, проклятый идиот верит...»

– Хватит, Дэвид. – Дебора отвела дуло автомата в сторону и прижалась к Минголле. – Хватит, – повторила она мягко.

Она вливала в него спокойствие, и, как ни пытался Минголла этому сопротивляться, ничего не выходило. Опустив автомат, он посмотрел вверх ее головы на застывшего на

деревянных ногах Спарлоу.

– Пошел на хуй, – сказал он, только теперь осознав, насколько был близок к тому, чтобы все потерять, вернуться опять к своему бывшему безумию.

Спарлоу нырнул за спину оператора и, закрываясь им как щитом, метнулся к двери. Уже в доме он высунул наружу голову и прокричал:

– Ты сумасшедший, знаешь? Отведите его к врачу, леди! К врачу!

Голова казалась продолжением вырезанного в стене фриза: юная пара рука об руку и два старика поодаль о чем-то шепчутся, очевидно об этой паре. Минголла вдруг подумал, что хорошо бы снять собственное кино. День за днем гонять этого Спарлоу по развалинам, снимать на пленку его жуткое убожество, записывать все более бессвязное словоблудие об искусстве, и пусть эта болтовня обретает смысл в концепции фильма и на фоне артефактов. Назвать кино «Хранитель музея». Вообще-то, есть дела поважнее... но сейчас он не мог о них думать.

– Пошли. – Дебора взяла его за руку.

Они зашагали вверх по склону к КПП, к «мустангу», вокруг которого уже собрались солдаты.

– Да-да! – орал Спарлоу. – Идите прочь! Осквернили искусство, а теперь уходите. – Расхрабрившись оттого, что они далеко, он даже отошел на пару шагов от двери. – И чтоб больше не появлялись! Только суньтесь, уж я вас встречу!

У меня пистолет есть! Стрелять большого ума не надо! – Он еще разок шагнул в их сторону и потряс кулаком – последний защитник этой маленькой размалеванной крепости. Сказал что-то оператору, потом опять заорал, но голос его слабел, почти терялся в хрусте ковра из сосновых иголок. – Смеетесь! – доносились крики. – Смейтесь, смейтесь, думайте, только дураку есть дело до красоты, до силы этих стен! Думаете, я сумасшедший!

Спарлоу подождал, пока оператор перейдет на новое место, чтобы фрески тоже попали в кадр.

– Я не сумасшедший! – Он взвизгнул, рванулся вперед, но, пробежав пару шагов, метнулся в сторону.

С гребня высокого холма взгляду открылась сердцеви́на войны. У подножия гряды начиналась длинная извилистая долина, иссеченная настолько сложной путаницей троп и тропинок, что она казалась охряной паутиной, в нитях которой, словно останки паучьих жертв, запутались обугленные танки, растерзанные джипы и скорлупки сбитых вертолетов. Черные нити дыма, поднимаясь над свежими воронками, свивались в сетку над вершинами дальних холмов, а прямо внизу лежал опрокинутый на бок бронетранспортер с рваной дырой в крыше, из которой валило смешанное с дымом пламя. Вокруг транспортера в полном боевом снаряжении валялись трупы, несколько человек в грязно-оливковых футболках и камуфляжных штанах упаковывали их в похо-

ронные мешки, а еще двое поливали огонь пеной из белых пластиковых рюкзаков. Дым заволакивал солнце, и оно сияло уродливым желто-белым цветом перекисшего кефира. Повсюду сновали вертушки – совсем близко, чуть подальше и, точно жирные мухи, у противоположного изгиба долины. Сотни. Их шелестящее гудение словно задавало возбужденный ритм работе пожарных и похоронной команды. Время от времени вдалеке что-то взрывалось: фугас, грохот, новая волна дыма, суета вертушек, огонь с ракетных пилонов. Но, несмотря на всю эту активность, несмотря на слаженность людских действий и грохот сражения, в картине чувствовалась усталость – неторопливая аккуратность проглядывала в реакциях людей и вертолетов, а потому Минголла несколько не удивился, узнав, что битва за долину тянется уже много месяцев.

– И хоть бы кто дотумкал почему, – сказал сержант, провозжая всех четверых к лифту, что спускался под холм. – Бобиков можно раздолбать хоть сейчас, а мы все отбиваемся. Только и остается – верить, что кто-то там наверху знает, к чему вся эта хрень.

Сержант был невысоким лысеющим воякой лет уже почти пятидесяти, невзрачным, пузатым, увешанным оружием – явно из тех, для кого вера не пустой звук. На шее у него болтались два серебряных креста, и очень легко было представить, как он стучит по дереву всякий раз, когда говорит что-то оптимистичное; на правом бицепсе наверняка татуи-

ровка «Не доверяй удаче» в окружении рогов изобилия, долларовых значков, пронзенных стрелами сердец и «13» в центре расходящихся волнистых линий, призванных указывать на искрящуюся магию этого числа. Сержант был тугодумом, после каждого вопроса долго чесал затылок, а когда молчал, то рассеянно и тупо таращился на дверь лифта. Минголла присматривался к знакам.

Коридор, в который они вышли из лифта, был обшит таким же белым пенопластом, как тоннели на Муравьиной Ферме, повсюду толпились и куда-то спешили множество младших офицеров. В самом конце коридора путешественники вошли в дверь, и сержант сказал сидевшему за столом капралу, что это разведчики явились к майору Кэйбел. Капрал нажал кнопку зуммера, внутренняя дверь распахнулась, и они вошли в комнату, где стояли стол, стулья вокруг него, стулья у стен и раскладушка в углу.

Майор Кэйбел оказалась женщиной лет тридцати, смуглой, хрупкой и симпатичной, хотя тусклые каштановые волосы и напряженное лицо неизбежно превращали ее миловидность в чопорность старой девы, – Минголле тут же пришла на ум училка с фронта, брошенная женихом и застрявшая на долгие годы среди ветров прерии. Накинув форменное платье поверх футболки и камуфляжных штанов, она пригласила их войти. Майор быстро согласилась переправить группу на следующее утро через долину и дать им в провожатые разведывательный патруль; но когда Мингол-

ла предложил, что лучше бы на вертолете, ответила, что с патрулем безопаснее: на том конце долины вертолеты постоянно сбивают. Посмотрев на часы, она сказала, что к услугам гостей койки и душевые, но после спросила Минголлу, не трудно ли ему задержаться для короткого разговора. Деловой вопрос, пояснила она. Проводив остальных за дверь, майор Кэйбел словно ослабила пружину, сбросила с себя четыре или пять лет, а заодно и хрупкость; она откупорила бутылку джина и пододвинула Минголле стул – от такого обращения тот почувствовал себя неуютно.

– Надеюсь, вы не возражаете против небольшого разговора, – сказала майор, наполняя Минголлин стакан. – Так редко удается поговорить с нормальными людьми.

– Почему?

– Место такое... невероятные интриги. Средневековье! Лейтенанты подсиживают капитанов, капитаны друг друга, а заодно и меня. Все потому, что никак не закончится операция. Людям скучно, и за неимением лучшего они занялись карьерными подвижками.

– Вы серьезно?

– О да! Если бы они позволили мне победить – уверяю вас, это вопрос нескольких дней, – все было бы в порядке. Но командование настаивает на сдерживании. Одному Богу известно зачем! – Большим пальцем правой руки она потерла суставы левой. – Это действительно невероятно. Люди дурят друг другу головы... столько жертв. Пишут доносы о

том, как и кто себя ведет, потом эти бумаги возвращаются к пострадавшим. Несколько раз я перехватывала доносы на саму себя. Если бы половина всего, что там написано, было правдой... – Она театрально повела плечами. – И вообще, я отрезана от всех возможных... взаимоотношений. Заперта в этом кабинете. Мне постоянно снится один и тот же кошмар. Как будто я на пляже... Белый песок, солнце. Я живу в домике среди дюн. Меня ужасно утомляют прогулки по берегу, это слишком скучно. Не на чем задержать взгляд... даже краски блеклые и уродливые. Я ничего и ни для кого там не делаю. Не прячусь, не ищу уединения. Просто должна там быть. Что-то вроде профессии. Никому не нужна, никто со мной не разговаривает. Фактически не умею разговаривать. Я там навсегда. – Она коротко и нервно рассмеялась. – Недалеко от истины. И так, – сказала она с подчеркнутым безразличием, – вы из Нью-Йорка. Боже, сто лет не была в Нью-Йорке.

– Я тоже там давно не был, – ответил Минголла, оглядывая комнату.

На тумбочке рядом с раскладушкой лежала стопка религиозных журналов, а в тумбочке уместились маленький телевизор, видеоманитофон и несколько кассет, причем в названиях большинства фильмов бросалось в глаза слово «Любовь». Таков был доминантный узор майорских дум – то, вокруг чего они все время крутились, и по обстановке в комнате становилось ясно, какую именно иллюзию он отражал.

Чтобы удержать майора на расстоянии – а она уже принялась водить пальцами по его руке и колену, – Минголла стал расспрашивать о ее прошлом. Ему не хотелось открыто отталкивать ее, да и вообще обижать. Несмотря на иллюзии, что-то очень привлекательное было в этой женщине: внутреннее достоинство и сила отвергали надломы, заставляли относиться к ней без унижительной жалости. Минголле редко попадались люди, которых не хотелось бы жалеть.

– Я поступила в армию, когда умерла мама, – сказала майор. – Разные бывают обстоятельства, иногда люди поступают ужасно глупо. Одному Богу известно, о чем я тогда думала. Наверное, хотела порядка. Порядка! – Она рассмеялась. – Армия вобрала в себя все порядки на свете, а получился бардак.

Она рассказала, как болела мать, сколько той пришлось вынести.

– Я делала всю работу, – говорила майор. – Построила вокруг дома каменный забор. Перекопала сад. Обрезала сгнившие корни... жесткие, как стиснутые суставы. – Майор взболтала в стакане джин и уставилась в него, словно надеясь вычитать там пророчество. – Люди просты на самом деле. Когда я приехала, чтобы за ней ухаживать, она затолкала мою одежду в специальный ящик, подальше с глаз. Ерунда, конечно. Просто кусочек ее жизни. Иногда она словно скатывала свою боль в шарики, один за одним, так ей становилось легче. Однажды сказала: «Видишь, семена этой ли-

лии... висят на листьях. Возьми самые большие. Только не пересуши. Посади в дальнем конце сада». Когда я это исполнила, ей стало легче. – Майор подлила Минголле джина. – Сестра приехала помогать. Мы не виделись много лет. У нее появился южный акцент, на цепочке она теперь носила золотую карту Техаса. Сказала, что любит меня, но я с трудом ее узнала. Муж у нее техасец, пишет книги про всякие ужасы. Что-то я читала. Неплохо, но меня не трогает. Максимум – что-то вроде нездорового пессимизма. Наверное, мне трудно влезть в шкуру вампира-самоненавистника.

Она встала, подошла к дверям, остановилась и оглянулась через плечо на Минголлу; когда их взгляды встретились, она отвернулась.

– Не могу понять, почему именно я тут за все отвечаю, – продолжала майор. – Знаю, что конкретно привело меня на эту должность, полковник погиб и все такое, но это же не имеет никакого смысла. – Она рассмеялась. – Конечно, на самом деле я не отвечаю ни за что. Да и никто не отвечает... а если и есть такие люди, то они плохо понимают, что делают. Вы знаете, я теряю ежедневно сотню бойцов, даже когда затишье. Сто человек! – Она опять подошла к двери, повертела ручку. – Напрасно я говорю это все разведчику. Вдруг донесете.

– Я не буду на вас доносить.

– Простите, – сказала она, подходя поближе. – Я не это имела в виду. Мне почему-то неловко рядом с вами.

– Может, мне лучше уйти?

– Может быть. – Она упала в кресло. – Почему всегда одно и то же?

– Что одно и то же?

Она смущенно отвернулась.

– Меня постоянно тянет к мужчинам... к чужакам. Это... даже нельзя сказать – тянет. То есть я чувствую, как это начинается, понимаете? Чувствую, как реагирует мое тело. И стараюсь контролировать. Сознание не участвует, понимаете? По крайней мере, сначала. Но я не могу остановиться, не могу притормозить. А потом включается сознание тоже... хотя даже тогда я знаю, что это не настоящее, просто... Не знаю, что это. Но не настоящее, точно. – Похоже, майору очень хотелось, чтобы ее переубедили.

– Я могу помочь, – сказал Минголла.

– Это невозможно. Вы не знаете, что со мной происходит, а если бы и знали... – Она прищурилась. – Что вы замышляете?

– Ничего, – ответил Минголла и стал вгонять ее в сон.

– На кого вы работаете? – спросила майор, потом зевнула.

Среди всех узоров ее сознания один был явно поврежден, структура его казалась пластичнее, и влиять на него было легче, чем на другие, так что, пока майор клевала носом в кресле, Минголла возился с этим узором, менял, уменьшал его доминацию. Работа требовалась кропотливая. Слишком легко было промахнуться и вообще разрушить узор. Разру-

шить сознание этой женщины, превратить ее в собранные заново человеческие обломки – как дон Хулио, Амалия и Нейт. Прозрачное спокойствие не отпускало Минголлу все то время, пока он работал, и вместе с покоем приходило новое понимание разума. Минголла видел, как все мысленные узоры подчиняются главному, как в течение жизни они сплетаются в замысловатую, но заранее предопределенную сеть, что соединяет этот разум с мириадами других, и спрашивал себя: что, если его вера в таинственные и сверхъестественные совпадения была на самом деле смутным пониманием сути мышления, а те мистические свойства, которыми он всегда наделял реальность, действительно имели смысл?.. Слишком о многом предстояло подумать, слишком многое понять. Женская рука на фреске, девочка-христианка, которую он будет лечить в каком-то возможном будущем, ощущение, что он как-то разобрался с Исагирре. Даже прозрачное спокойствие, которое охватило его сейчас, тоже требовало осмысления – оно казалось симптомом более глубокого и сложного понимания, ожидавшего Минголлу в будущем. Все это, собранное вместе, составляло вселенную, чья сложность не желала делиться на категории, и чей истинный характер не укладывался в определения магии или науки. Минголла сомневался, что когда-нибудь сможет понять ее всю, но надеялся в один прекрасный день выйти за границы, казавшиеся раньше очевидными.

Он разбудил майора, и та подскочила с обалдевшим ви-

дом.

– Вы, должно быть, смертельно устали, – сказал он.

Она подавленно рассмеялась:

– Я все время устаю, – и сжала виски ладонями.

– Как вы себя чувствуете? – спросил он.

– Не знаю, – ответила майор. – Яснее, кажется. – Она бурравила его взглядом. – Вы со мной что-то сделали?

– Нет, клянусь... Вам нужно было поспать, только и всего.

– Я просто не понимаю, – проговорила она. – Минуту назад я была в отчаянии из-за...

– Наверное, стресс, – предположил Минголла. – Вот и все. Стресс иногда творит смешные штуки.

– Господи, что с нами делает эта война, – вздохнула женщина. – Нельзя даже просто хорошо себя почувствовать – подозрительно.

– Вы по-прежнему хотите, чтобы я ушел?

Отвечая, майор словно сверялась со своим внутренним голосом.

– Нет, – вспыхнула она. – Давайте еще немного выпьем, и вы расскажете мне о Нью-Йорке. И о себе. Вы почти ничего мне не рассказали. Конечно, с разведкой всегда так... из них не вытянешь даже самого простого. – Она потянулась к бутылке, но по дороге застыла. – Вы же не из разведки, правда?

– Почему вы так решили?

– Все разведчики, которые мне попадались, держались холодно, накачивались бурбоном и только и знали, что выню-

хивать красную угрозу, словно жить не могли без коммунык. Вы на них не похожи.

– Наверное, я новой породы.

Перед тем как налить в стакан джина, майор долго изучающе смотрела на Минголлу.

– Это точно, – сказала она.

Патруль, сопровождавший их через долину, состоял из десяти человек, неуклюжих и в полном обмундировании похожих на инопланетян; на щитках мелькали буквы и цифры внутришлемных компьютерных дисплеев, мозги накачаны самми. Луны не было, но пока они пробирались сквозь заросший кустами склон, в небе то и дело вспыхивали огни, взрывы швыряли вверх пучки оранжевого пламени, оно вскипало у самых облаков, а с круживших над головами вертолетов лился радужный дождь трассирующих пуль – косою ливень ревущего света выхватывал силуэты веток и листьев, мерцал на щитках солдатских шлемов. Потом из-за облаков показалась луна, но ее блеска никто не заметил. Всем им выдали горловые микрофоны с миниатюрными наушниками, так что можно было говорить с солдатами, и, слушая их высокие голоса, Минголла изумлялся тому, в какое радостное возбуждение приводит их это нечеловеческое представление.

– Сукин сын! – воскликнул один – пацан по имени Бобби. – Гля, куда херачит! Пряма в бак.

Сержант патруля, жилистый светлокожий негр по имени Эдди, ответил:

– Без базара! Погоди, допрут до танков. Бля, один уже допер – прям Четвертое июля. Все ракеты на хер... красные, зеленые, огонь полосами. Ни хуя себе, крутняк работка.

– Видал я и не такое, – проворчал Бобби. – Скажешь, нет? Я тут почти столько, сколько ты.

Эдди хмыкнул.

– Так, блядь, обдолбаться – еще и не то увидишь.

– Эй вы, козлы, – раздался третий голос, – прикусите язык! У нас тут леди.

– Заткни ебало, Себо, – снова встрял Бобби. – Баба из разведки. Перед тем как слать, ее там переимели по-всякому. А то... Ого! Клево! Гля, как эту суку рвануло! Прямо в середине золотая херовина, видали? Ни хуя себе! Интересно, с чего эти фрито золотым огнем горят?

– Сала много жрут, – предположил кто-то новый.

Минголле стало не по себе, и он подошел поближе к Деборе. В отблесках взрывов ее глаза вспыхивали красным, а тени рук казались семипальными.

– Держись, – сказал он, просто чтобы что-то сказать и забыв о микрофоне.

– Сдается мне, – сказал Бобби, – эти чувачки слабы на передок.

– Прикинь, как она подмахивает, – сказал Себо. – Научили небось в разведке нехилым фокусам.

– Заткни хлебало! – крикнул Эдди.

– Прикинь, у нее там мышцы такие обученные... агентов раскалывать.

– Я кому сказал, заткнись!

– Имею право помечтать, – не сдавался Себо. – А если они вдвоем, тощенькие такие, у одной роза в глазу.

– Мечтай, мечтай, – сказал Тулли. – Только смотри по сторонам, а примечтается тебе один большой ниггер... понятно?

– Не лезь к нему, Себо, – сказал Эдди. – Мужик, похоже, всерьез.

– Всерьез? Говно! – хихикнул Себо. – Не та война для серьеза.

– Наверное, – нервно сказал Рэй, – имеет смысл держать их мозги в перекрестьи.

– Эй, тощий бобик, ты про что это, а? – заинтересовался Бобби. – А, фрито! Чего-то ты мне не нравишься. Ты уж прости мужик, но лучше бы тебе с крестами не заморачиваться.

От близкого взрыва затряслась земля, оранжевый свет выхватил фигуры солдат, они застыли живописной картинкой, а силуэты деревьев превратились в причудливое нагромождение форм. Минголла с Деборой упали за куст и прижались к земле, но солдаты повернулись лицом к свету, точно пилигримы, что с огромным трудом добрались наконец до главного таинства. Взрыв их словно успокоил, и, когда сияние угасло, они продолжили путь уже молча.

Долину перешли без приключений, но на самой вершине, когда внизу показалась разрушенная деревня, в которой им полагалось ждать транспорт в Панаму, в двадцати ярдах впереди Минголлы вдруг вспыхнул огонь – солдата подбросило в воздух, а вокруг затрещали автоматные очереди. Минголла повалил Дебору на землю, сам растянулся рядом. Из передатчика неслись крики и возбужденные голоса. Рот у Минголлы был полон грязи, он очень испугался. Навел автомат на зубчатую тень и открыл огонь. Выстрелы утонули в грохоте тяжелой артиллерии. Голоса и орудие говорили вместе на одном и том же бешено ревушем языке. Грохот и неистовство – Минголла чувствовал, как горячий ветер, дикий тропический ураган протаскивает сквозь него красные занозы страха. Дебора вытащила из-под себя автомат и тоже начала стрелять; Минголла чувствовал щекой, как дрожит и раскаляется ствол. Затем все кончилось. Орудия замолчали, откуда-то взялась луна – выхватила из пространства фигуры, они сделались четкими и снова узнаваемыми. Стало прохладнее. Пробился нормальный голос. Стон.

– У меня тут живой бобик!

– Тащи сюда!

– Себо! Ты здесь? Все путем?

– Нога... штаниной ногу пережало.

– Дай мне его номер, черт побери! Какой он говорит номер?

– Живой! Нога разъебана, но вроде живой!

– Гони разведку вниз!

– У него медпакет для ноги... Вроде ничего. Не чувствует же ни хрена.

– Все хорошо, Себо. Ты подорвался на mine, но все хорошо.

– У него нога разьебана! Посмотри на табло... кости ж раскидало.

– Ебаныврот! Заткнись!

– Вы про мою ногу, мужики?

Два солдата втащили Минголлу с Деборой наверх и поспешно отправили по склону холма к деревне. За их спинами кричал Себо.

– Что за херня... что у меня с ногой?

По деревне в несколько акров хибар и грязных улочек словно потоптался великан: крыши продавлены, стены смяты, столбы расколоты. Рэй, Минголла и Дебора сидели под покатым навесом. Тулли и Корасон – отдельно, а чуть дальше остановились солдаты. Под ярким лунным светом обломки столбов и растрепанная солома казались грязными и серовато-черным и, а сама улица отливала лавандово-серым. Тени изломанные и острые – наверное, такими они будут в аду. Над дальними холмами, вспыхнув, взорвалась ракета.

– Почти дома, – сказал Рэй.

– Идиот! – Минголла с трудом удержался, чтобы его не ударить. – Мы чуть не сдохли на этой мудацкой дороге, а ты

тут сидишь и пиздишь про дом.

Рэй – всего лишь тень со скрещенными ногами – ничего не ответил.

– Когда придет самолет? – спросила Дебора.

– На рассвете, – ответил Рэй. – Высадит нас на аэродроме за городом, а как стемнеет, пойдем в баррио.

На улице появились еще три солдата: Себо волок по земле ногу, два других его поддерживали. Штанина комбинезона обгорела до самого колена. Они усадили Себо между Рэем и Минголлой, стащили с головы шлем. У Себо оказались короткие черные волосы и мелкое темное лицо, грязное от щетины, и Минголла узнал ветерана, пристававшего к нему в той галлюцинации, – ветеран тогда узнал его. С Себо ручьями лился пот, в углах рта пролегли напряженные складки. Два других солдата – Бобби и Эдди – тоже сняли шлемы и опустились рядом с ним на колени.

– Комбез качает нормально? Хватает? – спросил Бобби.

Он оказался крупным нескладным мальчишкой, стриженным под ежик; слишком мелкие, но разнесенные черты круглого лица делали его похожим на безобидного идиота.

– Да вроде ничего, – невнятно буркнул Себо.

Минголла смотрел на него, пытаясь соединить это лицо с рукой на фреске и со всем остальным.

– Вертушка еще не скоро, мужик, – сказал Эдди, усаживаясь на корточки. – Но ты не волнуйся.

Себо взгляделся в небо, облизал губы.

Эдди достал сухой паек, галеты. Разломил одну пополам и слизнул белую глазурь начинки. Протянул половину Минголле, потом Деборе, потом Рэю. Все отказались.

– Зря, много потеряли, – сказал Эдди. – Эти сахарные штуки классно расслабляют. Правильно говорю, Бобби?

– Угу.

– Во-во, – продолжал Эдди. – Будешь тихий и мирный – так эти херовины работают. После стрельбы самое то. – Он усмехнулся, подмигнул, лицо затянулось добрыми лукавыми морщинками. – Вот приеду домой, мужики, скажу, чтоб снимали с меня рекламу: «Всю великую войну только и делал, что высасывал у этих херолин начинку». Как оно?

– Миллион продадут, – сказал Минголла. Он смотрел на деревню, на серые тоскливые обломки, еще хранившие в себе запах людей и животных. Призрак запаха. Ветер теребил солому, тени дрожали.

– Бритвы, – мечтательно произнес Бобби. – Бля, режут так гладко, что ни хрена не почувствуешь. Хоть скальп снимай. Будешь думать, что все путем, пока кровь в глаза не польется. Бля, если у тебя бритва, они два раза подумают, перед тем как лезть. Забздят – охота связываться, когда не знаешь даже, что тебя порезали. Бритвы, – сказал Бобби. – Гладкие.

От этого ленивого голоса Минголле передернуло.

– Не пизди! – рявкнул Эдди. – Блядь! Сопляк, никаких бритв в глаза не видал. Обдолбался и тащится, думает, крут. Хуйню ты порешь, мальчик Бобби. – Он слизнул глазурь с

другой галеты. – Хуйню.

– Может, и так, – согласился Бобби. – Да только знаю я про бритвы, понял? Думать надо, все будешь знать. Домой поеду, надо будет штучку прихватить.

– Тормоз хуев. – Эдди снова подмигнул Минголле. – Эй, Бобби! А помнишь, как тебя первый раз притащили в эту деревню?

Бобби повернулся – медленно и смущенно. Из дозатора, который он все это время сжимал в руке, вытащил ампулу, сунул себе под нос и глубоко вдохнул. Лицо его словно вытянулось и похудело.

– Слышь, чего говорю, Бобби? – не отставал Эдди.

– Ну, помню.

– Нашего старичка Бобби тогда в огне крестили, – сказал Эдди. – Тянул самми каждую минуту, верещал и сверлил в дыму дырки. После маленько утих и поперся в какую-то развалюху. Пробыл там, может, минуту, скачет назад и верещит: странное там, блядь, чего-то. Я ему: Ты про что? А он мне: Бобик, блядь, сидит. В башке, блядь, дырка, сам сидит, а мозги на коленках. И пялится, мудака. Как будто держит, говорит, свои мозги. Как будто щас запихает обратно. Иди сам, говорит, посмотри. А я ему: Хуйня, пацан! Не бывает такого. Уж я-то видал, что творят эти пули – маленькую дырочку. Такого говна знаешь сколько насмотрелся. Прямо тащусь от старины Бобби. А он совсем с катушек. Мужик, – орет, – мужик, точно не вру. Сидит, говорит, хмырь, а мозги

на коленках. А я ему тогда: У тебя от самми крыша съехала. И знаешь, что я тебе скажу, пока наш старичок Бобби верещал, какая это жуть и что он не врет, крикнул я Крысе – мой человек, – чтобы подпалил будку на хуй. А как хибара занялась – пиздец, думаю, Бобби на сопли изойдет. Я видел, – орет, – чтоб мне так жить. Неделю ходил сам не свой, мы думали, с катушек съехал. Во было клево. Не забыл, салага?

Бобби кивнул и рассудительно сказал:

– Ну, дурак был.

Эдди хихикнул.

– Временами мальчик даже кой-чего соображает, а? Ладно. Поторчишь в этом бардаке, всяк дураком станешь.

– Эй, – вдруг позвал Себо. – Эй, леди.

Дебора обернулась:

– Да?

– Иди сюда, леди. – Лицо Себо блестело от пота, а в усмешке не было ни капли веселья. – Болит жутко, поговорил бы кто сладеньким голоском. Иди ко мне, потолкуем, а?

– Не делай этого, женщина, – сказал Эдди. – Нашему Себо за буфера подержаться охота. Чего еще надо? Прямо жеребец, особенно когда подстрелят.

– Я б тоже не прочь, – встрял Бобби; он протянул к Деборе руку и поводил ею, словно художник, прикидывающий, хорошо ли уравновешены части картины.

– Хватит этого говна, – объявил Минголла. Бобби перевел на него тупой взгляд лунатика.

– Что ты сказал?

– Эй! – Эдди подтолкнул его. – Сбавь обороты, малыш. Есть у тебя рыжая вонючка из четвертого, ей и втыкай. Не лезь к ребятам.

– А она ничего, – протянул Бобби таким же тоном, которым говорил о бритвах.

– Иди сюда, леди, – снова позвал Себо. – Потолкуем маленько, тебя ж не убудет.

– Своим языком я могу ей сделать кой-чего получше разговоров, – отметился Бобби.

Рэй встал и угрожающе распрямился.

– Ну, хватит, – сказал он, затем повернулся к Эдди. – Ты в состоянии его контролировать?

Эдди пожал плечами.

Улыбка растаяла на лице Бобби.

– Слава тебе господи, – сказал он. – Бобби Маклин восхваляет имя твое за то, что припер ему этого костлявого ублюдка.

– Сказал же, сбавь обороты, – тревожно произнес Эдди, и Минголла понял, что Бобби на грани и сейчас начнется драка. Повлиять на него он даже и не пытался; Рэй, очевидно, тоже знал, как трудно воздействовать на человека, если он под самми.

– Себо! – Маневрируя, Эдди оказался между Рэем и Бобби. – Знаешь, про что я сейчас подумал? Помнишь старую подружку – ну, которая тебе письмо прислала: ты, гово-

рит, убийца, помнишь? – Он дружески подтолкнул Минголла локтем. – Мы ей тогда ответ сочинили и полковникову подпись сляпали. Себо, написали, охуеть какой герой, знай таскается по округе, детей кормит, ну и все такое. Бля! Баба накатила ответ, как будто собралась слать старику Себо свою манду по почте.

– Отъебись, Эдди, – проговорил Бобби, – размажу этого фрито, и все путем.

– Хуй тебе! – Эдди с диким видом огляделся по сторонам, словно надеясь высмотреть решение. – А знаешь что, пацан? Давай знаешь что сделаем? Давай сыграем! – Он крикнул солдатам, что собрались у обломков соседней хибары: – Где ваш пленный? Гоните эту жопу сюда!

Солдат схватил лежавшую в тени фигуру, поставил на ноги и подтащил поближе. Опять бросил на землю. Мальчишке лет восемнадцать, тощий, длинные черные волосы лезли в глаза. Подбородок усыпан прыщами. Он был без рубашки, с торчащими ребрами. На правом плече перепачканная кровью повязка.

– Ну как, Бобби? – предложил Эдди. – Себо? Как насчет сыграть?

– А что, давайте, – угрюмо согласился Бобби.

– Ага! – отозвался Себо и немного выпрямился.

Бобби пнул мальчишку в раненое плечо, тот закричал и откатился в сторону.

– Ублюдок! – воскликнула Дебора. – Не трогай его!

Уставившись ей прямо в глаза, Бобби издал горлом звук, который можно было принять за смех.

– Послушайте, леди, – сказал Эдди, – или вы дадите им поиграться, или Бобби вас просто выебет.

Она посмотрела на Минголлу, но тот лишь покачал головой.

Солдаты двинулись по улице, всаживая в землю что-то похожее на большие семена, засыпая их пылью и разглаживая. Семян было много.

Бобби дернул мальчишку, чтобы тот сел.

– Тебя как звать, фрито?

Мальчик беспомощно развел руками:

– *No entiendo.*²⁵

– Кто-нибудь, спросите его по-испански.

Минголла перевел.

– Маноло Маниту. – Мальчик безнадежно оглядел солдат и опустил голову.

– Монета... ха! Боббика в честь бабок окрестили, – проговорил Бобби, точно это было верхом безумия.

Себо хихикнул, от болеутоляющих препаратов глаза у него остекленели.

– Ставлю на фрито, – объявил он. – Вот увидите, фрито сделает все, как надо.

Другие тоже называли ставки.

– Спроси, не знает ли он чего интересного.

²⁵ Не понимаю. (*исп.*)

Минголла спросил, и мальчик ответил:

– Ничего я не знаю. Что вы будете делать? Меня убьют?

Минголла ничего не сказал. Слишком легко оказалось оттолкнуть от себя этого мальчика, и Минголла знал почему: он его уже сдал.

– Что происходит? – спросил он у Эдди.

– Мы тут гранаты закопали, – объяснил тот. – Парни будут стрелять бобику по пяткам, чтоб скакал побойчее, а мы поглядим, пробежит он через всю улицу или подорвется. Плохо будет шевелиться, ребята его прихлопнут. – Эдди усмехнулся, но голос звучал возбужденно.

Дебора наклонилась поближе и прошептала:

– Я сейчас что-нибудь сделаю.

– Не смей. – Он схватил ее за руку.

– Этого нельзя допустить, – говорила она. – Мне все равно, пусть...

– Лучше бы тебе было не все равно, – ответил Минголла. – Лучше бы тебе сидеть спокойно. Всех не спасешь. Понятно?

Рэй смотрел на них с интересом.

– Понятно? – повторил Минголла. Дебора обиженно кивнула и отвернулась. Тулли пододвинулся поближе, Корасон сидела рядом.

– Мне их не достать, Дэви. Можешь что-нибудь сделать?

– Если бы.

– Про что вы это там? – поинтересовался Бобби.

– Так просто, – ответил Тулли. – А вам что, кроме как с

мальчишкой трахаться, совсем делать нечего?

– Не-а, – снисходительно ответил Бобби. – Совсем не хуй делать. – Они с Тулли были почти одного роста, но Бобби шире в плечах, и Минголла подумал, что Тулли побаивается.

– Куча куриного дерьма, – сказал Тулли. – Доебались до пацана.

– Ты на очереди, ниггер. – Бобби стоял перед ним и смотрел точно в глаза. – Как оно, а?

– Придержи язык! – Эдди встал и оттолкнул Бобби в сторону.

Рэй постучал Деборе по руке:

– Можешь что-нибудь сделать?

Она перевела горький взгляд на Минголлу.

– Нет.

– Эй, – крикнул Бобби. – Кто-нибудь из вас, растолкуйте этому фрито, что надо.

Минголла опять перевел.

Мальчик смотрел на него с каменной ненавистью. Бобби, блеснув в лунном свете глазами, ласково похлопал мальчика по плечу:

– Ты уж постарайся, фрито. Не подведи меня.

Двое солдат вывели пацана к подножию холма на стартовую позицию, все эти сто ярдов он оглядывался на Минголлу так, словно тот один был во всем виноват.

– Хи-хи, – проговорил мальчик Бобби. – Во будет весело!

– У него есть шанс? – спросила Дебора.

– Почти нет, – ответил Эдди. – Гранаты везде, и гнать его будут на них, пулями. Бежать придется быстро, следить некогда.

Тулли с сомнением посмотрел на Минголлу, а жуткий взгляд Корасон стал еще жутче. Минголла не сводил глаз с трех человек у подножия холма: два солдата в блестящих под луной шлемах и темная, трудноразличимая фигурка между ними – мальчик.

– А ну отвали! – заорал Себо. – Отвали, Бобби! Я ни хера не вижу!

Многозначительно посмотрев на Себо, Бобби сдвинулся влево.

В конце дороги солдаты толкнули мальчика вперед и открыли огонь; пацан рванулся влево, к щели между развалинами, но очередь отрезала ему путь к убежищу, а заодно подожгла остатки хибары. Пацан мчался зигзагами, не отрывая взгляд от земли, пули выбивали пыль у него из-под ног. Бобби улюлюкал, Себо бормотал. Дебора зарылась лицом Минголле в плечо, но тот, корчась от омерзения к самому себе за беспомощность и прагматизм, заставил себя смотреть. Мальчик споткнулся, покатился по земле, и Минголла уже понадеялся, что сейчас взорвется какая-нибудь граната и прекратит это зверство. Огонь прижимал пацана к дороге. Он прополз вперед, встал на четвереньки, отлетел в сторону, когда взорвалась сдетонировавшая граната, покачался рядом с горкой пыли, почти ступил на нее пяткой, но в по-

следний миг отскочил. Солдаты шагали следом, огонь подбирался все ближе. Эдди то вставал на носки, то снова опускался, потихоньку хлопал в ладоши, Бобби хрипло вопил и тряс крепким кулаком, Себо сидел, напряженно подавшись вперед, забыв о ранах, запинаящаяся стрельба вливалась в воздух злобную тяжесть, мальчик распластывался на земле, полз и шатался, будто невидимый палец толкал его сразу в дюжину безопасных сторон, удерживая в дюйме от пыльных горок с их сверкающими семенами. Взмахивая руками, мальчишка словно танцевал магический танец – сумасшедший призрак этой некогда цветущей деревни, призрак тех времен, когда юные стены домов сияли желтизной и свежей побелкой, сочная солома зеленела, свиньи воровали из детских тарелок манго и даже в тяжелые времена мужчины собирались у колодца выкурить по сигаретке – в лавке на пригорке всего за пенни – да похвастаться молочными коровами, которых они непременно купят, как только соберут урожай; и вдруг показалось, что все у мальчишки получится, и не просто получится, думал Минголла, – тайный замысел этого закрученного бега возродит давно ушедшие предвоенные времена, наведет порядок в серых развалинах, вернет им цвет, движение и жизнь, все начнется снова, солдаты исчезнут, а Минголла станет ребенком, которому снится что-то невообразимо сладостное... Мальчик остановился. Намертво застыл меньше чем в пятидесяти футах от конца дороги. Стрельба оборвалась – солдаты-мучители просто обалдели от такого по-

ворота событий. Мальчик тяжело дышал, грудь его вздымалась, но лицо было совершенно спокойным. Черные щелки глаз, твердый рот стойка. Глядя на него, Минголла был уверен, что читает мысли. Еще до того как остановиться, мальчик понял, что не имеет никакого значения, доберется он до конца дороги или нет: его втянули в те самые скачки, из-за которых веками мучились его соотечественники, – машина прибыла и подавления, кровавая игра на забаву золотым мешкам, – и он не видел смысла их продолжать. Наверное, мальчик не знал всех этих слов, наверное, его сознание просто-напросто достигло предельной точки усталости и боли, той точки, к которой сам Минголла время от времени подбирался. Но это понимание было в мальчишке всегда, обессиливающее и тяжелое, как камень. Он не пробежит больше ни фута, он будет стоять здесь и только так одержит единственно возможную для себя победу.

– Беги, скотина! – заорал Бобби. Мальчик топтался на месте, качал рукой, ждал. Глазам Минголлы представлялось, что его фигура на фоне серых развалин стала тверже и отчетливей.

– Стреляй! – взвизгнул Бобби.

Никто не выстрелил, никто не пошевелился.

– Стреляйте! – Бобби шагнул вперед и злобно замахал на солдат руками. – Кому говорю! Стреляйте!

Словно с неохотой солдаты подняли автоматы и открыли огонь. Пули швырнули мальчишку вперед, в бег поражения,

и он упал между двумя холмиками. Левая нога пробарабанила по земле, тело выгнулось горбом и затихло.

Рэй вздохнул, Минголла выпустил из груди задержанный воздух – во рту горело. Рука Деборы трепетала в его руке, словно она собиралась взлететь.

– Дерьмо, – сказал Эдди. – Дерьмо. – Загадочный глаз Корасон как будто переливался, Тулли сидел с каменным лицом. Весь покрытый потом, Себо устало привалился к стене хибары: рот открыт, глаза стали еще уже... китайские глаза.

Бобби подошел к мальчику и пнул его в бок. Потом обернулся, хмурое лицо исказилось и стало похоже на отвратительную рожу луны.

– Я так не играю, – объявил он солдатам. – Козел нас наебал.

– Ну нет, бля, – возразил кто-то. – Сам всех подбил.

– Во-во, – поддержал другой. – Кто орал, что этот мудака не доскачет до конца.

– Плати, Бобби! Не хер сваливать!

– Пошел к черту! – Бобби прошагал к хибаре, у которой стояли солдаты. – Эй, Эдди! – крикнул он. – Ты ж за меня, правда? Растолкуй им порядок. Скажи, что я прав. Этот сукин сын должен был бежать до конца.

Нефритовый сектор

Мир – это не твердое тело, скорее, он – временная и пространственная точка, над которой сияют мириады лучей всех цветов и яркости; одни лучи разгораются, другие гаснут, и, значит, характер этой точки всегда меняется, становясь чем-то новым. И потому можно сказать: конец света наступал не однажды, но замечали это лишь единицы.

Приписывается индейцам сан-блас

Глава пятнадцатая

Армии Мадрадон и Сотомайоров – по тысяче с лишним человек – жили на улицах баррио Кларин в тамбурах и канавах, под скамейками скверов, в убогих лачугах из картонных коробок или просто в коробках без лачуг; каждое утро Минголла приходил и разбирался в их нуждах, он отдавал им все свои силы, выстраивая недолговечные подпорки счастья и благополучия. Работа приносила мало удовлетворения: спасти эти армии было невозможно, самое большее – ненадолго восстановить в них хоть что-то человеческое; их сознание с трудом удерживало любые структуры, мозги шевелились медленно и вяло, словно кипящая в котелке овсян-

ка. Даже если благие дела и служили для Минголлы некоторым искуплением, они не столько приглушали муки совести, сколько помогали от них уворачиваться. Казалось, его мучает особенная, чисто американская вина, под ее гнетом он не хотел мириться с тем, каков он есть, и надеялся, что искреннее отвращение к творимым злодеяниям собьет с толку некое всевидящее моральное око, что управляет этой территорией.

Почти все улицы баррио были узкими – полосы изрытого асфальта между полуразрушенными и накренившимися под немислимыми углами четырех– и пятиэтажными домами из белого известняка... старые сооружения в колониальном стиле, двустворчатые двери выходят на железные балконы, над фундаментом ленты выцветшей синей и зеленой краски, похожие на геологические слои. Стоял сезон дождей, и каждый день, начавшись с мороси, заканчивался ливнем. Серые распухшие облака ползли так низко, что казалось, животы их проваливаются между домами, и все это вместе с нависшими над самой землей крышами будило клаустрофобию: дома словно жались друг к другу, придавленные тяжелым небом. Из-за баррикад доносился слабый шум дорожного движения, изредка проезжали джипы с кучками Мадрадон или Сотомайоров. Но ни криков детей, ни радиоприемников, ни матрон, что, перегнувшись через балконную ограду, сплетничают с соседками. Квартиры пусты, как и магазины с фресками на пастельных фасадах – бесформенные руба-

хи и шляпы, сверкающие кухонные плиты и раковины, летучие буханки хлеба и швейные машинки размером с английских догов.

Однажды после полудня Минголла сидел в забегаловке у покосившейся передней стены; в окна и пролеты там были вставлены дюжины зеркал, витиеватая вывеска на фасаде провозглашала, что в заведении можно купить предметы религиозного культа. Похожие лавки он видел в Гватемале. Ярко освещенные окна уставлены золотыми крестами, мадоннами в позолоченных рамках, шкатулками с пресвятыми сердцами... зеркала вспыхивали золотом, сверкающие образы вновь и вновь повторяли самих себя, в блеске этого религиозного лабиринта не на чем отдохнуть взгляду. Но среди застрявших в зеркалах образов было и Минголлино отражение: бесконечная череда мрачных молодых людей с покорными лицами, ни следа веры. Вот во что его превратило баррио, думал Минголла. Состругало эмоции, сделало таким же медленным и тусклым, как бойцы сотомайорской армии, что болтались сейчас по улице: кое-кто нерешительно переползал с места на место, но большинство, застыв неподвижно, смотрело, как тычется в свинцовые лужи морозящий дождь. Неподалеку, раскорячившись над бордюром, мочилась замотанная во вдовий платок старуха. За ее спиной проковылял походкой сомнамбулы изможденный серолицый мужчина, остановился, потрогал стену, поглазел на нее и на заплетаящихся ногах двинулся дальше. На всех рваная и заляпан-

ная грязью одежда, глаза темные и бесформенные, словно дыры в гнилых тряпках. Вооружены дубинками, ножами и садовыми инструментами, у многих раны, которые никто никогда не лечил. К ушам крепятся черные, словно капли эбенового дерева, приемнички – через них поступают приказы вступать в бой или выходить из него. Полупрозрачные тени вокруг людей казались гуще, словно армии постепенно разлагались, отдавая свое вещество воздуху. Минголла жалел, что его не может стошнить – хоть какая-то реакция перегруженного организма, – он лишь цепенел все больше и больше.

Что-то забубнила сидевшая у его ног женщина. Неопрятная тридцатилетняя кляча с тяжелыми бедрами, отвислыми грудями и желтушной кожей. Одета в когда-то голубое платье. После того как он закончил с ней работать, женщина сказала, что зовут ее Ирма и что она потеряла ребенка.

– Как дела, Ирма? – спросил Минголла.

– Я теперь пою, – ответила женщина, вглядываясь в дальний конец улицы. – Пою моему дитятке, когда спать укладываю.

– Вот и славно. – Он протянул ей половину сэндвича. – Есть хочешь?

Она качала на руках воображаемого ребенка, улыбалась и что-то бормотала.

Может, это и неплохо, думал Минголла, замедляться и замедляться, как тени из армий баррио, пусть выдует все заселенные клочки памяти. Стольким нормальным людям нет

до этого дела, и ничего, вроде бы довольны.

– Пасито, Пасито, – проворковала Ирма и ласково потрепала невидимого ребенка за подбородок. Бледная улыбка мадонны осветила ее одутловатое лицо.

Опустошенный жутковатым зрелищем, Минголла отвернулся, хотя в то же время он был рад, что дымок человечности еще клубится в этой женщине, в ней еще осталась любовь к... тому, чему он сам уже не мог отдаваться всей душой. Он вспомнил работника своего отца, старого серьезного маклера с седыми волосами и мятым, как кухонная тряпка, лицом. Он разыгрывал перед Минголлой доброго дядюшку, с удовольствием травил байки о своих скитаниях, рассказывал о премудростях торговли и страховок.

– Первым делом, – говорил он, – ты выкладываешь им плохие новости. Цену, порядок платежей. Потом коротко описываешь, что они получают, ничего особенного. Они не впечатляются. Можно даже сказать, недовольны. Они рассчитывали на что-то получше. Тогда ты даешь им с минуту повариться, а после говоришь: «Теперь самое интересное».

Маклер распинался о скрытом инвестиционном потенциале, но для Минголлы его слова отдавали тухлыми банальностями, он выуживал из них другой смысл, веру в то, что мир – тот самый, что крутится снова и снова по рутинному кругу неприметных радостей и горестей, – в один прекрасный день развернется и обнаружит в самой своей сердцевине некую ослепительную сущность, переполненную, как

рождественская звезда, вечными истинами. Такой же примерно красотой открывалась ему любовь Деборы, но здесь, в баррио, для Минголлы изменилось слишком многое, и, хотя их занятия любовью были по-прежнему прекрасны, у него не получалось извлечь из них что-то большее, чем простое облегчение. Сильнее всего изменилась сама Дебора. Она так увлеклась мирными переговорами, отдавалась им с такой страстью, что даже самые обычные ее слова имели теперь привкус простодушного идеализма, который приводил Минголлу в смятение, заставлял смотреть на нее новыми глазами, удивляться, как можно быть такой глупой. Прошлой ночью, в перерыве между сексом, когда они лежали на боку, все еще вместе.

...смешно... – сказала она.

...что...

...я думала, где бы хотела с тобой жить, и решила, что лучше всего в каком-нибудь зеленом месте, зеленом и уединенном... зеленом...

Слово «зеленое» звучало в нем как связавшая их вместе струна, на долю секунды он ощутил ее и свое тело кинестетически – так, как чувствовала его в себе она, безмятежное тепло и радость наполнения.

...эдем... сказала она ...ни чужаков, ни законов, мы сами установим законы, как нам захочется...

Ее увлеченность заставляла его острее чувствовать собственное безразличие, но он не хотел сбивать ее с мысли.

...что же здесь смешного...

*...я их всегда терпеть не могла: джунгли, горы... отец
вечно таскал нас на природу... ему нравилось, нравилось, ко-
гда вокруг пусто... и после тюрьмы я столько насмотрелась
и на джунгли и горы... мне они осточертели... но с тобой –
с тобой я хочу жить в чистом месте, чтобы никто его не
рушил и вообще не трогал...*

Минголле хотелось крикнуть, чтобы она замолчала, пото-
му что чем больше она говорила, тем сильнее ему казалось,
что она не в своем уме – ну как можно радоваться и на что-
то надеяться посреди этого кошмара, – он вошел в нее.

...Дэвид, о боже, Дэвид...

Он вцепился в ее ягодицы, он вламывался, сжимал ее до
бесчувствия.

*...я хочу, чтобы ты в меня кончил, Дэвид... сейчас...
только в рот, я хочу в рот...*

Слова заводили, он дергался еще несколько секунд, потом
растерянно застыл. Лучи света сквозь щели занавесок, Де-
борина кожа переливается неровными полосами...

...что случилось, Дэвид...

...устал просто...

...давай остановимся, ничего страшного...

...наверное...

*...можно утром... так даже лучше, потом я целый день
буду чувствовать в себе твое тепло...*

Он держал ее, но она уплывала, он приглаживал края ее

мыслей, их сознания переплетались, как одежда в медленно закручивающейся сетке, и он вдруг увидел широкую пластину гладко отполированного золотистого дерева, ощутил себя Деборой, почувствовал тревогу и спокойствие, что составляли основу любого ее настроения, услышал, как веселый женский голос бубнит что-то о клиентах, которыми нужно заняться, он узнал, что эта женщина его... точнее, Деборина тетья Хуана, она в легком маразме, а Дебора учится полировать дерево, замечая, как на темных щепках, словно стилизованные волны, поднимаются гребешки, она поглядывает на застекленные полки с глыбами доколумбовых горшков, и ей очень хочется, чтобы тетья Хуана замолчала, одни и те же байки снова и снова – скоро папа не выдержит, и его придется успокаивать целую ночь, она бросает на него взгляд: крупный мужчина, круглый, как луковица, бесстрастное лицо, чем-то похож на тех, что нарисованы на горшках... Минголла снова стал самим собой, изумляясь этому контакту, всем своим попыткам постичь ее, ведь вот она, запертая в своих воспоминаниях о другом времени, эта смесь уравновешенности, беспокойства и наивности – каркас ее души, а под ним – хрупкое любопытство, приукрашенное надеждой на то, что мы – каждый из нас – все еще там, где даже не начиналась невинность. Затем другое воспоминание, такое короткое, что он успел уловить только боль, резкую вспышку, и его тут же закрутило потоком ее памяти, красноватым сиянием, как будто в прошлое уходил сам свет ее крови, воспо-

минания мелькали быстро, он с трудом отделял одно от другого, но тут поток замедлился, вошел в тусклый свет, в плотную темноту, пыльные, древние воспоминания, скрипучее старье, откуда-то возникла пожелтевшая кружевная вуаль, паутина памяти, что поднимается над коваными сундуками, отражает пыль, и пыль поет, опадая на пол, пение переходит в жалобный вой, словно коловращение крови, затем в голоса, видения и мысли, и вот он идет по саду с молодым человеком, солнце вышивает на камнях тени, чуть позади дуэнья, робкий шепот, знаки, позже боль от выкидыша, еще позже унылое понимание, что возлюбленный превратился в больного старика, потом звяканье стали, крики, серебряная кольчуга на голове лошади розовеет от пузырящейся в шейной ране крови, поток воспоминаний ускоряется снова, голоса и образы сплетаются в паутину золотого света с вытканым на ней бесконечным узором, он связывает узлом кровь, время и историю, клубок секса... Минголла выбрался из этой глубины с таким ощущением, что пролетел сотню этажей и упал на кучу перьев. Он был весь в поту, сердце колотилось, он с изумлением обнаружил, что Дебора все еще спит. Он попробовал соединить пережитое с теми намеками на магическую связь, которые постиг, работая с майором Кэйбел, но утонул в предположениях, смутных теориях и одно лишь видел ясно: контакт существует только благодаря их особой связи с Деборой, это были всего лишь вспышки и просветления, никакой реальной субстанции...

Ирма вздохнула, и Минголла поднял на нее взгляд. Она сидела прислонившись к стеклянной двери; реклама «Мальборо» с прикуривающим ковбоем висела у ее рта, словно словесное облачко из комикса. Руки укачивали несуществующего ребенка. Она протянула его к Минголле, и тот, все еще думая о Деборе, видя перед собой не пустоту Ирминых рук, а воспоминания об объятиях, сказал:

– Да... хорошенький мальчик.

Дождь лил каждое утро, каждый вечер, часто всю ночь, а когда переставал, начиналась жара; она казалась телесной: огромное прозрачное животное, что, припав к земле, выдыхает вонючее тепло. Углы развешанных по стенам плакатов отклеивались и сворачивались в трубки, горячее марево колыхалось над крышами и тротуарами, наводя на мысль, что все это баррио запросто может исчезнуть. Асфальт плавился, превращаясь в пасту, куски резины можно было отковырять пальцами. Армии бултыхались во влажном воздухе, мозги поворачивались вялыми толчками, словно застрявшие между оконных рам зимние мухи. Пот собирался в капли размером с мелкую луковицу, улыбки резкие и напряженные. Потом снова начинался дождь, разбивал на куски жару, брызги летели на асфальт, барабанили по крышам, оставляли следы на окнах, и, лежа по ночам в постели, Минголла чувствовал их непрерывный ритм, натугу, с какой события принимали свою форму. Нечто окончательное и сильное. Добро

или зло – он не знал и не хотел знать. Над Минголлой висело заклятье тяжелой жизни, тяжелой погоды, и его не интересовало, чем это все кончится, его вообще не интересовало ничего, кроме каждодневных занятий.

Их поселили в пансион под названием Каса-Гамбоа, одноэтажный домик с розовой штукатуркой и внутренним двориком, в центре которого располагался бассейн с водой настолько грязной, что она выглядела «нефритовым сектором среди ярких плиток». На жердочках под провисающей крышей сидели попугаи, хихикали и многозначительно тарачили глаза на прохожих; на грядках вокруг бассейна разрослась густая тропическая зелень. Через крытый переход в дальнем конце дворика можно было видеть азиата в инвалидной коляске, он целыми днями просиживал рядом с маленьким садиком и связывал разграничительные столбики бумажными ленточками. Горничной работала симпатичная смуглая женщина по имени Серенита. Все это словно пришло из рассказа «Придуманный пансионат». Минголла не удивился бы, если бы узнал, что живет в рассказе Пасторина (или Исагирре). Вполне возможно, он жил в нем с самого Роатана, и даже само его существование было в некотором смысле плодом сотомайорского воображения. Но тем не менее он находил определенное удобство в том, что оказался частью вымысла, жизнь внутри которого по ощущению стремилась таким вот странным образом изолировать его от жизни реальной, и все свободное от работы время проводил в их общей с Де-

борой комнате. Большая белая спальня – слишком большая для такой убогой обстановки: стул, стол, кровать и комод. Под потолком крутился скрипучий вентилятор, а у стены рядом с дверью возвышалось дешевое оловянное распятие; за крестом тянулись к потолочной лампе провода, и оттого казалось, что Христос каким-то образом участвует в передаче электричества. Фигуру покрывал тонкий слой краски, руки и ноги непропорционально длинные, а лицо не столько одухотворенное, сколько несчастное. Минголле было симпатично это воплощенное в распятии кривоватое состояние духа, и он не оставлял надежды, что нелепая наружность хранит в себе какое-нибудь чудо.

Как-то раз Дебора вытащила его из комнаты и уговорила поучаствовать в мирных переговорах. Она хотела, чтобы он сам убедился, как хорошо идут дела; Минголла не желал этого признать, однако не придумал, как увильнуть. Такова была Деборина натура – верность убеждениям, взглядам, и он знал, что лишь тотальное крушение иллюзий заставит ее отказаться от самой мысли о революции, даже такой ужасной, как эта.

Сессия проходила в столовой для рабочих: бледные стены, длинные столы и стеклянный ящик на стойке, повсюду крошки, дохлые мухи и скомканная липкая лента. Переговаривающиеся стороны представляли пять человек от каждого клана и кучка послетерапевтических медиумов. Последние – их, как говорили, было тридцать один во всем баррио – дер-

жались враждебно, подозрительно, и ни Минголла, ни Дебора ни с кем не смогли установить контакт; этих медиумов интересовали контакты с кланами, и ни с кем больше. Сотомайоры при этом – за исключением Рэя – отличались гипертрофированной любезностью. Они были долговязы, длинноносы и невзрачны... хотя глава делегации, высокая женщина лет тридцати с небольшим по имени Марина Эстил, все же обладала своеобразной ястребиной красотой. Она была очень высокой, почти шесть футов ростом, с резкими скулами и большими глазами; черные короткие волосы делали ее похожей на монашку. Неправдоподобно длинные пальцы казались бледнее рук. Марина честно признавала недостатки Сотомайоров, а потому производила впечатление человека, в котором искреннее стремление к миру перевешивает верность клановой вражде, и Минголла даже начал ей чуть-чуть доверять.

– В вас так много силы и так мало желания ее применить, – сказала она ему однажды. – Хотя, конечно, многим из наших трудно принять то, как именно вы ее используете.

– Правда? – спросил Минголла. – И как именно я ее использую?

– Я имею в виду вашу преданность армиям.

– Это не преданность. Мне просто нечем больше заняться.

– Неправда, вами наверняка что-то движет.

– Может быть... это не важно.

– Для нас важно. Вы заставляете нас чувствовать свою ви-

ну. Наши грехи тяжелы и без ваших напоминаний. Кое-кого ваша работа оскорбляет.

– Это серьезно.

Она рассмеялась.

– Интересно, понимаете ли вы сами, какой бросаете вызов.

– Пожалуй, да.

– Гм, но вряд ли отдаете себе отчет в последствиях. Мне, к примеру, вы в последнее время симпатичны. И корни этой симпатии я вижу не в родстве душ или в чем-то физическом, но в вашей силе.

Минголла слушал ее с удовольствием. Впечатление подтверждалось еще и тем, как эта женщина старалась смягчить угловатость своих движений. И хотя его нисколько к ней не влекло, мысль о сексе с Мариной интриговала – примерно как в зоопарке Бронкса его тянуло залезть в клетку с ягуаром и проверить, так ли мягка и пушиста его лапа, какой кажется с виду.

– Не волнуйтесь, – сказала Марина, – я не опасна.

– Из-за вас я не волнуюсь, – ответил Минголла. – А если бы волновался, то в самую последнюю очередь.

Сотомайоры во главе с Мариной явились первыми и расселись вдоль одной стороны стола. Мадрадоны пришли на пять минут позже и заняли места напротив. Они были примерно того же физического типа, что и Сотомайоры, но при этом низкорослы и квадратны, с круглыми невозмутимыми

лицами и густыми черными шевелюрами. Минголле пришло в голову, что у него на глазах проходят дебаты между двумя инопланетными расами. Темные коренастые демоны с крепкими – никакая кость не страшна – зубами и бледные люди-змеи с рубинами в черепахах. Мадрадоны были энергичны и проворны, их повадки резко отличались от вялых жестов противников, и, несмотря на все оговорки, у Минголлы появилась надежда, что их расчетливый торгашеский нрав скомпенсирует капризный характер Сотомайоров и мир таким образом будет достигнут. Но через час после начала раянда от надежды не осталось почти ничего.

Сотомайоры предложили обоим кланам не касаться, чтобы не обострять обстановку, мировых проблем и особенно тонких мест контроля над рождаемостью; позиция Мадрадон не особенно отличалась от сотомайоровской, но сам предмет их явно раздражал – ответы звучали все резче и оскорбительнее. Наконец со стороны Мадрадон поднялся тучный мужчина с полукруглым шрамом в углу правого глаза и опрокинул стул.

– Париж, двадцать лет назад, – воскликнул он. – Вы ведь помните, не правда ли?

– Не нужно об этом, Онофрио, – попросила Марина.

– Скажи, как я могу это забыть? – Онофрио потряс кулаками, опустил их на стол и навис над Мариной. – У меня хорошая память, черт подери. Я смотрел в окно, в соседней комнате лопотал ребенок. Сара позвала меня: «Тут тебе

пакет, – говорит. – Наверное, подарок. Иди посмотри». Не успел я выйти в коридор, как «подарок» взорвался. – Судя по виду, Онофрио собрался плевать. – Я не хочу, чтобы ублюдки вроде вас диктовали, рожать мне детей или нет. Вы слишком много их у нас забрали.

– А вы нет? – спросил Рэй. – Как насчет Марины? Или ее боль не так сильна, как ваша? Спроси своего дядюшку.

– Моему дядюшке хорошо помогли, – огрызнулся Онофрио. – Не забыл, Рэй?

– Хватит! – воскликнула Марина. – Так нельзя...

Женщины Мадрадон повскакивали с мест, закричали на Рэя, и секунду спустя все были на ногах, орали, бросались обвинениями, списками убийств, изнасилований и предательств. Минголла шагнул к выходу.

– Не уходи. – Дебора перехватила его в дверях. – Они сейчас успокоятся. Так всегда бывает.

Рот ее сжался в тревожную щелку, и Минголла хотел остаться – просто чтобы она не расстраивалась, – но ругань, дурацкая болтовня и проклятия так ясно доказывали всю бессмысленность работы в баррио, что он лишь покачал головой.

Дебора вновь окликнула:

– Дэвид!

Он обернулся.

– Послушай, – сказал Минголла, – ты хочешь довести это до конца – доводи, а я займусь тем, что нужно мне. Вот и все.

Сомнение на ее лице боролось с обидой; не произнеся больше ни слова, Дебора развернулась и ушла в дом.

Большинство армейцев кучковалось в центре баррио, бесцельно шатаясь, словно одурманенное стадо, и падая лишь тогда, когда усталость пересиливала беспокойство. Блудные овцы, однако, разбредались по другим кварталам, и однажды ближе к вечеру парочка таких отбившихся встретила Минголле на ступеньках дворца, построенного когда-то Пасторином для детей бедняков. Футуристический купол из синей пластмассы сильнее всего напоминал гигантскую дешевую игрушку. Золоченые двери. Гроздь тонких шпилей 150 футов высотой пронзали небо над парковкой, окружившей дворец, словно черный ров. Солнечные лучи рисовали на стенах мерцающие полосы, и чем ближе подходил Минголла к дворцу, тем больше он напоминал ему нестойкий мираж. Заинтересовавшись, что там внутри, Минголла открыл дверь и очутился в тусклом зале размером с футбольное поле. Фальшивый плитняк на полу, стены не крашены. Углубления в крыше, точнее, полости башен, наводили на мысль о внутренностях кукольного тела с пустотами в пластмассовых руках и ногах. Минголла крикнул, проверяя эхо, и уже собрался уходить, когда из дверей в дальнем конце зала появилась женщина. Нет, не женщина, робот, – понял он, когда это существо плавно двинулось к нему навстречу. Робота размалевали и раздели, как пухлую викторианскую матрону. Пла-

тье из плотной желтой материи украшали черные шелковые кружева; волосы собраны в пучок; глуповатое чопорное лицо с круглыми пятнами на щеках. Она была вдвое шире и на голову выше Минголлы; тот отступил на два шага назад.

– Лабиринт закрыт на ремонт, – певуче проворковал робот. За лоснящимися кристаллами глаз поворачивались на шарнирах камеры. – Не хотите ли послушать сказку?

– Спасибо, не нужно, – ответил Минголла.

– Я знаю сказки для любого возраста. Волшебные, приключенческие, романтические. – Юродивые глаза робота обследовали Минголлу вдоль и поперек. – Я знаю... как насчет сказки про любовь?

Минголла все сильнее подозревал неладное: не водил ли этой куклой кто-то знакомый.

– Нет, спасибо, – ответил он.

– Но мне так хочется рассказать сказку, – не унимался робот. – Вам наверняка понравится. – Скользя к дверям, он перекрыл выход. – Одна беда: сказки про любовь всегда такие грустные. – Наклонив голову, робот смотрел на Минголлу, и этот неподвижный взгляд нагонял ужас.

– А ну пусть, – скомандовал Минголла. – Не нужны мне твои чертовы сказки.

– Вы никогда ничего подобного не слышали. Это так грустно. Вам понравится. Знаете, психологи считают, что грустные истории действуют на слушателя с точностью до наоборот. Правда. Вам сразу станет легче...

– Что за черт! – выкрикнул Минголла. – Выпусти меня отсюда.

– Мне очень жаль... без группы вам уходить нельзя. Вы послушаете сказку, а потом придет учитель и вас заберет. – Сложив на груди руки, робот смотрел на Минголлу заботливо, как преданная тетушка. – Давным-давно на белом свете...

Раздался окрик, робот замолчал, и через весь зал прохромал старик в фуражке и коричневом мундире.

– Что вы здесь делаете? Дворец не работает.

– Лабиринт закрыт на ремонт, – подтвердил робот.

Старик фыркнул и ткнул в выключатель у робота на боку, отчего тот замер и умолк.

– Так и не достроили лабиринт этот. Вообще ничего не достроили. Глупость очередная.

Он был худ, бледен, с длинными руками и ногами, из-под фуражки выбивались седые пряди. Сотомайоровский тип, и, хотя не было особого смысла Сотомайору служить уборщиком, Минголла все же спросил, имеет ли старик какое-нибудь к ним отношение.

– Раньше имел, – ответил тот.

– То есть как?

Стащив с головы фуражку, старик пригладил волосы.

– Меня разобрали. Говорят, я их предал. Так оно и было, хотя они прощали и худших предателей. Сперва я жутко злился. Но теперь вижу, что так даже лучше. Эта их сила, от

нее одни беды. – Он смерил Минголлу взглядом и грустно покачал головой. – Тебе тоже.

– Что значит разобрали?

– Созвали тройку и прочистили мне мозги. Разобрали мою силу. Потом говорили, что жалеют, а я вот думаю, правильно сделали. Слышал, наверное: сила развращает?

– Угу.

– То-то, по жизни еще хуже, можешь мне поверить. Для них так точно. Вроде как избранные, думают, всегда все понимают. – Старик по-лошадиному выпустил через рот воздух. – От благих намерений порваться готовы, а все не так. Монстры. Должен знать, сам ведь такой.

Минголла решил сменить тему:

– Дворец построил Исагирре?

– Исагирре, Пасторин... Как там еще себя Карлито зовет. – Старик брезгливо скривился. – С детства был ненормальный. Тащит все, что нравится, и думает – святое дело, а если кому от того плохо, ему без разницы.

– Расскажи мне о нем.

– Чего рассказывать, вокруг посмотри. На дом, на баррио. А! Посмотри на людей. Они думают, сами себе хозяева, а всего-то пешки Карлито. Сделаны по его подобию. – Старик надвинул на глаза фуражку. – Лучше бы вам всем в море утопиться. А теперь проваливай, закрыто.

– Я только хотел...

– Проваливай, говорю! – Старик подтолкнул Минголлу к

дверям. – Ты на меня тоску наводишь. – Хлопая костлявыми руками, он прогнал его прочь и захлопнул дверь.

От яркого солнца Минголла сощурился. На ступеньках, словно листья на слабом ветру, шевелились два человека. Минголла не чувствовал особого желания им помогать, но за этим занятием по крайней мере можно скоротать время. Один – бородатый блондин, одежду которого словно изваляли в саже, – сидел прислонясь к дверному косяку. Лицо его было разодрано, в царапины въелась грязь, длинные волосы спутались, а зрачки, несмотря на тень, сузились до размера булавочных головок так, словно жили своим внутренним сиянием. На коленях у него лежало мачете с разъеденным коричневыми пятнами лезвием. Приятель лежал рядом, повернувшись лицом к золоченым дверям. Минголла опустил-ся на колени, приготовился работать, но вдруг встретился с голубыми глазами, разглядел дерзкий изгиб рта, слегка выпуклый лоб – Минголлу захлестнуло отчаяние.

– Джилби? – спросил он и, уже зная, что это Джилби, потряс армейца за плечо. – Я Минголла, старик! Эй, Джилби!

Джилби не сводил глаз с болячек на суставах своих полуманных пальцев.

Собрав всю свою силу, Минголла попытался восстановить его узоры; работая, он все время говорил, хотя почти не надеялся, что этот тухлый, полусгнивший дух можно как-то расшевелить.

– Ты чего, старик, – повторял он. – Помнишь Ферму...

Фриско? Неужели забыл Фриско? – Он был в ужасе, словно ребенок, что складывает обломки дорогой вазы, которую сам и разбил.

Через несколько минут Джилби отозвался.

– Минголла, – удивленно проговорил он. – Я... – Он пнул локтем приятеля. – А это Джек.

Джек хмыкнул и оттолкнул руку Джилби. Тот как будто увял, потом опять встрепенулся.

– Знаешь, кто это? – спросил он, стукнув Джека по плечу. – Он... он знаменитый. Эй, Джек! Проснись!

Джек перекатился на другой бок и зажмурился от солнца. Лицо его наполовину скрывала густая черная борода, и все же – лисье, с четкими чертами – оно казалось знакомым.

– Он знаменитый, – повторил Джилби. – Скажи ему, Джек. Скажи ему, кто ты.

Джек поводит по лбу запястьем.

– Джек меня зовут, – неразборчиво проговорил он.

– Ты чо, старик! – не отставал Джилби. – Этот парень... Черт! Скажи ему, Джек!

– Какая разница, – вмешался Минголла.

– Я, – Джек сдвинул голову, словно пытаюсь утихомирить мысли, – я певец.

– Во, во! – подтвердил Джилби. – Точно. Ты должен помнить, Минголла. Бродяга.

Минголла недоверчиво смотрел на нового знакомого, и постепенно сквозь грязь и бороду в нем проступили черты

Джека Леско.

– Как тебя сюда занесло?

Джек перекатился лицом к двери.

– Хреново ему, – сказал Джилби. – Но это он, точно.

– Я вижу. – Минголла поднялся, он вдруг почувствовал, что устал. – Пошли со мной. Найду для тебя койку. – Он выдернул из уха Джилби передатчик.

– Не зна..., – проговорил Джилби, – мы вообще-то...

– Все в порядке... Под мою ответственность.

Джилби дернул Джека за рубашку:

– Пошли, старик.

– Оставь его.

– Как я его оставлю, старик, ты чо? – В голосе Джилби мелькнула былая сварливость. – Мы ж с ним повязаны.

– Ладно.

Минголла поработал с Джеком и кое-как заставил его подняться. Он был ниже, чем казался с экрана телевизора, одет в такой же грязный хлам, как и Джилби, в левой руке лом. Прижавшиеся друг к другу, в этом своем тряпье, они походили на зомби, которым уже пора обратно. Мертвецы с голубыми глазами.

Они проволоклись, наступая Минголле на пятки, через всю парковку, затем по пустой улице, мимо магазинов, мясных лавок и булочных. На фресках пироги в ореоле цветов, стаканчики мороженого в окружении вспыхивающих звезд, бананы в венках из нотных знаков. Скрученные гнездышки

человеческого дерьма обозначали путь, которым прошли армии.

Джилби подтянулся и теперь ковылял рядом с Минголой, заглядывая ему в лицо.

– Что с тобой стряслось, старик? – спросил он.

– Ты про Фриско?

– Ну. – Джилби споткнулся, потом опять зашагал ровно. – Тут у тебя что стряслось? – Он постучал по лбу, очень осторожно, точно боялся пробить дырку.

– Дурь дрянная, – ответил Минголла. – Война. Всякое говно.

Джилби кивнул, нахмутив лоб.

– Здесь то же самое, – сказал он.

Глава шестнадцатая

Однажды вечером через несколько дней после того, как он нашел Джилби и Джека Леско, Минголла возвращался в Каса-Гамбоа и, уже собираясь открыть дверь, вдруг услышал через открытые ставни голос Рэя. Минголла прижался к стене и заглянул в окно. Рэй стоял около кровати, на нем были джинсы и черная ветровка, волосы зачесаны назад, а обрамлявший лицо поднятый воротник придавал лицу аскетическое благородство вампира.

– Оставь меня в покое! – воскликнула Дебора.

Минголла ее не видел, но в голосе отчетливо слышалось отвращение.

– Я бы рад, – сказал Рэй, – но не могу.

– А ты постарайся, – настаивала она. – Я тебя не люблю... если честно, ты мне противен. У тебя осталась хоть капля самоуважения?

– Когда дело касается тебя – нет. – Рэй шагнул в сторону, и Минголла его больше не видел. – Неужели ты не чувствуешь, как он тебя подавляет? Не дает расти. Господи, ты бы могла...

– Я не желаю это слушать! Уходи!

– Дебора, прошу тебя.

– Уходи!

– Ради бога, Дебора. Не надо так! – Голос звучал хитро-

вато. – Мне бы только раз тебя коснуться... как мужчина.

– Уходи немедленно.

– Иногда, – не унимался Рэй, – иногда я думаю, что, если хоть раз смогу до тебя дотронуться, ничего больше мне не нужно... Хватит до конца жизни.

Молчание, шарканье шагов.

– Ты хочешь сказать, что, если я позволю тебе дотронуться, ты оставишь меня в покое?

– Я... не знаю. Я...

– Предположим, я соглашусь, – холодно сказала Дебора. – Ты готов поклясться, что после этого от меня отстанешь?

– Зачем ты так? – проговорил Рэй. – Я тебя люблю.

– Отвечай.

– Ты разрешишь мне себя потрогать?

– Только если ты пообещаешь оставить меня в покое.

С трудом сдерживая гнев, Минголла шагнул к двери.

– Пожалуйста, не надо так, – попросил Рэй. Снова пауза, затем голос Деборы:

– Вот что я тебе скажу. Я разрешу тебе потрогать... мою грудь, но ты должен поклясться, что минимум неделю даже не подойдешь ко мне.

Минголла взялся за дверную ручку. Рэй ничего не ответил, и Дебора нетерпеливо спросила:

– Ну? Да или нет?

– Я... да. – Стыд в дрожащем голосе.

– Хорошо, – ответила Дебора, но сразу после этого: – Нет,

не могу. Не могу даже представить... это омерзительно. Уходи.

Минголла открыл дверь, и Рэй обернулся. Дебора стояла в дверях ванной.

– Он сейчас уйдет, – спокойно сказала она.

– Правда, Рэй? – спросил Минголла. Бросив на Дебору возмущенный взгляд, Рэй прошествовал к выходу.

– Я... – начала Дебора.

– Я слышал, – сказал Минголла.

– Я специально его унижала, – объяснила она. – Думала, поймет, каким дураком выглядит, и оставит меня в покое. Кажется, сработало.

– Это еще не конец. – Минголла повалился на кровать. – Сукин сын так просто не успокоится.

– Может быть... но я хочу разобраться с этим сама. Пожалуйста, не делай глупостей.

– А другие глупости мне позволены?

Она легла рядом, обняла за грудь.

– Пожалуйста, не делай ничего. Обещай мне.

– Рано или поздно он что-нибудь выкинет и без меня.

– Может, и нет, может, он справится.

– Зависит от того, как далеко ты согласишься зайти. Промахнешься в ерунде, и от всей твоей недоступности останется пшик.

Она поскуичнела и отодвинулась.

– Ты не понимаешь, как трудно держать его на расстоя-

нии. Неужели ты думаешь...

– Дело в том, – перебил Минголла, – что ты запросто будешь с ним трахаться, если вдруг решишь, будто это спасет твою проклятую революцию. Может, и правильно. К черту комплексы, всем в койку.

Дебора застыла, и он почувствовал, как от ее гнева сгущается воздух. Но тут во внутреннем дворике кто-то рассмеялся. Уверенный, расслабленный смех Сотомайора.

– Прости, – сказал Минголла. – Это не я, это все вокруг.

– Ладно. – Дебора отвернулась к стенке. – А теперь оставь меня в покое.

– Хорошо, – согласился он. – Но только если ты дашь мне себя потрогать.

Вскоре после этого он заснул, прямо в одежде и не расстелив постели. Он уже давно не запоминал своих снов, но этой ночью Минголле представлялось, будто он лежит в какой-то невнятной пустоте и силится увидеть сон. Наконец тот явился – тонкий ломтик яркого цвета скользил по чему-то черному. Затаив дыхание, Минголла ждал, но когда сон подплыл ближе, вдруг сообразил, что тот превратился в огромный клинок, и проснулся за секунду до того, как острое лезвие едва не разрезало его пополам. Минголла сел на кровати, дрожа от испуга и страстно мечтая об утешении и покое. Дебора лежала рядом, но Минголла был почти уверен, что сон как-то связан с их недовыясненными отношениями, а потому сомневался, что она в силах ему помочь.

Два дня спустя он залез в комнату Рэя и украл блокнот с посвященными Деборе стихами и медитациями. Он решил, что находка поможет отбиться от Рэя, – хотя и не понимал до конца, зачем ему вообще это надо, ибо не чувствовал со стороны Рэя такой уж серьезной угрозы. Собственный поступок казался ему нелепым, Минголлу как-то связывал его с желанием перекалибровать собственные эмоции; того же самого – так он подозревал – добивался Рэй, когда решал приударить за Деборой. Такое сходство с Сотомайором Минголлу тревожило, но не уступить порыву он не мог.

Записи в блокноте заставили Минголлу ревновать и завидовать. Рэй исследовал Деборин характер куда детальнее, чем он сам со всеми своими домыслами, и, сколько бы Минголлу ни списывал это на расстояние, с которого все видится лучше, рациональные доводы ничуть не приглушали ревность. Попадались неплохие отрывки, один особенно поражал страстью и искренностью.

Украденный блокнот вынудил Минголлу впервые взглянуть на Рэя по-человечески; он противился такой перемене и, чтобы вернуть этому Сотомайору прежний статус безликого врага, затеял рискованную и безвыходную авантюру.

Дважды в неделю Марина Эстил проводила у себя в номере нечто под названием «групповая терапия». Она не раз приглашала Минголлу, но тот отказывался, не желая влезть слишком уж глубоко в дела Сотомайоров. Однако вечером, в тот же день, когда он украл у Рэя блокнот, Минголлу от-

правился на очередной сеанс. Маринин отель располагался в трех кварталах от Каса-Гамбоа, в нем обитали лидеры договаривающихся сторон – и Сотомайоры, и Мадрадоны. Минголла пришел на полчаса раньше и, чтобы не торчать просто так в вестибюле, заглянул в комнату для гостей и уселся перед телевизором – ящик был подключен к установленной на крыше спутниковой антенне. Единственный, кроме него, обитатель гостиной – молодой человек из клана Мадрадон – не возражал, чтобы Минголла включил телевизор, и тот принялся щелкать каналами, пока не увидел, как цепочка солдат с трудом взбирается по склону холма под затянутым облаками небом; на переднем плане полыхали огненные буквы: «Военные истории Уильяма Корсона». В бытность Минголлы на Муравьиной Ферме Корсон пару раз туда приезжал, они ни разу не встретились, однако, по слухам, журналист был хорошим парнем. Бейлор давал ему как-то интервью и на вопрос Минголлы, что за тип, ответил: «Улетный мужик». Стандартная бейлоровская похвала. Заставка прокрутилась, солдаты на заднем плане продолжили свой подъем, а перед камерой появился сам Корсон. Он был в камуфляже, высокого роста, бородат, губы толстые, нос крючком – немного похож, подумал Минголла, на похудевшего молодого Фиделя Кастро.

– Позади меня, – сказал Корсон, – вы видите, как Первая пехотная передислоцируется на позиции к северу от озера Исабель. Сразу за этим холмом солдаты окажутся в зо-

не боев, то есть там, где сражения ведутся вот уже три года без надежды на результат. Это как нельзя лучше иллюстрирует характер войны. Битвы расцветают, точно цветы в оранжерее, в самой сердцевине умиротворенных территорий без видимой причины, если не считать за таковую стратегию командования, лучшим эпитетом для которой является слово «загадочная». Войны обладают характером. Первая мировая звалась войной за окончание всех войн. Вторая – крестовым походом против узаконенного маньяка. Вьетнам подавался как происки дьявола, с одной стороны, и крупный политический просчет – с другой. Наконец, эта война... что ж, поэт Кьеран Дэвис охарактеризовал ее как «пространный и невнятный зов Века Бессилия, злостное порождение полуголых теннисных матчей и Макдональдсов для голодных». Ход мысли Дэвиса основан на...

– Очень грустно, – произнес рядом с Минголлой чей-то голос.

Мадрадонец пододвинул стул. Лет двадцать, плотный, улыбчивый, одет в твидовые брюки и красную футболку с рекламой кока-колы.

– Но скоро, – продолжал он, показывая на экран, – все закончится, так ведь?

Минголла пожал плечами:

– Надеюсь.

– О да. – Человек похлопал себя по груди. – Мы положим этому конец.

– Ужас.

– Вы ведь Минголла, нет?

– Ага.

– А я Чапо. Приятно познакомиться. – Чапо протянул руку, и Минголла с неохотой ее пожал. – Вы откуда, из Штатов?

– Из Нью-Йорка.

– Из Нью-Йорка? Это же замечательно! Я уже год живу в Нью-Йорке, в Гринвич-Виллидж.

– И как оно? – Минголле хотелось послушать монолог Корсона, но Чапо не унимался.

– Обожаю Нью-Йорк, – заявил он. – Особенно «Метз». Что за команда! Вам нравятся «Метз»?

– Нет.

– Значит, «Янки»?

Минголла кивнул.

– Тоже неплохо, – снисходительно признал Чапо. – Но «Метз», думаю, все ж лучше.

Минголла неумолимо таранился на экран.

– Вы смотрите передачу?

– Именно.

– Простите. Я тоже посмотрю.

Корсон брал интервью у коротко стриженного солдатика, тот был моложе Минголлы и одет в нейлоновую летнюю куртку с эмблемой Воздушной кавалерии.

– Не хотите ли передать что-нибудь своим родителям... друзьям? – спросил его Корсон.

Пацан облизал губы, опустил глаза:

– Не-а, не надо.

– Почему?

– А чего говорить? – Он показал на солдат, потом на джунгли. – Картина стоит тысячи слов, правда? – Потом снова повернулся к Корсону. – Если они не хотят знать, что делается, то, сколько ни говори, все равно бесполезно.

– И что, по вашему мнению, делается?

– На войне? Срань, вот что я вам скажу. Нормальное было б место, если б не война.

– Значит, вам нравится Гватемала?

– Не зна... может, и нравится... странно, понимаете.

Классно тут вообще-то.

– Что же здесь классного?

– Ну... – Солдатик задумался. – Взять хотя бы тот раз, когда я стопнул машину до Реюньона, в танкетку сел к ребятам... они конвоировали грузовики с нефтью по петэнскому шоссе. И тут прямо посреди джунглей – раз! – тягач на бок, нефть разлилась, пиздец, приехали. Пока все не вычистят, хрен сдвинешься. И тут смотрю – ни фига себе: прям из травы как полезли эти фрито. У них печки, всякое такое. И стали они хавку жарить. Булки там, цыплята. Пиво продают, шипучку. Как будто знали, что так выйдет, сидели в кустах и ждали. И еще девчонки. Прям тащат в заросли. Не то что городские. Милые такие, ну сами знаете. Лучше я тут ничего не видал, но странно же – как будто эти фрито специально

там сидели.

– Вы служили в Гватемале, нет? – спросил Чапо.

На этот раз Минголла даже обрадовался: интервью вызывало тоску, как будто ему показали кино из дома.

– Ага, – сказал он, – в артиллерии.

– Жутко, должно быть. – Чапо состроил скорбную мину.

– Не подарок.

Чапо кивнул – видимо, не мог подобрать слов.

– Мы могли бы с вами подружиться, – сказал он. – Может, зайдете как-нибудь. Мой номер на третьем этаже.

Минголла слегка обалдел.

– Может быть... Не знаю. Я занят, вообще-то.

– Был бы очень рад.

– Посмотрим.

Пацан на экране говорил о солдатской службе:

– Эти вертушки, блин, как они быстро летают. Только выскочил из моря, глядь – ты уже черт-те где, земли не видно, и вдруг – раз! – летит прям тебе в морду, горы зеленые, города и все такое, как будто открытка развернулась. А потом опять в облаках. Я про то, как мы духов ловили. На самых горах. Сидишь, значит, в облаках и пуляешь ракеты, и ни фига не видно, только сверкает что-то в небе. Как мрамор переливается. Вот на что похоже. А как знать, попал или нет, – только если пролетишь еще разок да помотришь, эта маленькая цель на термоискателе есть или уже нету. И ни фига никого не жалко. Ну, то есть... жалко, но как-то совсем по-другому.

Минголле этого хватило, он до сих пор ясно чувствовал все висевшие на нем смерти. Он встал, Чапо тоже.

– Надеюсь, мы еще увидимся, – сказал тот. – Вспомним Нью-Йорк.

Кирпичная морда кретина. Искренняя улыбка. Все та же глина высшей расы. Непосредственность этого Чапо – того же сорта, что попадалась Минголле в десятках других молодых латиноамериканских мужчин, – высасывала из него все соки. Может, это настоящее, но Чапо был для него таким же врагом, как и все вокруг.

– Хуй тебе, – сказал Минголла и вышел в вестибюль.

Маринина спальня выглядела чуть приличнее, чем их с Деборой в Каса-Гамбоа. На полу ворсистый ковер с запла-тами, на стенах водостойкие обои с восточным узором – когда-то это, видимо, были цветы сливы, но сейчас от них остались лишь трудноразличимые росчерки – и еще светлые прямоугольники там, где раньше висели картины. Кровать за-стелена сатиновым покрывалом персикового цвета, рябоватым в том месте, куда падал свет от стоявшей на тумбочке лампы. Семь Сотомайоров, включая Рэя, расселись на полу, на кровати, и Марина, возвышаясь над ними с высокого стула, открыла дискуссию... впрочем, не столько дискуссию, сколько череду потрясающих исповедей. Минголла стоял в дверях, смотрел и слушал. Присутствие Рэя сбивало его с толку, но он твердо решил изменить тактику: лучше пустить в дело украденный блокнот, чем припирять Рэя к стенке.

– Это было в апреле, – говорил один из Сотомайоров, человек по имени Аурелио, немного старше Рэя, но поразительно на него похожий. – Весь тот месяц я болтался без дела. Правда, занимался перуанским кризисом, но этого не хватало, чтобы заполнить голову, вот я и придумал подкатиться к Дарии Руис де Мадрадона, дочери человека, который убил моего отца. Она тоже имела какое-то отношение к перуанской операции, но мне было все равно.

Аурелио описал интригу и то, как ему удалось похитить Дарию; на лице он удерживал подавленную мину, словно признавался в чем-то постыдном, однако в голосе все сильнее звучало ликование, описания становились выразительнее, а зрители, хоть и слушали тихо и внимательно, вели себя так, будто их кто-то щекотал, – наклонялись вперед и возбужденно дышали. Особенно Марина. На ней были серые брюки и серебристая блузка, по которой сквозь стилизованные потоки косога дождя летели черные птицы. На губах хищно и чувственно блестела малиновая помада, а скулы, казалось, вот-вот проткнут кожу. С каждым новым откровением Аурелио Марина как будто заострялась, слушала внимательнее, откликалась живее.

– Не думаю, – говорил Аурелио, – что когда-либо раньше я так четко себя осознавал. Свое место во времени и в мире. Точно могу сказать, никогда раньше ощущения не были такими ясными. Я запомнил каждую неровность стен. Каждое зернышко, сучок, дорожку от червяка. Все в одну секунду. Я

слышал каждое шевеление ветра в деревьях, каждый хлопок толя на крыше. Дария – не такая уж красавица, но она казалась мне невероятно чувственной. Она встретилась со мной взглядом, страх исчез с ее лица, и я не мог ее больше ненавидеть, поскольку знал, что это уже не просто месть. Драма. Ритуал и судьба сошлись вместе. И зная это, зная, что она знает, я чувствовал, как между нами возникает что-то вроде любви... такая вот любовь между жертвой и тем, кто одновременно мучает и несет милосердие.

Аурелио закончил, группа проанализировала его рассказ, разобрала в терминах психологии Сотомайоров, обсудила, как подавляются низменные инстинкты; и все же их анализ был всего лишь уловкой грешников, что оправдывают свою греховность и не слишком умело изображают раскаяние. Потом пошли другие истории, и чем дольше Минголла слушал эти ликующие речи, гордость жестокими традициями, чем дольше смотрел на прекрасно отрететированные позы кающихся грешников, тем горше становилось у него на душе.

Через час с небольшим Марина спросила, есть ли у кого вопросы, и Минголла вышел на середину комнаты:

– У меня есть вопрос. Возможно, вам это будет неприятно, но я надеюсь, вы мне ответите.

– Мы постараемся, – сказала Марина.

– Из того, что я сегодня услышал, – начал Минголла, – а также из известного раньше я делаю вывод, что почти все ваши операции терпели крах оттого, что кто-то вновь разжи-

гал вражду. И чаще это происходило в последнюю минуту, когда переговоры уже можно было считать успешными. Это правда?

Кто-то бросился возражать, но Марина прервала:

– В этом есть смысл.

– Что позволяет вам думать, что сейчас не произойдет то же самое?

– Именно это мы и пытаемся предотвратить, – высокомерно отозвался Рэй.

– Хорошо. – Минголла широко улыбнулся, с удивлением обнаружив, что сейчас, когда Рэй у него в руках, чувствует к нему даже какую-то нежность. – Как бы то ни было, меня беспокоит небрежность, с которой вы относитесь к своим операциям.

– Куда вы клоните? – спросила Марина. Он проигнорировал вопрос.

– Все, кроме вас, признали за собой грехи. Вам лично есть в чем раскаяться?

– Марина – наш идеал, – сказал Рэй с тщательно отмеренной горечью. – Ей не в чем себя винить.

Улыбка прорезала красную ранку на суровой равнине Маринино лица.

– Спасибо, Рэй.

– Тем или иным образом вас не могла не затронуть эта вражда, – возразил Минголла. – В какой-то момент переговоров Рэй что-то упомянул о вашей боли... чей-то дядя что-

то вам сделал.

– Да? И что с того?

– Я хотел бы знать, что произошло.

– Не вижу смысла, – холодно ответила Марина.

– Я хочу вам кое-что сообщить, но перед тем, как раскрою карты, должен быть уверен во всех.

– Хорошо... но мне придется поверить вам на слово, что это не просто любопытство. – Она разгладила складки на брюках. – Несколько лет назад я вышла замуж за Мадрадо-ну...

– Я не знал об этом, – сказал Минголла.

– Очередная попытка прекратить вражду, – продолжала она. – Сначала я, конечно, упиралась. Столько лет прожила в Лос-Анджелесе, надышалась воздухом свободы. Я была тогда весьма своенравной. Возможно, отец специально это затеял – хотел меня обуздать, ведь Мадрадоны без дисциплины ничто. – Все засмеялись. – И все же после свадьбы я стала относиться к мужу со все большим уважением и заботой... хотя нельзя сказать, чтобы любила его по-настоящему. Однако была настолько уверена в браке, что даже забеременела. Все шло хорошо, пока однажды не явился мой бывший любовник якобы поздравить с будущим ребенком. Пока мы разговаривали, он подсыпал мне наркотик, затем раздел и уложил в кровать. В этом заключался его план: мой муж, вернувшись домой, должен был застать нас *in flagrante delicto*²⁶.

²⁶ На месте преступления, с поличным. (*лат.*)

Так и произошло. Едва я успела очнуться от наркотика, как вошел мой муж. Между ним и моим любовником произошла ужасная сцена, и я, хоть в голове еще шумело, попыталась вмешаться. Получила удар в живот и лишилась не только ребенка, но и возможности зачать другого. Позже выяснилось, что виноват был не только бывший любовник. Им манипулировал мой тесть, рассказывая, как его сын жестоко со мной обращается. Старик не мог примириться с нашим браком, а тут еще ребенок – для него это было слишком. – Марина посмотрела на Минголлу. – Этого достаточно?

– Простите, – ответил он. – Это важно.

– Теперь объясните, к чему это все.

Обведя глазами комнату, Минголла задержался на сидевшем на кровати Рэе.

– Я слышал, переговоры идут хорошо?

– Лучше некуда, – сказал Аурелио. – И что?

– Значит, можно сказать, успех не за горами? – спросил Минголла. – Не пора ли признать, что наступает самое рискованное время, когда их легче всего сорвать? Найти повод – и все взлетит в воздух. Как в Тель-Авиве.

– Если вам есть что сообщить, – сказала Марина, – я бы предпочла перейти к делу.

Минголла достал из кармана блокнот, раскрыл его и сразу заметил, как напрягся Рэй.

– Рэй знает, что я хочу сказать... правда?

– Где ты это взял? – воскликнул Рэй.

– Видимо, – сказала Марина, – это как-то связано с отношением Рэя к вашей подруге.

– Не только.

– А с чем же еще? Я видела этот блокнот. Рэй прекрасно понимает, что нельзя потакать своим фантазиям.

– Дай сюда, – приказал Рэй, поднимаясь и протягивая руку. – Ты не имеешь права.

– Ого, мы заговорили о правах? – Минголла толкнул его обратно. – А как насчет права на личную жизнь?

Сотомайоры смотрели на Рэя, словно ожидая, чем тот ответит, но Рэй сидел тихо. Минголла протянул блокнот Марине.

– Посмотрим, не покажется ли вам, что это свидетельствует о чем-то большем, нежели фантазии.

Пока она изучала блокнот, пока резкими взмахами пальца переворачивала страницы, двое других Сотомайоров заглядывали ей через ее плечо.

– Ох, Рэй, – произнесла она через несколько минут. – Неужели опять?..

– Вы не понимаете, – проговорил Рэй. – Вы не видите, как он... как он... – Под это бормотание Рэй снова поднялся. – Он ее подавляет, она...

– Да на тебя смотреть стыдно, мудака, ты сам хоть понимаешь? – воскликнул Минголла.

Рэй бросился на Минголлу, но тот отпрянул, схватил его за рубашку и швырнул лицом в стенку. Рэй сполз на пол.

Кровь из его рта улиточным следом размазалась по обоям.

– Видели? – прокомментировал Минголла. – Человек не в себе.

– Провокациями вы ничего не добьетесь, – сказала Марина.

– Вы должны знать, на что он способен, – возразил Минголла. – Не я виноват в том, каков он есть, и если вы считаете, что он безопасен... Вперед! Пусть и дальше копается в собственном дерьме. Дождетесь, когда он сделает настоящую глупость.

Рэй застонал и перекатился на спину. Рот и подбородок перемазаны в крови.

– Что вы предлагаете? – спросила Марина.

– Недавно я познакомился с одним стариком... он охранник во дворце.

– Эусебио, – подсказала она. – Но мы не можем разобрать Рэя за то, чего он еще не сделал.

– Так хотя бы следите за ним. Насколько я понимаю, самое страшное для него – это лишиться силы.

Одна и та же мысль отразилась на лице Марины, на всех лицах. Им нравилось думать о наказании.

– Возможно, это лучше всего. – Голос ее звучал глубоко и удовлетворенно.

Рэй сел, вытер рукавом рот. Обвел всех мутным взглядом – должно быть, он увидел в их лицах что-то особенное, потому что вскочил на ноги и метнулся к дверям. Но ему

преградили дорогу.

– Как вы можете его слушать! – вскричал Рэй, махнув рукой на Минголлу. – Он же не наш.

– Спокойно, – сказала Марина.

– Вы не имеете права! – воскликнул он. – Только с его слов?

– У нас есть твои слова, Рэй. – Марина потрясла блокнотом, и Рэй отвел глаза.

– Карлито не позволит, – вяло проговорил он.

– Никто не собирается ничего делать, – сказала Марина. – Пока. Но если что-нибудь случится с Деборой или Дэвидом, ты ответишь. И никакой Карлито уже не поможет.

Рэй с ненавистью смотрел на Минголлу.

– Плохо себя ведешь, Рэй. – Минголла ухмыльнулся.

– Без моего разрешения тебе запрещается даже подходить к ним, – сказала Марина. – Понятно?

– Это непросто, – ответил Рэй. – Мы живем в одном отеле, придется встречаться.

– Переезжай, – сказала она. – Прямо сейчас. Можно сюда. Сколько раз ты говорил, что хочешь быть ко мне поближе. Теперь твое желание исполнится.

Рэй был поражен.

– Я все расскажу Карлито. Прямо сейчас. Он не обрадуется.

Марина обернулась к Минголле:

– Вы не могли бы нас оставить, Дэвид. Рэю, очевидно,

нужны доказательства того, что с ним не шутят.

– Что вы с ним сделаете?

– Пусть почувствует, чем он рискует.

– Нет! – Рэй вцепился в дверную ручку, но двое других мужчин втащили его обратно в номер.

– Пожалуйста, Дэвид. – Марина показала рукой на дверь, и Минголл прошел через всю комнату, стараясь не смотреть Рэю в глаза. – Дэвид! – окликнула она, когда он был уже в коридоре.

– Да?

Она улыбалась, словно радушная хозяйка, провожающая почетного гостя.

– Большое спасибо, что обратили на это наше внимание.

Глава семнадцатая

Дружба между Джилби и Джеком Леско помогала Минголле надеяться, что он сможет полностью восстановить Джилби: дружба – это очень по-человечески, в армиях большая редкость. У Минголла достаточно силы, чтобы повлиять, – он чувствовал эту силу, словно тяжелый камень у себя в голове, который мечтает взорваться и долететь до цели. Не хватало знаний. При том что даже с большей силой и большими знаниями надежды хоть что-то сделать с Джеком не оставалось почти никакой. Джек едва был способен просто шевелиться, а когда они как-то полдня просидели на ступеньках дворца и Минголла умудрился его разговорить, беседа нагнала на него еще большую тоску. Он спросил, как Джека угораздило влезть в дела кланов, и тот сказал:

– Что-то было в музыке, они хотели... они меня заставили.

Минголла догадался, что Джека заставили воткнуть в свои записи какие-то подсознательные штуки, возможно чтобы притягивать медиумов, но подробности его не интересовали. Если копаться во всех сотомайоровских играх, ни на что другое не останется времени.

Джек еще побурчал немного, потом оборвал себя на полуслове и стал качаться взад-вперед, похлопывая рукой по бедру, словно пытаясь поймать ритм.

– Был бы я миллиардером, – запел он, – я б купил себе... –

Он прижал к голове стиснутую в кулак руку. – Кое-что еще помню, – сказал он. – Совсем мало.

– Спой, – попросил Джилби. Состроив напряженную мину, Джек запел:

Был бы я миллиардером, я б купил себе полки,
Накурился б и поперся рвать историю в куски.
Из костей дворец построив, я б оттрахал всех принцесс.
В телевизоре по средам был бы только я, я, я,
Трепался б о том, что значит Америка – сейчас и здесь –
для меня...

Он запнулся и как будто забеспокоился.

– Там есть еще. Я... я не помню.

– Не торопись, старик, – сказал Минголла. Через минуту Джек запел снова:

И в своем великом царстве стал бы новым королем,
Я бы сжег все церкви к черту, а Лас-Вегас беднякам...

Он снова запнулся, Минголла чуть поддержал его хорошее настроение, и Джек запел в третий раз, но уже совсем другую песню, почти речитатив:

Ангел, мой ангел, попробуй услышать...
вдруг ты поверишь, вдруг ты ответишь.
Неужто сигнал мой слабее, чем свет,
неужто заглушат помехи беду?

Мы все потерялись в войне и отчаянии,
черный ноябрь наши жизни рисует,
а люди чужие проносят молчание
об очень серьезной печали их глаз.
Мы прячемся в храмах, мы веруем в ложь,
но мне не прожить без единственной правды,
которую ты нам на крыльях несешь.

Ангел, мой ангел, ты видишь, темнеет,
и ветер нас лупит охапками роз,
и льдины чернеют, и лед под ногтями,
мне сердца не жалко, захочешь – бери,
мой ангел, девчонка моя.

Я все поломал, значит, все починю,
как только услышу хоть слово, клянусь.

Ангел, мой ангел, ты разве на небе,
а может, в тюрьме, о свободе моля,
в телах согреваясь, дыханье тая,
сигнал все слабее, и сил больше нет...

– Это не все, – сказал он. – Там еще много.

– Что ж ты не записываешь, старик? – Джилби помахал
мачете, словно выводя буквы. – Возьми бумагу и запиши.

– Ага, ладно, – согласился Джек, почесывая голову, и
вдруг расплакался.

Гораздо больше сил Минголла тратил на Джилби. Однажды, решив, что тому не повредил бы сексуальный опыт, он отыскал женщину, наплел ей что-то про наставленные рога

и притащил в пустой дом; в комнате был постелен ковер с серыми пыльными вмятинами в тех местах, где когда-то стояли столы и стулья. Женщина была толстой и слегка потрепанной, на что Джилби сказал:

– Ну и корова, прям даже не знаю.

Женщина улыбнулась и призывно вильнула бедрами.

– Ладно, – согласился Джилби. – Может, сиськи ничего.

Минголла оставил их одних, а когда вернулся, оба уже спали, рука Джилби по-хозяйски расположилась у женщины на бедре. Минголла не был уверен, что между ними вообще что-то было, но после этого Джилби стал чуть больше походить на себя прежнего.

В тот же вечер они вышли к задней стене дворца, откуда хорошо была видна баррикада: длинная стена из непрочных досок, прибитых к дырявому каркасу десяти футов высотой, по бокам две сторожевые вышки столь же шаткой конструкции. Как детские беседки. От баррикады через травянистый луг к далеким зеленым холмам уходила грунтовка, и Минголла представил, как угоняет джип, таранит стену и забирается на эти холмы. Красивая фантазия, но он прекрасно знал, что Дебора ни за что с ним не поедет. Да и вообще, по пути их наверняка застрелят.

Джек свернулся в пыли калачиком, а Минголла и Джилби уселись на заднее крыльцо. Отсюда было видно, как вдоль баррикады вышагивают стрелки. Сумерки сгущались, и на сине-сером небе появились россыпи звезд. Черные окна до-

мов неподалеку от дворца совсем не отражали свет – обсидиановые прямоугольники в оправе блекло переливающегося камня; ветер гонял по асфальту обрывки целлофана; тощий запаршивевший кот со шкурой цвета варенья подкрался неслышно и остановился почтить их своим холодным любопытством.

Джилби ковырнул ногой расколотую бейсбольную битую – видимо, чье-то оружие, – поднял ее и повертел в руках.

– Классно было бы, знаешь, – проговорил он.

– Что? – Минголла присматривался к темным фигурам стрелков.

Джилби молчал так долго, что Минголла подумал, не сбился ли тот с мысли.

– Поиграть, – произнес он наконец. – Классно было б поиграть. А ведь можно.

– В бейсбол?

– Ага, собрать ребят. – Не сводя глаз с биты, он качнул ее на пробу.

Сама мысль о том, что Джилби с его затупленной реакцией будет играть в бейсбол, нагоняла на Минголла тоску. Он представил, что получится, если состричь эти светло-крысиные патлы, смыть со щек вьевшуюся грязь, а лицу придать твердость и мрачноватую снисходительность. Ничего не выходило. Старый Джилби был мертв, новый умирал.

– Можно ведь, а... можно... – Джилби помахал битой. – Что со мной, старик? Что-то очень хуевое, да?

– С чего ты решил?

– Ага... хуево. А ты взялся починить.

– Ну да, – сказал Минголла. – Что-то сломалось.

– А ты починишь?

Врать не хотелось.

– Вряд ли.

Джек пошевелился, что-то пробормотал сквозь дрему, и Джилби отвел волокнистый взгляд.

– Вообще-то, какой с меня игрок... – Слова пробивались медленно, одно за другим, словно капли густого сиропа. – Но чего ж не попробовать. На правом поле хотя бы. Оттуда все равно никогда не выбивают. – Он постучал битой по асфальту. – Нормально, знаешь. Правое поле тоже ничего... там хорошо видно.

Минголла подтянул к лицу колени, уткнулся в них лбом и закрыл глаза, жалея, что нельзя захлопнуть себя целиком.

– Я когда-то играл вторым... В лиге Бейба Рута²⁷. Крепкая лига, старик. Особенно в Детройте. Ниггеры прутся на всех шипах, да еще скалятся, и все на вторую базу, прикинь. – Он приладил битку на плечо, как для воображаемой подачи. – Джеку похуже, чем мне, а?

– С ним непросто.

– Он бы тогда просто смотрел... или спал. Нравится ему

²⁷ *Бейб Рут* (Джордж Герман Рут, 1895-1948) – знаменитый американский бейсболист; прозвище Бейб («малыш») ироническое: Рут имел рост 188 см и вес 98 кг.

спать.

Классно было бы другое, думал Минголла, – взять пистолет и выстроить в ряд всех Сотомайоров и Мадрадон. Отстреливать им сперва ноги, потом выше, по куску за раз. Или шарахнуть – что там припас Исагирре на случай, если провалятся переговоры; Минголла вдруг понял, что надеется на этот провал и будет только рад, если в один прекрасный день кланы увидят у себя над головой свистящие ракеты.

– И стукнуть я еще, пожалуй, смогу, если потихоньку, – говорил Джилби.

– Мы потом это обсудим, ладно? – предложил Минголла. Сердце болталось тяжелым комом, словно было сделано из чего-то жирного и отвратительного вроде лярда.

– Конечно, ладно. Конечно.

Звезды разгорались, небо окрашивалось в кобальт. На баррикаде включили прожектор; яркий меч света вспыхивал в окнах пустых домов, качался над головами.

– Минголла?

– Чего?

– Помнишь Бейлора? Где теперь Бейлор?

– Улетел в Штаты.

– В Штаты. – Джилби повторил это слово несколько раз, словно хотел как следует осмыслить. – Помнишь, он все книжки читал? Что-то научное?

– Научную фантастику.

– Во-во, научную фантастику. – Он как будто пригляды-

вался к названию. – Тупые вообще-то книжки, знаешь.

– Гм.

– Только одна ничего. Одну я читал, понравилось.

По ним снова прошелся луч прожектора; кот метнулся в укрытие, а Джек, прячась от света, перевернулся на другой бок.

– Ага, одна была ничего, – продолжал Джилби. – Меня даже зацепило.

– Какая?

– Про инопланетянина. Про одного... Ну, то есть их где-то там много было, наверное, но пока нашли только одного. С виду ничего особенного. Здоровый такой коричневый камень, только сверху все время что-то вошкается, ну, шевелится, это потому, что в нем полно мыслей, мысли давят на кожу, знаешь, так что форма чуток меняется.

Когда-то от скуки Минголла прочел почти все книги, что были у Бейлора, но эту он вспомнить не мог.

– И что дальше?

– Ничего особенного, – сказал Джилби. – Захотелось, понимаешь, узнать, о чем этот инопланетянин думает, потому что он, говорят, болтался по всему космосу, везде, считай, побывал, ну, интересно же, как оно там все. Ну вот и стали искать, кто прочитает его мысли, только никто не соглашался: мысли у него такие острые, старик, просто жуть! Они резались. Только начнешь врубаться, сразу орешь от боли. Но все равно...

Джилби увял, и Минголла решил его подбодрить.

– Ну и как, нашли? – спросил он.

– А?

– Кого-нибудь, кто прочел бы эти мысли.

– А, да... ага, нашли одного пацана, он мог терпеть. Ну вот, садится перед инопланетянином на карачки, трогает его, ну, понятно, и тут до него доходит, что инопланетянские мысли – это просто память крутится под кожей. Он помнит про каждую точку во Вселенной, каждую, которая только есть или была. Ну вот, этот пацан, он, конечно, крут, но даже ему, старик, долго не выдержать, пару минут пощупал эту гору, и все, но хватает, чтоб вытащить одну картинку. После ему больше не взяться, потому что его... его... его терпение, точно, его терпение, оно все кончилось. Но одно воспоминание он все ж таки вытащил, и хорошее.

– И что... Что за воспоминание?

– Оно про людей на краю галактики, когда они умирают, их складывают в большие черные корабли и пускают плавать по всему космосу, а время от времени на каждый корабль заходит капитан и гонит к центру галактики, там звезды сидят так густо, что всегда светло. Здоровые такие солнца, старик! Горят всеми цветами, переливаются, прям как японские фонарики. Свет от них как бы перекрывается, знаешь. Призмы и все такое. Энергии хоть жопой ешь. Сам инопланетянин вообще-то не в курсе, зачем это надо, зачем отправлять туда жмуриков. Но точно не потому, что вся эта энергия со све-

том их оживит и все такое. Она просто что-то творит с телами, может, чтобы потом опять пустить в дело... Не знаю. Но все равно, прикинь, какая морока туда лететь. Взаправду тяжело. Больше всего потому, что свет очень яркий, и чем ближе, тем ярче. И еще медленно... свет замедляет. Там все такое яркое, что почти твердое, ну, воздух там, знаешь. И капитаны, чем дальше летят, тем хуже видят. Просто слепнут от такого света. Глаза как кристаллы, твердые, яркие и как будто ребристые. И если б сами по себе, хрен бы они управлялись с кораблем.

Но каждому дают женщину, и вот он все ближе и ближе к центру Вселенной, а женщина все красивее и красивее. И капитан, он так повязан со своей женщиной, так сильно ее любит, что не важно, слепой или нет, ее он все равно видит. Такие красивые женщины, что это даже слепые видят, так и ведут свои корабли, не сводя глаз с женщин, смотрят, какие они красивые, и всегда знают, где сейчас летят, сколько еще осталось до центра. А в конце написано, как они добираются до дома.

Сперва Минголла пытался вспомнить книгу, но теперь, когда история закончилась столь неубедительно, он догадался, что это фантазии Джилби. Приятно было осознавать, что его работа вызвала к жизни эту неземную историю – лишнее доказательство глубоко запятого интеллекта Джилби; и все же Минголла грустил, догадавшись, что то был главный Джилбин миф, сокровище, которое тот долго берег,

и если решился показать, то, значит, дело плохо.

– Сам придумал, а, старик? – спросил Минголла.

– Не-а. – Джилби провел пальцем по ручке бейсбольной биты. – Прочитал где-то.

Но лицо его сияло от удовольствия, и Минголла знал, что Джилби лукавит.

– Да ладно, старик! Скажи, сам выдумал.

– Понравилось, а?

– А то. Как же ты такое насочинял?

– Это не я, старик.

– Ну, ладно. Черт возьми, хорошо... хорошая история.

С довольным видом Джилби потряс Джека:

– Вставай, старик. Эй, Джек! Вставай.

Джек перевернулся, поморгал; лицо – карта усталости и дурмана.

– Знаешь, что я тебе скажу, – возбужденно проговорил Джилби. – Это вроде... – Возбуждение куда-то пропало, он теперь пристально смотрел на баррикаду. – Бля, старик! Ты все проспал. – Затем гордо добавил: – Я вспомнил жутко клевою штуку.

Старик азиат на инвалидной коляске не занимал Минголлу до тех пор, пока не исчез. Каждое утро, повернувшись спиной к их внутреннему двору, он сидел у своего огородика и возился с бумажными лентами. Но сегодня там ничего не было, и горничная Серенита сказала, что азиата увез-

ли в больницу. Обескураженный, Минголла подошел к тому месту, где раньше стояла коляска, и с удивлением обнаружил, что огородик давным-давно высох, а значит, добросовестность азиата была на самом деле либо старческим маразмом, либо самовнушением. Но не это смущало Минголлу. Старик вообще-то интересный, хотелось с ним поговорить, однако все пошло по обычной колее: к каким-то людям тянешься, заводишь в воображении близкую дружбу, чего-то добиваешься и – словно это стремление ценно само по себе, а люди нужны лишь для того, чтобы создать порывам нечто вроде моральной поддержки, – ничего больше не делаешь. Так, например, получилось с Тулли. Минголла часто думал, что когда-нибудь они сойдутся поближе, но оба были слишком заняты, чтобы тратить друг на друга время: сам Минголла – не вполне искренними благими делами, а Тулли – Корасон; однако обоим хватало предчувствия дружбы, оба верили, что их крепко связывает пережитый опыт, и этого казалось достаточно. Минголле вдруг пришло в голову, что отец был прав насчет войны – так или иначе, она сделала из Минголлы человека. Он видел те сложности, о которых не подозревал раньше, понимал, что такое ответственность, и даже умел брать ее на себя. Беда в том, что человек из него получился так себе. Даже не средний. Злость и безразличие это только подтверждали.

Огородик был мал, примерно двенадцать на двенадцать футов, бледно-коричневая земля растрескалась в переплете-

нии ломких помидорных лиан, ее покрывали комки сморщенных дынь и кожура сухих кабачков. Минголле захотелось ступить ногами на эту сухую землю, он скинул башмаки и перешагнул через остатки проволоки. Между пальцев поднялись клубы пыли, лианы вцепились в лодыжки, в подошвы вонзились камешки. Он стоял посередине огородика, смотрел на белый шар солнца, занавешенный серыми потрепанными облаками, и – как если бы остатки грядок были клочком ничейной полосы – видел с высоты все то сплетение исторических ветвей, которое и привело мир к этому самому мгновению: агрессивность, корыстолюбие и манипуляции «Юнайтед Фрут», неуклюжие жесты американских доброхотов, экспансию банков, их злобных марионеток, мощное и беспринципное расползание бизнеса. Это с одной стороны, а с другой – сотканная двумя кланами сложная паутина убийств и кровной мести, цепочка отравлений, которым позавидовали бы сами Борджиа, поножовщина, взрывы и похищения, вражда, что из века в век разыгрывала свою кровавую пьесу в богатых особняках, убогих деревушках и на полях сражений. И вот две лианы истории вцепляются друг в дружку, переплетаются, давят вокруг себя все живое и, разъедая землю, превращают ее в засохший огород, где не растет ничего, кроме стариковских фантазий.

– Дэвид, ты где? – раздался во дворе голос Деборы. Она бросилась к переходу. Позади, у ворот пансиона, топтались Сотомайоры и Мадрадоны, качали головами и переговари-

вались. – Дэвид, – повторила она. – Все сделано. Все получилось!

Минголла не мог так сразу вырваться из скорлупы мрачных мыслей, а потому просто стоял и ждал продолжения.

– Мир, – сказала она. – Теперь будет мир.

Лицо ее тоже излучало мир. Прекрасный, смуглый, улыбающийся Третий мировой мир. Но Минголла не мог ответить ей тем же.

– Хорошо, – сказал он, выходя из огородика. Сел на плиточную дорожку и стал обуваться.

– Ты что, не понимаешь? – Улыбка растаяла. – Переговоры закончены. Сегодня составят протокол, а завтра на празднике подпишут.

– На празднике? – Все тот же абсурд, подумал он.

– Да, на празднике, во дворце.

– Прелестно.

Дебора нахмурилась.

– Ты ведешь себя так, словно ничего не случилось.

– Послушай... – начал он. – Ладно, не буду.

Деборино лицо смягчилось, она опустила на колени.

– Я знаю, ты никогда особенно в это не верил, но ведь правда получилось. Ты даже не представляешь, как искренне эти люди старались договориться.

– Надеюсь, что так.

Она отодвинулась, словно хотела посмотреть на него издалека.

– Правда? Иногда мне кажется, что ты надеешься на прямо противоположное, только не понимаю почему.

Минголла был смущен и безучастен. Слова ее звучали слишком заботливо и в то же время машинально и слегка морализаторски.

Дебора обняла его за плечи.

– Ты столько работаешь. Но ты сам все увидишь. Пошли со мной. Поговори с ними. Тебе сразу станет лучше.

Минголла разрывался между желанием донести до нее горькую правду и неохотой портить ей настроение. Решив в конце концов, что мир на секунду все же лучше, чем ничего, он двинулся вслед за Деборой в поздравительную свалку двора.

В тот же вечер – пасмурный вечер, когда лишь редкие звезды проглядывали сквозь мерцающие полосы облаков, – они с Тулли разговорились во дворе пансиона. Перед входом у горшков с папоротником сидели Джилби и Джек, а Тулли с Минголлой примерно в дюжине футов от них говорили о Корасон.

– Временами мне кажется, что она вот-вот бросит игру, – говорил Тулли, – но через минуту опять вся в себе, и мне до нее не дотянуться. Черт, я уже начинаю привыкать... привыкать, что эта женщина хмурится, когда хочет улыбаться.

– Может, она когда-нибудь придет в норму. – Минголла заглянул во дворик: потоки света из окон выхватывали рас-

ставленные вокруг бассейна три алюминиевых кресла, а в них – болтавших о чем-то Сотомайоров.

– Вообще-то, это не так уж и важно, будь что будет, – сказал Тулли. – Пускай хоть тарелками швыряется, я ее все равно не брошу. – Он всосал через зубы воздух и кивнул на Сотомайоров. – Что ты думаешь про все это дерьмо, Дэви?

– Сказать по правде, я вообще о них не думаю. – Он изучающе посмотрел на Сотомайоров, примерился к их вялым жестам. – Дебора, кажется, уверена, что все прекрасно.

– Она-то, может, и уверена, а ты?

Минголла подождал, пока вопрос как следует впитается.

– Думается мне, что они как-нибудь это все изгадят. Но тут уж ничего не поделаешь.

– Ага, и мне тоже. – Тулли пошкрябал ногой тротуар. – Карта, которую я тебе рисовал, еще у тебя?

– Угу.

– Смотри не потеряй.

– Думаешь удрать?

– Все время думаю, друг. Все время. – Тулли потянулся так, что щелкнули локти. – В такой вечерок хорошо бы пропустить рюмку-другую.

– У меня есть бутылка.

– Это не то, – сказал Тулли. – Бардака охота. – Он похлопал Минголлу по спине. – Как тогда, в Кокксен-Хоул. Не забыл?

– А то, – подтвердил Минголла. – Нормально погуляли.

– Не то слово. – Тулли с отвращением хрюкнул. – Потому и говорю, что этому баррио ничего не светит. Бардака нет, откуда нормальной жизни взяться. Все уже сдохло. Мир на кладбище – толку-то. – Он бросил печальный взгляд на Джека и Джилби. – За каким хреном меня сюда занесло?

– А меня? – согласился Минголла. – Терпеть не мог Ротан, но отсюда он кажется вполне ничего.

– Ага, ничего был островок. – Тулли пнул ногой валявшийся на бетоне камешек. – Ну что за хуйня, Дэви? Сперва нам охота рулить миром, а теперь только и думаем, куда бы от него свалить.

Минголле очень хотелось рассказать Тулли обо всех своих противоречивых чувствах и сожалениях, но он не мог подобрать слов.

– Вроде на тебя что-то давит, друг.

– Да вот все думаю о добрых намерениях.

– О намерениях? И что надумал?

– Кажется мне, что когда начинаются эти самые намерения, так они и останутся – одними намерениями.

– Не понимаю, ты о чем?

– Херня, старик, я просто в раздрае.

– Ну, не ты один.

Они еще поговорили немного, но ничего особенного друг другу не сказали, потом Тулли ушел в отель, а Минголла – с Джеком и Джилби – обратно во дворик. Сотомайоры ушли, вокруг бассейна было пусто, и Минголла уселся в кресло.

Джилби и Джек устроились неподалеку на плитках. С четырех сторон дворика горели окна, в их свете поблескивала мутная вода бассейна, и, глядя на эту играющую рябь, Минголла вспомнил рассказ, из которого впервые узнал о Нефритовом секторе. Там говорилось о местном разносчике газет: каждый день, продав все, что положено, он прибегал в этот пансион и нырял под воду; автор воображал, как мальчишка, пробравшись сквозь тину и бурые водоросли, попадает в волшебную страну. Растерянный и одинокий, Минголла представил, как взгляд его проникает под воду, прорезает там тоннель, и секунду спустя все то, что он только что вообразил, уже выстраивало реальность, будущее, которое все меньше и меньше позволяло себя отвергнуть. Минголла стоял в полуосвященной комнате, вокруг кожаные кресла и застекленные книжные полки, антикварный глобус и тяжелый письменный стол в испанском колониальном стиле. Шершавые стены из темного дерева и полуночно-синий с мелкими звездочками ковер на полу – можно было подумать, Минголла попал на аудиенцию к главе небесного свода доктору Исагирре, – а вот и он сам, восседает за столом, изумленно покачивает седой эспаньолкой, затем произносит:

– Мы думали, ты погиб.

За спиной Исагирре расположилось венецианское окно, в свете полумесяца там ярко блестела белая пустыня, на горизонте дьявольскими красными рубцами сиял Город Любви, и Минголла знал, что через несколько часов он проглотит

лошадиную дозу препарата, целиком вобравшего в себя этот кусок истории, – проглотит из отчаяния, в надежде увидеть пусть нереальное, зато хоть сколько-нибудь переносимое будущее – и отправится бродить по этому городу в экстатическом бреде. Прекрасно зная, чем рискует, он тем не менее пройдет через эту дозу, потому что никакое знание не может убить надежду.

Рука Исагирре скользнула под стол, но Минголла сказал:

– Сигнал обрезан, Карлито. Там все уже мертвы.

– Кроме тех, кто наверху, – горько добавила Дебора, шагнув вперед и становясь рядом с Минголлой. – Наверху живы... дышат, по крайней мере.

Исагирре увядал прямо на глазах, восковая кожа теряла упругость, плоть обвисала на костях.

– Что вы собираетесь делать?

– Все уже сделано, – ответила Дебора. – Ну, или почти все.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Остались трое, остальные уничтожены, – объяснил Минголла. – Эти трое в Пентагоне. И о них ты позаботишься сам.

– Этого не может быть! Я только вчера говорил с...

– Это было вчера, – сказал Минголла.

– Я пойду наверх, – сказала Дебора. – Вдруг кто-то выживет.

– Не ломай их, – попросил Исагирре.

– Не ломать? – Дебора рассмеялась. – Я пять лет чиню

твои сломанные игрушки... и сколько еще осталось. – Она повернулась к Минголле. – Ты с ним справишься?

– Ага... иди.

– Что вы со мной сделаете? – спросил Исагирре, когда за Деборой закрылась дверь.

– А то ты не знаешь, Карлито. Разберем на кусочки, а потом соберем опять. Будешь бомбой с часовым механизмом, как Нейт и другие. Почти живой, как твои друзья наверху.

– Вы всех убили... всех, кроме тех троих? – Исагирре, похоже, не мог с этим примириться.

– Это было нетрудно. За пять лет мы многому научились. Пять черных, как гробы, лет, и в каждом – прах насилия и предательств.

– Если осталось только трое, – пролепетал Исагирре, – то какой смысл...

– Брось, я не собираюсь это слушать, ты же знаешь.

Исагирре выпрямился, лицо разгладилось.

– Да, знаю. – Адамово яблоко дергалось. – Вся работа... – Он провел рукой по лбу. – Что вы будете делать потом?

– Потом нечего будет делать.

– Да нет, найдется. Вы займете наше место, и вам придется что-то делать. – В голосе Исагирре звучали торжествующие нотки.

– Сейчас ты заснешь, – сказал Минголла. Исагирре открыл рот, но долго ничего не говорил.

– Господи, – произнес он наконец, – как могло такое слу-

читься?

– А что, если тебе того и хотелось? Как в том рассказе про пансионат... в финале смерть автора. Это твой финал, Карлито.

– Я... гм... – Исагирре сглотнул. – Я боюсь. Никогда не думал, что буду бояться.

Минголла не раз представлял, что будет чувствовать в эту минуту, но, к его удивлению, он не чувствовал почти ничего, разве только облегчение; в голову пришло, что, несмотря на страх, со стариком сейчас происходит то же самое.

– Наверное, я могу что-то сделать? – спросил тот. – Я бы мог...

– Нет, – ответил Минголла и начал вгонять Исагирре в дрему.

Тот привстал, потом опять упал в кресло. Он пытался подняться, тряс головой и цеплялся пальцами за край стола. По лицу пробежала паника. Потом обвис. Широко раскрытые глаза уставились на Минголлу.

– Прошу тебя... – Слова получились плотными, словно выжатая из доктора последняя капля, голова откинулась назад. Грудь вздымалась и опадала в сонном ритме, глазные белки шевелились.

Все в этой комнате – вой кондиционера, блеск антикварной мебели, фальшивая ночь ковра – словно заострилось, как если бы раньше их притупляло бодрствование Исагирре. От тяжелой ясности момента Минголле стало не по се-

бе, и он обернулся, уверенный, что за спиной его поджидает распахнутая ловушка. Но там была лишь закрытая дверь, тишина. Он снова повернулся к Исагирре. Вид старика его потряс, доктор был похож на монумент, на несчастное чудовище, угодившее в асфальтовую яму, в хранилище истории, и Минголла вдруг понял, как мало он знал о кланах, только голые факты, слегка обведенные контурами впечатлений. Он уселся на стол, подключился к спящему мозгу Исагирре и поплыл по затейливым коридорам кровавого прошлого мимо воспоминаний его жизни, жизни других людей; годы вспыхивали и гасли, словно недолговечные свечи; он был мальчиком по имени Дамасо Андраде де Сотомайор и стоял в день своего совершеннолетия посередине мрачного зала в старом панамском доме. Вся семья в сборе, в молчании расселась по эбеновым креслам, на ручках резные змеиные головы, во сне их мысли смешиваются, и он чувствует у себя в желудке препарат, далекую боль, он понимает, что сны – это голоса, тысячи голосов одновременно, не слова, а бессловесный шепот, который и есть душа страсти. Бледные фигуры отца и матери, кузенов, дядюшек и тетушек мерцают подобно белому пламени в чашах из черного дерева, и сам он тоже мерцает, плоть теряет телесность, и сон зажигает его мысли радостью мести и силы. А когда сон уходит, когда он уже крепок и пропитан страстью, наступает время отправиться в путь по тропе правды, и он, ни слова не говоря, спускается по лестнице в подвальный лабиринт, чьи темные коридо-

ры ведут к семи окнам, к одному окну, что покажет его место в узоре. Он бродил не час и не два в страхе, что так и не найдет свое окно и останется навеки в этой вязкой холодной глубине. Но каменные стены, грубые и замшелые, были ему друзьями; касаясь их, он чувствовал, как энергия прошлого выводит его в будущее, которое и есть единственный узор растянутой в бесконечности крови. То были фамильные камни, его кровь и его семья, куполообразные глыбы имели ту же фактуру, что и черепа Сотомайоров, расставленные у отца в библиотеке; касаясь камней, он угадывал направление и скоро научился выбирать повороты, ощущая их как узелки крови. И добравшись наконец до окна, он не увидел его, а постиг трепетом своей кожи. Он думал об этих странно-стях. Должно ли окно подразумевать свет... и он увидел свет. Два малиновых овала, словно глаза без зрачков, разгорались все ярче и ярче, пока он подходил все ближе и ближе. Окно, как он понял, было сделано из дымчатого стекла, свинцовые средники секций соединялись в силуэт угольно-черного человека с терновым венцом на голове, глаза же остались пустыми, их пронзали лучи заходящего солнца. Образ пугал и притягивал одновременно, мальчик прижался к стеклу, глазами к пустым овалам, и увидел на противоположной стороне долины массивный каменный дом Мадрадон, что казался в багряном свете чудовищем, припавшим к земле и готовым распрямиться. Он видел этот дом много раз, но так он подействовал на него впервые. Ярость ударила в голову,

и мальчик почувствовал себя одним целым с горящими глазами и всей этой черной фигурой, к которой сейчас прижился. Сеть свинцовых средников накладывалась на переплетение его нервов, направляя по ним кровавый цвет заката, пропитывая жестокой уверенностью, отпечатывая в душе образ эбенового Христа; отныне он знал, что избран из всех детей его поколения, чтобы вести остальных на борьбу против Мадрадон, что он стрела в семейном луке и что вся его жизнь будет полетом к сердцу этого темного чудовища, сторбленного над тем далеким холмом.

Минголла оборвал контакт, встал со стола, подошел к окну. Прижался лбом к раме. Холодное стекло повторяло дрожание кондиционера. Минголла смотрел на далекие городские огни и думал о христианской девочке, как ходила в ее руке голограмма Иисуса. Ему всегда казалось, что начало лежит за той секундой, но он никогда не мог ее постичь или хотя бы прояснить. Возможно, подумал он, это еще один проблеск надежды. В кресле пошевелился Исагирре, и Минголла понял, что слишком долго оттягивает неизбежное. Он не беспокоился из-за того, что предстоит сделать, но сама процедура его вымотала, он устал снова и снова открывать для себя неприятные новости о том, как природа человека смиряется с возможностью разобрать до нуля сознание. Он подождет еще несколько минут, он уже все решил. Минуты не помешают. Отодвинув кресло с Исагирре, Минголла принялся опустошать ящики стола, удивляясь, куда это старик

мог засунуть препараты...

Бассейн блестел пустотой, волн нет, гладкие всплески у бортов. Минголла выпрямился, огляделся по сторонам, уверенный, что за ним кто-то следит. Но никого не было. Голоса из чьей-то комнаты. По радио скрипичная музыка. Джилби и Джек все еще спят. Он откинулся назад, вытянул ноги и расположил в хронологическом порядке все три своих видения. Сперва забегаловка, болтовня с официанткой, затем Исагирре, потом Город Любви. Последствия ложной победы. Он не представлял, как эти видения совмещаются с миром. Возможно, они не точны. Но Минголла не мог заставить себя это признать. Видения были слишком реальны.

Джилби встрепенулся, встал на колени, и, радуясь, что его перебили, Минголла спросил:

– Ты как?

– Сон приснился, – ответил Джилби. – Про Ферму.

– И что там было?

– Ничего. Просто сон. – Джилби сел, скрестив ноги, и уставился на волнистую поверхность бассейна. – Знаешь, там вообще-то не так уж плохо... на Ферме.

– Там плохо, но по-другому.

– Ага, наверное. – Джилби пробормотал что-то еще.

– Что ты сказал?

– Ничего. Я хотел, но...

– Забыл, да?

– Не-а, не забыл. – Джилби обвел взглядом дворик и оста-

новился на Джеке. Наклонил голову и почесал затылок. – Я бы все рассказал... тут все нормально. Просто оно не лезет в слова.

Пустоту главного дворцового зала с трудом сглаживали вытянувшиеся вдоль стен длинные столы, уставленные чашами с пуншем, подносами с сэндвичами и булочками. Под резким светом потолочных ламп пластик казался твердой голубоватой плотью. Вокруг толпились сотни людей, сновал взад-вперед робот-сказочник, странно выделяясь викторианской плавностью среди неряшливо одетой праздничной толпы. Прозвучали речи, в которых провозглашалось, что все присутствующие являются отныне членами одной семьи, а также яркими приверженцами Панамского мирного договора... весьма популярная в этот вечер фраза. Из динамиков полилась музыка, и Минголлу пригласила на танец мелкая, точно карлик, мадрадонская женщина; она улыбалась остренькими зубками, а очерченные красной блузкой, торчащие, как торпеды, груди тыкались Минголле в ремень.

– Я так мечтала с вами познакомиться, жуть просто, – объявила женщина.

– Кажется, вы как раз вовремя, – ответил Минголла.

Женщина смутилась, но вскоре улыбка вернулась на место.

– Да, – согласилась она. – Мне так давно хотелось поговорить с вами о нашей генетической программе. Слыхали о

такой?

– Не-а.

Он провел карлицу между парами. До чего они все неуклюжи. Если подбирать к этому празднеству одно-два слова, подумал он, то получится: мудаковатый сброд. Нечто среднее между школьным балом и свалкой в загородном клубе.

– Видите ли... – Какой-то Сотомайор налетел на нее задом, и карлица поморщилась. – Мы очень надеемся, что вы тоже нам пожертвуете.

– Пожертвую?

– Ну, вы понимаете... генетический материал. – Последние слова карлица произнесла хихикнув, словно маленькая девочка. – Я извиняюсь за прямоту, но перспектива смешивания кровей меня так увлекает.

– Смешивания кровей? – Мысль о том, чтобы стать прародителем целых поколений Минголла-Мадрадон и Минголла-Сотомайоров, подняла в нем волну фривольного юмора. – Знаете что, – смеясь, сказал он, – мы сейчас спрячемся в укромном уголке, и я на вас побрызгаю. А вы потом соберете в бутылочку, пока оно не высохло.

Минголла ждал оскорбленной мины, но карлица, все так же улыбаясь, лишь вонзила острый палец ему в спину. Улыбка у нее была жутковатая и как будто расшатанная – на секунду Минголлу показалось, что карлица согласится.

– Я слышала о ваших эпатажных наклонностях. – Это было сказано таким зловещим тоном, как будто карлица преду-

преждала о том, что знает Минголлину тайну. – Это не повод для шуток.

– Конечно, я и сам вижу, – согласился Минголла. – Ну, то есть достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, как срочно вашим людям нужна свежая кровь. Особенно Мадрадонам. В жизни не видал таких мелких ебарей. Запустить парочку высоких генов, верно? – Он похотливо ткнулся в нее бедрами. – Да, я, пожалуй, не откажусь слегка удлинить эти ваши, как их там.

Карлица попыталась вырваться, но Минголла, не переставая кружиться, держал ее мертвой хваткой.

– Я на грубости не отвечаю, – объявила она.

– Это вы... мне не отвечаете? – Он толкнул карлицей одного из Мадрадон, танцевавшего с женщиной Сотомайоров. – Упс! – Минголла ухмыльнулся.

– Отпустите меня! – приказала карлица.

– Ни за что, – ответил Минголла. – Отныне и навсегда только ты и я. – Он швырнул ее на другую пару и сказал извиняющимся тоном: – Простите, она отдала мне ногу.

– Я этого не забуду, – прошипела карлица.

– Я тоже. Боже, какая нам предстоит ночь! Нужно только разобраться с разным ростом. Как насчет веревок и блоков? – Он прижал ее еще крепче. – Ах, детка, я жду не дождусь, когда распухнет твой маленький животик.

Карлица извивалась и корчилась, силясь вырваться на свободу.

– Боже, как хорошо! – воскликнул Минголла. – Еще раз... чуть ниже.

– Пусти меня! – Слова прозвучали глухо, потому что он прижал ее голову к своей груди.

– Прямо так сразу? – Теперь Минголла говорил громко, чтобы слышали все вокруг. – Что ж, если ты профи, то можно прямо здесь.

Вдруг устав от всего этого, он выпустил карлицу и фальшиво раскланялся.

– Спасибо за драку, – сказал он. Карлица шипела и дымилась. – Козлы ебаные, в клетках вас всех запереть, – сказал он ей на прощанье.

Минголла подошел к ближайшему столу, опрокинул в себя полную чашку пунша. Чуть в отдалении Тулли, Корасон и Дебора разговаривали с группкой Мадрадон. Тех, судя по виду, больше всего занимала собственная роль Гениев Результативности. Марина Эстил, наряженная по такому случаю в белое шелковое платье и нефритовые бусы, оставив другую группу, направлялась к Минголле. Щеки ее горели, глаза сияли, а улыбка была такой широкой, что все вместе наводило на мысль о чем-то большем, нежели просто хорошее настроение. Не приняла ли Марина чего-нибудь эдакого.

– Как настроение? – спросила она. – Столько дел, никак не получается вернуться к этой нашей маленькой проблеме.

– Все хорошо, – сказал Минголла.

– Я так и думала. – Она поздоровалась с проходившим

мимо Сотомайором, затем опять повернулась к Минголле. – Вам здесь нравится?

– Превосходно, – ответил он. – Я вне себя от счастья. – Он заметил, как Рэй подбирается к Деборе.

Марина проследила за его взглядом.

– Не волнуйтесь, Дэвид. Он решил сегодня извиниться. Вот и все. – Марина глотнула пунша и внимательно посмотрела на Минголлу из-за ободка бокала. – Вам удалось с кем-нибудь познакомиться?

– О да! Со многими. – Он рассказал ей о мадрадонской женщине.

Марина хмыкнула.

– Они чересчур назойливы, правда? Хотя не без приятности, конечно.

– Конечно.

– Странное у вас сегодня настроение, – сказала Марина.

– То же самое можно сказать и о вас.

– О, я просто устала. Вы знаете, сегодня все складывается.

Слова прозвучали до странности многозначительно, однако Минголла списал это на химию – теперь он был уверен, что Марина чем-то накачалась.

– Всё? – переспросил он.

Она кокетливо похлопала его по руке.

– Да, и в этом огромная ваша заслуга.

– В самом деле?

– Когда-нибудь я вам расскажу, – пообещала она. – Но

не сейчас. – Она показала на робота-сказочника; тот подка-
тывался к столу, расположенному в нескольких футах за их
спинами. – Сейчас будет представление.

– Все сюда, все сюда! – кричал робот; вокруг стола полу-
кругом собирался народ, смеясь и переговариваясь.

Из рядов вышел Сотомайор, ведя за собой бледную тон-
кую девушку в белом спортивном костюме.

Смотрела она пусто, замкнуто, и Минголла подумал, что
это признак заторможенности. Девушка встала за юбкой ро-
бота, полуспрятавшись и нервно переплетя пальцы.

– Музыку, маэстро! – крикнул робот и захлопал розовыми
пластмассовыми руками.

Девушка вздрогнула и спрятала глаза.

– *Chiquita*²⁸, пожалуйста! – Робот легонько ущипнул де-
вушку, и та отпрянула. – Совсем немножко музыки, чтобы
всех развеселить.

Девушка мученически улыбнулась, и через секунду в го-
лове у Минголлы зазвучал колокольный перезвон такой без-
укоризненной чистоты, что, ошеломленный красотой этих
звуков, он не сразу заметил их простоту и неуклюжесть. Пе-
сенка для детского сада. Игра плохая, такты сбиты. Девушка
была всего лишь музыкальной шкатулкой с открытой крыш-
кой – игрушка с покореженными пружинами. Номер затя-
нулся, толпа аплодировала вежливо, но без энтузиазма. За-
тем девушку увели, а публике был представлен молодой че-

²⁸ Чуть-чуть. (исп.)

ловек с таким же пустоватым взглядом. Глаза темные и глубоко посаженные, вытянутое костлявое лицо, сквозь ежик волос просвечивает череп. После тычка робота юноша уставился в пространство, и перед внутренним взором Минголлы возник цвет: темная синева, густая и глубокая, казалась чувством как оно есть, воплощением абсолютного спокойствия. Потом пошли другие эмоции, каждая на пике своей силы, и каждую толпа встречала шумными аплодисментами.

Выступив вперед, Марина обратилась к зрителям:

– Я думаю, нам следует выразить признательность Карлито за его неустанный труд, благодаря которому все же удалось вырастить цветы на этих камнях.

Толпа захлопала, овация переросла в скандирование: «Карлито, Карлито, Карлито!», которое стихло только после того, как вновь заиграла танцевальная музыка. Минголла уставился в чашу для пунша – ему померещилось, будто среди плавающих кожурок и фруктовой мякоти мелькнуло нечто шестиногое.

– Привет, Дэвид! – произнес у него за плечом пронзительный женский голос.

Минголла повернулся и уставился в глаза робота. За лоснящимися кристаллами поворачивались на шарнирах камеры.

– Не узнаешь? – Робот сложил руки на обширном животе.

На секунду Минголла поплыл, но затем вспомнил вертолет с его божественными претензиями и брезгливо передер-

нулся.

– Исагирре, – сказал он.

– Рад тебя видеть, – ответит робот. Пухлое розовое лицо изучало Минголлу с отеческой заботой.

– Ты здесь сам или как? – спросил Минголла, надеясь, что это всего лишь ящик, не зная, что будет делать дальше, но все-таки надеясь.

– Ну что ты. Я в Коста-Рике. Однако давно за тобой приглядываю. – Робот изобразил что-то вроде подмигивания. – Я восхищен твоей работой.

– Неужели?

– Безусловно! Это замечательно. Твои достижения не оставляют и следа от моих жалких потуг.

– Пустые слова. – Минголла предложил роботу пунш и пролил чашку прямо на плотное желтое платье. – Хе... повезло, могло бы и замкнуть. Кстати говоря, чем ты вообще занят? Устраиваешь дни рождения?

– Я вижу, ты все еще злишься. Это хорошо, Дэвид, очень хорошо. Злость – полезный инструмент. – Робот смахнул капли на пол. – Отвечая на твой вопрос: нет. Никаких дней рождения. Моя работа во многом похожа на твою, хоть я и вынужден ограничиваться единовременным эффектом, в отличие от полноценной реабилитации, на которую претендуешь ты.

– Я не претендую ни на какую говняную реабилитацию. Просто убиваю время.

– Не стоит принижать своих усилий. Ты не стал бы тратить на это столько сил, не имея серьезных убеждений.

– Все лучше, чем болтаться среди твоих племянничков.

– Я не требую от тебя согласия, – сказал робот. – Однако у меня есть предложение. Не хочешь поработать со мной, когда здесь наконец свяжутся все концы?

– Не-а, – ответил Минголла. – Поеду домой валяться на пляже.

– Одно другому не мешает.

– Ты работаешь в Штатах?

Кристаллические глаза пробежались взад-вперед по танцевальному залу.

– В сложившихся обстоятельствах не вижу причин скрывать. Да, у меня там дом. Думаю, ты встретишь в нем радушный прием.

– Где?

Робот бросил свое бессмысленное хихиканье.

– Это я, пожалуй, сохраню в тайне – пока.

«Не в такой уж тайне, как ты, мудака, думаешь, – сказал про себя Минголла. – Сухая пустыня, жара и куча крепких ребят вокруг».

– Почему? – спросил он. – Боишься?

– Нет, Дэвид, не особенно. Тебя стоит опасаться, согласен. Но мы знаем друг друга слишком давно и слишком хорошо умеем обращаться с нашей силой. – Робот откатился на фут назад, затем на столько же вперед, словно разминая

шестеренки перед тем, как прыгнуть. – Так как насчет моего предложения?

– Я подумаю.

– Талант не позволит тебе сидеть без дела, Дэвид. Чем еще ты можешь заниматься?

– Вернусь в киллеры. Спрос на убийства в этом мире будет всегда.

Робот дернул большой овальной головой.

– К чему такой сарказм?

– Это не сарказм, – сказал Минголла. – Мне просто тошно.

– Я знаю, что...

– Ни хрена ты не знаешь! – перебил Минголла. – То, что ты, ублюдок... – Он поймал себя на том, что не хочет доводить это до конца. – Ладно, может, ты и прав. Может, я больше ни на что не способен, кроме как чинить то, что поломали твои люди.

– Как ты не понимаешь, – сказал робот, – я ведь чувствую то же самое.

– Ну да?

– Неужели ты думаешь, что я бесчувственный чурбан? – спросил робот. – Неужели я не понимаю, насколько ужасно все, что мы делаем, – все, что нам приходится делать.

Робот забормотал давно известную Минголле классическую сотомайоровскую речевку насчет того, что нельзя-пожарить-яичницу-не-разбив-яиц и мы-посвятим-всю-свою-жизнь-чтобы-исправить-наши-ошибки. Версия Иса-

гирре была прекрасна, прочувствованна, убедительна, и Минголла не сомневался, что он сам верит каждому своему слову. Пообещал Исагирре, что со всей серьезностью рассмотрит его предложение и не будет больше давать волю сарказму; но, после того как робот покатился общаться с родственниками, Минголла обнаружил, что выносимость всей этой процедуры сползла для него до нуля. С глаз слетела пелена. Куда бы он ни посмотрел, повсюду были следы прежней ненависти. Перешептывания за прикрытыми ладонями, хмурые рожи, ядовитые взгляды. Не обходилось и без свежих побегов. Минголла безошибочно опознавал их в той чопорности, которую Мадрадоны и Сотомайоры обрушивали на своих новых союзников – наркотических медиумов. Низкосортность этого празднества, слезливая музыка, подскоки уродливых пар, мутантский балаган, высокотехничная нелепость работа Исагирре – всем этим зловещим признакам словно подкрутили мощность. Так же, думал Минголла, десятилетия назад можно было, наблюдая, как бюргеры подписывают в Берлине альянс с холодными подтянутыми национал-социалистами, презирать их всех за низость и малодушие, маскируемые жалкой помпой и потугами на гламур. Это сборище имело столько же шансов вылиться в мерзость и порочные извращения; Минголла видел в нем отражение нового мира, который будет мало чем отличаться от старого. Вражда выйдет на поверхность, станет еще более кровавой, разгорится новый конфликт между кланами и их

обдолбанными креатурами, а в результате – череда подспудных войн и тяжелейшее напряжение, почти апокалипсис. А может, и тотальный апокалипсис. Безалаберные кланы легко перешагнут эту черту. Но каких бы вершин им ни суждено было достичь в будущем, одно Минголла знал наверняка: ему до этого не дожить. Куда бы он ни взглянул, гости отворачивались, не желая встречаться с ним глазами. Одной такой единомышленной ненависти достаточно, чтобы отправить его в ад. Рано или поздно кто-то решит, что Минголла слишком силен и доверять ему нельзя, или же вынесет приговор просто потому, что так захотелось левой ногой.

Заметив в дальнем углу Дебору, рядом с ней Тулли и Корасон, он двинулся к ним через весь зал, натываясь на неуклюжих Мадрадон и грациозных Сотомайоров.

– Пойду погуляю, – сказал он Деборе. – Побудешь тут без меня?

– Ты бледный, – сказала она. – Плохо себя чувствуешь?

– Съел что-то.

– Пропустишь самое интересное, друг, – пьяно предупредил Тулли и так крепко прижал к себе Корасон, что Минголла подумал, что ее розовый глаз сейчас вылезет из орбиты.

– Я с тобой, – сказала Дебора, но уходить ей явно не хотелось.

– Не надо, я только пройдуся чуток. Возьму Джилби, Джека, а потом перехвачу тебя здесь или у пансионата.

Он повернулся, собираясь уйти, но она загородила ему до-

рогу:

– Что-то случилось?

Минголла чувствовал сильный соблазн пересказать ей все свои мысли, но она все равно не поверит.

– Ничего серьезного, – ответил он. – Скоро вернусь.

Пока он шел к выходу, разнообразные члены кланов приветствовали его улыбками и кивками. Так искренне, так непритязательно. Он тоже улыбался, ненавидя их всех.

Ясная ночь, звезды остры, блестящи и разбросаны так равномерно, что полоса синей темноты в вышине кажется натянутым между крышами флагом. Минголла подумал, как легко гулять среди мертвых. Мертвым, по крайней мере, можно доверять. Их смутные порывы не вызваны жадностью или похотью, их память не будит порочных наклонностей, она всего лишь неудовлетворенная мечта о мире, который они почти забыли. Тишина улиц ему тоже нравилась. Она текла темно-синим потоком по клаустрофобным каньонам баррио, мягко пронося Минголлино отражение по окнам магазинов, мимо сваленных в сточных ямах темных фигур, и он думал, что, может, это не так уж плохо – вступить в армию теней, дышать ядовитыми испарениями, двигаться все медленнее и подчиняться приказам, которые позволяют потакать самым низменным желанием. Минголла ускорил шаг, замахал руками, пошел быстро, так что Джилби и Джеку пришлось перейти на спотыкающийся бег. Наконец остановился у лавки,

когда-то продававшей религиозную атрибутику, и стал смотреть на себя в зеркала. Бесконечный ряд освещенных звездами Минголл, все темные, у всех блестят глаза. Отражения успокаивали. Он крутанул головой, и они согласно повторили жест. Он упер руки в бока, повернулся к окну, и армия Минголл, храбрых и неустрашимых, прибыла на военный совет.

Жалко, думал он, что зеркала не волшебные. Он созвал бы родных и друзей, поделился бы с ними мудростью. Не то чтобы ее было так уж много. Одно слово: Панама. Для каждого он произнес бы его по-своему. Мягко старым подружкам, женщине с Лонг-Айленда, чтобы они поняли, как им повезло родиться американками, не видеть и не слышать оскорблений этой мучительной реальности. Другим – напрямую, чтобы ни в коем случае не шли в армию. А отцу, м-да, отцу он преподнес бы его свистящим шепотом. Слово затуманило бы зеркала, испарилось, превратилось бы в газ цвета ночного неба и теней; окутав отцовскую голову, оно ниспослало бы ему темный проблеск бытия и заставило содрогнуться, задохнуться квинтэссенцией панамской правды, секунду спустя в дверь постучала бы реальность страхового агента, и мать до восьмидесяти лет развлекалась бы с любовниками во Флориде. Ого! Что за девка!

Панама.

Совсем не то, чего он ждал, ага!

Он так и не добрался до белого голого пляжа, до смуглого

берега кинозвездных сисек и коко-локо²⁹, до избалованных, глянцево-обложечных невинных дочерей безмятежных островов, у тебя американские деньги, Джим, эта земля твоя, бери ее, трахай, уговорами или силой, строй на ней свои супермаркеты... все, что пожелает душа. Нет, он добрался до самой кровавой республики в истории, где дорвавшиеся до берега пираты Колумба трахают трупы своих жертв, где когда-то банда матросов превратилась в каннибалов и охотников за головами, где китайские железнодорожные рабочие сотнями топились в море, когда заканчивался опиум; здесь растет неприметная травка, что дает силу вести в бой армии мертвецов.

Здесь родился человек по имени Карлито.

Панама... маленькая судорога из трех слогов.

Потом слово как бы получило новый смысл, теперь оно говорило о зеленых холмах, что возвышаются за баррикадами, о Дарьене, туманном лесе, потерянных племенах, о ведьмаках, чьи мысли подобны струям дыма.

Другая Панама... может быть, в этом выход.

Джек и Джилби подвинулись поближе, словно почувствовали его желание куда-нибудь свалить, и тут в канаве у Минголлиных ног что-то зашевелилось. Тощий огрызок человека, замотанный в коричневые тряпки, провонявший мусором. Минголла опустился рядом с ним на колени, заглянул в глаза, пустые и преданные, как у собаки. Губы у человека

²⁹ *Коко-локо* – коктейль из кокосового рома с ананасовым соком.

были в струпьях, нос поломан, из ноздрей свисали веревки кровавой слизи, толстые и перекрученные, как макраме. Подавшись вперед, человек схватил Минголлу за руку, и тот, отбросив горькие раздумья, стал работать с его мозгом. За спиной что-то шебуршало и ерзало, но Минголлу не обращал внимания.

Пока Джилби не воскликнул:

– Смотри!

Минголлу поднял глаза и увидел, как, заслоняя звезды, над ним нависли силуэты фигур и одна из них, голова в капюшоне, вместо лица темный овал, замахивается чем-то длинным и скрюченным. Минголлу отшатнулся, но дубинка попала ему над ухом, через всю голову пронеслась вспышка белого света, и он упал на спину. Джилби схватил его, рывком поднял, втащил на тротуар, где сквозь туман Минголлу глазами предстали сотни людей – запрудив всю улицу, они беззвучно, если не считать клейкого следа дыхания, волочились вперед. Глаза подобны дырам в грязных простынях, оружие наизготовку.

Стекло вдребезги.

Джилби швырнул его к фасаду лавки, Джек расколотил ломом витрину и размел осколки. Джилби втащил Минголлу через окно в зеркальное пространство. Минголлу то отключался на миг, то снова приходил в сознание и видел себя в зеркалах. Рот открыт, под носом черная вилка крови. Позади армия – сгрудилась у разбитого окна, давит внутрь, не

обращая внимания на встречные копыта осколков. Минголла попробовал ударить по ним силой сознания, но не смог собраться, и что-то потащило его мимо проваливающихся собственных отражений по узкому коридору к задней двери. Ручка повернулась у Джилби в ладони, дверь чуть-чуть подалась, потом застряла. Джилби уронил мачете и навалился на дверь.

Не сводя глаз с этого мачете, Минголла прислонился к стене. Оно лежало далеко, крутилось, отступало, непонятно, дотянешься ли. Дотянуться было можно... что ж, он знал мачете. Да еще как! Минголла согнулся, качнулся, выпрямился и подцепил мачете. Рукоятка засалена Джилбиным потом, в пробивающемся сквозь форточку свете блестит на лезвии кровь и ржавчина. Тяжесть придавала Минголле уверенности, и он повернулся к армии.

Ширины коридора хватало лишь на двух человек, армия хлынула в него, хрипя, натываясь друг на друга, не в состоянии выстроиться по двое. Минголла замахнулся на первого, пробил грудь, живот, прочертил на серой плоти кровавые линии. Двое упали, затем третий. Он разрубил плечо старухе, косынка сползла ей на глаза, она ничего не видела, он проткнул мужчину помоложе и отбросил его в сторону. Дверь со скрипом отворилась, и Минголла вывалился спиной в переулок, почти такой же узкий, как коридор. Заперт с одной стороны высокой кирпичной стеной, с другой – армией. Джилби встал рядом, размахивая увесистой деревяхой, и Минголла,

отступая к кирпичной стене, пропорол кишки мужчине с голым торсом и свисающими на боках складками кожи. Нужно что-то чувствовать, думал Минголла. Страх, по крайней мере, ведь его наверняка убьют: их слишком много, головы качаются, глаза – эбеновые щелки, сквозь прорехи в одежде торчит бледная кожа. Или сожаление от того, что приходится убивать своих бывших пациентов. Ну конечно, ему должно быть жаль. Но словно тот первый удар по голове опустил Минголлу до их состояния, до пустоты, управляемой командами, до взмахов мачете, чуть более быстрых и точных, чем это получалось у них, но таких же примитивных. Лезвие не дрогнуло ни разу – их жизни не стоили такого феномена, – и брызжащая из тел кровь капала с рук Минголлы тяжело и медленно, словно машинное масло. Жмурики из Мясa с Настоящими Органами. Он чувствовал какую-то безмозглую притягательность в том, как они рубятся на части, мышечную радость от хорошего замаха, красивого удара, и – боже! – когда еще у него все так хорошо получалось! Груда тел. Они ползли и цеплялись, пытаясь взобраться на эту кучу. Сковырнуть легко. Он замахивался и ударял в кость. Замах, удар, замах, удар. Была у лесорубов такая рабочая песня. *Эх, мачете, ну-ка – хрясь!* Переулок собрался для Минголлы в одну жуткую точку. Он смотрел, как ползет последняя жертва – медленно, словно дождевой червь по ноге, и запихивает в живот кишки. Он опять попробовал мозговую атаку и, когда на этот раз все получилось, понял, что, пряча

свою настоящую силу от кланов, скрывал ее и от себя самого. В голове его сияло солнце, тяжелое черное солнце рассыпало лучи силы, он чувствовал сознания всех армейцев – и в переулке, и в лавке, и на улице, – так созвездие знает огни, составляющие его абрис. Он ощущал их хрупкость и пустоту. Рядом кто-то падал, другие пытались бороться и прижимались к стене. Жалости не было. Все это неважно, случайно, он потратил на них гораздо больше времени, чем они стоили. Минголла чувствовал жестокую правоту – эмоцию столь сильную, что она казалась физическим состоянием, он был уверен на клеточном уровне: отбиваться надо от всякого, кто покушается на твою жизнь. Он с ликованием приветствовал это чувство и теперь ясно представлял, как встретится лицом к лицу со своим врагом.

Рэй.

О да! Конечно, Рэй!

Армия трещала, дрожала на ветру Минголлиного гнева.

Он протолкнулся сквозь сгрудившихся в переулке мужчин и женщин, разбросал их в стороны, не обращая внимания на их близость... хотя касаться их было неприятно: давил иррациональный страх, что к нему прицепятся отслоившиеся кусочки их вещества. Минголла пробивался сквозь заполнившие лавку неподвижные темные фигуры, выхватывал из посеребренных зеркал собственный взгляд – человек среди манекенов. Он забыл о Джилби, но когда выбрался на улицу, вспомнил. Вернулся в лавку. Джилби стоял на коле-

нях рядом с висящим в разбитом окне телом. Около откинутой головы валялся лом.

– Пошли, Джилби.

Дрожащая рука Джилби ощупывала тело, словно искала выключатель, которым его можно оживить.

– Ему уже не помочь, – сказал Минголла, опустив руку Джилби на плечо.

– Отвали. – Джилби сбросил руку.

Глаза его блестели, и Минголла удивился: Джилби плакал.

– Я... – Не сводя с Минголлы глаз, он несколько раз повторил его имя, недоуменно, как будто оно значило что-то странное и непостижимое.

– Что?

Джилби покачал головой и разгладил на Джеке мятую рубашку.

Бесполезно разгадывать шараду их дружбы, решил Минголла; сентиментальная ошибка – отделять Джилби от других, делать вид, что он жив и нормален. Здесь нет места для сантиментов. Минголла отошел, подавил в себе порыв сказать «прощай» и, глядя в магазинное зеркало, стер кровь с лица и рук. Вокруг неподвижно застыли мертвые, словно статуи в уличной сцене де Кирико³⁰. Минголла почти слышал дрожание их пустоты, их жажду цели, и теперь он знал,

³⁰ *Джорджо де Кирико* (1888-1978) – итальянский живописец, глава «метафизической» школы, предтеча сюрреализма; в городских пейзажах выражал ощущение тревожной застылости мира.

как удовлетворить эту жажду, знал цель, ради которой они были созданы.

Гнев и раньше не покидал его ни на минуту, но сейчас Минголла готов был дать ему волю, словно гнев принял форму его тела, – тела человека, излучающего ярость. Гнев растянулся вширь, захватил армию, и, пока Минголла быстро шагал во дворец, из обочин и дверных проемов выдавливались тени, выстраивались в колонну и тянулись следом. Возшла луна и осветила стены домов так ярко, что видны стали серые заплата облупившейся побелки. Сильнее обычного узкие улицы напоминали каньоны, а армейцы своими всклокоченными волосами и примитивным оружием – троглодитов, отправляющихся в набег на соседнее племя. Их бледная рыхлая кожа походила на сыр, а глаза отражали черноту оконных стекол.

На ведущей к парковке улице Минголла разделил армию надвое, половину отправил в обход дворца к баррикаде, а остальным приказал сидеть в тени и ждать приказа. Пересекая стоянку, он успокоился, гнев опустился до средней отметки так, словно ядро его существа отделилось от всего остального и решило понаблюдать за происходящим. На площадке стояло несколько джипов, и Минголла с удовлетворением отметил, что у большинства в зажигании торчат ключи. Во дворце бушевало празднество, все были пьяны значительно больше, чем когда он уходил. Под легкую

джазовую импровизацию топтались Мадрадоны и Сотомайоры; робот-сказочник с выключенным тумблером неподвижно стоял в углу. Должно быть, Исагирре отправился спать. Проходя через танцоров, Минголла улыбался и кивал всем, с кем встречался взглядом.

– Прекрасный вечер, – говорил он, – изумительный праздник. – А затем, понижая голос настолько, чтобы они засомневались в том, что расслышали правильно, добавлял: – Скоро сдохнешь, – и улыбался еще шире. Дебору прижимала к столу группа гостей, включавшая Рэя и Марину; протиснувшись сквозь них, Минголла встал рядом. – Где Тулли? – шепотом спросил он.

– Не знаю, – ответила Дебора. – Кажется, они ушли к себе в отель. – Она вопросительно посмотрела на него. – Ты весь в крови! Что случилось?

Он провел рукой по лбу, пальцы стали красными.

– Ударился где-то, – объяснил Минголла и улыбнулся Рэю. С Тулли и Корасон получилось плохо, подумал он. Но откладывать нельзя. Придется им выкручиваться самим.

– С виду серьезно, – сказала Марина. – Нужно обработать. Она нервничала, теребила юбку, отводила глаза.

– Ерунда, – сказал Минголла.

От ярости и веселья кружилась голова. Синяя пластмассовая оболочка дворца вдруг стала похожа на внутренность обширного черепа – черепа Карлито. В косых лучах падавшего с потолка света Минголла теперь видел сумасшедшую гео-

метрию Карлитовых мыслей, в воздухе чувствовался тухлый запах его великих идей, а танцоры, группа у стола и застывший робот были убогими воплощениями Карлитового воображения: они вертелись, болтали, прикидывались настоящими, но от каждого тянулась нитка заговора или каприза. И всему этому пришел конец. Минголла почти видел, как рушатся стены, бессильные совладать с силой, которую Карли-то так опрометчиво вызвал к жизни.

– Только что произошла интересная вещь, – сказал Минголла. – Можно сказать, она проливает свет. Правильно, Рэй?

– О чем ты, я не понимаю, – удивился Рэй.

– Ну еще бы.

– Надо бы показать кому-нибудь этот порез. – Марина была слишком уж возбуждена. – Я бы...

– Не волнуйтесь.

Минголла оглядел гостей: они недоуменно таращились, словно чувствовали, как что-то надвигается, но не очень понимали что; он планировал тянуть до тех пор, пока они с Деборой отсюда не выберутся, но сейчас решил, что время настало и что нельзя уходить, не посмотрев хотя бы начало конца. Теперь он сам, как Карли-то, наслаждался театральным представлением.

Взяв Дебору за руку, он повел ее к пустой площадке на краю танцзала. Развернулся к группе у стола. Они явно нервничали.

– Только что меня чуть не убили, – объявил Минголла. Музыка выключили, все зашептались.

– Конкретный преступник меня не интересует. – Минголла возвысил голос. – Виноваты все поголовно. Но было бы полезно, если бы правосудие восторжествовало.

Марина протолкалась вперед:

– Что случилось, Дэвид?

– Пока я гулял, кто-то натравил на меня армию, – ответил он.

– Рэй! – Она повернулась к нему лицом.

– Это не я! – воскликнул тот. – Я весь вечер был здесь.

– Какая разница. – Минголла окликнул танцоров. – Как насчет небольшого спектакля, ребята?

– Зачем мне рисковать только для того, чтобы опять с тобой сцепиться? – спросил Рэй Минголлу.

– Кто же тогда?

Пойманный врасплох, Рэй на секунду растерялся. Он водил глазами по толпе в поисках подходящего кандидата.

– Марина? – сказал он.

Вид у Марины был оскорбленный и растерянный, словно у учительницы, которую предал ее лучший ученик.

– Это она... неужели не видишь? – доказывал Рэй Минголле. – Она решила мне отплатить, специально меня подставила.

– Господи, Рэй. – Марина снисходительно хохотнула.

– Точно она, – продолжал Рэй. – Все эти годы притворя-

лась, что простила, но я-то знал, что это не так.

– Простила что? – спросила Дебора.

– Несколько лет назад, – объяснил Рэй, – я перед ней провинился. Я ее хотел, я сходил по ней с ума. Но...

– Значит, это из-за тебя она потеряла ребенка! – воскликнул Минголла; только теперь сложились вместе переменчивое настроение Марины в тот вечер, ее радость от мысли, что Рэя можно наказать, все другие недомолвки и намеки.

– Это немислимо! – воскликнула она.

– Да, да! – Возбужденный Рэй пододвинулся к Минголле поближе. – Она с тех пор совсем сумасшедшая. А все вокруг думают, что вовсе не оттого. Преданность делу, увлеченность. Она просто ждала удобного случая. Знала же: если с тобой чего случится, повесят на меня.

Вина ясно читалась на Маринином лице, но Минголла уже не мог направить свой гнев на кого-то другого; если вспомнить, что натворил Рэй, в Маринином вероломстве не было ничего удивительного, и Минголла слишком давно ненавидел Рэя, чтобы отказаться от мести. Да и вообще сейчас было нужно не столько наказать конкретного виновника, сколько преподнести урок, а Рэй с его умоляющим голосом и потным страхом был самой подходящей кандидатурой.

– Прощай, Рэй, – сказал Минголла и ударил его с оглушающей силой.

Рэй обвис, колени подкосились, он опустился на четвереньки. Угрюмое лицо стало пустым, он повалился на бок.

Минголла стоял над ним, дергал за ментальные узелки, развязывая их один за другим.

– Это называется, ребята, – приговаривал он тоном заправского лектора, – полевая разборка человеческого сознания. Просто, как дверная ручка, если вы сможете за нее ухватиться. – Рэй пытался что-то сказать, но выходили только уродливые сонные звуки. Руки его скребли по полу, ноги дергались, он не сводил глаз с Минголлы, рот шевелился, лоб морщился, словно он силился вспомнить что-то важное, что-то, что может его спасти. – Недолго, как видите, – сказал Минголла. – Будьте довольны уроком.

Мадрадоны и Сотомайоры молчали, на лицах отражался целый спектр: от ошеломления до ужаса.

– Знаешь, где ты сейчас, Рэй? – спросил Минголла с преувеличенным беспокойством.

Рэй озабоченно огляделся.

– Я... гм... я...

– Очень хорошо, Рэй. – Минголла хлопнул его по плечу. – Из тебя выйдет отличный солдат. Гордость Сотомайоров. Будешь срать на улице и дубасить зомби. Великолепно.

Рэй отважился на робкую улыбку.

– И это будет круто. Знаешь, как это будет круто?

Рэй понятия не имел, но слушал жадно.

– Сейчас покажу, – Минголла схватил Рэя за грудки и принялся лупить по щекам. С каждым хлопком он словно выигрывал в своем сердце какую-то битву, вычищал из него по-

следние крупы жалости.

Кто-то вцепился Минголлу в спину, но он стряхнул их на пол, пустил через весь зал волну ненависти – достаточно мощную, чтобы послужить сигналом для армии. Клань попыталась, оставив в центре круга Минголлу, Рэя и Дебору. Он изучающе обвел всех глазами и получил в ответ серию оценивающих взглядов. Случившееся их вовсе не потрясло, они лишь прикидывали, стоит ли из-за родственника связываться с Минголлой. Они явно не были способны осмыслить свое поражение.

– Мы понимаем ваши чувства, – сказал один из Сотомайоров, – но не можем вам позволить судить единолично.

– Представление продолжается, ребята, – объявил Минголла. – Время большого финала.

Шум за спиной. Он повернулся: Марина пинала Рэя ногами, тот, свернувшись калачиком, прикрывал голову. Минголла схватил ее за руку, шелковое платье разошлось по швам, ударом кулака повалил на пол. Она перекатилась на живот, села, взгляд сумасшедший, от элегантности не осталось и следа. Поползла к Рэю. Минголла оттолкнул ее ногой.

Шум у выхода, крики, людское мельтешение.

В двери рвались изнуренные фигуры. Минголла прижал Дебору к стене.

– Что ты наделал? – закричала она, отталкивая его прочь.

– Они чуть меня не убили, черт подери!

– Но нельзя же... – Она вырвалась, вид изломанный, по-

бежденный. Плечи опущены, глаза прикованы к залу.

Они получились странными, эти первые секунды, когда кланы столкнулись с бывшими своими жертвами. Изможденные мужчины и женщины спотыкались, щурились от яркого света, глядели – несмотря на настойчивость Минголлинго приказа – недоверчиво, неуверенно, словно нищие, которых допустили в тронный зал. Кто-то застыл, ощупывая свое тряпье, руки у рта, позы стыда и смирения. Но только на секунду. Затем они бросились вперед – выполнять свою работу. Мадрадоны и Сотомайоры повержены, но не столько испуганы, сколько оскорблены... так, по крайней мере, показалось Минголле. Сначала они уставились на армейцев, уверенные, что смогут на них повлиять. И только сообразив, что силу Минголлы пробить невозможно, испугались по-настоящему, но армия к этому времени уже развернулась. Седой приземистый мужчина ударил первым: проткнув вилами бледную тощую женщину, выволок ее в центр зала. Она хваталась за острие, открывала рот, слишком потрясенная, чтобы кричать. На упавшего мужчину набросилась какая-то старуха, голова откинута назад, как у торжествующего зверя. Марина Эстил рванулась бежать и получила от ловкого юноши удар мотыгой по затылку; он раскрыл ей голову, обдав кровью белое шелковое платье. В схватке сквозила жуткая неуклюжесть, полусонная импульсивность, и, будь силы хоть немного равнее, кланы могли бы спастись, а так лишь единицам удалось добраться до дверей. Нападавших было

слишком много. То там, то здесь, сбившись в кучу, клановая группка с трудом отбивалась от нескольких дюжин атакующих; визги и крики, яркие обломки шума звучали настолько энергично, что медлительные убийцы на время отступали. Богатый урожай клановой крови просачивался между фальшивых серых камней, и везде находилось место мужеству: Мадрадоны защищали Сотомайоров и наоборот, как будто смерть наконец-то их объединила. Минголла не чувствовал к ним жалости, но видел в их гибели печальную неизбежность, столетний итог смертей, автоматную очередь, что разрубает узел крови и страха, туго затянутый на шее чудовища с повернутой в колониальный век головой. И еще он видел индульгенцию своей мести: все, что происходило сейчас, было достойно кланов, битва велась столь же бессмысленно и с таким же жутким результатом. Вмешиваться не хотелось.

Он провел Дебору вдоль стены, загораживая ото всех, кто попадался на пути, держа их на расстоянии изрядной дозой страха, так они пробрались через эту резню, словно недоступные огню святые. Но уже у самых дверей Минголле вдруг стало невыносимо грустно, в голове зазвучала простая и чистая музыка, мелодия кристальной ясности. Слабая в начале, она становилась сильнее с каждой секундой и пропитывала его все глубже. Замедлив шаг, он рассмотрел у дверей девушку и стриженного под ежик юношу, устроивших прежде «концерт»; лица пусты, глаза плотно и напряженно зажмурены. Колокола и грусть, грусть и колокола. Плотная

ртутная смесь, затормаживающий дурман. Мингол्ला силился отбросить эту грусть, приглушить колокола, но ужас не давался в руки, коротко вспыхивал и пропадал, словно уговаривая не тратить больше силы на борьбу. Печальная блюзовая музыка убивала Минголлу, замораживала его, завлекала и звенела, угрюмые сирены заставляли желать покоя и снова покоя, растаять в вибрации дребезжащих нот, вернуться и остаться навсегда в воображаемом месте, в серой тайной глубине, в долине духа, в крошечной ямке, достаточно просторной для свернувшейся в калачик сонной души, и даже крики и визги тоже вплетались в эту музыку хоральным контрапунктом. Мингол्ला недоумевал, почему Дебора ничего не делает, почему она просто стоит здесь, неужели она не поможет... а впрочем, не важно, лучше растаять, прислониться к стене, пусть музыка и грусть дрожат у него внутри, пробивая конструкции мыслей, не так уж она плоха, эта пустота, эти дуновения, как будто проваливаешься в сон, клетка за клеткой захлопывается, зрение сужается... и тут его что-то обожгло изнутри, что-то схватило и потащило, он почувствовал, как Дебора соединяет его силу со своей, и эта изгибающаяся лихорадочная энергия встраивается в красный грохот мыслей, гнева и отвращения, маленькая девушка пронзительно закричала, метнулась в сторону, стриженный под ежик юноша вздрогнул, прикусил губу, кровь размазалась по подбородку, музыка и грусть расщепились на фрагменты ужаса и холодных звуков.

Минголла шагнул к стриженому, схватил его за ворот спортивного костюма, тот опустился на колени, повалился на пол. Минголла повернулся к Деборе и вытолкнул ее за дверь.

– Чем ты там занималась... какого черта ждала?

– Ты же ничего не делал! Так почему я? – Она потянулась к нему, но руку выдернула. – Мне вдруг стало безразлично... все вообще.

– Черт! – воскликнул он. – Ты...

– Только не говори, что с тобой было не так! – выкрикнула она со злостью и почти со слезами. – Тебе всегда все равно, и что еще мне остается делать...

Она отвернулась, и Минголла несколько секунд смотрел ей в спину. В груди щемило от чего-то, в чем он не мог разобраться, лицо горело. Дебора передернулась и глубоко вздохнула.

– К черту, – сказала она. – Пошли отсюда.

Пока они забирались в джип, к ним с рыданиями подскочил мадрадонец и ударил Минголлу по щеке, этот хилый, но отрезвляющий тычок заставил его встрепенуться и заметить, что с угла парковки на них надвигается небольшая толпа мужчин и женщин. Мадрадонец упал на колени, закачался, вцепился Минголле в ногу. Тот отпихнул его, завел двигатель и рванул вперед, объезжая спасшихся, которые отчаянно кричали и тянули к нему окровавленные руки. Подскакивая на выбоинах, Минголла выехал на улицу и помчался к баррикаде. Среди звезд возвышались силуэты далеких

холмов, перед глазами мелькали стены. Темные фигуры накладывались на баррикаду и были с ней одного роста, иногда в щелях между досками вспыхивали автоматные очереди и фигуры падали, но многие потом вставали, а еще больше фигур все так же толпилось у основания стен. Минголла лег грудью на клаксон, и оборванные женщины и мужчины запрыгали в стороны; другие так и остались стоять разинув рты, но он и не подумал тормозить.

– Держись! – крикнул он Деборе.

Стена встала перед ними в полный рост, и затем под треск досок, автоматные очереди и глухой стук тел по капоту они прорвались сквозь баррикаду и понеслись, накренившись на бок, по грунтовке. Изо всех сил удерживая джип, Минголла умудрился его выровнять. И тут они обнаружили себя в центре сражения, не многим отличавшегося от того, из которого убежали. На площадке желтой земли, поросшей черными в лунном свете кустиками травы, группы солдат отстреливались от более многочисленных атакующих. А за ними до самых холмов тянулся травянистый луг.

Дебора стукнула его по плечу и показала на стоявший в отдалении домик под толевой крышей.

– У них там оружие!

От радиатора со свистом отскочила пуля.

Минголла остановил машину, не выключая двигателя, и Дебора метнулась к домику. Через секунду она вернулась с двумя автоматами, толкая перед собой жилистого темноко-

жего человека в камуфляжной форме. Заставила его забраться на заднее сиденье джипа.

– Что еще за хрен? – спросил Минголла.

– Заложник, – объяснила она. – Он там прятался.

Такой резкий переход от безнадежности к воинственному прагматизму поразил Минголлу. Казалось, в этом хаосе Дебора чувствует себя как дома, отчаяние никуда не делось, оно просто потекло по другому руслу.

– Давай! – крикнула она. – Поехали!

Он выбрался из-за домика и помчался через луг. Свистели пули, одна высекла искру на ветровом стекле, и впервые за все время Минголла испугался. Задница сжалась, а между лопатками проползло холодное пятно.

Повернувшись и встав коленями на сиденье, Дебора начала стрелять. В зеркало заднего вида он заметил три пары огней – погоня. Минголла надавил на газ, и они помчались по луговой низине, подпрыгивая, словно камешек на морских волнах. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, и Минголла выписал джипом такой зигзаг, что Дебора, мотнувшись, уселась ему на колени. Потом выпрямилась и снова открыла огонь.

– Давай на север! – закричал человек на заднем сиденье.

– Почему? – спросил Минголла, опуская плечи, поворачиваясь и в любую секунду ожидая пули.

– Там дорога! Колея! Там можно оторваться! – Человек пропихнулся между сиденьями. – Вон к той горе!

Сзади что-то взорвалось, и Минголла увидел в зеркало, как луг занимается огнем, а две пары фар обходят его стороной.

– Черт! – У Деборы заклинило автомат. Она отбросила его в сторону и схватила другой.

С каждым толчком и подскоком джип словно бы собирался взлететь, и Минголле стоило немалых трудов удержать его на земле вилянием корпуса и уговорами. Он молил Бога: Вытащи меня отсюда, Господи, я больше никогда не согрешу; а сердце колотилось в ритме Дебориной стрельбы, прямо над ними вырос холм, черный и громадный, человек на заднем сиденье орал, куда ехать, и наконец по узкой пыльной колее они вломились в густые джунгли.

– Тормози... сюда!

Дебора толкнула его локтем и показала на тенистый проезд между двумя большими деревьями. Он сделал, как она велела, и заглушил мотор. Она уперла автомат в ветровое стекло, чтобы следить за дорогой, и, как только из-за поворота, пронзая фарами темноту, появился другой джип, открыла огонь. Вопли, во вспышках пламени силуэты фигур, джип подлетает в воздух, как будто трещит, обливаясь соком, панцирь мертвого светло-зеленого таракана.

– Там еще один, – сказала Дебора, – они, наверное, видели.

Минголла дотянулся до них мыслями. Нащупал меньше чем в сотне ярдов троих преследователей. Он напугал их...

напугал так, что они закрутились, ярко вспыхнули и, моргнув, отключились один за другим.

– Теперь все в порядке, – сказал Минголла.

Стояла тишина, где-то рядом журчал ручей, зудели комары, квакали лягушки, и даже потрескивание огня не нарушало молчания. Словно и не было этой темной беспорядочной погони. Ветки и листья заострились в лунном свете, Минголла чувствовал боль и дрожь адреналина, как если бы луна высветила его слабость, показала, насколько они одиноки. Будто всего, что происходило в последний час, на самом деле не было, просто они очнулись от кошмара и теперь на склоне холма разбираются с реальностью.

– Вы меня убьете? – раздался с заднего сиденья голос.

Минголла совсем забыл о заложнике. Человек сидел прямо, вид у него был напряженный, но не испуганный; лицо по-кошачьи хитрое, черные ломкие волосы. Минголла увидел в нем обещание чего-то хорошего, последний шанс для деятельного милосердия.

– Можешь идти, – сказал он.

– Ты что... – начала Дебора.

– Не нужно. – Минголла положил руку на ее автомат. –

Пусть идет.

Человек выбрался из джипа.

– Я никому не скажу, – пообещал он, пятясь. Минголла пожал плечами.

Отступая, человек споткнулся и бросился бежать, его фи-

гура на секунду обрисовалась в пламени горящего джила, потом исчезла за поворотом.

– Зря ты это сделал, – сказала Дебора, но голосу недоставало уверенности.

Минголла завел мотор. Он не хотел на нее смотреть, не хотел, чтобы она видела его лицо, слишком боялся того, что там может быть написано. Выезжая на дорогу, он прижался к Деборе бедром; она не отодвинулась, и это прикосновение заставляло его чувствовать близость. Но также он чувствовал, что близость эта не так уж важна, а если и важна, то больше для памяти, ибо что-то между ними менялось. Это он тоже чувствовал. Прежние расклады перестраивались, связи рвались, сплетались новые, а темные закоулки душ выходили на свет. Он выкинул это из головы – выкинул все вообще и, сосредоточившись на дороге, порулил к Дарьену.

Глава восемнадцатая

К пяти часам следующего вечера, сменив, чтобы оторваться от погони, две машины, они забрались в Дарьенские горы и медленно поползли сквозь плотный туман. Видно было не дальше нескольких футов, да и то если постоянно протирать запотевавшее ветровое стекло. Наконец Минголла сдался, съехал с дороги и встал. Дебора спала на заднем сиденье, а сам он вглядывался сквозь туман в смутные зеленые кольца лиан, в листву, что напоминала фрагменты витиеватого росчерка, подпись – как ему представлялось – под конституцией, еще не провозглашенной на этой земле.

В тумане изредка слышались крики, такие же сложные и странные, как закорючки листвы. Птицы, наверное. Но, вспоминая истории брухо и призраков, что рассказывал об этих краях Тулли, Минголла почти видел маленьких смуглых человечков, сидящих в своих хижинах и рассылающих по округе крылатых духов; потом взошла луна, туман в ее свете заиграл проблесками, и теперь вокруг машины почти явственно ощущалось их трепетание, однако стоило повернуть голову, как духи проваливались в воронки и растворялись в дымчатых струях. Минголла почти не боялся духов – воспоминания и мысли о будущем были страшнее. Через полчаса он заклевал носом и проснулся несколько минут спустя от жуткого и тревожного чувства. Что-то произо-

шло – что-то плохое. Он хотел списать это на сонную дурь, но ничего не вышло. Сердце колотилось, пот тек ручьями, а когда на заднем сиденье заговорила Дебора, Минголла подскочил от неожиданности.

– Какое-то жуткое чувство, – сказала она. – Может, приснилось что-то.

– Угу... у меня тоже.

Она села.

– Может...

– Что?

– Просто подумала, вдруг что-то в городе.

Это было очень похоже на правду, но Минголле не хотелось думать ни о городе, ни о чем угодно из оставленного позади.

– Может быть, – сказал он.

– Посиди со мной... а?

Он перелез через спинку кресла, сел, и она положила голову ему на колени.

...Дэвид...

– Я здесь, – ответил он, отвергая то легкое утешение, которое предлагала им близость.

...Я тебя люблю...

Послание было приправлено тоской, словно Дебора пыталась воскресить прежнее чувство.

– Я тебя люблю. – Голос ровный и жестяной, как магнитофонная запись.

Она шевельнулась, устроилась поудобнее, его рука рефлекторно скользнула вниз, легла на грудь. Минголла подумал, что мог бы, наверное, не прикасаться к ней годами, ладони все равно бы до мелочей помнили эту тяжесть и форму. Прикосновение расслабляло.

...мой отец любил такие места...

...ты говорила...

...высоко и туманно...

...тебе тоже нравится...

...ничего не могу поделатъ, он слишком часто возил меня в такие вот места... мы ездили в Кухаматанские горы, деревня называлась Кахуатла, так странно, мужчины носили рубахи с большими вышитыми воротниками, еще все время хлопали, и шляпы из обезьяньей кожи, они и сами были похожи на обезьян, маленькие и все в морщинах, даже молодые... а когда появлялись прямо из тумана, можно было подумать, это духи обезьян... мы ездили туда каждый год, в мае, на праздник, отцу ужасно нравилось, но слишком часто он не мог...

...что за праздники...

...ничего особенного, мужчины скакали на лошадях из одного конца деревни в другой, и каждый раз, перед тем как поворачивать, пили кашасу, а на другом конце опять, так и набирались все больше и больше... ну, и кто дольше всех усидит на лошади...

Она рассказывала о празднике, и Минголла почти видел

этих тощих, похожих на обезьян человечков, их полосатые рубашки с красными и пурпурными воротниками, переливчатыми, словно бархат, как они пьяно карабкаются на своих костлявых кобыл, и некоторое время ему этого хватало: слушать ее, слышать ее, видеть, как разворачивается ее память, – но недолго. Сквозь мозаичность воспоминаний проступало чуть раздраженное внимание, Минголла чувствовал ее возбуждение, видел, что ей хочется заняться любовью, знал, что она открыта, влажна, но эта готовность казалась ему сейчас неприличной, ибо произошло что-то страшное, что-то, что не сможет загладить никакая любовь. Но потом он решил, что нет смысла пережевывать и что, кроме как потрахаться, им все равно нечего делать. Дебора стянула джинсы, трусы, села на него верхом и принялась опускаться и подниматься, держась, как за рычаг, за переднее сиденье, Минголла тоже завелся, глядя, как опускаются и сжимаются ее ягодицы. Крик ее в самом конце показался ему жутковатым и далеким, словно зов заблудившейся в тумане птицы.

Потом они немного поговорили, но уже без души, и вскоре Дебора опять уснула. Минголла старался не спать и смотреть, что происходит. Погони не было, это его беспокоило, и он подозревал, что за ними следят с вертолетов через термические камеры. Однако потом до него дошло, что если это действительно так, то, сколько ни смотри по сторонам, все равно не спасешься, и он поддался дреме.

Во сне он выбрался из машины, оставив там посапываю-

щую Дебору, и сквозь туман полез еще выше в гору, прокладывая себе путь через лианы и папоротники; штаны оттягивала накапавшая с листьев влага. Вскоре он заметил в тумане неясное поблескивание, которое постепенно превратилось в овальное световое пятно над дверью хижины. Безо всякого страха Минголла подошел к хижине – похоже, именно ее он искал уже очень давно. Нырнул внутрь, сел и повернулся лицом к скрюченному, как старый корень, человечку с черными волосами, сморщенным лицом и медной кожей; над стариком еще витала энергия молодости. Одет он был в свободную рубашку с красно-пурпурным и черно-желтым узором и полотняные брюки. Три подвешенные на колышках лампы освещали хижину, а свежие выщербины на стенах блестели в их лучах, как золотые жилы.

Брухо – откуда-то Минголла знал, что это он, – приветливо кивнул и вернулся к изучению сложного узора, нарисованного на земляном полу хижины. Минголла тоже стал рассматривать странный набросок. Его глазам он показался разрезом, чертежом лабиринта, и Минголла понял, что это и есть корневой узор мира и времени, тот самый, в который сливаются узоры мыслей и поступков всех живущих в этом мире существ. Проследив за его линиями, он нашел точку, где в ткань вплелись он и Дебора, и понял, что в его видениях будущего – части узора – не было ничего загадочного или магического, он просто вошел в узор, слился с его потоком и увидел лежащие впереди точки. Он уже почти заглянул в то

будущее, что наступит после встречи с Исагирре, но брюхо взмахнул рукой, стер узор и улыбнулся.

– Зачем ты это сделал? – спросил Минголла.

Брухо дотянулся до Минголлиного лба, тронул его и заговорил на гортанном наречии, похожем на язык ворон, полный твердых «хр» и придыханий, – но Минголла понимал все.

– У меня не было выбора, – сказал брюхо. – Он мне для этого дан.

Ответ получился совсем невнятным, но Минголлу удовлетворил, он и не подумал задавать новые вопросы.

– Скажи мне, чему ты научился, – проговорил брюхо.

Сначала просьба показалась Минголле невозможной – он научился слишком многому; но потом он вдруг обнаружил, что ответы получаются сами собой, короткие и правильные, как если бы брюхо разыскал у него в голове нужный пласт и теперь выбирал оттуда ровно столько знаний, сколько было необходимо.

– Я научился тому, что людские устремления смехотворны, – говорил Минголла. – Они иллюзия. Простая прихоть способна разрушить все то, в чем люди видят суть вещей, действие не имеет цены, мир и война неотличимы друг от друга, красота и истина – предрассудки глупцов, и эти же глупцы правят миром от имени той мудрости, что подобна музыке или дыму: существует мгновение, а после исчезает.

– И зная все это, – изумленно сказал брюхо, – ты печал-

лен? – Он зазвенел колокольчиками смеха, и клубившиеся в дверном проеме струи тумана стали похожи на танцующих девушек.

– А с чего мне веселиться? – спросил Минголла. – Это, черт побери, весьма печально.

– А печально оно потому, что ты в него не веришь, – сказал брухо. – Ты не хочешь, чтобы оно было правдой. Но стоит лишь признать, что так оно и есть, как и другие правды станут вполне выносимыми, и ты увидишь, что все не так плохо.

– Сомневаюсь.

– Сомнение – это хорошо, – согласился брухо и затем, отлично подражая голосу Минголлы, добавил: – Что угодно, лишь бы работало, ага?

Минголлу это начинало раздражать.

– Что я здесь делаю?

– Просто я решил проверить, как далеко ты продвинулся, – ответил брухо.

– Кто же ты, черт побери?

– Твой кузен. – Брухо бессмысленно хихикнул. Потом чуть повернулся и сорвал травинку с крошечными цветками, сиреневыми по краям и ярко-красными в центре; помахал ею у Минголлы перед носом. – Об этой штуке знают не только идиоты из Панамы, и уж точно не они первые... они первые решили на ней нажить. Вот и поплатились.

– Там что-то произошло? – спросил Минголла.

– Скоро узнаешь, – сказал брухо. – Что толку тратить время. Но когда узнаешь, не забывай, что ты не огонь, а только искра.

Минголла не нашел что ответить.

– Ты многому научился, – сказал брухо. – Запомни и это тоже.

Что-то обнадеживающее звучало в его словах, в голосе, и Минголла всмотрелся в его лицо, готовясь к хорошим новостям, но больше ничего не последовало.

– Сначала становится плохо, потом лучше, – говорил брухо; вместе с хижинкой он растворялся, терял телесность, сливался с туманом. – А когда в конце концов становится лучше, то что за разница, как и почему. И уж точно все будет не так, как тебе хочется сейчас.

Несмотря на магию, сон казался живым настолько, что, очнувшись на заднем сиденье машины, Минголла принялся искать талисман, доказательство того, что он действительно встречался с брухо. Кусочек папоротника на штанине или пучок травы. Ничего похожего он не нашел, но доказательство существовало. Знание о катастрофе в Панаме. Реальное и осязаемое, как монета в ладони.

Дебора еще спала, посапывая в углу сиденья. Он провел рукой по ее спине – он любил ее и хотел, чтобы любовь значила сейчас для них больше, чем там, в Панаме. Она пошевелилась, моргнула.

– Что такое?

Он наклонился, убрал со щеки волосы, поцеловал.

– Ничего, спи.

Она резко села, оглядела затянутые туманом окна, словно попала в незнакомое место.

– Что-то еще случилось? – спросила она.

Серым утром они поехали по дороге сквозь холмы к горной гряде, откуда открывался вид на долину. Трес-Сантос располагался на ее дальнем конце, между двумя поросшими джунглями утесами; они почти сходились, образуя естественную арку, и казались с высоты замотанными в сутаны фигурами, глядящими вниз на деревушку, которой выпал столь неудачный жребий: маленькие белые домики с черными тенями окон и дверей. Вокруг долины во все стороны бесконечно тянулись горы, дороги сквозь них напоминали красные нити. Постоянно меняясь, над утесами клубились пузатые облака, опускались все ниже и все сильнее нагоняли тоску.

Машина спустилась с гребня по грунтовке, усыпанной серыми чешуйчато-слюдянистым и валунами, и остановилась у кантины; выцветшая фреска на фасаде изображала закованного в латы всадника – кантина называлась «Кортес». Дверь была открыта, люди у стойки сгрудились вокруг портативного телевизора. Низкорослые кривоногие мужчины с невозмутимыми индейскими лицами, одетые в пончо, белые хлопковые штаны и соломенные шляпы. Когда, сжимая под

мышками автоматы, Минголла с Деборой вошли в бар, мужчины обернулись, кивнули в знак приветствия и опять вперились в телевизор; из динамика неся возбужденный голос, на экране дрожали развалины.

– Бомба? – воскликнула Дебора. – В Панаме... бомба?

– Да, – подтвердил бармен, он был старше других, в волосах седые пряди. – Атомная бомба. Ужасно.

– Должно быть, очень маленькая, – сказал кто-то. – Пострадало только одно баррио.

– Но в других тоже народ погиб, – возразил третий. – Кто это сделал?

Минголле стало плохо от новостей, они давили на него своей тяжестью.

– Я ищу одного человека, – проговорил он наконец, – большой и черный, зовут...

– Сеньор Тулли, – подхватил бармен. – Приехал сегодня утром. Следующий поворот налево, он будет в третьем доме по правой стороне.

Минголла с минуту послушал, как голос в телевизоре расписывает подробности катастрофы, весь кошмар Карликовой кары, вспоминает кару Тель-Авива, – такой иронии Минголла, кажется, не ожидал. Выйдя из бара, он увидел сидевшую на капоте Дебору.

– Тулли здесь, – сказал он. – Может, он знает, что произошло.

– Я без него знаю, что произошло, – воскликнула Дебо-

ра. – Исагирре взорвал всех к ебене матери! – Она прыгнула с капота и отфутболила комок красной земли. – Я вела себя как последняя идиотка. Нельзя было им верить! – Она отошла на пару шагов и резко повернулась к Минголлу. – Мы перестреляем всех, кто еще остался! Иначе они перестреляют нас. Эти твои сны, видения будущего... наверное, они правильные. Я раньше не понимала, зато теперь все становится на места.

Ее злость поразила Минголлу больше, чем само известие о бомбе. Дебора готова была взорваться, она размахивала автоматом, словно выискивая подходящую цель.

– Пошли к Тулли, – приказала она.

Пока они шагали, он наблюдал за ней уголком глаза, видел ее гнев... нет, не гнев, скорее убежденность, из ее глаз уходили слабость и тревога, эта женщина становилась еще красивее, чем прежде.

В ее лице, в его ясной суровости Минголлу видел все безумие их связи. Один толкает, второй тянет. Как далеко может их завести ее жажда убежденности, и как его гнев будет поддерживать их до тех пор, пока она не отыщет новую веру. Они питают этот обман и зовут его любовью. А может, он и есть любовь, может, безумие подразумевает любовь. И даже понимая все это, он любил ее, любил их любовь. Любил до той точки, где отторжение становится невыносимым. Чтобы отвергнуть Дебору, он должен перестать любить себя, и если в другой обстановке Минголлу сделал бы это без капли

сомнения, то сейчас подобная честность была просто непозволительна.

Тулли сидел перед домом, держа на коленях автомат; когда они подошли, помахал рукой – вялое, бескостное движение.

– Молодец, Дэви, – сказал он слабеющим голосом. Глаза налиты кровью, а сам он до предела истощен и вымотан.

– Где Корасон? – спросил Минголла.

– В доме, – ответил Тулли. – Наверно, поймала дозу. Наверно, я тоже.

– Радиация? – Минголла виновато вздрогнул.

Тулли кивнул.

– Вы вроде выбрались чисто.

– Что там было? – спросила Дебора.

– Черт их знает. Началось во дворце, я так и не понял что. Весь день сплошные драки. Знай молотят друг друга. Прямо на улицах. Мы с Корасон целый день чего-то ждали. Я так и не понял. Наверное, заряд артиллерийский или чего-то вроде, а то бы нас по стенке размазало. – Он закашлялся, вытер рот, посмотрел на руку, что там такое. – Мы поехали вдоль берега и вот забрались. А вы, наверное, блудили в тумане.

– Ага, – подтвердил Минголла.

Тулли задохнулся и приходил в себя так долго, что Минголла испугался, что это уже навсегда.

– Друг, – сказал Тулли, – я тут все думал, может, будет лучше, а теперь, – он стрельнул в Минголлу взглядом, – что-

то душил, Дэви.

– Тулли, я...

– Вали отсюда, Дэви. Не надо мне этой херни про то, как тебе меня жалко и про старые добрые времена. Раз так вышло, ничего не попишешь. Не самое плохое место для похорон. – Он рассмеялся и от смеха закашлялся. Потом пришел в себя и заговорил снова: – Знаешь, что делают эти дураки – мажут тело лаймовым соком, заворачивают в белые тряпки и поют над ним песни. Лаймовым соком! Они думают, он на все годится. От дизентерии, от простуды и для Христа тоже, ему понравится. – Тулли пошевелил автоматом. – Идите вон туда. Этого ручья на карте нет, увидишь в конце улицы. Ищите тропинку от берега. По ней на восток через два больших холма как раз попадете в деревню, я тебе рассказывал.

Минголла боролся с желанием ляпнуть какую-нибудь глупость, например что они останутся здесь. Именно этого подсудно хотел Тулли, и хуже всего было бы пойти у него на поводу. Минголла позволил себе сказать лишь:

– Я буду скучать без тебя, Тулли.

Затем развернулся, оставив Дебору позади и не желая ни ответа Тулли, ни новых знаний, ни мук совести. Но, проходя мимо окна, он услышал щелчок предохранителя. Минголла перекатился через плечо, автомат застрекотал, пули пролетели мимо, он упер свой автомат в окно и за короткий миг до того, как открыл огонь, разглядел Корасон: пустое лицо, ни единой эмоции, налитые кровью лепестки глаза. Пули от-

бросили ее от окна и выдавили из груди тяжелый хрип.

Он неуверенно поднялся. Дебора направила автомат на Тулли, тот пытался встать, но у него плохо получалось. Минголла подошел к окну, всмотрелся в темноту комнаты. Корасон отбросило к кровати, распластало на белом покрывале, темные угловатые тени и алые пятна крови рисовали на нем абстрактный узор. Автомат валялся на полу. Тулли проковылял в комнату и застыл пораженный.

– Что?! – закричал он. – Что ты наделал?!

– Она в меня стреляла, – сказал Минголла. – У меня не было выбора. Я не успел даже подумать.

– Зачем ей в тебя стрелять!

Тулли упал рядом с кроватью на колени, руки парили над телом Корасон, кровь еще текла у нее изо рта, из груди, и казалось, Тулли просто не знает, куда пристроить руки, какую прикрыть дыру.

За спиной у Минголлы послышались голоса. Он обернулся – Дебора объясняла, что произошло, собравшимся на выстрелы мужчинам. Снова обернувшись к окну, Минголла увидел, как Тулли поднимает автомат и прижимает его к груди.

– Будь ты проклят, Дэви! – воскликнул он. – Души у тебя нет, и не было никогда.

– Послушай, – сказал Минголла. – Она чуть меня не убила. Что еще мне оставалось делать?

– Зачем ей тебя убивать, черт побери? – Тулли трясся,

палец дрожал на курке. – Какой смысл?

– Я не знаю, друг. Может, кто вложил ей что-то в голову специально... или она просто свихнулась от болезни. Откуда мне знать?

– Ты хочешь сказать, что она такая, как все эти пустые коробки, в которые Сотомайоры накачивают свое говно? Даже не думай! Я ее знаю. Она не такая!

Минголле вдруг захотелось, чтобы Тулли нажал на курок и неопределенность кончилась.

– Что мне было делать? – закричал он. – Ждать, пока она меня убьет? Чтобы ты потом причитал над моим трупом? Херня, старик! Хочешь стрелять – стреляй! Ну! Хуярь курок! Может, в твою мудацкую голову вбили то же самое. Может, вся эта херня про Трес-Сантос тоже сотомайорское говно! – Он прижимался грудью к окну и отталкивался от него, словно дразня Тулли. – Стреляй, ну!

– Думаешь, не выстрелю? – крикнул Тулли. – Я одного себе не прощу – что это я тебя таким сделал.

Вместо Тулли Минголла теперь видел черную тень, творение тьмы, пустоту ненависти, пустоту с мускулами, потным лбом и налитыми кровью глазами.

– Хуй с тобой, Тулли, – сказал он и, собрав весь свой гнев в поток ядовитой энергии, заставил Тулли завертеться волчком. Автомат разрядился. Бессмысленные слепые выстрелы буравили потолок, стены, пол. Тулли хотел выставить автомат в окно, уронил его, схватился за голову, зашипел, и ши-

тение обернулось криком. Упал на кровать, перекатился на бок, пальцы дрожали на висках, словно он силился затолкать мысли обратно в голову, но они лезли наружу, вспухая гневом у него под черепом. Затем все кончилось. Мигнуло и опустело, слепые глаза уставились на стену и на черный деревянный крест – словно щель в страну темноты.

Минголла плакал. Он знал это по тому, что мокрым стало лицо, еще по каким-то знакам, но ничего не чувствовал. Слезы были излишеством – как если бы от переполнения в нем просто открылся кран. Минголла отвернулся от окна, и маленькие кривоногие человечки отодвинулись подальше; они смотрели безразлично, не выказывая ни страха, ни каких-либо еще сильных эмоций. Ничего интересного, понял Минголла, они не увидели. Слезы и убийства были для них рутиной, и, не вникая в ситуацию, они понимали, что дело их не касается; слез и смертей им хватало собственных, к чему разбираться в несчастьях чужих людей и тем более влезать в их моральные заморочки. Все это Минголла прочел на их лицах, все это понял, оценил и даже восхитился.

У подножия холма, на берегу узкого ручья стоял Минголла и, оглядываясь назад, меньше чем в сотне ярдов видел окраину деревни. Безмятежность, бугенвиллеи в оконных горшках, кудрявый дым из коленчатой латунной трубы, по колее бредет старик. Панораму ничего не заслоняло, но Минголла знал, что это иллюзия. Двери закрыты, пути назад

не было. Он посмотрел на зеленый склон, внушительный, как холм на Муравьиной Ферме. Только этот подъем казался еще более зловещим. Пустая молчаливая громада сулила пять жестоких лет, но не обещала ни высокой цели, ни счастливого финала, и Минголла не решался сделать шаг вперед.

– Ты думаешь о Тулли? – спросила Дебора.

– Нет, – сказал он.

Она удивилась.

– Не знаю почему, – объяснил Минголла. – Просто не думается.

– Я знаю, как это... сразу не получается думать о важном. Нужно, чтобы отстоялось.

– Может быть, – сказал он. – А может, это не важно.

– Неправда.

– Откуда ты знаешь, что для меня правда?

– Знаю. – Глаза у нее были широко раскрыты, рот сжат, словно она пыталась что-то спрятать. – Я точно знаю.

Они сидели у ручья на большом камне, собирая силы для подъема. Во всем пейзаже только этот ручей и обладал энергией. Чайного цвета поток бежал по каменистому дну, вспениваясь на преградах белыми кружевными нитями; над водой торчали рыжие с железными прожилками валуны, под ними танцевали мальки. Берег окаймляли заросли мелких цветов, бледно-желтые бутоны с брызгами красного в центре, темный волокнистый пух на стеблях. Куда бы ни смотрел Минголла, глазам открывалась бесконечность деталей,

замысловатая мозаика жизни с узором слишком изоциренным и запутанным – эта сложность мешала верить в то, что он понимает хоть что-нибудь, напоминала, как безрассудны его суждения, как слепы бывают ненависть и любовь. Остаться тут, думал Минголла, сидеть и ждать тех, кто совсем скоро откроет на них охоту. Сквозь просветы в облаках пробивались серовато-водянистые лучи солнца, они словно ощупывали эти замечательные стебельки, завитки и пушистые волокна, текли по ним и наполняли воздух одним-единственным беспокойством – равномерным колебанием давления и тепла, но и оно тревожило Минголлу, как будто прятало в себе медленные тени или разноязычные крики. Все было неясным, даже желание сидеть и ждать. Наконец какой-то импульс все же поднял его и потащил наверх.

Подъем был медленным. Они подпрыгивали и спотыкались, словно путь им преграждали все их сомнения. Однако, добравшись до вершины и оглядев сверху Дарьенские горы, бугрившиеся до самого горизонта джунглями, Минголла и Дебора поняли, что попали в одно из тех странных зеленых мест, где живет Бог, где постижима структурная необъятность жизни и начерчены все ее тропы. Низкое закатное солнце вырвалось из облаков, и его тяжелое золото, отражаясь от их грязно-серых каемок, высекало блеск минерала из каждого цвета. Склоны сверкали зеленью, воздух испускал во все стороны сияние, а пейзаж был столь запутанным и ясным одновременно, что сами собой открывались надежды

и волшебные возможности. Над одним холмом, изгибаясь, уходила в забвение радуга, вокруг другого описывал круги ястреб, косые линии дождя штриховали вершину третьего. Знаки или предвестия. Словно каждый зеленый купол обладал индивидуальностью, характером и ценой. Зрелище подняло Минголле настроение, а по пути вниз вернулось доверие.

Они шли быстро, неслышно, отводя автоматами ветки, продвигаясь вперед с той легкостью, которую может дать лишь ощущение цели, и Минголла как будто сам становился легче, словно с каждым шагом ронял на землю кусок прошлого... так оно и было, он это понимал. Прошлое невесомо, ломко, они оставляли позади все, что хорошо знали, оставляли друзей и врагов...

...Дэвид...

...да...

...ты идешь слишком быстро...

...вниз легко... сэкономим время...

...это только кажется, что легко, ногам вниз труднее, чем наверх... скоро почувствуешь...

...хорошо...

...оставляли позади память и привязанность, честность и лживость...

...смотри, Дэвид... какая птица...

...ага, странная...

...видел, какой у нее хвост и рубиновые перья на грудке...

это кецаль...

...и что...

...они очень редкие... нам просто повезло, что попалась...

...повезло... угу, конечно...

...не смейся... нам грех жаловаться...

...Тулли... повезло? ...Панама... повезло?..

...больше, чем другим...

*...оставляли позади страх смерти и жажду жизни, остав-
ляли надежду и безнадежность...*

...когда я только вступила в движение...

...хватит с меня этого говна, Дебора...

*...нет, ты послушай... когда я только вступила в движе-
ние, мы, почти тридцать человек, весь сезон дождей про-
сидели в Петэне... это было ужасно, мы жили как амфи-
бии, крыши прогнили, одежда заплесневела... у всех просту-
ды, дизентерии, у кого-то даже лейшманиоз...*

...оставляли позади привычное, предсказуемое...

...что...

*...это такой паразит, съедает хрящи в ушах и в носу...
но не важно, мы пробыли там несколько месяцев... думали,
никогда не кончится, я уже не понимала, зачем это все... мы
просто там были как часть этой гнили, дождя, и я думала,
что никакие цели этого не стоят... напала такая тос-
ка, что я не могла поднять голову, и тогда к нам в лагерь
пришел мальчик, молодой парнишка из деревни неподалеку
от Собана, он пел нам песни, рассказывал истории... краси-*

вые истории... сначала он меня ужасно раздражал, я думала, это аморально, разве можно так радоваться, зачем он заставляет меня забывать о моих несчастьях... несчастье для меня было ужасно важно, я считала, оно часть революционной этики...

...оставляли позади сны и толкования, ибо сны и реальность переплавлялись в идеи и цели...

...однажды он рассказал эту историю, я не помню, о чем она, только некоторые слова... они много для меня значили... он говорил о каком-то очень грустном человеке, все думали, что, кроме этой, должна быть какая-то другая страна, но представить могли только тупое безопасное место, где жизнь уютная, как рождественский поцелуй, но не всем это годилось, а особенно этому человеку, и секрет печальной жизни был в том, чтобы...

...оставляли позади печаль и радость...

...найти историю, чувство, притчу такую притягательную, что она будет подобна другой стране, континенту, что поднимается из моря, на нем живут фламинго, растут золотые дыни, и бродят звери, которые прекраснее греха, эта страна дает человеку силу стать тем, кем он всегда притворялся, пусть даже перед самим собой, и, если ты сможешь это сделать, сможешь найти внутри себя такую страну, пусть это будет ложь, не важно, или глупость, или детство, тогда ты перенесешь любую, даже самую ужасную реальность, которая ее отвергает... хотя бы некото-

рое время... вот что мы тогда поняли...

...этот мальчик ее нашел...

...нет, но он помог нам пережить этот дождь, а после, когда мы ушли из джунглей, у нас была сила, чтобы бороться...

...оставляли позади мечты о мире и вступали во владения злобной и покорной морали с ее собственным представлением о том, что можно и чего нельзя...

...ты понимаешь, Дэвид...

...очередная херня...

...да, конечно...

...тогда зачем...

...я помню, этот мальчик сказал еще одну вещь... как-то это было связано с историей, которую мужчина рассказывает женщине, когда хочет ее напугать, чтобы она была поближе и он мог ее соблазнить... это история о дьявольском зеленом коте, который сверкает глазами в темноте трона, этот кот рыскает по земле и заставляет людей совершать грехи... не просто грехи... все ужасы жизни, все, что происходит... потому что хоть он и принадлежит дьяволу, но, как все коты, независим, у него свои пристрастия, свои понятия о предназначении... потом история закончилась, мужчина соблазнил женщину, и вот, когда они лежали рядом, счастливые, женщина поняла, что история – это просто маневр, которым ее завлекли, но ей было все равно, и она спросила мужчину, так ли это, была ли история чи-

стой выдумкой, а он засмеялся и сказал: ну, конечно, откуда у дьявола зеленый кот, который сверкает глазами в темноте трона, когтями высекает искры из камней ада, чувствует пламя преисподней, шипит и выдувает ветер, полный слов, разговоров, жизни или безжизненности, любви или проклятий...

...и даже любовь оставляли позади, хотя бы на время, ибо любовь они превращали в материю, отвергая сантименты и принимая лишь одно ее достоинство – силу...

...как ты не видишь, Дэвид... ведь та же история происходит с нами, всегда одна и та же история... я люблю тебя, и какая разница почему...

...оставляли позади логику, оставляли позади банальные истины...

...я люблю тебя...

...но, единодушные в помыслах, в чистоте гнева и невозможности выбора, они уносили с собой все, что обладало смыслом.